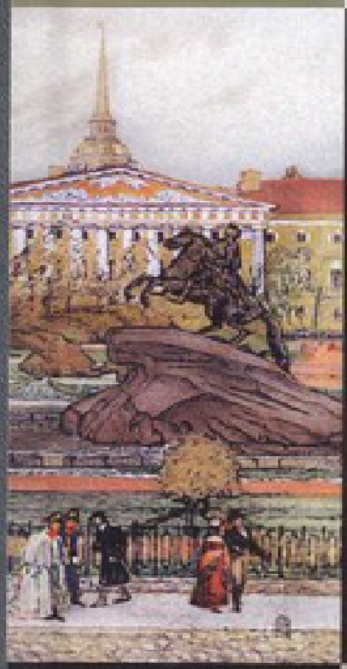
ГАВРИЛА ДЕРЖАВИН



Арсений Залюстьянов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Гаврила Романович Державин (1743–1816) — исполинская фигура в истории русской классической литературы. Но верстовыми столбами в его судьбе были, пожалуй, не книги, не оды, не собрания сочинений. Сам себя он ощущал в первую очередь государственным человеком. В разные годы Державин занимал высшие должности Российской империи: возглавлял Олонецкую и Тамбовскую губернии, был кабинет-секретарём императрицы Екатерины Великой, президентом Коммерц-коллегии, министром юстиции при императоре Александре. И при этом оставался первым поэтом Империи.

«Един есть Бог, един Державин» — так мог написать о себе только поистине гениальный поэт, и совершенно не важно, что это цитата из иронического по сути стихотворения.

Для многих из нас Державин остался в памяти лишь благодаря пушкинским строкам: уже на пороге смерти, «в гроб сходя», он «благословил» будущее «солнце нашей поэзии», лицеиста Пушкина. Но творчество самого Державина вовсе не устарело. Оно стало неожиданно актуальным в XX веке и остаётся таковым по сей день. «Многие дороги в России — литературные, политические, воинские — ведут к Державину» — так утверждает автор книги, историк и писатель Арсений Замостьянов.

знак информационной продукции 16+

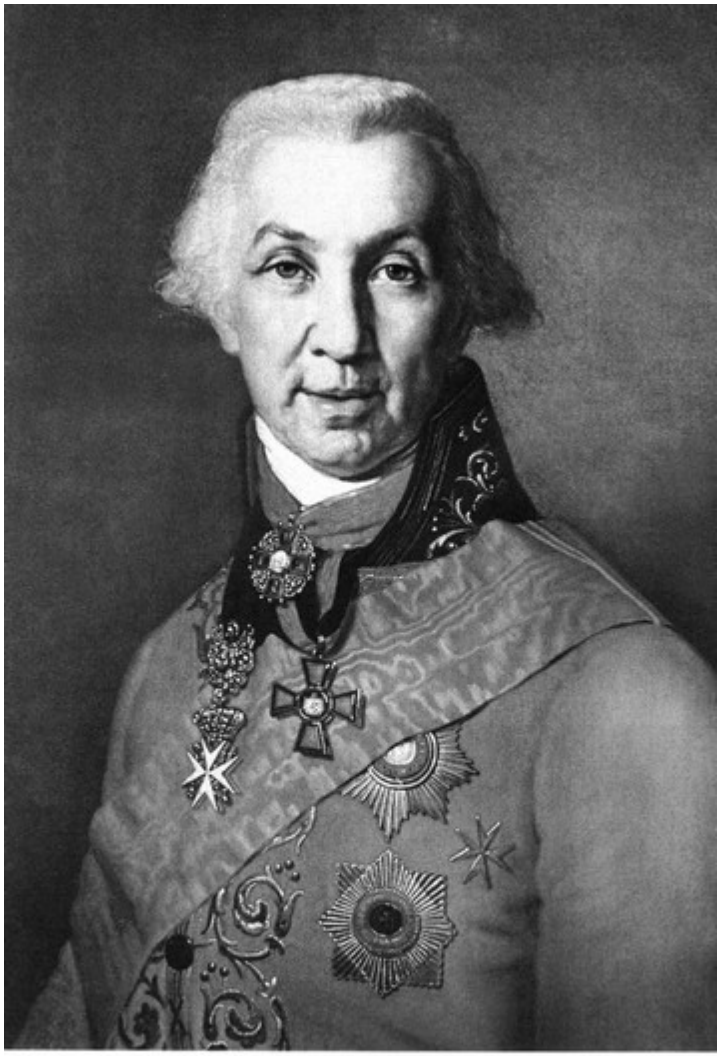
- Арсений Замостьянов
  -
  - ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРВОЕ
  - ПРЕДИСЛОВИЕ ВТОРОЕ
  - ДОМ МУРЗЫ ИБРАГИМА
  - АЛЬМА-МАТЕР
  - ПРЕОБРАЖЕНЕЦ
  - КАРТЁЖНИК ОЧУТИЛСЯ
  - ПУСТАЯ ССОРА
  - ПРОТИВ МАРКИЗА ПУГАЧЁВА
  - ЧИТАЛАГАЙ
  - РЯДОМ С ВЯЗЕМСКИМ
  - КРУЖОК
  - ГЛАГОЛ ВРЕМЁН
  - БОГОПОДОБНАЯ ЦАРЕВНА!
  - РЕШЕМЫСЛ И ФЕЛИЦА
  - АКАДЕМИК

- КОГО МЫ НАЗЫВАЕМ БОГ
- ГУБЕРНАТОР
- ЕРМИЛ КОСТРОВ
- ТАМБОВСКИЕ СТРАДАНИЯ
- ТЯЖБА
- ЦАРИ, Я МНИЛ, ВЫ БОГИ ВЛАСТНЫ…
- КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
- КАБИНЕТ-СЕКРЕТАРЬ
- ДЕЛО ЯКОБИЯ
- НЕ УКРАШЕНИЕ ОДЕЖД…
- ЛАСТОЧКА И ОРЛИЦА
- ТРИУМФ И СТЫД ИЗМАИЛЬСКИЙ
- ПОЖАР В ЕВРОПЕ
- АВТОПОРТРЕТ
- ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ КНЯЗЬ ТАВРИДЫ
- ВО СЛАВУ ЗУБОВЫМ
- ПАСХАЛЬНАЯ СКАЗКА
- А НЫНЧЕ ПЯТЬДЕСЯТ МНЕ БИЛО…
- ПРЕЗИДЕНТ КОММЕРЦ-КОЛЛЕГИИ
- ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАНФАРОНАДЫ
- ПОЖАРСКИЙ
- КТО БЫЛ СУВОРОВ?
- СОПЕРНИК
- ПАМЯТНИК
- ПРОЩАНИЕ
- РЁВ НОРДА
- НЕ СМЕРТЬ СУВОРОВА СРАЗИЛА
- СИОНСКИЕ МУДРЕЦЫ
- РОДИНА
- ЛЬСТИТЬ ИЛИ НЕ ЛЬСТИТЬ?
- СЕ ОБРАЗ АНГЕЛЬСКИ
- ДЕЛО ЛОПУХИНА
- ЕВРЕЙСКИЙ КОМИТЕТ
- ДЕЛО ПОТОЦКОГО
- МИНИСТР
- ОТСТАВНОЙ ПОЭТ
- ЮН ДУХОМ ПО ГРЕХАМ…
- ВСЁ ОБЪЯСНИТЬ…
- ФРАНЦУЗОВ РУССКИЕ ПОБИЛИ!
- ШИШКОВ
- ПОЛИГИМНИЯ И МЕЛЬПОМЕНА
- ЛИЦЕЙСКИЙ ЭКЗАМЕН
- ТЕОРЕТИК
- ЮСТИЦИЯ, БЛЕСК, ШУМ…

- О ЖИЗНИ ЗВАНСКОЙ
- ПОСЛЕДНИЙ ГОД
- А ЕСЛИ ЧТО И ОСТАЁТСЯ…
- ДОСТОЯНЬЕ ДОЦЕНТА
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Г. Р. ДЕРЖАВИНА
- КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Арсений Замостьянов
Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век…



Не умел я притворяться,
На святого походить,

Важным саном надуваться
И философа брать вид;
Я любил чистосердечье,
Думал нравиться лишь им,
Ум и сердце человечье
Были гением моим.
Если я блистал восторгом,
С струн моих огонь летел,
Не собой блистал я — Богом;
Вне себя я Бога пел.
Если звуки посвящались
Лиры моея царям, —
Добродетельми казались
Мне они равны богам.
Если за победы громки
Я венцы сплетал вождям, —
Думал перелить в потомки
Души их и их детям.
Если где вельможам властным
Смел я правду брякнуть в слух, —
Мнил быть сердцем беспристрастным
Им, царю, отчизне друг.
Если ж я и суетою
Сам был света обольщён, —
Признаюся, красотою
Быв пленённым, пел и жён.
Словом: жёг любви коль пламень,
Падал я, вставал в мой век.
Брось, мудрец, на гроб мой камень,
Если ты не человек.

Г. Р. Державин. Признание. 1807 год

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРВОЕ
Лирическое

ЕСЛИ ТЫ НЕ ЧЕЛОВЕК…

По случайности стихи Державина я полюбил подростком — как и эпоху, о которой мы поём: «Наши деды — славные победы!» Полюбил и эту загадочную строчку: «Един есть Бог, един Державин». Тут нечем хвастаться, перед вами закоренелый архаист. К тому же Державин воспевал моего любимого героя — Суворова. Он присутствовал в книгах о Суворове как друг великого полководца. И вот — стихи. «Поймали птичку голосисту…», «Умеренность есть лучший пир», «Не умел я притворяться, на святого походить!» — как простые конструкции насущных мыслей! Царапнули сердце, покорили очаровательные несовершенства поэзии Державина, который бывал в стихах расхристанным и даже неряшливым. Через Державина мне приоткрылся простодушный, жизнелюбивый, целеустремлённый, победный русский XVIII век. Как будто зимой распахнулось окно — и первозданный мороз овладел типовой квартирой, не считаясь с центральным отоплением. А потом оказалось, что уроки позапрошлого столетия, которое не так давно стало позапозапрошлым, помогают одолеть уныние и не соблазняться химерами. Многие дороги в России — литературные, политические, воинские — ведут к Державину.

Это неправильный классик русской литературы. Да и не вполне классик, как и не вполне классицист — в школе его почти не изучают, всё больше «проходят с улыбкой мимо». Классикам, великим поэтам полагается считать, что писательское слово, слово пророка важнее мирской суеты. Державин никогда бы с этим не согласился! Он оказался неистовым управленцем, трудился неустанно, жаждал исправления нравов и личных карьерных успехов. Приметив косой взгляд государыни, огорчался сильнее, чем во дни творческого бесплодия. Он стал первым российским министром юстиции, но вскоре после этого взлёта административная карьера Державина завершилась. Завершилась нервно и красиво, легендарными (и при этом, как ни странно, достоверными) словами царя: «Ты слишком ревностно служишь». Отдадим должное императору Александру. Сам того не желая, он походя начертал эпиграф ко всей судьбе Державина. Потому что и чиновником Державин был неправильным!

Позволял себе несусветные дерзости, редко следовал придворной моде на воззрения, ссорился с подчинёнными, ссорился с начальниками, ссорился с теми, кто был ему ровней по служебной иерархии. Всем рубал нелицеприятную правду, которая, конечно, не всегда оказывалась истиной.

Он был врагом крепостников-самодуров, а также противником отмены крепостного права. Не признавал литературных партий, но стал одним из основателей «Беседы любителей русского слова», которую воспринимали как оплот консерватизма — и в словести, и в мировоззрении.

Как только разговор заходит о XVIII веке — трудно удержаться от цитаты из Радищева:

> Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро,
> Будешь проклято вовек, ввек удивлением всех,
> Крови — в твоей колыбели, припевание — громы сраженьев,
> Ах, омоченно в крови ты ниспадаешь во гроб…

Поэтам XIX и XX веков, пожалуй, не удалось с такой точностью и простотой сформулировать суть своих столетий. Потому что XVIII век уже для современников был сложившимся образом, системой, концепцией. Просветители, авантюристы и империалисты осознавали себя деятелями XVIII века. Державин сражался, проливал кровь — свою и чужую. То было в пасмурный год пугачёвщины, на Волге. Без этого он не стал бы полноценным героем русского XVIII века!

Гаврила Романович прожил 16 лет и в XIX веке — а это целая жизнь. Он был свидетелем и ретивым комментатором Наполеоновских войн, он успел поклониться сожжённой Москве, он благословил Пушкина — уж это памятно многим. Но мы воспринимаем Державина как олицетворение русского XVIII века — пылкого, молодецкого, припудренного, но неизменно искреннего в своём величии и дурновкусии. Он — в одной шеренге с Петром Великим, Меншиковым, Ломоносовым, Румянцевым, Суворовым, Потёмкиным, Безбородко, Боровиковским.

То был казённый, государственный век. Империя готова была помериться силами с любым ворогом, прорывалась к Царьграду. Есть такое глубокомысленное рассуждение: «Нельзя путать государство и страну, государство и народ! Государство омерзительно, страна — так-сяк, народ — неидеален, а блистателен только лично я!» Державин мог бы с презрением назвать сие «модным остроумием 2013 года». Титаны XVIII века

таких противоречий не признавали. Сторонники феодальной вольницы в те времена помалкивали, а Ломоносовы, Суворовы и Державины понимали: без государства человек — сиротинушка.

Державин (представьте себе!) не бывал в Европе, зато обжил почти всё государство Российское: Казань, Петербург, Москва, Саратов, Петрозаводск, Тамбов, Господин Великий Новгород — это города, в которых он оставил след как солдат, администратор и просветитель.

Державин мог бы объездить весь мир — ни бюрократических, ни финансовых помех для дальних путешествий в зрелые годы он не имел. Но почему-то его не тянуло к священным камням Европы. То ли за недосугом, то ли ещё почему… Самыми западными краями, где побывал Державин, так и остались польские да белорусские деревни. Там он прогремит, выискивая крамолу. А тянуло его на север России, лучше сказать — Руси. Туда, где зарождалось государство, которому Державин придумает одно из самых нежных и гордых имён — Родина. Он любил мощные белые стены широкоплечих новгородских храмов. В них — и жизнелюбие, и аскеза. От каменных новгородских церквей неотделимы небо и вода. Он любил Волхов — эта река посмирнее Волги, но и посуровее. В имени реки поэт слышал заповедное слово «волхв».

От Волги до Волхова прошло плавание Державина — долгое, остросюжетное. Он начинал службу рядовым солдатом — разве что гвардейцем. В солдатах задержался надолго. А дослужился до статского полного генерала. Действительный тайный советник. Выше — только одна ступень, на которую за всю историю Российской империи шагнули 13 человек: действительный тайный советник 1-го класса.

Усердный администратор, Державин ненавидел однообразный муравьиный труд, ему требовалась постоянная нервная встряска:

«Повторение одних и тех же мыслей, одетых только другими словами без чувств, не токмо бывает ненужно, но и неприятно. В том великая тайна, чтоб проницательную, быструю душу уметь занимать всегда новым любопытством». Это сказано не только о поэзии, которая есть «езда в незнаемое»; этому правилу Державин следовал во всех начинаниях.

И в халате, и в камзоле он оставался поэтом и администратором, государственником и своенравием — всё разом. Любая одёжа сидела на нём как влитая. Он и в роли просветителя не сплоховал, хотя друзья отмечали пробелы в его образовании. Ведь Державин в молодости прошёл дорогами солдата, а не учёного. Никогда он не сиживал дни напролёт за

стаканом вина и кипой французских книг, разве только ночами приобщался к учёности — а Сумароков, к примеру, мог предаваться любимому времяпровождению месяцами. Для чужих и собственных книг Державину приходилось улучать часы, если не минуты — когда можно было отдышаться между служебными заботами, не говоря о треволнениях личных.

Державин бывал и приземлённым, и возвышенным — что и говорить, широкий человек, обаятельный во всех проявлениях. Подобный нрав — великое счастье для поэта, потому что такова и Россия — то набожная, то предельно рациональная, «расчётистая» в своих устремлениях. Когда поэт похож на свою Родину — ему подвластен язык, сформированный в свойском ландшафте, под русским небом.

Гаврила Романович Державин — исполинская фигура в истории русской классической литературы. Но верстовыми столбами в его судьбе, пожалуй, были не книги, не оды, не собрания сочинений. Профессиональный путь Державина не поддаётся линейному исследованию. Кто он? Поэт? Государственный деятель? Просветитель? Идеолог молодой империи? Борец с коррупцией, с чиновничьим стяжательством? Сам Державин в минуту уныния придумал такую автоэпитафию:

«Здесь лежит Державин, который поддерживал правосудие, но, подавленный неправдою, пал, защищая законы».

Да, наш поэт был неистовым ревнителем правосудия. Вера в правосудие — одна из самых благородных и навязчивых иллюзий, которая мало кому помогла, но Державина не подвела.

ПРЕДИСЛОВИЕ ВТОРОЕ
Эпическое

ПЕСОК ИСТОРИИ

Державина в истории России заслонили. Его заслонил Пушкин, которого Гаврила Романович «заметил и, в гроб сходя, благословил». Его отодвинули на второй план политики «дней Александровых прекрасного начала», которые недолюбливали и не понимали простоватых исполинов Екатерининского века. Всё шло к тому, что Державин займёт почётное, но скромное место в пантеоне выдающихся сынов империи. Где-нибудь во втором ряду.

И всё-таки Державин как поэт никогда не умирал. То и дело он становился откровением для потомков. Вот как для Рылеева, который видел в Державине пример бескорыстного, героического служения Отечеству — не только престолу, но и Руси святой, но и народу:

Он выше всех на свете благ
Общественное благо ставил
И в огненных своих стихах
Святую добродетель славил.
Он долг певца постиг вполне,
Он свить горел венок нетленной
И был в родной своей стране
Органом истины священной.
Везде певец народных благ,
Везде гонимых оборона
И зла непримиримый враг…

Между прочим, в Державине было куда больше лукавства, чем мог допустить романтик Рылеев. Но в главном Кондратий Фёдорович прав: правдолюб Гаврила Романович, вслед за Ломоносовым, стал певцом зарождающегося русского (и российского — здесь эти понятия равнозначны) патриотизма. В прежние века всё исчерпывалось ощущением православия как единственной возможности спастись. Бытовала и преданность государю — помазаннику Божьему. Для Державина всё было и сложнее, и проще, он стал патриотом по всем линиям: государственной, церковной, национальной, языковой…

В XVIII веке не было средств массового уничтожения, не существовало и информационных технологий, оперативно сплачивающих людские массы. В 1799-м победу на войне приносили в первую очередь штык и сабля, всё зависело от храбрости, силы, ловкости, опыта каждого солдата. Уже в 1812-м всё больше солдат погибало от огня. Чтобы «уважать себя заставить» — отныне требовались полумиллионные армии. А Державин принадлежал к эпохе, когда многое решала личность. Потому и кажется XVIII век временем титанов. Ну невозможно представить себе Петра Великого императором Всероссийским времён Священного союза, а Потёмкина — главой правительства, в котором бы работали Вышнеградский и Витте. Хотя… Россия двигалась к литературоцентризму, писатели стали властителями дум, и, к примеру, репутация Льва Толстого или Максима Горького напоминала о золотом веке титанов. Во времена Державина литературное поприще не было столь почётным, хотя своим политическим продвижением Гаврила Романович обязан именно стихам. Примечательно: Державин редко обсуждал литературные вопросы в переписке. Это в пушкинские времена литература настолько овладеет умами, что в письмах возникнут целые трактаты о стихах и прозе. О литературе он любил поговорить в приятном дружеском обществе — а в переписке касался почти исключительно практических вопросов.

То был век целеустремлённых, жизнелюбивых людей. Победителей по духу и по биографии. Век первопроходцев, титанов, для которых не было невозможного. Ломоносов! Потёмкин! Румянцев! Суворов! К таким фамилиям так и напрашивается одический восклицательный знак. И Державин был одним из них, из племени созидателей, построивших Российскую империю. Потому и досталось ему почётное место рядом с полководцами и дипломатами вокруг трона Екатерины Великой — на памятнике в Петербурге, на Александрийской площади, неподалёку от знаменитого театра, на который Державин — неудачливый драматург — верно, поглядывает с укором.

Державин был поэтом, политиком, идеологом империи времён взлёта. Он сочинял гимны этой эпохе — в том числе полуофициальный гимн Российской империи «Гром победы». Державин понимал, как никто, что Победа с большой буквы — это и есть всенародная объединительная идея, которая рождается не в кабинетах, не в умах нанятых авгуров.

Из чего состоит история, из какого материала? Можно считать эпохами, столетиями. Но Суворов — великий современник Державина — не случайно говорил: «Я действую

минутами!» А вот как говорил Державин:

> «История есть наука деяний. История Естественная содержит действии вещества. История Гражданская деянии человеческий.
>
> Отдаленные времена покрыты тьмою, а описывать дела веку своему — подвергаться опасности.
>
> История повествует просто и без пышностей события с засвидетельствованием доверенности их, отвергая двусмысленность.
>
> Записи не иное что суть как припасы историческия. Лучшие источники письмы.
>
> Летопись означает число и порядок времен.
>
> Поденный записи хранилище безделиц.
>
> Некоторой особенной род истории суть Анекдоты. В них собираются любопытныя и достойныя примечания дела, дабы их разобрать философически и политически. В них может вдаваться Автор в глубокия размышления, кои означат даровании его.
>
> История природы есть книга Дел Божественных».

Эти суждения об истории были дороги нашему герою, с них и начнём повествование…

ДОМ МУРЗЫ ИБРАГИМА

Однажды графа Фёдора Ростопчина спросили: «А почему вы — не князь? Юсуповы, Шереметевы — выходцы из ордынских мурз — получили княжеское достоинство, а ваши предки — нет». — «Всё дело в том, что мой предок Ростопча прибыл в Москву зимой». — «Разве время года может повлиять на получение титула?» — «Как? Вы не знаете? Когда татарский вельможа в первый раз являлся ко двору, ему предлагали на выбор или шубу, или княжеское достоинство. Предок мой приехал в жестокую зиму и отдал предпочтение шубе».

Вот и мурза Багрим (то бишь Ибрагим) довольствовался шубой. Приняли его в Москве на высшем уровне, сам великий князь Василий Иоаннович крестил своего нового вассала. Ибрагим стал Илией. Но в князья многочисленные потомки мурзы не вышли. И всё-таки московский правитель расщедрился, и Багрим получил от него завидные вотчины и под Владимиром, и под Новгородом, и под Нижним. На Русской земле, обжитой с древних времён.

От сыновей Багрима произошли Нарбековы, Акинфовы, Кеглевы. У Дмитрия Ильича Нарбекова был, в числе других детей, сын Алексей, получивший громкое имя Держава. Трудно не приметить, что Державин — говорящая фамилия. С такой фамилией мудрено не стать яростным охранителем империи.

От него и пошёл род Державиных, которые «служили по городу Казани дворянскую службу». Осенью 1552 года Иоанн Грозный штурмом взял Казань и присоединил к Руси татарское царство. Город на Волге оправославливали, там поселились дворяне, которым доверял царь.

Впоследствии Казань стала одним из крупнейших городов империи, уступала только двум столицам. Город двунациональный, с восточным колоритом, но с заметным преобладанием русских.

В чём заключалась дворянская служба? Державины участвовали в крымских походах, честно проливали кровь за царей. Дед поэта — Николай Иванович — носил прозвание Девятый. Умер он в глубокой старости — восьмидесяти семи лет — однако не дожил года до рождения внука Ганюшки. Детям своим Николай Иванович оставил скудное наследство — Державины были самым что ни на есть обедневшим дворянским родом.

Роман Николаевич Державин родился в 1706 году. В шестнадцатилетнем возрасте, на излёте эпохи Петра Великого, он

поступил в Бутырский полк. Служба его проходила в разных городах молодой империи, но женился он на соседке и дальней родственнице — Фёкле Андреевне Гориной. И Державиным, и Гориным принадлежали дворы в деревне Кармачи — вот они и решили объединить свои скромные владения. Роман Николаевич взял в жёны не девушку, а вдову. Фамилию ей подарил капитан Свияжского полка Григорий Савич Горин, рано скончавшийся. А по отцу она — Козлова. Дед Фёклы Андреевны, ротмистр Фёдор Козлов, был женат на вдове Никиты Васильевича Державина. Вот вам и родство извечных соседей.

Наш Гаврила Романович с молодых лет (и до последних дней!) интересовался древностями, его вдохновляли мысли о загадочном прошлом древних славян. Экзотическое ордынское происхождение легендарного предка воспринималось как исток родовой славы. Державин не без иронии называл себя «мурзой», примерял ордынскую маску. Придумал такую литературную игру — удобную, когда нужно было высказаться одновременно верноподданнически и вольнодумно.

В советские времена всех прогрессивных и талантливых непременно причисляли к «обедневшим» — дворянам, купцам или крестьянам… Державин, по марксистским меркам, был далеко не самым прогрессивным деятелем, хотя и не самым реакционным, а родился и впрямь в обедневшей семье. В детстве он видел страдания матери — безграмотной женщины, обездоленной вдовы. Как непохоже его детство на привычные, трафаретные представления о дворянской усадебной идиллии!

На склоне лет отставной министр Державин усердно предавался воспоминаниям… Прошлое оживало в его душе. Он стал одним из лучших русских мемуаристов, хотя современному читателю нелегко продираться сквозь заросли архаичной допушкинской прозы. О себе Гаврила Романович почти всегда (за исключением оговорок) писал в третьем лице — так оно смиреннее… Откроем «Записки» Державина, в которых (запомним раз и навсегда) он писал о себе «он», а не «я» — из политесной застенчивости:

«Отец его служил в армии и, получив от конского удара чахотку, переведён в оренбургские полки премьер-майором; потом отставлен в 1754 году полковником. Мать его была из рода Козловых. Отец его имел за собою, по разделу с пятерыми братьями, крестьян только 10 душ, а мать 50. При всём сем недостатке были благонравные и добродетельные люди. Помянутый сын их был первым от их брака; в младенчестве был весьма мал, слаб и сух, так что, по тогдашнему в том краю непросвещению и обычаю народному, должно было его запекать в

хлебе, дабы получил он сколько-нибудь живности».

Это случилось в воскресенье, 3 июля 1743 года. Тёплый хлеб не подвёл: родившийся хилым, Державин до седых волос почти не жаловался на здоровье. Рослый, энергичный, подтянутый — он всю жизнь был способен терпеть перегрузки, работать за троих, сворачивать горы. Возможно, сказывалась первоначальная закалка: вместе с отцом-офицером Державин скитался по городам и избам, а жили они всегда более чем скромно.

Державин считал своей родиной Казань. «Казань, мой отечественный град, с лучшими училищами словесности сравнится и заслужит, как Афины, бессмертную себе славу…» — писал он профессору Городчанинову, приветствуя процветание Казанского университета — третьего в России. Эти слова казанцы никогда не забудут.

Но академик Яков Карлович Грот (1812–1893), исследователь поэзии и биограф Державина, утверждал: настоящим местом рождения поэта была одна из деревушек Лаишевского уезда Казанской губернии — по разноречивым сведениям то ли Кармачи, то ли Сокуры. Это примерно в 40 верстах от древней татарской столицы. В Сокурах Державин провёл немало счастливых месяцев в детские годы. Вот вам и первая загадка Державина: точное место, где он появился на свет, неизвестно. Только — край, Казанский край.

Зато известно его первое слово — и оно совпадает с названием самой знаменитой оды Державина. *БОГ*. С этой оды Державин начинал собрание своих сочинений. Отбросив скромность, он любил многозначительно вспоминать о чудесных обстоятельствах, связанных с его рождением, — да и кто не похвастался бы такими чудесами:

«Родился он в 1743 году 3 июля, а в 1744 году, в зимних месяцах, когда явилась комета… то он, быв около двух годов, увидев оную и показав пальцем, быв у няньки на руках, первое слово сказал: „Бог“. Два сии происшествия совершенная были правда, и может быть Провидением предсказано через них было, первым: трудный путь его жизни, что перешёл, так сказать, чрез огонь и воду; вторым: что напишет оду „Бог“, которая от всех похваляется».

Толки об этом Ганюшка, верно, слыхал ещё мальчишкой. Верил ли в собственное великое предназначение? Наверное, эта струна порой позванивала в его детском воображении.

Быт казанских помещиков Державиных мало напоминал времена славного мурзы Багрима. Вместо бесед с царями — склоки с соседями. Роман Державин, имевший в те времена чин секунд-майора, ещё до женитьбы крепко поссорился с отставным

полковником Яковом Чемадуровым. Дело было так. Державин служил в Казанском гарнизоне и нередко бывал в своём жалком имении. Местный помещик, властный бузотёр Чемадуров, пригласил его в гости. Пированьице окончилось скандалом: через месяц Державин подал в губернскую канцелярию жалобу на отставного полковника. По мнению Романа Николаевича, Чемадуров опоил его «особливо крепким мёдом», от чего несчастный секунд-майор «стал быть не без шумства». В результате Чемадуров впал в ярость и приказал своей дворне расправиться с расшумевшимся гостем. Державин пытался бежать — его стащили с коня и принялись избивать. Тиуны Чемадурова отняли у него кошелёк, золотую медаль, печать, золотой перстень — и, окровавленного, вытолкали со двора. И всё это — в присутствии отца, Николая Ивановича Державина, который тоже там был, мёд-пиво пил. Старик Николай не вынес позора, заболел и вскоре скончался.

С особой жестокостью избивал секунд-майора некий калмык Иван — крепостной Чемадуровых. Державин требовал подвергнуть его пыткам, чтобы негодяй во всём признался. Чемадуров уверял, что этот самый мёд он и сам пил вместе со всеми гостями. И никто не потерял человеческий облик! А Роман Державин в тот день не погнушался ещё и водкой — оттого и начал бросаться на почтенных помещиков. Он первым поднял руку на некоего Останкина, а потом, оседлав коня, со шпагой гонялся за мужиками Чемадурова. После такого непотребства Яков Фёдорович приказал мужикам разоружить забияку и выпроводить его со двора. А кто бы стал терпеть столь буйные выходки? Через две недели после начала канцелярского разбирательства по чемадуровской драке Роман Николаевич и женился на матери поэта.

С Чемадуровыми Державины враждовали ещё многие десятилетия.

Иногда мне кажется, что в этой истории можно найти ключ к судьбе Гаврилы Романовича… Это, если угодно, истоки его идеологии, объяснение его болезненной гражданственности — во имя «исправления нравов».

После присоединения к Московскому государству Казань изменилась разительно. Город заселили русскими из разных областей царства. Казань облагораживали по московской мерке, началось строительство белокаменного кремля. В 1708 году Казань стала центром крупной губернии, в ней развернулось строительство — в том числе и промышленное. Только при Екатерине (когда Державин уже обитал в столицах) татары в Казани зажили вольготно.

Могучая крепость — кремль — видна с любого перекрёстка. Куда бы ты ни забрёл в Казани — подними голову, и перед тобой возникнут стены и башни. Названия башен — как в Москве: Спасская, Тайницкая… Но самая известная и загадочная башня получила имя Сююмбике. Есть легенда: Иван Грозный, услышав о красоте казанской царицы Сююмбике, прислал в Казань послов с предложением ей стать московской царицей. Но гордая Сююмбике отвергла царскую руку. Попросила царя выстроить высокую башню — а потом поднялась на неё, чтобы попрощаться с Казанью, и бросилась вниз. Легенда недостоверная, но какая живучая!

Город потихоньку просвещался. В 1718 году по петровским скрижалям открыли «цифирную» школу при Казанском адмиралтействе. Через пять лет при Фёдоровском монастыре открылась Славяно-латинская школа, в которой получали образование будущие священники. Но самым замечательным учебным заведением стала Казанская гимназия, открытая в 1759-м. В первой русской нестоличной гимназии грызли гранит науки С. Т. Аксаков, Н. И. Лобачевский, А. М. Бутлеров!

Державин доживёт и до открытия Казанского университета — это случится в 1804 году. Третий в России университет закрепил значение Казани — важнейшего из нестоличных городов империи.

Но до поры до времени главным содержанием жизни недоросля Державина были мелкопоместные дрязги. Войны с соседями — обыкновенное явление помещичьей жизни того времени. Куда там Ивану Ивановичу с Иваном Никифоровичем!

Доносами и вилами, огнём и отравленным пойлом — каждый пытался унизить, даже уничтожить ближнего. Кто был прав — Державин или Чемадуров? Разговоры Державина о ядовитой медовухе не внушают доверия. Не поверили Роману Николаевичу и чиновники. Но вполне вероятно, что самодур Чемадуров пытался спровоцировать соседа, чтобы превратить его в посмешище, унизить, растоптать морально, а то и физически.

И до, и после женитьбы Роман Державин враждовал с соседями. Зато боевые сослуживцы его любили. За открытый нрав, за добродушие, а главное — зато, что, при очевидном усердии, он так и остался неудачником, но не пытался поправить положение с помощью интриг и наветов.

Державины шумно враждовали не только с Чемадуровыми — в биографии поэта нельзя пропустить и фамилию Змиевых. Державины считали, что покойный помещик Андрей Никитич Змиев самоуправно завладел клочком державинской земли в Сокурах. Война между Державиными и Змиевыми шла

ожесточённо — то в шекспировском, то в гоголевском стиле. Дворовые Державиных изловили и ощипали индеек, принадлежавших Змиевым. Когда скотница Змиевых пожаловалась Фёкле Андреевне Державиной — барыня огрела её палкой. Крестьяне и бары дрались, переругивались, воровали друг у дружки баранов и уток, а главное, склочничали неустанно.

Державин был старшим сыном — и всегда верховодил в ребячьих делах. Младший его брат Андрей умрёт в молодые годы, сестра Анна — и вовсе во младенчестве. Гаврила считался резвым, смышлёным ребёнком, Андрей — ласковым и смирным. Первый стал любимцем отца, второй крепче держался за материнскую юбку.

Ганюшка рано выучился читать — ему и пяти лет не было, когда, на радость матери, он принялся декламировать по книжке священные тексты. Более сложным навыкам чтения и письма учил Державина местный дьячок. Ганя бойко постигал науки, снова и снова перечитывал и не без артистизма декламировал малопонятные строки…

Державины кочевали по России, такова офицерская судьба. Как только родился Андрей, семья переехала в Яранск, под Вятку. Потом Роман Николаевич служил в Ставрополе-на-Волге, а в 1749 году царская служба довела их до Оренбурга.

Между тем Ганюшке шёл седьмой годок — приближалось время первого экзамена. Первый русский император, ратуя за просвещение, считал начальное образование обязательным для каждого дворянина. Воспетая в одах Тредиаковского императрица Анна Иоанновна, покровительствуя просвещению, ввела обязательные экзаменационные «смотры» семилетних недорослей. Что ж — первый смотр прошёл благополучно, в оренбургском губернаторском доме. «Гаврила по седьмому, а Андрей по шестому году уже начали обучаться своим коштом словесной грамоте и писать, да и впредь де их, ежели время и случай допустит, желает оный отец их своим же коштом обучать арифметике и прочим указным наукам до указных лет». Следующий смотр — через пять лет, к двенадцатилетию.

Оренбургским губернатором был тогда знаменитый Иван Иванович Неплюев — выдвиженец Петра Великого, дипломат, энергичный управленец. Оренбург в те годы отстраивался заново, на новом месте — чуть ниже по течению Урала, который в те времена — до разгрома Пугачёвского восстания — ещё назывался Яиком.

В тех краях лучшие работники для казённых нужд — арестанты и ссыльные. Предприимчивый каторжанин, немец Иосиф Розе, выдававший себя чуть ли не за учёного, учредил в

Оренбурге частную школу. Из всех наук Розе знал только немецкий язык — да и то хаотично, без представлений о грамматике. Буйный нрав учителя не оставлял сомнений: на каторге он оказался вполне заслуженно, Фемида в этом случае не сплоховала.

Державин вспоминал: «Сей наставник, кроме того, что нравов развращенных, жесток, наказывал своих учеников самыми мучительными штрафами, о коих рассказывать здесь было бы отвратительно, был сам невежда, не знал даже грамматических правил, а для того и упражнял только детей твержением наизусть вокабол и разговоров, и списыванием оных, его Розы рукою прекрасно однако писанных. Чрез несколько лет, посредством таковаго учения, разумел уже здесь упомянутый питомец по-немецки читать, писать и говорить». Всю жизнь Державин будет время от времени упражняться в немецком, а другого иностранного языка толком не выучит. Зато из немецкой поэзии почерпнёт немало открытий. Приохотить к математике или географии Розе был не способен — и по невежеству, и по отсутствию педагогических способностей. Все биографы Державина сравнивали Розе с Вральманом — героем комедии Фонвизина.

Гаврила и без уроков Розе тянулся к учению. Отец его разъезжал по сельской местности, занимался межеванием — и помогал ему в этом специально офицер-геодезист. Он дал любознательному Ганюшке первые уроки черчения.

«И, как имел чрезвычайную к наукам склонность, занимаясь между уроков денно и нощно рисованию, но как не имел не токмо учителей, но и хороших рисунков, то довольствовался изображением богатырей, каковые деревянной печати в Москве на Спасском мосту продаются, раскрашивая их чернилами, простою и жжёною вохрою, так что все стены его комнаты были оными убиты и уклеены». Рисование стало первым серьёзным увлечением Ганюшки — творческая страсть захватила его.

Навсегда запомнил Гаврила первое путешествие в Москву — вместе с отцом. Огромная покатая Красная площадь, Кремль, битком набитый храмами и теремами, шумная и богатая торговля повсюду — и конца-краю не видно домам, среди которых попадаются и каменные. Но куполов, кажется, больше, чем жилых домов! Ганюшка немало повидал городов, но с таким величием встретился впервые. Августейшая императрица Елизавета Петровна, в отличие от своего великого отца, любила Первопрестольную. Навсегда полюбил её и Гаврила Державин.

В Москве должна была решиться судьба Ганюшки. Роман Николаевич мечтал пристроить сына в Сухопутный шляхетский

корпус — лучшего учебного заведения и представить было нельзя. Кроме того, сына можно было зачислить в какой-нибудь полк — конечно же гвардейский.

В военной коллегии Роман Николаевич, частенько прихварывавший, хлопотал о собственной отставке. Его обещали произвести в полковники. Но — пока суд да дело — у подполковника закончились деньги. А откуда взять средства для обучения в кадетском корпусе?.. Пришлось возвращаться в Казань несолоно хлебавши.

В конце января 1754 года старший Державин получил заветную бумагу об увольнении из армии. В ней шла речь и о «полковничьем ранге», к которому отставника, известного беспорочной службой, обещали представить.

Только-только Роман Николаевич в чине подполковника вышел в отставку, только поверил, что дела его исправятся — как болезнь скрутила его. В ноябре 1754 года семейство осиротело.

В селе Егорьеве, при храме, похоронили несчастного офицера. Служил, иногда веселился и шумел, экзаменовал сына по черчению, рассказывал об армии — и вдруг его не стало. Рыдания, молитва — и чёрная бездна. Сельский батюшка произносил утешительные речи о лучшем из миров — притягательные, таинственные слова. Всю жизнь перед этой неисчерпаемой тайной Державин преклонял колена. А жизнь у них пошла плачевная, сиротская.

«И таким образом мать осталась с двумя сыновьями и с дочерью одного году в крайнем сиротстве и бедности; ибо, по бытности в службе, само-малейшия деревни, и те в разных губерниях по клочкам разбросанныя, будучи неустроенными, никакого доходу не приносили, что даже 15 р. долгу, после отца оставшаго, заплатить нечем было».

Пятнадцать рублей долга! За каких-нибудь 100 рублей Фёкла Андреевна была готова заложить почти все земли! Нищенские бюджетные ориентиры — воистину, потомкам мурзы Багрима, аристократам из «Бархатной книги», приходилось считать копейки.

После смерти Романа Николаевича оживились недруги Державиных — соседушки-помещики, которые побаивались подполковника. Вдову оттесняли со спорных клочков земли, каждый старался обворовать семью, оставшуюся без защитника. Её жизнь переместилась в негостеприимные кабинеты столоначальников:

«Мать, чтоб какое где-нибудь отыскать правосудие, должна была с малыми своими сыновьями ходить по судьям, стоять у них в передних у дверей по нескольку часов, дожидаясь их выходу; но

когда выходили, то не хотели никто выслушать её порядочно; но все с жестокосердием её проходили мимо, и она должна была ни с чем возвращаться домой со слезами, в крайней горести и печали, и как не могла нигде найти защиты, то и принуждена была лучшия угодья отдать записью купцу Дрябову за 100 рублей в вечную кортому». В кортому — значит, в откуп, в аренду. То есть купец намеревался заработать на державинских угодьях куда больше жалких (даже по тем временам) 100 рублей. Богатство оборотистого купца приумножалось, на державинской земле Дрябов построил сукно-валяльную мельницу, поставлявшую сырьё для суконной фабрики, известной на всю губернию. Дрябов знай себе подсчитывал барыши, а тут 100 рублей… Такие деньги добывают не на барские прихоти, а на кусок хлеба. А Державин поглядывал на чиновников, на просителей, привыкал к кабинетной пыли и коридорной грязи.

Детство, полное унижений и обид, частенько предшествует победной судьбе выдающегося деятеля. В «Записках» Державин скупо пишет о личном, но те, первые, раны и в глубокой старости ныли: «Таковое страдание матери от неправосудия вечно осталось запечатленным на его сердце и он, будучи потом в высоких достоинствах, не мог сносить равнодушно неправды и притеснения вдов и сирот». О, не только «притеснения вдов и сирот» не мог сносить равнодушно Державин! Любая судебная несправедливость (подлинная или мнимая) вызывала в его душе бешеную ярость. Сколько сил, сколько здоровья загубит Державин в бесплодных бюрократических сражениях, которые разгорались вокруг судебных разбирательств… Психологи любят всё на свете объяснять детскими впечатлениями — вот тут-то им и раздолье.

В одной из самых нашумевших своих од Державин напишет:

А там! — вдова стоит в сенях
И горьки слезы проливает,
С грудным младенцем на руках,
Покрова твоего желает.

Не ошибёмся, если увидим здесь горестные детские впечатления. Гавриле уже исполнилось одиннадцать, Андрею — десять, они всё примечали, запоминали. Другой бы после этого навсегда возненавидел спёртый воздух присутственных мест, но герой XVIII века рассуждал благоразумнее нас.

Державин взвинченно, с перехлёстом, верил, что исправить ситуацию можно юридическими мерами: сперва принять справедливые законы, а после — приучить соотечественников неукоснительно исполнять спасительные правовые нормы.

Честный суд он воспринимал как земной аналог Страшного суда:

Нет! знай, что Правосудья око,
Хоть бодрствует меж звезд высоко,
Но от небес и в бездны зрит:
Тех милует, а тех казнит
И здесь, в сей жизни скоротечной,
И там, и там, по смерти, в вечной…

Сто раз он мог разочароваться в юридическом вареве, в обманчивой мудрости законов. Но упрямство было и вторым, и первым счастьем, а также всегдашним несчастьем Державина. Уважение к законам — основа Просвещения, без него невозможно разумное устройство земной жизни. Такие убеждения Державин почерпнул из трагедий Сумарокова, из од Ломоносова — то были первые и сильнейшие литературные впечатления казанского (но не фонвизинского!) недоросля.

Державин благодарно помнил, что даже в годы мытарств мать не забывала позаботиться о просвещении сыновей. Нужно было готовить братьев к экзаменам по арифметике и геометрии. Сама Фёкла Андреевна не превзошла премудрости этих наук. Лучших учителей, чем будущие офицеры, в округе не нашлось. В Казани проживало немало дворянских семей, но система домашнего образования в России ещё не сложилась: располагая большими деньгами, можно было выписать учителя из Москвы, но мало кто на такое решался.

В те годы единственным светским учебным заведением в Казани была гарнизонная школа. Назвать подобные школы очагами просвещения не решались даже благодушно настроенные современники, но других грамотеев, помимо военных, в округе не водилось. Эти хотя бы умели читать, писать и считать. Да и опытом отличались: каждый успел «проездиться по Руси».

Сперва за небольшую плату наняли воспитанника гарнизонной школы Лебедева, а позже — штык-юнкера Полетаева. Они не были самодурами вроде каторжника Розе, но наилучшим образом пребывали в непроходимом невежестве. Правда, Державин каждое арифметическое действие схватывал на лету и считал в уме быстрее своих нерадивых учителей. Полетаев чертил фигуры, не помышляя о евклидовых теоремах… Державин полюбил черчение пуще всех наук. Главное, что в те годы он уже стал способным самоучкой: перечитывал книги, прислушивался к разговорам, отовсюду извлекал полезную информацию.

Фёкла Андреевна помнила о планах покойного Романа Николаевича — и, когда Гавриле исполнилось 12 лет,

направилась в Москву, чтобы пристроить его в полк. Но сперва нужно было доказать дворянское происхождение Державиных — а малограмотная Фёкла Андреевна историю рода знала прескверно. Выручил подполковник Дятлов — по-видимому, не только дальний родственник, но и искренний приятель Романа Николаевича. Дятлов жил в Можайском уезде. Пришлось посетить и его… Дятлов приехал в Москву и с лёгкостью, а также с чувством, толком и расстановкой рассказал, кому следует, про мурзу Багрима и его славных потомков. Но время шло, наступила зима — и путь в Петербург представлялся для вдовы мучительным. Она решила вернуться в Казань, чтобы на следующий год, вместе с сыновьями, проехаться по столицам.

Но тут Державиным — а особенно Ганюшке — в первый раз (зато во весь рот!) улыбнулась удача.

АЛЬМА-МАТЕР

То было первое и последнее учебное заведение в жизни будущего академика и действительного тайного советника Державина. Его записали в гимназисты в числе первого десятка казанских мальчиков. Примерно в те же годы начал постигать основы наук и Г. А. Потёмкин — но разве можно сравнивать уровень педагогов, которые обучали двух дворян-современников? Да, Потёмкины были богаче Державиных, они крепко стояли на ногах. Будущий князь Таврический рано остался сиротой — но его пригрели московские родственники. У вдовы Державиной не нашлось преуспевающей родни. И если бы нашему знаменитому меценату не пришла в голову идея организовать в Казани гимназию — неизвестно, в каких полках погряз бы Гаврила Державин…

Организатор и благотворитель Московского университета, меценат и просветитель Иван Иванович Шувалов понимал: просвещение потребно не только в столицах. Дворяне из Саратова, Казани, Нижнего Новгорода не имели возможности учиться в московских гимназиях. Что же, им пребывать в пучине невежества? Иван Иванович ведал, что даже зажиточные помещики неразборчивы к выбору учителей: парикмахеры и мелкие торговцы из Германии становятся в России проводниками наук, а точнее — невежества.

Сенатский указ от 21 июля 1758 года возвещал: «Для размножения наук, об учреждении в Казани гимназий к обучению дворян и разночинцев, с такими же выгодами, как и в Московском университете, и об отправлении туда из оного университета учителей и о бытии им на сумме университетской, — быть по тому Московского университета представлению»; далее предписывалось казанской губернской канцелярии приискать пригодное для гимназии помещение и «чинить должное вспоможение, по обстоятельствам, без опущения времени».

Альма-матер Державина заслуживает доброго слова — напрасно про неё подчас вспоминают с пренебрежением. Замечательное учебное заведение, которое останется в истории российского просвещения. С этой гимназии началось становление Казани как университетского города. Как-никак, первая нестоличная гимназия Российской империи.

Шувалов намеревался открыть в изрядно обрусевшей древней татарской столице сразу две гимназии: для дворян и для разночинцев — под крылом Московского университета. На разведку в Казань приехал московский учитель, капитан фон

Траубенталь. Он станет обучать казанцев истории и географии.

Командиром гимназии (так тогда называлась директорская должность), к счастью для Державина, назначили Михаила Ивановича Верёвкина. Он посоветовался с Траубенталем — и быстро выбрал дом для гимназии. Двухэтажный, каменный дом Кольцова наняли за 15 рублей в месяц. Добротное, но полузаброшенное здание нуждалось в ремонте.

Кем он был, Михаил Иванович Верёвкин, прибывший из Москвы удельный князь казанского Просвещения?

По преданию, родоначальник фамилии — ордынский выходец — получил от великого князя Ивана III почётное прозвище «Верёвка» за то, что ловко развернул пред князем свою дружину в линию, как по верёвке.

Истинный служитель Просвещения, он учился в кадетском корпусе вместе с Сумароковым и Херасковым. Как и они, не стал офицером, посвятил себя литературе, науке, школе. Верёвкину нельзя отказать в литературной одарённости: он пробовал себя в драматургии, в поэзии, наконец, вскоре после смерти великого учёного благоговейно написал биографию Ломоносова, изданную в собрании сочинений Михаила Васильевича. Долго он будет служить литературе — и полное собрание его собственных сочинений составило бы 150 томов. Но призванием Верёвкина была не литература, а сцена! Никогда прежде Державин не сталкивался со столь артистичными баечниками. Верёвкин лихо завоёвывал любую аудиторию остротами, анекдотами, рассказами. Державин всякий раз старался запомнить верёвкинский рассказ, чтобы при случае блеснуть в обществе. Вдобавок директор гимназии оказался ловким карточным фокусником. А мир четырёх мастей манил Державина сильнее, чем литература, чем царские дворцы…

В Казани свирепствовал книжный голод. Не хватало учебников, пособий. Верёвкин забрасывал Московский университет просьбами о доставке учебников, книг, журналов. Всё это стоило дорого. Ему было, на что пожаловаться. Денег на содержание гимназий требовалось по 476 рублей 32 копейки на треть учебного года, а университет высылал только по 250 рублей, так что «гимназические чины, будучи все бедные и имея почти все самое малое жалованье, нищенствовать принуждены», — писал командир университетским властям, выпрашивая очередную книгу.

Не было науки, к которой Державин относился бы равнодушно. Чертить и рисовать он уже давно умел не хуже любого опытного офицера. Всё, что можно было прочитать, — проглатывал неудержимо, а потом перечитывал с наслаждением.

Из иностранных языков предпочитал немецкий, к которому мерзавец Розе приохотил его на всю жизнь. В те годы многие дворяне уже впадали в преклонение перед иностранной культурой и европейскими языками. Давно замечено: многое в казанской эпопее Державина напоминает пьесы Фонвизина — то «Бригадира», то «Недоросля». Но Гаврила Романович счастливо избежал галломании, а с проявлениями «низкопоклонства перед Западом» боролся не менее страстно, чем Ломоносов или Суворов. Впрочем, до Казанской гимназии первоначальных лет лютая и повальная галломания ещё не докатилась.

Державина привлекали загадки Востока, пряная арабская экзотика, отзвуки которой можно было расслышать в Казани всегда, даже в годы притеснения магометан.

Мудрец Верёвкин предлагал открыть при гимназии класс татарского языка: «Рассуждая, что здешний город есть главный целого царства, имевшего национальный диалект, не повелено ли будет завести при гимназии класс татарского языка? Со временем могут на оном отыскиваемы быть многие манускрипты; правдоподобно, что оные подадут некоторый, может быть и немалый, свет в русской истории». От этой новации поначалу отмахнулись, и, по большому счёту, татарский язык стал языком светского просвещения и получил государственную поддержку только во времена наркомпроса Луначарского. Но и старания Верёвкина не пропали втуне: через десятилетие в гимназии сложится недурственная лаборатория по изучению восточных языков: татарского, калмыцкого, монгольского, турецкого, арабского, персидского, армянского и даже китайского.

По субботам Верёвкин устраивал «конвенты» — собрания педагогов и попечителей гимназии. На них открыто говорили обо всём наболевшем, а нередко — спорили на повышенных тонах.

Казанский епископ Гавриил (Кременецкий) симпатизировал бескорыстному, прямодушному командиру гимназии. Чем мог, он помогал гимназии, по праздникам непременно посещал этот храм науки, знал в лицо всех гимназистов.

Гимназия должна была активно содействовать просвещению — не только на ниве школьного или университетского образования. Губернатор князь Тенишев на некоторое время приблизил Верёвкина, осыпал его почестями, но полномочия гимназического командира оставались туманными, загадочными. Сам Михаил Иванович был убеждён, что гимназия должна облагораживать губернию. А поволжские уездные города мало чем отличались от разросшихся сёл. Ни дорог, ни каменных зданий, ни площадей… И нравы самые буколические. Верёвкин создавал планы городов, ориентируясь на германскую

упорядоченность. Вообразим: пришлый просветитель привозил в городок огромные железные рамы с цепями. Плечистые волжские бурлаки таскали эти рамы по непролазным улицам — и, если угол какого-нибудь дома мешал прямому движению рамы, Верёвкин произносил неумолимое: «Ломать!» Целеустремлённый, не сомневавшийся в своей правоте просветитель был крутенек, если видел, что на пути Просвещения вырастает помеха. Он покрикивал на купцов, властной дланью приостанавливал движение судов, нисколько не опасаясь недовольства. Вот что такое настоящая благородная ретивость — примечал будущий губернатор и министр.

Так было и в Чебоксарах, где первым помощником Верёвкина стал гимназист Державин.

Огромный чертёж, над которым колдовал Гаврила, не помещался ни в одной зале. Не нашлось в Чебоксарах столь огромных комнат! С трудом разыскали подходящий чердак длинного купеческого дома — там и разместился Державин. Грандиозные планы Верёвкина по большей части так и остались в чертежах. Чебоксарские купцы и дворяне не собирались перестраивать свои дома, корёжить сады, ломать амбары… Ради чего? Ради германского идеала? Наблюдая за стараниями Верёвкина, они в лучшем случае улыбались в бороды. Даже самый благодушный домовладелец, прослышав о таком Верёвкине, ощущал прилив литературного вдохновения и сочинял донос. Из всех даров Просвещения именно донос наши соотечественники, как и их европейские современники, воспринимали с особым творческим воодушевлением.

26 апреля, в день открытия Московского университета, в гимназии устроено было торжественное празднество, которое Верёвкин, боровшийся с нищетой школяров и педагогов, использовал для привлечения меценатов. Праздник прошёл победно, о чём командир школы радостно доносил начальству: «После молебна духовные и светские чиновные люди с магистратским президентом и богатейшими купцами вошли в аудиторию. Речи были французские, немецкие, латинские и русские. Истинно, м. г., слёзы от удовольствия многие проливали. После речей все слушатели, числом 117 человек, обедали. Три длинные линии столов касались между собой концами; на отдалённых концах поставлены были изображения частей света, по которым распространяются области всемилостивейшей нашей самодержицы, Европы, Азии и Африки (?! — *А. З.),* украшенные террасами и деревьями вокруг, а в средине или в стечении столов сделана была крутая, каменистая и ущелистая гора, с преузкими и претрудными тропинками к вершине; сто человеческих фигур,

имея в руках книги и равные инструменты, идут по ним; многие, как, напр., искатели философского камня и сочинители гороскопов, падают почти при самом начале своего пути, другие свергаются с четверти и с половины горы; премалое число карабкающихся достигают до вершины, которая имеет форму долины, обросшей пальмовым лесом. Аполлон, девять сестер Парнасских, господа Ломоносов и Сумароков повинуются повелению Юпитерову, присланному к ним чрез Меркурия, имеющего в одной руке вензелевое имя ея императорского величества, а в другой свою кадюсею, которою даёт знак парнасским жителям, указывая на имя государыни, чтоб, оставив все древние и новые объекты, достойнейшую пред всеми превозносили вечными похвалами. Меркурий, летящий вниз, был так искусно прикреплён на тонком волоске, что я сам, то зная, не мог видеть волоса. После обеда, когда начало смеркаться, я своих гостей повёл в комедию. Представлена была пьеса „Школа мужей“. Вот, м. г., и в Татарии уже Мольер известен! Театр, ей-Богу, такой, что лучшего желать нельзя: партер, обитый красным сукном, на 12 лавках поместил 400 человек; в парадизе такая была теснота, что зрители казались картиной. Актёрам надавали денег столько, что я их теперь могу одеть в непостыдное платье. После комедии был ужин, бал, игра и разговоры о науках».

Праздник укрепил авторитет школы — и дело мало-помалу пошло.

Державин вспоминал: «В училище преподавалось учение языкам — латинскому, французскому, немецкому, арифметике, геометрии, „танцеванию“, музыке, рисованию и фехтованию; однако, по недостатку хороших учителей, едва ли преподавание шло с лучшими правилами, чем прежде. Более ж всего старались научить — читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматике и быть обходительным, заставляя сказывать на кафедрах сочинённые учителем и выученные наизусть речи; также представлять на театре бывшие тогда в славе трагедии Сумарокова, танцевать и фехтовать в торжественных собраниях по случаю экзаменов, что сделало питомцев хотя в науках не искусными, однако же доставило „людкость“ и некоторую развязность в обращении».

Закон Божий преподавали только по воскресеньям и праздникам: всё-таки гимназия была светским учебным заведением. Епископ направил в гимназию лучшего своего семинариста — Григория Котельницкого. Державин никогда не порывал с церковью — и в этом можно увидеть заслугу отца Григория. Хотя, в отличие от Потёмкина и Суворова, Гаврила Романович никогда не подумывал посвятить себя Церкви

Христовой, стать священником или монахом. Он оставался православным мирянином, который порой не прочь и пошалить.

На склоне лет Державин сетовал: «Недостаток мой исповедую в том, что я был воспитан в то время и в тех пределах Империи, когда и куды не проникало ещё в полной мере просвещение наук не токмо на умы народа, но и на то состояние, к которому принадлежу. Нас научали тогда вере — без катихизиса; языкам — без грамматики; числам и измерению — без доказательств; музыке — без нот, и тому подобное. Книг, кроме духовных, почти никаких не читал». На книги он накинется в Петербурге и Москве, когда станет солдатом. И, как бы ни пожимали плечами утончённые скептики, самообразование поможет ему стать знатоком литературы, истории Отечества, правоведом и ценителем искусств. Одна недоработка бросалась в глаза, когда Державин попадал в высокообразованные круги: он дурно знал иностранные языки, кроме немецкого. А немецкий со времён Петра Великого уступил позиции, вышел из моды. Галантный век желал изъясняться по-французски, но Державину этот грассирующий язык не давался… С шедеврами французской литературы (обязательное чтение для классициста!) он знакомился по немецким переводам, а также по переводам и рассказам просвещённых друзей.

Но возвратимся в «школьные годы чудесные» — тем более что Ганюшке удалось отличиться.

В университетской газете «Московские ведомости» фамилия Державина значилась среди лучших учеников Казанской гимназии. Особенные успехи Гаврила делал в рисовании и черчении. Зоркий глаз, чувство гармонии, уверенная рука… Но главные успехи пришли чуть позже.

Летом 1761 года Верёвкин снарядил новую экспедицию — куда интереснее прежних. Это была настоящая научно-исследовательская работа. Сам Иван Иванович Шувалов поручил Верёвкину устроить археологические раскопки в городе Болгары, составить описание этого древнего поселения. Столица Волжской Булгарии к тому времени опустела, но там сохранялись каменные постройки XIII–XV веков — свидетели многих сражений.

Гимназистов привезли в Болгары, расселили; Верёвкин распределил обязанности. А потом ему пришлось возвращаться в Казань. Подростки остались без наставника. Кто знает, может быть, таков был педагогический замысел директора гимназии — окунуть гимназистов в стихию самостоятельной профессиональной деятельности? Без руководителей, нянек и провожатых. Михаил Иванович оказал честь Державину: оставил его за старшего. Все гимназисты и рабочие, принимавшие участие

в раскопках, должны были ему подчиняться. А ведь иные одноклассники Державина принадлежали к самым состоятельным семьям Казани!

Существует миф о Державине-самородке, который достиг высот в поэзии и политике исключительно благодаря природному дарованию. Но Державин не был неотёсанным гением. В Казанской гимназии он нашёл талантливых учителей, прививших ему не только знания, но и стремление к самообразованию. Державин всю жизнь много читал — по-русски и по-немецки. Интересовался не только поэзией и филологией, но и историей, философией, богословием.

XVIII век называют веком Просвещения. Это сложное, многосмысловое понятие, но несомненно одно: педагоги в те годы воспринимали школу как великое служение, способное облагородить мир. Вера в науку окрыляла учёных, среди них было немало энергичных первопроходцев, истинных пассионариев, если воспользоваться привычной для нас терминологией Л. Н. Гумилёва.

Державин был гражданином своего Отечества и своего времени, а лучше сказать — подданным. Патриотические замашки привил ему всё тот же Верёвкин.

И в Казанской гимназии учителя не просто отбывали номер, а осознавали себя участниками великого дела. Ощущение большого свершения окрыляло. В России педагогов вдохновлял образ Ломоносова. Верёвкин не просто преклонялся перед своим великим тёзкой, он изучал наследие Ломоносова. Читал с гимназистами не только самые известные, парадные стихотворения Михайлы Васильевича, но и его записки, полные созидательного пафоса, пафоса Просвещения. Много лет спустя Державин напишет:

> Се Пиндар, Цицерон, Вергилий — слава россов,
> Неподражаемый, бессмертный Ломоносов.
> В восторгах он своих где лишь черкнул пером,
> От пламенных картин поныне слышен гром.

Конечно, Державин вспоминал уроки Верёвкина, когда продолжал осмысление наследия великого Ломоносова. Державин не мог разобраться в его химических и физических открытиях. Зато поэзия Ломоносова была для него университетом, хотя некоторые ломоносовские оды к 1770-м годам уже казались архаичными. Но масштаб личности русского гения был ведом Державину — по урокам Верёвкина.

Сохраним благодарную память о Казанской гимназии,

воспитавшей Державина! Не окажись в Казани славный Верёвкин — Гаврилу Романовича вряд ли заметил бы Иван Иванович Шувалов. А Шувалов сыграет в судьбе Державина роль доброй феи. Трудно представить себе участь солдата Державина, если бы не Шувалов…

В 1761 году умерла императрица Елизавета Петровна. Для империи начались трагичные времена: новый император Пётр Третий предал русскую армию, с победами потеснившую Фридриха Прусского в годы Семилетней войны. Случилось «Чудо Бранденбургского дома»: Фридрих избежал стратегического поражения и обрёл в лице русского императора верного и влиятельного поклонника. Пруссаки, да и все немцы надолго запомнили это спасение, неожиданно свалившееся с небес. Гитлер в 1945-м не раз вспоминал об этом, надеясь на историческую аналогию. Но чудеса редко повторяются, на то они и чудеса.

Подолгу просиживал Державин в гимназической библиотеке. Он открыл для себя поэзию. Сначала — Ломоносов. Вершина поэзии Ломоносова — духовная лирика, размышления о величии Божьего мира, вариации на темы Давидовых псалмов. Поэзия молитв и дерзновенных прозрений. Затем — Сумароков. В России в те годы уже выходили литературные журналы — «Полезное увеселение», сумароковская «Трудолюбивая пчела», наконец, «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие».

Сумароков писал о высоком предназначении дворянина, это вдохновляло. Писал небанально, подчас — против шерсти, против общественного мнения. Поэтические авансы пробуждали амбиции, заставляли провинциальных дворянских сынов внутренне приосаниться.

Но Сумароков был где-то далеко, в блестящих столицах, в ореоле славы. А для Державиных и 15 рублей отцовского долга после смерти кормильца стали почти непосильной ношей.

В 1760 году Верёвкин обрадовал Державина: за успехи в черчении и рисовании юный гимназист получил звание кондуктора Инженерного корпуса. Это Шувалов распределял гимназистов по полкам в зависимости от способностей, проявленных в чертёжных работах. Державина отличили: на гимназических праздниках отныне он красовался в специальном инженерном мундире. Эта честь сулила быструю карьеру в Инженерном корпусе после выпуска из гимназии. Но в начале 1762 года в гимназию пришла официальная бумага: Державину немедленно явиться в Преображенский полк! Видимо, Шувалов по ошибке вписал Державина в гвардию. Вот и вышло, что чертёжные заслуги гимназиста оказались не в счёт… К тому же

государь приказал всем преображенцам прервать отпуска — в том числе и учебные. Вышло, что Державин, сам того не желая, уже опоздал явиться в гвардию, уже просрочил. Пришлось прерывать учёбу в гимназии. Так навсегда Гаврила Романович остался недоучкой. Фёкла Андреевна расщедрилась: дала сыну на дорогу 100 рублей. Этих денег ему хватит надолго.

Покойный отец не желал для сына гвардейского будущего: он резонно считал, что эти полки не для бедняков. Гвардейская служба началась с ошибки и упрёков в том, что Державин с опозданием явился в полковую канцелярию.

Казань Казанью, но Петербург в те времена уже был тем чудом света, которое известно и нам — с петропавловским шпилем, Адмиралтейством и Зимним дворцом. Правда, ещё без Медного всадника и Исаакиевского собора. Но Неве уже было свойственно державное течение, в чём и убедился Державин. Манила и матушка-Москва — неисчислимыми куполами, богатырской статью Кремля. Гвардейская служба проходила в обеих столицах.

ПРЕОБРАЖЕНЕЦ

Мечтал ли Державин о гвардии? Пожалуй, перспектива гвардейской службы страшила его. Не было службы престижнее, чем Преображенский полк. Но Державин в свои 18 лет стал рядовым — таким же, как рекруты, набранные из крепостных. Слуг у него не было, и поселился Державин в одной казарме с солдатами. Семейные здесь соседствовали с холостяками. За пустяковую плату солдатки подкармливали и обшивали гвардейца.

Перво-наперво его принялись обучать ружейным приёмам и фрунтовой службе. Солдаты-гвардейцы выполняли и «дворницкие» повинности: чистили каналы, разгребали снег, благоустраивали дороги.

Державин и в юные годы прекрасно понимал, что без гроша в кармане в гвардии — не житьё. Неожиданное, нелогичное определение в гвардию стало первым и далеко не последним ударом судьбы, от которых Державин впадал в отчаяние.

Служить солдатом дворянину непросто, подчас невыносимо — особенно если чувствуешь себя просвещённым человеком. «В сей академии нужд и терпения я образовал себя», — говаривал Державин много позже. Правление Петра Третьего запомнилось гвардейцам как страда усиленной, невыносимой муштры, которая безраздельно торжествовала в армии.

В первые петербургские дни Державину удалось, отстояв свои права в канцелярии, избежать ареста за просрочку отпуска. Гаврила стал рядовым третьей (мушкетёрской) роты лейб-гвардии Преображенского полка.

Прусская муштра доводила до изнеможения — физического и нервного. К тому же Державин не видел перед собой манящей цели, все старания казались бесплодными. Разве что — отличиться на войне, но гвардию бросали в дело только в исключительных случаях. Его надежда — в «булгарских» бумагах. Что, если кто-то оценит его чертёжные и художественные таланты? И Гаврила разыскал своего любимого преподавателя, Михаила Ивановича Верёвкина. Учитель принял его радушно, он полюбил честность и старательность Державина, верил в его способности. Верёвкин сразу решил познакомить Державина с Шуваловым. И великий меценат принял Державина благосклонно, он готов был свести молодого чертёжника с полезными людьми. С рекомендацией Шувалова Державин, переполняемый надеждами, поспешил в Академию художеств. То был первый смутный проблеск будущей славы!

Мы знаем: ночь особенно темна перед рассветом. И вот, в самые безысходные дни, он увидел зарево!

В «Записках» Державин поведал о том событии: «Таковая неприятная жизнь ему наскучила, тем более что не мог он удовлетворить склонности своей к наукам; а как слышно было тогда, что Иван Иванович Шувалов, бывший главный Московского университета и Казанской гимназии куратор, которому он известен был по поднесённым, как выше явствует, болгарским бумагам, то и решился идти к нему и просить, чтоб он его взял с собою в чужие края, дабы чему-нибудь там научиться. Вследствие чего, написав к нему письмо, действительно пошёл и подал ему оное лично в прихожей комнате, где многие его бедные люди и челобитчики ожидали, когда он проходил их, дабы ехать во дворец. Он остановился, письмо прочёл и сказал, чтоб он побывал к нему в другое время». Так ему запомнилось.

Надоедать Шувалову частыми визитами Державин не стал, а в Академии художеств, по рекомендации мецената, молодого преображенца ожидал знаменитый гравёр, академик Евграф Чемезов:

«Сие было в великий пост. Чемезов принял Державина весьма ласково, хвалил его рисунки, которые в самом деле были сущая дрянь; но, может быть, для ободрения только молодого человека к искусствам были похваляемы, и приказал ему ходить к себе чаще, обещав ему чрез Ивана Ивановича найти средство и путь упражняться в науках».

Почему у этого счастливого дня не было благих последствий? Почему Державин не зачастил в академию, не стал упражняться в изобразительном искусстве и похоронил в себе этот талант? Да просто слишком много времени и сил отнимала муштра…

Правда, литературный труд уже приносил Державину висты. Он сочинял письма родным для преображенцев и их жён. Вместо оплаты товарищи выполняли за Державина наряды: ходили в караулы, плотничали. Для Державина каждодневным нарядом стало сочинительство.

В солдатах Державину приходилось нести повинности гвардейского курьера. Потомок грозного мурзы Багрима разносил приказы по офицерам.

В «Записках» Державин вспоминал — вроде бы иронически, но с затаённой горечью: «В одном из таковых путешествий случился примечательный и в нынешнем времени довольно смешной анекдот. Князь Козловский, живший тогда на Тверской улице, прапорщик третьей роты, известный того времени приятный стихотворец, у посещавшего его, или нарочно приехавшего славного стихотворца Василия Ивановича Майкова

читал сочинённую им какую-то трагедию, и как приходом вестового Державина чтение перервалось, который, отдав приказ, несколько у дверей остановился, желая послушать, то Козловский, приметя, что он не идёт вон, сказал ему: „Поди, братец служивый, с Богом; что тебе попусту зевать? ведь ты ничего не смыслишь“, — и он принужден был выдти». Обратим внимание: ведь Козловский служил в одной роте с Державиным. Но — князь, офицер (хотя и младший) — он пребывал как будто в другой галактике. А в золотые гимназические годы Державин был первым учеником, его отличали…

Это воспоминания старика, увенчанного литературными и государственными лаврами. Но обиды той он не забыл, помнил в интонациях и деталях реплики Козловского и Майкова. Он впервые увидел поэтов — настоящих! почти знаменитых! — стал свидетелем литературного разговора, почти что приобщился к тайнам творчества. И Козловского, и Майкова он ставил высоко и, конечно, хотел бы с ними побеседовать. Очень скоро Державин станет первым поэтом России и одним из самых влиятельных политиков империи. Он с улыбкой напомнит Майкову о их первом знакомстве. Майков, конечно, не вспомнит солдата, но сконфузится. А Козловскому Державин не сумеет напомнить о той встрече: храбрец погибнет в Чесменском бою.

В июне 1762 года братцы-преображенцы показали силушку так, что Европа содрогнулась. Для Державина всё началось трагически: слуга сослуживца украл у него все деньги да и скрылся… Вора поймают, деньги Державину вернут — но это случится чуть позже. Удручённый, занедуживший бродил Державин, как тень, а в городе развивались удивительные события.

«После обеда часу в 5-м увидели большую четырёхместную карету, запряжённую больше нежели в шесть лошадей, с завешенными гардинами, у которой на запятках, на козлах и по подножкам были гренадеры же во всём вооружении; а за ними несколько конного конвоя, которые, как после всем известно стало, отвезли отрёкшегося императора от правления в Ропшу, местечко, лежащее от Петербурга в 30 верстах к Выборгской стороне». Вот так власть и переменилась.

Июньские события Державин называл революцией. Хотя записывал он свои воспоминания, когда слово «революция» уже грозно звучало на весь мир и ассоциировалось с мятежной Францией, с гильотиной, с якобинцами, с войной на всю Европу. Такую революцию он считал преступной, а воцарение Екатерины одобрял. Но шумная пирушка над гробом несчастного императора — мистерия жутковатая.

Стояла жаркая погода. От быстрых переходов, солнца и вина Державина разморило. Винные погреба открывались перед победителями. «Пошёл пир на весь мир; солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили ушатами вино, водку, пиво, мёд, шампанское и всякие другие дорогие вина и лили всё вместе без всякого разбору в кадки и бочонки, что у кого случилось. В полночь на другой день с пьянства Измайловский полк, обуяв от гордости и мечтательного своего превозношения, что императрица в него приехала и прежде других им препровождаема была в Зимний дворец, собравшись без сведения командующих, приступил к Летнему дворцу, требовал, чтоб императрица к нему вышла и уверила его персонально, что она здорова».

Все старательно делали вид, что престол заняла законная государыня. Предстояла коронация — венчание на царство в московском Успенском соборе. Эта церемония оставалась незыблемой со времён Иоанна Грозного. Преображенцев ждала Первопрестольная. Державин должен был своим ходом добраться до Москвы, провести там некоторое время в отпуску, а потом присоединиться к полку. Чуть ли не на последние деньги он купил кибитку и лошадь и направился из Петербурга в Москву, по будущему маршруту Радищева.

Вот это был пир во всю ивановскую. На площади, возле колокольни, стояли увесистые быки с начинкой: царское угощение. Рейнское вино лилось рекой и посверкивало в фонтанах. На древних, обветшалых стенах Кремля устроили сказочную иллюминацию.

«Государыня тогда часто присутствовала в Сенате, который был помещён в Кремлёвском дворце; проходя в оный, всегда жаловала чиновных к руке, которого счастия, будучи рядовым, и Державин иногда удостаивался, нимало не помышляя, что будет со временем ея статс-секретарь и сенатор». Не помышляя?

Неужели солдат Державин напрочь был лишён честолюбивых мечтаний? В гвардии он повидал немало: перевороты, карьерные взлёты молодых офицеров, шалости богачей… Императрица рядом. Не ровён час, попадёшься на глаза, отличишься. Но, конечно, в дни разочарований непросто было поверить в свою звезду. Ещё и проклятая неуживчивость мешала ему завести надёжных друзей. Начинающему стихотворцу, который считал себя способным к наукам, был необходим меценат. И, казалось бы, до Шувалова было рукой подать. Вот он, случай! Державин твёрдо решил в Москве обратиться к Ивану Ивановичу.

Надолго Державин задержался в Москве. «На масленице той зимы был тот славный народный маскерад, в котором на

устроенном подвижном театре, ездящем по всем улицам, представляемы были разныя того времени страсти, или осмехалися в стихах и песнях пьяницы, карточные игроки, подьячие и судьи-взяточники и тому подобные порочные люди, — сочинение знаменитого по уму своему актёра Фёдора Григорьевича Волкова и прочих забавных стихотворцев, как то гг. Сумарокова и Майкова». Сколько лет прошло — а эту мистерию Державин не позабыл. Сильное впечатление — литературное, театральное, одно из первых…

О солдатской службе Державин вспоминал в жалобных тонах.

Поселили его с даточными солдатами во флигеле дома Киселёвых — то ли на Никитской, то ли на Тверской. Тщетно искал он уединение — чтобы поразмыслить, поупражняться в рисовании…

Даже пустяковый чин капрала не шёл к нему в руки. Некоторых нерадивых соратников повысили сразу, через несколько месяцев службы, а Державина — старательного, разумного — обошли. Почему?! Пришлось скомкать гордость и обратиться к майору Орлову — да-да, к тому самому екатерининскому орлу Алексею Григорьевичу. Орлов обещал разобраться — и вскоре несправедливость была исправлена. Это случилось в мае 1763-го, вскоре после переворота. Державин навсегда сохранит в сердце благодарное чувство к плечистому герою — и в 1796 году посвятит Алексею Орлову (в ту пору — далеко не самому влиятельному вельможе) пиндарическую оду «Афинейскому витязю».

Став унтер-офицером, Гаврила Романович решил показаться матери и отпросился в отпуск. В Казань он отправился в компании с другим капралом, Аристовым, и некой миловидной молодой особой, которая была дамой сердца Верёвкина. Аристов оказался третьим лишним, а у Державина с красавицей случилось «соединение их пламени». Правда, в Казани даму пришлось уступить учителю: любопытно, что в доме Верёвкиных ей пришлось уживаться с законной женой просветителя.

Вернувшись в Петербург, Державин поселился уже в офицерских казармах. Там было уютнее и сытнее, там капрал изведал соблазны разгульной жизни. Картам и вину офицеры и унтеры предавались с безудержной страстью!

От повседневных тягот отвлекали рифмы. Особенным успехом пользовались стансы, сочинённые в честь солдатской дочери Наташи. За эти стихи Державин удостоился шумных похвал Василия Неклюдова — находчивого унтер-офицера. Однажды Державин в солоноватых стихах высмеял любовную интрижку некоего полкового секретаря с женой некоего капрала.

Стихи дошли до настоящего полкового секретаря — и не на шутку его обидели.

Из-за этого Державин на несколько лет задержался в капралах. Секретарь всякий раз самоуправно вычёркивал его фамилию из списков, предназначавшихся для повышения в чине. Скромный капрал уже писал стихи едва ли не лучше всех в России. Ломоносова и Сумарокова за торжественные оды осыпали золотом, а никому не известный Гаврила Державин сочинил оду «Императрице Екатерине Второй», которая мало чем уступала ломоносовским образцам. И звучала самобытно, несмотря на неизбежное влияние того же Ломоносова…

Эту оду императрица, конечно, не прочитала. Не выпал случай. Но Державин верил в свою звезду. Откуда он взял столько стоического терпения? Он, порывистый, горячий «мурза»? Рядом с ним взмывали под облака фавориты императрицы. Одни «попали в случай», другим удалось отличиться в военных делах, третьим найти покровителей, влиятельных родственников. У Державина оставался последний шанс: снова напомнить о себе Шувалову. Иван Иванович, конечно, уже не был всесильным вершителем судеб, каким его сделала императрица Елизавета. Новые времена, новые фавориты. К славе «весёлой царицы Елисавет» Екатерина относилась ревниво. И всё-таки Шувалов в екатерининские годы несколько раз возвращался из европейского далёка и становился украшением екатерининского двора.

Сколько лет он покровительствует литературе, наукам, искусствам. Он — друг Ломоносова, первый русский меценат. На Шувалове много лет держался Московский университет, к которому, как известно, и Державин имел отношение — через Казанскую гимназию.

Но и у этой истории случилась муторная развязка.

«Но как дошло сие до тётки его по матери двоюродной, Фёклы Савишны Блудовой, жившей тогда в Москве, в своём доме, бывшем на Арбатской улице, женщины по природе умной и благочестивой, но по тогдашнему веку непросвещённой, считающей появившихся тогда в Москве масонов отступниками от веры, еретиками, богохульниками, преданными антихристу, о которых разглашали невероятные басни, что они заочно за несколько тысяч вёрст неприятелей своих умерщвляют и тому подобныя бредни, а Шувалова признавали за их главнаго начальника; то она ему как племяннику своему, порученному от матери, и дала страшную нагонку, запрети накрепко ходить к Шувалову, под угрозою написать к матери, буде ея не послушает. А как воспитан он был в страхе Божием и родительском, то и было сие для него жестоким поражением, и он уж более не

являлся к своему покровителю».

Вот так! По молодости страшнее тётки зверя не было… С надеждой на мецената пришлось распрощаться. Расположение Савишны в то время было для него важнее. Ну а Иван Иванович Шувалов, ясное дело, навязываться не стал, хотя Державина и не забыл. Пройдут годы — и Шувалов станет ценителем поэзии Державина, которого считал чуть ли не своим учеником.

Державин частенько бормотал про себя стихи — Ломоносова, Сумарокова, а иногда и свои собственные, с первыми проблесками поэзии. Живопись не пробуждала столь сильных фантазий, как поэзия. В стихах он становился могучим властелином и прославленным стихотворцем, который даёт советы царям. Успешным любовником, познавшим толк во всём потаённом. Трафареты есть и в живописи, и в поэзии. Но разве способны живописцы создавать столь грандиозные картины, которые легко удавались Ломоносову в громогласных ямбах? Поэзия преображает язык, превращает простую мысль в гражданскую молитву, которая необходима царям и народам. Державин уже мечтал влиять на умы, а не только радовать глаз! Впрочем, живопись до последних дней оставалась его увлечением. Лучшие русские художники станут его друзьями. Державин их не только привечал, но и понимал.

Впоследствии Гаврила Романович, более-менее разобравшись в масонстве (а кто в нём вполне разобрался?), конечно, не демонизировал вольных каменщиков, как тётка Фёкла. Но держался от лож подалее — даже когда водил дружбу с известными масонами.

Продолжалась солдатская служба — тяготы и безвестность. Одно утешало: запах весны, когда заканчиваются морозы. В тёплое время года молодой солдат хотя бы не хворал.

Капрал сумел расправить плечи лишь после того, как вместо злопамятного недоброжелателя полковым секретарём стал проверенный товарищ — Василий Неклюдов. «В сие время досталось Державину при производстве в полку чрез чин подпрапорщика в каптенармусы, а генваря перваго числа 1767 года — в сержанты», — вспоминал Гаврила Романович. Наконец-то он «вышел в люди»!

Но о чём мечтать, если даже сержантский чин приходилось ожидать годами?!

Вспомним: Суворов тоже много лет пребывал в «нижних чинах». Будущий генералиссимус по разным причинам долгие десятилетия не мог сделать карьеры, достойной его гениальных способностей. Но всё-таки он был представителем известной

фамилии, сыном генерала, вращавшегося в высшем свете. Наконец, он не знал нужды, хотя демонстративно избегал «роскоши, прохлад и нег». Александр Васильевич родился в достаточно состоятельной семье, и он сам, и отец его были рачительными хозяевами, благосостояние Суворовых неуклонно росло. А Державину приходилось постоянно думать о хлебе насущном. Безвестность, скромный чин и нужда — в таком замкнутом круге солдат Державин маялся много лет. Неудачник и бедняк. Но обида на горькую судьбину, верно, и сделала его поэтом.

Ему, конечно, не удавалось снять просторную квартиру. Несколько гуляк и горемык в одной комнате. Общежитие XVIII века, или казарма для младших командиров! Только ночами Державин мог всласть почитать, записать строки, приходившие на ум. Он видел себя то мурзой, то полководцем, то любимцем муз — таким, как прославленный француз Буало или диковатый англичанин Шекспир. А Гомер? Разве слепой греческий певец был богат и могуществен? Подвиги русской армии не уступали деяниям ахейцев. Где подвиги — там и поэзия — это правило Державин уяснил накрепко. Ломоносов воспевал победы русского оружия — чего стоит первая его ода — «На взятие Хотина». Знаменитые стихотворцы воспевают новые и древние подвиги россов — Василий Петров, Херасков. Но Державин не собирался повторять сложившиеся шаблоны торжественной оды. Уж слишком высокопарно выражаются наши поэты, слишком не по-солдатски. Они сильны в риторическом красноречии, знают толк в заковыристой элоквенции. Но сам Державин не хотел писать столь красиво и правильно. Вот если бы стих стал своенравным, колючим, даже несовершенным, как характер человека! Но так писать куда сложнее, чем наполнять словесами шаблоны великого Ломоносова… Державин не упустил этого рубежа в своей попытке самоанализа: «Он в выражении и стиле старался подражать г. Ломоносову, но хотев парить, не мог выдерживать постоянно, красивым набором слов, свойственного единственно российскому Пиндару великолепия и пышности. А для того с 1779 года избрал он совсем другой путь». Но это будет нескоро.

В новом чине (скромном, даже не офицерском) он хотел показаться матери — и отпросился в длительный отпуск, который стал для него, кроме прочего, и романтическим приключением. К этому времени Верёвкин вторично занял кресло директора Казанской гимназии — возможно, Державин пожаловался ему на солдатскую судьбину.

Только к новому, 1772 году, в 28 лет, Державин получает свой первый офицерский чин — он становится прапорщиком. По

этому поводу повеселился на дружеской пирушке, но на душе было муторно. Вот вопрос вопросов: откуда взять деньги на офицерский мундир? Перво-наперво Державин продаёт свою старенькую сержантскую форму, потом ему удаётся влезть в долги — и он приобрёл не только сапоги, но и скромную повозку. Помогли друзья — Окуневы, редко напоминавшие о долгах. Однако бедность не позволяла носить звание гвардейского офицера с приличием.

Жила в нём назойливая мечта: повоевать под командованием Румянцева, которого он считал не только лучшим русским генералом, но и мудрейшим человеком в России. Или нагрянуть в Польшу, чтобы в отрядах Суворова усмирять Люблин и Краков. В бою можно было отличиться — и вырваться из безвестности, а там и из нищеты. Но Преображенский полк не участвовал в войнах. Державин мог бы отправиться туда волонтёром, но проклятое безденежье не позволяло ступить и на эту стезю.

КАРТЁЖНИК ОЧУТИЛСЯ

У унтер-офицера Державина было две страсти: он любил испытывать судьбу в карточной игре и «марать стихи». Как там у Маяковского? «Карл Маркс играл не в азартные, а только в коммерческие игры». Коммерческие игры — это преферанс, вист, бридж и им подобные. Азартные — «двадцать одно», макао и т. д. Это картёжная рулетка, приманивание удачи. За несколько минут можно всё проиграть или выиграть. Державин надеялся, что карты помогут ему вырваться из нужды. Каждый игрок понимает, что карты порабощают, что это слабость, болезнь. Но как трудно эту сладкую болезнь преодолеть!

Здесь сделаем небольшое отступление, уж коли пришёл на память анекдот. Екатерина Великая по возможности боролась с азартными играми. Как-никак дворянство — опора трона, а карты — гибель для славных родов. Впрочем, к «коммерческим играм» императрица относилась терпимо, даже находила в них пользу. Известнейшим острословом того времени был Левашов. Императрица узнала, что он ночами напролёт режется в баккару и макао — и сказала ему с явным неудовольствием: «А вы всё-таки продолжаете играть!» — «Виноват, ваше величество: играю иногда и в коммерческие игры!» Ловкий и двусмысленный ответ обезоружил императрицу, вникавшую в гибкость русского языка. Но преображенцу Державину в Москве предстояло играть не с весельчаком Левашовым.

В те загульные дни он держался подалее от высоких материй — но уже писал весьма мастеровито. А низкий жанр в представлениях того времени — это и любовные песни в духе Сумарокова. Некоторые мотивы тогдашних опусов Державина перекликаются не только с линией Сумарокова — Нелединского-Мелецкого — Мерзлякова — Цыганова, но и с «Москвой кабацкой» Есенина:

Не сожигай меня, Пламида,
Ты тихим голубым огнем
Очей твоих; от их я вида
Не защищусь теперь ничем.

Хоть был бы я царём вселенной,
Иль самым строгим мудрецом, —
Приятностью, красой сражённый,
Твоим был узником, рабом.

Всё: мудрость, скипетр и державу
Я отдал бы любви в залог,
Принёс тебе на жертву славу,
И у твоих бы умер ног.

Но, слышу, просишь ты, Пламида,
В задаток несколько рублей:
Гнушаюсь я торговли вида,
Погас огонь в душе моей.

Возвышенное начало: Пламида! «Не сожигай меня…», а потом мы обнаруживаем, что прекрасная Пламида — дама зазорного поведения. Не по схеме сложены стихи.

В те времена светское общество терпимо относилось к карточному шельмовству. По церковным канонам это — падение, гибель, а по светским — «с кем не бывает». Никого не удивляло, если один из игроков исчезал, незаметно прихватив с собой весь банк. Одни — разорялись на картах, другие — уклонялись от долгов. Тут уж многое зависит от характера. Острых представлений о чести у тогдашнего дворянства не было: все плутовали в картишки, едва ли не каждый стремился убежать от расплаты.

Игра игре рознь. Скажем, «фараон» — не самый быстродействующий яд. В штосообразных играх всё-таки надобно размышлять и можно избрать более-менее осторожную стратегию. Другое дело — макао, о которой в 1777-м Державин писал то ли шутливо, то ли нравоучительно:

Бывало — друга своего,
Теперь — карманы посещают;
Где вист, да банк, да макао,
На деньги дружбу там меняют.
На карты нам плевать пора,
А скромно жить
И пить:
Ура! ура! ура!

В игроцком похмелье Державин набросал своё первое настоящее стихотворение — не с ломоносовского и не с сумароковского голоса напетое — «Раскаяние»:

Ужель свирепства все ты, рок, на мя пустил?
Ужель ты злобу всю с несчастным совершил?

Престанешь ли меня теперь уж ты терзати?
Чем грудь мою тебе осталось поражати?
Лишил уж ты меня именья моего,
Лишил уж ты меня и счастия всего,
Лишил, я говорю, и — что всего дороже —
(Какая может быть сей злобы злоба строже?)
Невинность разрушил! Я в роскошах забав
Испортил уже мой и непорочный нрав,
Испортил, развратил, в тьму скаредств погрузился, —
Повеса, мот, буян, картёжник очутился;
И вместо, чтоб талант мой в пользу обратил,
Порочной жизнию его я погубил;
Презрен теперь от всех и всеми презираем, —
От всех честных людей, от всех уничижаем.
О град ты роскошей, распутства и вреда!
Ты людям молодым и горесть и беда!
Москва, хотя в тебе забавы пребывают,
Веселья, радости живущих восхищают;
Но самый ты, Москва, уж тот же Вавилон:
Ты так же слабишь дух, как прежде слабил он.
Ты склонности людей отравой напояешь,
Ко сластолюбию насильно привлекаешь.
Надлежит мрамора крепчае сердцу быть,
Как бывши молоду, в тебе бесстрастным жить.
По имени в тебе лишь мужество известно;
А что порок и срам, то всем в тебе прелестно.
Безумная тобой владеет слепота,
Мечтанье лживое, суетств всех суета.
Блестящие в сердцах и во умах прельщенья
Под видом доброты сугубят потемненья.
Ступаю на стези и ими в тму иду.
Прелестну нету сил преодолеть беду!
О лабиринт страстей, никак неизбежимых,
Борющих разумом, но непреодолимых!
Доколе я в тебе свой буду век влачить?
Доколе мне, Москва, в тебе распутно жить?
Покинуть я тебя стократно намеряюсь
И, будучи готов, стократно возвращаюсь.
Против желания живу, живя в тебе;
Кляну тебя, и в том противлюсь сам себе.
Магнитная гора, котора привлекает,
Живой в тебе пример, Москва, изображает:
Ты силою забав нас издали влечешь,
А притянув к тебе, ты крепко нас прижмешь.

Железо как та рвёт, к себе та присвояет,
В тебе у нас так жизнь именье обирает.
Отдай скорей, прошу, отдай свободу мне,
И счастия искать не льсти в твоей стране:
Не милы мне в тебе и горы золотыя;
Но токмо б избежать лишь жизни сей мне злыя
И прежнее мое спокойство возвратить,
И независимость от счастья получить.
Я сердцем и душой, мне в том сам Бог свидетель,
Нелестно что люблю святую добродетель.

К великому сожалению, это знаменательное стихотворение нечасто встретишь даже в лучших научных изданиях Державина. В предисловиях его цитируют непременно, но не публикуют. А ведь с него начался поэт!

Самый долгий карточный загул случился с Державиным во времена его капральства в Москве, когда он поселился у кузена — майора Ивана Яковлевича Блудова — сына той самой Савишны, которая всё знала про масонов.

В Белокаменной преображенец Державин оказался проездом из оренбургских именьишек, где он проводил отпуск в обществе матери и брата. На семейном совете было постановлено: купить у московского дворянина Таптыкова деревушку в 30 душ. Для этого Державин и завернул в Москву с материнскими деньгами в чулке. Он попросил продлить отпуск на два месяца — в полку это восприняли благодушно, даже дали ход о производстве капрала Державина в сержанты. Признаться, он разнежился на свободе и не желал возвращаться к солдатской лямке. После «революции» дисциплина в гвардии поколебалась, длительные отлучки не считались вольностью. И досталась Державину вместо солдатской койки мягкая перина в доме Блудова.

Блудов — прославленная фамилия, но этот явно был от слова «блуд». Он пытался нажиться на бедном родственнике. Заметив интерес Державина к картам, Блудов пробудил в нём азарт. Это было нетрудно.

И материнские деньги Державин проиграл — как и всё остальное имущество. Блудов дал ему взаймы на покупку имения, но взял у несчастного игрока закладную, в которую Державин вписал не только новое имение на Вятке, но и другие фамильные крепостные дворы. Нужно было во что бы то ни стало выкупить закладную!

Мечтая отыграться, Державин сдружился с профессиональными игроками. Они споро научили его

шулерским приёмам. Каждый день, как на службу, Державин приходил в трактир и предавался игре. Быть профессиональным картёжником и избегать мошеннических приёмов невозможно. И Державин обманывал олухов, наживался на чьём-то азарте, на страстях человеческих. Правда, если он встречал наивного, чистого человека — протягивал руку помощи, спасал. В Державине просыпалось робингудовское благородство, и шулерская эпопея продвигалась с переменным успехом.

Однажды в трактире Державин заметил, что ушлые подлецы обыгрывают в бильярд молодого офицера посредством поддельных шаров. Офицер сразу приглянулся Державину — и он шепнул ему два слова, после которых незадачливый бильярдист был спасён. Это был Пётр Гасвицкий — они тут же весело опрокинули по кружке и сдружились на всю жизнь.

Через несколько дней Державин спас от шулеров ещё одного несчастного новичка — пензенского дворянина. Разбойники решили расправиться над не в меру справедливым капралом, всюду сующим свой нос. И вот тут Державина спас Гасвицкий, вдвоём они дали отпор мерзавцам.

Самым опасным пройдохой из новых приятелей Державина был Максимов — шулер, авантюрист, вор. Наконец мать прапорщика Дмитриева подала в полицию жалобу на Державина и Максимова, которые обчистили как липку её сына при игре в «фараон». По словам истицы, они выманили у прапорщика вексель на 300 рублей и пятисотрублёвую купчую на имение, принадлежавшее его отцу. Державин испугался не на шутку! Они с Максимовым действительно решили проучить Дмитриева за то, что прапорщик постоянно проигрывал им в долг и не расплачивался. И хотя оба отпирались от обвинений, Гаврила Романович осознал, что азарт ослепляет, и, поддавшись искушению, он превратился в раба четырёх мастей, способного на любые преступления.

До Преображенского полка дошли вести, что новоявленный сержант в Москве заигрался. Дело это тянулось долго и ничем не кончилось, но Державин после заявления Дмитриевой как будто поглядел на себя со стороны и ужаснулся.

Из этого круга мало кто вырывался. А Державин победил эту страсть, этого «внутреннего супостата». В будущем он никогда не чурался карт, подчас садился за стол и чаще всего выигрывал. Карты любят хладнокровных, а картёжную горячку Державин одолел. Много лет спустя он написал пространную оду «На счастие» — своеобразное политическое обозрение, в котором мобилизовал для аллегории картёжные термины и сюжеты. Как будто мудрый, ироничный (да ещё и патриотически

настроенный!) джентльмен пересказывает утреннюю газету.

Но победа над соблазном не пришла в одночасье, Державина ещё тянуло за карточный стол. То было лишь начало выздоровления.

В марте 1770-го Державин понял: пробил час, пора возвращаться на службу. Ему удалось освободиться от кабалы Блудова, но ни копейки за душой снова не было — кроме заветного материнского рубля-крестовика, который был его талисманом. Нужно было оставить Москву с её проклятыми трактирами — этот новый вавилон, растленный город, который казался тогда Державину виновником его падения. Рвать петлю, покуда не затянула!

Он, «возгнушавшись сам собою, взял у приятеля матери 50 рублей, бросился в сани и поскакал без оглядок в Петербург». То есть *хотел* поскакать без оглядок, а вышло-то иначе. Россию тогда баламутила чума — и сама хвороба, и панические сведения о ней. Державин уже видал мёртвых в санях. В сумасшедшие дни эпидемии на дорогах чаще, чем в другие времена, встречались лихие люди и перепуганные путники. В такой обстановке соблазны приобретают особенную силу…

В суматохе, в Твери Державин встретил бывалого картёжного приятеля и прокутил с ним все деньги. Ему удалось занять всё ту же роковую сумму — 50 рублей — у случайного знакомого. Путешествие в Петербург продолжалось. В Новгороде Державин снова сломался, втянулся в игру. Снова проигрался до последнего рубля-крестовика, потом выиграл несколько рублей — и двинулся в дорогу с покаянной молитвой.

На подъезде к столице, в Тосне — снова заслон: его остановила карантинная застава. Здесь нужно было задержаться на две недели. Но за проживание и обед, как назло, пришлось бы платить… Державин умолял офицера пропустить его — преображенца! Жаловался на бедность, на воров… Карантинная служба смилостивилась, но нужно было сжечь вещи — а именно сундук с бумагами, который волочил с собой Державин. А в сундуке — все черновики, с гимназических лет. Стихи, рисунки, ученические наброски. Главное — стихи, которых он немало написал в московском угаре. Эх, семь бед — один ответ. Сундук предали огню. После трёхгодичного отпуска вернулся Державин в полк, в Петербург. Там уже служил капралом его младший брат. Державин застал его в чахотке, выхлопотал отпуск для брата, собрал его в дальнюю дорогу — в Казань. Они простились: брату оставалось жить несколько недель. Прощай, Андрей Романович Державин!

Кое-какие стихи Державин восстановил по памяти, аккуратно

записал в тетрадь. А в строках его уже прорезывался собственный голос.

В одном из самых ранних, чудом сохранившихся стихотворений Державина читаем:

Вдохни, о истина святая!
Свои мне силы с высоты;
Мне, глас мой к пенью напрягая,
Споборницей да будешь ты!
Тебе вослед идти я тщуся,
Тобой одною украшуся.
Я слабость духа признаваю,
Чтоб лирным тоном мне греметь;
Я Муз с Парнасса не сзываю,
С тобой одной хочу я петь.

Эти стихи не повлияли на государственную идеологию, не врезались в память современников.

Шёл 1767 год, конец первой пятилетки правления Екатерины. Только-только родился будущий последний фаворит императрицы Платон Зубов, а Державин ещё пребывает под влиянием Ломоносова. Что он мог знать о Екатерине в 1767 году? Для преображенцев воцарение Екатерины навеки связано с многодневной буйной пирушкой, которая последовала после счастливого переворота. В те времена не существовало пропагандистской машины в современном понимании, но в армии каждый хорошо знал, чем нынешний монарх лучше предыдущего. И в первой своей екатерининской оде Державин ограничился общеизвестными истинами и расплывчатыми комплиментами, принаряженными по-ломоносовски. Екатерину прославляли за гуманность и русский патриотизм — и Державин туда же:

Грозишь закона нам стрелою;
Но жизнь преступших ты блюдешь.
Нас матерней казнишь рукою —
И крови нашей ты не льешь.

Никто не зачитывался одой безвестного поэта. И царица не внимала ему.

Картёжное счастье Державину не выпало — он теперь не играл по-крупному, но, кажется, уже верил в счастье литературное. В солдатах Державин уже очень глубоко вникал в

искусство поэзии. Пробовал себя в разных жанрах, немало переводил с немецкого.

А карты его более не затягивали. Из раба четырёх мастей он превратился в хозяина — отныне он играл умеренно, с умом. Ему хватало цепкой памяти и картёжного опыта, чтобы с помощью игр время от времени пополнять прохудившийся бюджет. Тут ведь главное — мера. Как и в поэзии.

ПУСТАЯ ССОРА

Ломоносов Ломоносовым, но самым популярным русским поэтом в середине галантного века считался Александр Петрович Сумароков. Михайлу Васильевича считали непревзойдённым автором од — русским Пиндаром. Но, бесспорно, самым популярным развлечением столичной просвещённой публики стало не чтение од, а театр. Сумароков же царствовал на сцене, каждая его трагедия становилась центральным событием культурной жизни. Пополняли репертуар и комедии, одна из которых называлась «Пустая ссора».

Ни в Москве, ни в Петербурге и быть не могло более влиятельного литератора. В отличие от Ломоносова, Тредиаковского, Державина Сумароков родился в блистательной (хотя и не слишком богатой) семье. Его отцу доверял Пётр Великий; домашний учитель Сумарокова, знаменитый Зейкен, давал уроки и наследнику престола — будущему императору Петру Второму, одному из самых несчастных монархов в истории России. Александр Петрович был блестящим выпускником первого русского кадетского корпуса — элитного учебного заведения.

Сумароков с воодушевлением ознакомился с первыми одами Ломоносова, с его теорией стихосложения, но, оперившись, стал непримиримым литературным противником «русского Пиндара». Сумароков был мастером на стихотворные колкости — и пародировал Ломоносова не без успеха. Когда Михайло Васильевич написал первую песнь так и не оконченной эпической поэмы «Пётр Великий», Сумароков не удержался:

Под камнем сим лежит Фирс Фирсович Гомер,
Которой пел, не знав галиматии мер.
Великаго воспеть он мужа устремился,
Отважился, дерзнул, запел, и осрамился,
Оставив по себе потомству вечный смех.
Он море обещал; а вылилася лужа.
Прохожий! возгласи к душе им пета мужа:
Великая душа, прости вралю сей грех!

Несправедливо, но убедительно! В поэзии Александр Петрович был кулачным бойцом богатырского класса. А ведь именно он стал первым русским профессиональным литератором. Сумароков сознательно предпочёл литературу всем иным

поприщам, хотя, при его происхождении и способностях, мог рассчитывать на генеральский мундир. Но он творил — оды, эпиграммы, трагедии, комедии, любовные песни, басни… Добился славы, но не обрёл богатства, в последние годы жизни его осаждали кредиторы. Говорят, во Франции театр может озолотить — и популярные драматурги в ус не дуют. В России климат суровее. Сумароков истово, но с переменным успехом добивался от властей и потенциальных меценатов уважения к стихотворчеству и театру, предсказывая взлёт русской словесности. Он доказывал: «Прекрасный наш язык способен ко всему».

Когда Сумароков нападал на «Фирса Фирсовича» Ломоносова, Державин ещё учился в гимназии — учился, как известно, по Сумарокову и Ломоносову. Когда — то ли в Петербурге, то ли в Москве — эта эпиграмма попалась ему на глаза, Гаврила Романович вспыхнул: как можно нападать на Ломоносова столь грубо и бесцеремонно! И за что — за эпическую поэму о Петре Великом, в которой есть строки истинно пророческие, а есть и красоты, достойные Гомера. Да, Ломоносову не удалось завершить поэму, но разве Сумароков способен творить эпос? Тема Петра после поэмы Ломоносова не закрыта, Державин это понимал, но робел пред ликом первого императора. Только два художника сумели приблизиться к образу русского исполина: Ломоносов и Фальконе.

Долго ли, коротко ли, Державин «в защищение Ломоносова» написал эпиграмму на Сумарокова в его же манере, приноровив новый текст к сумароковским рифмам:

> Терентий здесь живёт Облаевич Цербер,
> Который обругал подьячих выше мер,
> Кощунствовать своим Опекуном стремился,
> Отважился, дерзнул, зевнул и подавился:
> Хулил он наконец дела почтенна мужа,
> Чтоб сей из моря стал ему подобна лужа.

Державинское поколение литераторов весело свергло Сумарокова со всех пьедесталов: поэтического, театрального… Державин помалкивал, он никогда не выступал в роли прокурора на литературных судилищах. Но отрицание Сумарокова было разлито в воздухе. Когда бои отшумели, Белинский рассудил справедливо: «Сумароков был не в меру превознесён своими современниками и не в меру унижаем нашим временем». Так бывает с любимцами фортуны, изведавшими прижизненную славу.

Сумароков умер в 1777 году, за несколько лет до публикации «Фелицы». Его считали героем елизаветинского времени — а некоторые полагали, что в те времена и двор был пышнее, и трагедии звучнее, и архитектура роскошнее (вспомним хотя бы растреллиевское барокко). Он неприязненно относился к нововведениям Екатерины: вокруг трона суетились кулачные бойцы Орловы, гнусная порода. Немка на русском троне декларировала приверженность Просвещению, но надежды на истинное Просвещение растаяли. Сумароков видел в политике Екатерины потакание низменным желаниям молодых карьеристов. Не забудем: Александр Петрович был автором русского «Гамлета», а ему приходилось терпеть на троне Клавдия и Гертруду.

«Гамлет» с лёгкой руки Сумарокова надолго стал в России самой злободневной и фрондёрской пьесой. С принцем датским сравнивали и Павла Петровича, и Александра Павловича. Конечно, Сумароков переложил «Гамлета» на русский задолго до убиения Петра Третьего. Но в истории России был и Пётр Второй…

А ведь Сумароков когда-то возлагал на Екатерину лучшие надежды! Это началось ещё в елизаветинские времена, когда он издавал журнал «Трудолюбивая пчела», посвящённый Екатерине.

В первые годы правления великой императрицы он пылко приветствовал её одами. Пожалуй, лучшая из екатерининских од Сумарокова — «На день тезоименитства 1762 года ноября 24 дня»:

Ликуй, российская держава!
Мир, наше счастие внемли!
А ты, Екатерины слава,
Гласись вовек по всей земли!
Чего желать России боле?
Минерва на ея престоле,
Щедрота царствует над ней!

Каков слог — лёгкий и всё же торжественный, возвышенный! И слова-то неожиданные, но точные. Образы ближе к земной реальности, чем патетические фантазии Ломоносова. Екатерина сначала предпочла ему изощрённое, усложнённое косноязычие Петрова, а позже — и комплиментарное остроумие Державина. На фоне геополитических построений Петрова рулады Сумарокова выглядели благими пожеланиями и только. Державин понимал, как трудно приблизиться к такому благозвучию.

Большие неприятности Сумарокова начались с театральных каверз. Поэта постепенно вытесняли с театрального Олимпа. Его можно считать истинным основателем русского театра. Первые трагедии, комедии, оперы — всё это Сумароков, его перо, его старания, его любовь к сцене, ещё первобытной, но многообещающей. Русские научились строить дворцы и фонтаны, разбивать сады не хуже, чем французы. Разве нельзя в России устроить лучший в Европе театр? Слово Сумарокова было последней инстанцией на театре — если не считать голос монарха. Но вот Сумарокову пришлось удалиться из Петербурга, а значит, оставить руководство главным театром империи. А в Москве он рассорился с первой актрисой, а также с содержателем театра Бельмонти, которого считал невежественным медведем в посудной лавке — то есть в храме искусства.

Ставили новую трагедию Сумарокова «Синав и Трувор». Этот театр многим был обязан драматургу: получить разрешение заниматься театральным делом было непросто. Именно Сумароков выхлопотал у властей такую привилегию для Бельмонти — потому что поверил: этот итальянец не взбрыкнёт против великого драматурга.

И вдруг он узнаёт, что актриса Елизавета Иванова, исполнительница главной роли, в день генеральной репетиции перепила. Сумароков гремел: убрать Иванову! Запретить постановку трагедии! Он за-пре-ща-ет!

Но, оказывается, для Бельмонти запреты Сумарокова ничего не значили. Спектакль выпустили, и он провалился. Сумароков считал, что итальянец всё продумал заранее, злонамеренно подстроил эту катастрофу. Снова проклятые интриги! Но драматург разобиделся не только на господ артистов: казалось, вся Москва ополчилась на него.

Сумароков пожаловался на нерадивых театральных людишек московскому градоначальнику. А градоначальником, генерал-губернатором или, как тогда говорили, московским главнокомандующим в те баснословные времена был не кто-нибудь, а знаменитый фельдмаршал, победитель Фридриха Великого при Кунерсдорфе Пётр Семёнович Салтыков. Уж он-то должен уважить отца русского театра! В прежние времена таких недругов Сумароков одним движением руки превращал в тлен. Но Салтыков оказался неумолимым бурбоном, да к тому же и селадоном. Актриска ему была дороже Сумарокова — оказывается, он ей покровительствовал. Его равнодушный ответ Сумароков счёл оскорблением. Салтыков не был любимцем молодой императрицы — и Сумароков решил жаловаться на него самой Екатерине. А ей было не до проблем пожилого, пьющего,

навязчивого поэта. Сумароков в те годы, как говаривалось, «был предан пьянству без всякой осторожности». Пожалуй, именно водка обострила его мнительность и гневливость. «Всемилостивейшая государыня! Я знаю, сколько важными делами Ваше Императорское величество отягощены, и без нужды крайней я бы не осмелился высочайшую вашу особу трудить. Мой разум перемешан, и я не знаю, как зачать и что писать; ибо кажется мне, что всё моё красноречие нанесённой мне обиды ясно не изобразит…» — начал Сумароков.

Императрица ответила ему резко, хотя и подсластила отказ комплиментами. «Естли же граф Салтыков заблагорассудил приказат играт, то уже надлежало без отговорок исполнить его волю. Вы более других, чаю, знаете, сколь много почтения достойны заслуженные славою и сединой покрытые мужия, и для того советую вам впред не входит в подобные споры, чрез что сохраните спокойство духа для сочинения, и мне всегда приятнее будет видит представлении страстей в ваши драммы, нежели читать их в писмах. Впрочем остаюсь к вам доброклонна».

Самое страшное, что ответ она переслала и Салтыкову. Фельдмаршалу письмо польстило — и он принялся показывать его кому ни попадя. Сумароков превратился во всеобщее посмешище.

Он считал себя ровней Вольтеру и Расину, основателем русской литературы, которой — Сумароков в это верил! — суждено великое будущее. И был уверен, что монархи должны дорожить его расположением, как дорожили они вниманием французского просветителя. Сумарокову казалось, что именно он создаёт Екатерине репутацию просвещённой монархини — он, посвятивший ей «Пчелу», приветствовавший её сладкозвучными одами. Монаршая неблагодарность ошарашивала — в голове поэта сгущались тучи мнительности. Салтыков повсюду высмеивал назойливого драматурга из погорелого театра, который запутался в актрисах и запоях.

Актриса Иванова написала драматургу извинительное письмо, которое не могло ничего исправить. Свою «скаредную» игру в «Синаве» объясняла недомоганием.

Но никто и не думал наказывать недругов Сумарокова. Тогда он обратился к русской Минерве (уж не Сумароков ли первым её так назвал?) с двусмысленными стихами:

Лишенный муз, лишусь, лишуся я и света.
Екатерина, зри, проснись, Елизавета,
И сердце днесь мое внемлите вместо слов!
Вы мне прибежище, надежда и покров;

От гроба зрит одна, другая зрит от трона:
От них и с небеси мне будет оборона.

Обращаясь к Екатерине, он вспоминал о поддержке почившей Елизаветы — а это воспринималось как утончённая дерзость. Секретарь Козицкий оставил императрице записку о новой корреспонденции от Сумарокова. Екатерина начертала на этой записке: «Сумароков без ума есть и будет».

Сумароков привычно превращал ярость в эпиграммы, но не мог утолить жажду мщения. Он обрушился на всю московскую публику, на сплетников, подпевающих зарвавшемуся Салтыкову:

Наместо соловьев кукушки здесь кукуют
И гневом милости Дианины толкуют;
Но может ли вредить кукушечья молва?
Кукушкам ли понять богинины слова?
В дубраве сей поют безмозглые кукушки,
Которых песни все не стоят ни полушки.
Лишь только закричит кукушка на суку,
Другие все за ней кричат: куку — куку…

В те дни Державин пребывал в Москве, предаваясь картёжному разгулу. Почти безвестный поэт, он, как и большинство литераторов, считал, что в публичной переписке с императрицей поэт выглядит нелепо. И Державин решил побить Сумарокова его же оружием: каламбуром. Созвучие роскошное: «Сумароков» — «сорока», как раз годится для эпиграмм и басен. Он написал эпиграмму, в которой переиначил строки сумароковской «На кукушек в Москве»:

Не будучи Орлом Сорока здесь довольна,
Кукушками всех птиц поносит своевольно;
Щекочет и кричит: чики — чики — чики,
В дубраве будто сей все птицы дураки.
Но мужество Орла Диана почитает,
И весь пернатый свет его заслуги знает.
Сорока ж завсегда сорокою слывет,
И что Сорока врёт, то всё сорочий бред.

В московских салонах этот пасквиль подхватили. Разумеется, Державин не обнародовал авторства. Сумароков не мог скрыть бешенства: кто из поэтов посмел на него ополчиться? Давно в

гробу его соперник Ломоносов, оставил сей мир и Тредиаковский. Херасков — его приятель и ученик, не способен на глупое коварство. Кто? В те дни Державин нередко гостил у Сумарокова. Александр Петрович не был богачом, но гостей принимал хлебосольно, да и сам не был чужд чревоугодия. Державин не раз обедал у Сумарокова, не выставляя перед признанным поэтом своих литературных амбиций. Василий Львович Пушкин (вот кто знал толк в литературном фехтовании) рассуждал: «Державин исподтишка писал сатиры на Сумарокова и приезжал, как ни в чём не бывало, наслаждаться его бешенством». Сие — не коварство и не жестокость. Державин не считал Сумарокова своим врагом. Пушкин хорошо понимал: это литературное озорство, без которого марание бумаги превращается в рутину. Хотя, если посмотреть глазами Сумарокова… Не пожалел Державин старшего собрата, попавшего в беду.

А граф Салтыков, хотя и получит в скором времени (вполне заслуженно) фельдмаршальский жезл, в истории Москвы останется как тот главнокомандующий, который дал дёру из Белокаменной в дни эпидемии. К истории с актрисой Ивановой и строптивым поэтом эта ретирада Салтыкова, конечно, не имеет отношения.

Сумароков в своём московском уединении воспринимался как патриарх фронды. Он всегда был свободомыслящим шляхтичем. Хотя однажды Александр Петрович сорвался, впал в фарисейство. Было дело, они с Державиным (порознь, разумеется) откликнулись стихами на один сомнительный, если не сказать, позорный проект.

Так сложилось: Москва — город трёх великих несостоявшихся строек, каждая из которых была вызовом здравому смыслу. Сначала Борис Годунов возмечтал укрепить свою власть возведением невиданного храма, который бы затмил и заменил всю Соборную площадь Кремля. Колокольня Ивана Великого, которая была в те времена самым высоким сооружением в империи, виделась частью этого грандиозного ансамбля. Но очень скоро царю Борису стало не до зодчества… Третье несостоявшееся московское чудо — Дворец Советов. Проект архитектора Бориса Иофана был пиком гигантомании, циклопический Ленин должен был взмыть под облака и нависнуть над столицей первого в мире государства рабочих и крестьян. Могучие очертания Дворца Советов помещали на открытки, почтовые марки и коробки со сластями. Изображение этого так и не построенного здания можно увидеть на стене московского Северного речного вокзала. Строительство резво началось на месте разрушенного храма Христа Спасителя — но в

результате пришлось удовлетвориться бассейном «Москва». Печальная судьба бассейна — это уже другая история.

Мы назвали первое и третье из несостоявшихся московских архитектурных чудес — а где же второе? Вернёмся в екатерининскую Россию. Империя претендовала на мировую гегемонию, готова была подчинить Польшу, грозно нависнуть над Швецией, прорваться в Грецию, отвоевать Константинополь у магометан. С размахом отстраивался Петербург. Его геометрически выверенные проспекты и затейливые дворцы не стыдно было продемонстрировать любому европейцу. А вот Москва… Тесный старорусский город, зажатый в кольцах Белого города. Пёстрая азиатчина — и в архитектуре, и в образе жизни. Грязь, хаотичная торговля, мерзость запустения рядом с богатыми усадьбами и храмами. Храмов в Москве — необозримое множество, монастырей — пожалуй, как ни в одном другом городе. Но московские церкви отличались от величественных европейских соборов. Они казались слишком камерными, деревенскими. На Екатерину произвела сильное впечатление только Соборная площадь Кремля. Ну, и прославленный собор Покрова на рву, хранящий память о Василии Блаженном, считался символом самобытной русской архитектуры.

Императрица принялась обустраивать Москву. Ей хотелось подчеркнуть преемственность с историей Руси, оказаться на вершине многовековой эпопеи. Немало времени императрица проводила в Белокаменной. Жила то в Кремле, то в Коломенском — в неуютных дворцах, которые и сравнить нельзя было с петербургскими чертогами. Тот Большой Кремлёвский дворец, который мы знаем, с Георгиевским залом и чудесной личной половиной архитектор Константин Тон выстроит только при Николае Первом!

Екатерина уверилась, что из всего кремлёвского дворцового комплекса только Грановитая палата соответствует имперскому величию России.

Выходит, Первопрестольная должна была обрести европейское лицо. В Москве начали возводить уникальные ампирные комплексы, которые по сей день поражают и радуют глаз: казаковский Сенат, Воспитательный дом… Но самым амбициозным московским проектом стал новый кремлёвский дворец. Задумка Баженова была сколь гениальной, столь и варварской. Предстояло разрушить стены и башни Кремля — те самые, что мы видим, проплывая мимо старинной крепости по Москве-реке. И это не просто дерзость самоуверенного гения (каждый архитектор втайне мечтает сломать привычный контекст, выстроив свой город!) — идея Большого Кремлёвского

дворца рождалась в беседах императрицы и зодчего.

Екатерина приметила в молодом офицере Баженове *своего* градостроителя, как приметит после «Фелицы» в Державине *своего* поэта. Василий Иванович Баженов пришёл к придворной славе издалека. Скромный попович из Калуги — своим возвышением он целиком был обязан вкусам императрицы и её фаворита Орлова. Мечтатель, мистик, Баженов был вольным каменщиком. Масонство для него не было пустой забавой, его пленил дух тайного общества. Свои творения Баженов украшал масонской символикой.

Архитектор поселился в кремлёвском Потешном дворце, там для него устроили мастерскую. В команде Баженова работали в то время выдающиеся архитекторы, назовём только одно имя: Матвей Казаков, будущий строитель кремлёвского Сената, московского Благородного собрания, доброго десятка изящных ампирных церквей и усадеб. Но вот над неприступным Кремлём нависла угроза. В 1770 году были сломаны Тайницкая, Петровская, две Безымянные башни и стены между ними. Пришлась ли по душе Сумарокову эта перестройка или он просто хотел восстановить добрые отношения с монархиней, но он приветствовал начало варварского строительства:

И расцветёт Москва подобьем райска крина,
Возобновляет Кремль и град Екатерина!
Низвержена гора монаршескою волей,
И Кремль украсится своею новой долей,
Со славою придет Паллада к сим местам
И будет обитать ко славе россов там…

Говорят, после этих стихов некоторые москвичи, патриоты города, перестали здороваться с Сумароковым. Державин в те годы не был обременён обязательствами перед двором и не стал воспевать сомнительные проекты императрицы. Он вырос в Казани — городе, где все дороги ведут в Кремль. Русское устройство городов нравилось Державину, подражание Европе он не считал благом. «Низвергнута стена» — и что в этом похвального? Ломать — не строить, а ведь это — детинец Руси, средоточие нашей истории и православной святости. Баженов, отбросив сомнения, смахивал с кремлёвской земли и монастырские постройки. Державин написал грустные стихи «На случай разломки московского Кремля для нового дворца»:

Прости престольный град, великолепно зданье,
Чудесной древности Москва, России блистанье.

Сияющи верхи и горды вышины
На диво в давний век вы были созданы.
В последний раз зрю вас, покровы оком мерю
И в ужасе тому дивлюсь, сомнюсь, не верю.
Возможно ли гробам разрушиться, восстать
И в прежней красоте чуднее процветать?

Право, получилось не в пример человечнее, чем у Сумарокова…

Как известно, план Баженова не воплотился. Когда императрица пошла на попятную и отменила грандиозное строительство, московские «невольные каменщики» принялись восстанавливать древние стены. Державин ликовал. Древний город спасён!

Взгляды Сумарокова и Державина частенько не совпадали. Скажем, Александр Петрович то и дело обрушивался на церковь и духовенство, вооружившись рационалистическими аргументами, что не мешало ему сочинять духовные оды, проникнутые религиозным чувством. Мыслители XVIII века не отождествляли Церковь и христианство. Прекрасно только то, что разумно, — это правило для Сумарокова было основой основ, а Церковь ему противоречила и прислушиваться к доводам просвещённого аристократа не намеревалась. Державин (в отличие от Суворова) тоже не был усердным прихожанином. В храме бывал нерегулярно, даже не каждое воскресенье. У Державина не было духовника, среди его близких друзей окажется лишь один священнослужитель — отец Евгений Болховитинов, с которым его на склоне лет свяжут литературные интересы.

Писатели — идеологи просвещённого дворянства — не отмахивались от политических вопросов. Воззрения Сумарокова и Державина разнились, хотя и не стали противоположными.

Кто и на каких основаниях должен править страной? Этот вопрос много веков кружит головы, и мы-то знаем, что окончательного ответа не будет. Сумароков настаивал на власти благородного общества — лучшей, просвещённой части дворянства. У крестьянского большинства просто не было шансов проникнуться идеями Просвещения. Каждый опирается на собственный опыт… Сумароков был потомственным патрицием и стремился к патрицианской демократии. Державин, не попавший в кадетский корпус, достиг вершин благодаря неустанному рвению и счастливому случаю. Подобно Петру Великому, он акцентировал внимание на том, что дворянство есть служилая элита и только самоотверженная служба даёт ему право на

привилегии. В мировоззрении Державина монарх занимает более важное место. Он — всесильный глава патриархальной семьи. От революций Державин отшатывался в ужасе, как от самоубийственного святотатства.

Консерватизм не означает апологию бездействия. Державин — опытный управленец — прекрасно понимал, что нужно постоянно приноравливаться к перемене обстоятельств, к метаморфозам технического прогресса. Он лично знал трёх монархов — Екатерину, Павла, Александра, немало пожил и при Елизавете, служил в Преображенском полку во времена Петра Третьего. И никогда новый монарх не становился продолжателем предыдущего. Всякий раз после смены императора вырисовывалась политическая антитеза. И даже первоначальное вынужденное обещание вступившего на престол Александра: «Править по заветам бабушки» окажется лукавым. Екатерининские нравы, екатерининская слава, екатерининский молодецкий размах — всё останется в прошлом без возврата.

Что же до литературных пикировок — будем иметь в виду, что в те годы творческий пыл в Сумарокове не угас: вспомним, что свою лучшую трагедию «Димитрий Самозванец» он создал как раз в эти месяцы. Депрессия помогла творчеству… Не все влиятельные покровители закрыли перед ним двери: верным остался Разумовский. Благодаря поддержке мецената Сумароков и в полуопале публиковался и царил на сцене. Но из бедности он постепенно впал в нищету.

Преображенец Державин отдавал должное Сумарокову, но протаптывал в словесности свою тропу. В стихотворении 1770 года «Пламиде» уже проглядывает силуэт личностного «естества», столь важный для державинской поэтики в будущем. Красноречивое, со множеством восточных преувеличений объяснение в любви завершается полным авторским ощущением комизма ситуации: «Но, слышу, просишь ты, Пламида, в задаток несколько рублей…» И тут же становится смешным, комичным сам автор, незадолго до этого восклицавший:

Хоть был бы я царем вселенной,
Иль самым строгим мудрецом, —
Приятностью, красой сраженный,
Твоим был узником, рабом.

Так в поэзию Державина проникает самоирония — счастливый дар поставить себя в двусмысленное положение, да так, чтобы читатель ахнул, чтобы понял: перед ним — не литературная функция, а полнокровный человек, которого не

расчислишь! Вот и оказывается, что умевший выразить трагизм бренной человеческой жизни автор оды «На смерть князя Мещерского» с её погребальным «металла звоном» прекрасно чувствовал смеховое начало, и эти два свойства взаимосвязаны.

Но вырваться из нищеты и безвестности с помощью лиры Державин не умел. Нужно было отличиться на поле брани!

ПРОТИВ МАРКИЗА ПУГАЧЁВА

Вот вам картинка почти апокалиптическая: недурно вооружённые башкиры и казаки при поддержке крестьян занимают Казань, лихо расправившись с малочисленным гарнизоном. Они сражаются за вольности, за наживу — и за истинного государя императора Петра Третьего. Мужика свойского, бородатого. Ватаги пугачёвцев переворачивают вверх дном дворянские и купеческие дома в Казани. Досталось и скромному дому Державиных. Подданные Петра Третьего погнали Фёклу Андреевну в толпе пленных — каяться перед «государем». Измываться над ними не стали, отпустили по домам. Но дом был разорён, как и деревни Державиных. Вот так прошла пугачёвщина по судьбе поэта. Личное переплелось с государственным. В таких случаях выход один, прописанный в петровском уставе: служить, не щадя живота своего.

…Слухи о появлении в Оренбургской губернии опасного разбойника достигли берегов Невы во время свадебных торжеств великого князя Павла и его невесты Натальи (она же, как водится, Августа Вильгельмина Луиза Гессен-Дармштадтская). Услыхал про Пугача и Державин, который воспевал то бракосочетание в стихах и, возможно, присутствовал на празднике. Орудовали душегубы в местах, хорошо знакомых всем Державиным. К подобным беспорядкам привыкли, гости царевича пересказывали слухи без паники.

Вскоре стало ясно, что оренбургские гарнизоны не способны урезонить разгулявшихся бузотёров, и на балу по случаю Андреева дня императрица приказала генералу Бибикову взять на себя заботы по восстановлению спокойствия в горящей губернии.

Александру Ильичу Бибикову не впервой было усмирять волнения. Ровно за десять лет до Пугачёва забурлил заводской люд в тех же Оренбургской и Казанской губерниях. Предъявляли свои требования властям лихие казаки, нашлись обиженные люди и среди крестьян. Сформировались отряды, пролилась кровь. Бибиков тогда не сплоховал. Причём проявил себя не просто эффективным усмирителем, но и миротворцем. Он воздержался от кровопролития, арестовал лишь сравнительно небольшую группу зачинщиков — и всё затихло.

В 1773-м впереди Бибикова бежала слава о его расторопных действиях в Речи Посполитой — во время войны с конфедератами. Однако после польских удач его обидели — приказали поступить под команду Румянцева. Ему, генерал-аншефу, уготовили второстепенную роль… Правда, отбыть на

Дунай Бибикову не привелось: приказ отправиться в Казань и Оренбург прозвучал во время отпуска.

Державин считал его умнейшим генералом (первым после Румянцева) и мечтал служить под его командованием. Вот как Гаврила Романович поведал об ответе Бибикова на предложение направиться против Пугача:

«Бибиков был смел, остр и забавен, пропел ей русскую песнь: „Наш сарафан везде пригожается“. Это значило то, что он туда и сюда был безпрестанно в важныя дела употребляем без отличных каких-либо выгод; а напротив того, от Румянцова и графа Чернышева, управляющего военною коллегиею, иногда был и притесняем».

Песню про сарафан стоит процитировать: «Сарафан ли мой, сарафан дорогой, / Везде сарафан пригожается, / А не надо, сарафан под лавкою валяется». Притчевая песня.

Бибиков получил чрезвычайные полномочия: в мятежном крае отныне ему подчинялись все. И военные, и статские, и даже лица духовного звания. В Петербурге Бибиков незамедлительно начал набирать соратников — гвардейских офицеров, на которых мог опереться. Из преображенцев Бибиков привлёк Кологривова. Державин прослышал об этом — и авантюрная идея распалила его. Столько лет он прозябал в столицах — без связей, без денег, без наград. Вот она, возможность отличиться — да ещё и в родных краях. Мятеж охватывал уже не только оренбургские края, но и центр Казанской губернии. Державина никто не познакомил с Бибиковым, никто не замолвил за него слово. Он сам в неурочное время бросился к генералу, прорвался к нему и всё про себя рассказал. Рассказал, что родом из Казани, что горит желанием послужить Отечеству… Бибиков вежливо объяснил горячему офицеру, что вакансий нет. Но Державин не унимался. Ему удалось продлить разговор, показать себя — и генерал уже поглядывал на него с любопытством: по крайней мере, смышлён и остроумен. О чём они беседовали? Возможно, о службе в гвардии, о Польше или о казанских краях… Откланявшись, Державин вернулся в полк в уверенности, что удача снова повернулась к нему спиной. Но вечером в полковом приказе значилось: «подпоручику Державину по высочайшему повелению велено явиться к генералу Бибикову». Значит, штурм удался! Три дня на сборы — эти три дня Державин летал на крыльях, опьянённый мечтами. Офицер секретной комиссии — многообещающая миссия. Если не убьют — наград не избежать. И — прощай, нищета, прощай, безвестность.

Кем был Державин к тому времени? Неудачливым офицером Преображенского полка.

Гвардия при Екатерине практически не участвовала в войнах. Державину не довелось сражаться под командованием Румянцева, Вейсмана или Суворова — ни в Польше, ни на Дунае. Он — преображенец — с восхищением и завистью следил за подвигами фанагорийцев, суздальцев, казаков…

«Нестором» русской армии на долгие годы стал граф Пётр Александрович Румянцев-Задунайский. Так его и называли. Тут, конечно, речь идёт не о русском летописце Несторе, а о древнем ахейском герое, который был старшим и мудрейшим из греческих царей, пришедших под стены Трои. В отличие от Суворова и Державина Румянцев смолоду был баловнем судьбы. В кадетском корпусе он считался гулякой и весельчаком, эдаким прожигателем жизни.

Остался в истории возглас хромого Фрица — Фридриха Великого: «Бойтесь собаки Румянцева, остальные русские генералы не столь опасны». Отчасти так оно и было: в войне с пруссаками Румянцев не уставал удивлять противников и соратников доказательствами своего таланта.

Румянцев умел ладить с царями, не теряя достоинства. Он никогда не был фаворитом Екатерины. Фавориты иногда сражались рядом с ним — как Завадовский и Потёмкин. Первую при Екатерине русско-турецкую войну называли румянцевской — и по праву.

Державин восхищался победами Румянцева и его мудрыми остротами, ещё пребывая в безвестности. Когда скромный чиновник превратился в крылатого «певца Фелицы», входил в силу Потёмкин, но самым почитаемым русским полководцем, несомненно, оставался Румянцев.

Задунайский казался ему фигурой титанической. Непобедимый воин, одолевший самого Фридриха, кромсавший турок в манере Юлия Цезаря или Ганнибала, да ещё и мудрец. Кто сражался под командованием Румянцева — кровью добывал славу, ордена, положение. А в гвардии достичь высот можно было только с помощью связей или денег. Ни того ни другого у Державина не было. И вот — страшные слухи о кровавом восстании. Труба зовёт! Мудрец Бибиков, как и Румянцев, восхищал подпоручика.

В советское время в ходу была романтизация Пугачёва. Его воспринимали если не как сознательного революционера, то как предтечу революции. Борец за права угнетённого крестьянства, угнетённых башкир и яицких казаков, предводитель крестьянской войны, талантливый военачальник-самородок. Но само понятие «крестьянская война» есть натяжка. Это был казачий бунт, вспыхнувший вокруг самозванца, бунт, поддержанный башкирами

и некоторыми крестьянами, которые почувствовали вкус к смуте. Ведь за 170 лет до Пугачёва лихие ватаги во главе с самозванцами и авантюристами втянули в драку всю Московскую Русь. От тех «лихих» времён остались песни и предания. Царей в те годы в Москве меняли не раз. Смута — это стихия, превращающая государственный аппарат в уязвимую лёгкую надстройку: дунул — и развалится. Воспоминания о Смутном времени не отпускали во дни пугачёвщины и Державина. В те годы ещё не была написана подробная история бунташного русского XVII века. Да, на Казанскую каждый год вспоминали изгнание поляков, подвиги Пожарского, Минина, Гермогена. Это был государство-образующий миф. Семейные легенды сохранили и ужас перед всеобщим ожесточением, перед разбойничьими временами. Пугачёв казался новым воплощением смуты.

Летом 1774-го 25-тысячная армия Пугачёва вовсю покуражилась на берегах Волги. В те жаркие месяцы бунтовщики казнили около трёх тысяч дворян. Столько и на войнах не погибало.

Многим честолюбцам пугачёвщина подарила шанс отличиться, выйти в люди. Но не только личные амбиции звали молодых дворян на берега Волги и Яика. Империя содрогнулась от игрищ «речёного Емельки». Конечно, бунт не был антимонархическим. Народ шёл не за Пугачёвым, а за подлинным императором Петром Третьим. От Волги до Яика давно бродили слухи, что царь скрылся от столичного коварства среди казаков, вольных людей. Обнажилась самая большая ложь екатерининского правления, его уродливая изнанка. Ведь у царицы не было законных оснований оставаться на троне после того, как её сын и наследник убиенного императора достиг совершеннолетия. Но Екатерина оказалась выдающимся политиком, а такие власть берут сами. И нет для них невозможного, кроме одного — отказа от власти.

В те годы в ходу был классицизм с его преклонением перед Античностью. В Екатерине Алексеевне видели воплощение языческой богини и в то же время — олицетворение православного самодержавия. Противоречие? Ещё какое. Но абсолютный христианин, как и абсолютный язычник, — редкость во все времена. А Пугачёва поддержали угнетённые русские молитвенники — староверы.

Державин, поспешивший на ловлю Пугачёва, отстаивал свои убеждения, спасал Россию от катастрофы. Трудно представить себе более опасное предприятие. Петербург был наслышан о жестоких расправах Пугачёва над дворянами. Вирус бунта быстро распространялся в крестьянской среде. Здоровые мужики

становились разбойниками — и вовсе не обязательно при этом примыкали к Пугачёву. У смуты не бывает единого управленческого центра. Территория, охваченная бунтом, могла стать гибельной ловушкой для офицера.

Итак, Державина включили в своего рода спецслужбу — в секретную комиссию, которая предназначалась для разведки и пропаганды. В первый раз в жизни (а вышло, что и в последний) Державину довелось предводительствовать немалыми вооружёнными отрядами. Командирского опыта у него не было, но на войне образование идёт по ускоренной программе, а Державин чувствовал себя именно на войне. Ожесточение пугачёвцев он увидел своими глазами.

Преображенец давно искал живое воплощение чиновничьего идеала. Жизнь щедро поставляла поводы к разочарованию — а он всё тосковал по образцу… И вот — Бибиков. Деловитый, обстоятельный, вроде бы не замешанный во злонравии и казнокрадстве. Быть сотрудником, а если удастся себя проявить — ближайшим советником такого деятеля — вот высокая цель, вот положение, которое позволит проявить себя, вырваться из безвестности.

Бибиков вряд ли успел вполне изучить и оценить Державина, но ему понравилась расторопность преображенца. Совсем недавно, в Польше, под его командованием действовал Суворов. О Суворове при дворе и в армии заговорили, когда он ещё был полковником: суворовские суздальцы на учениях уважать себя заставили. Бибиков присмотрелся к нему и убедился: удивительно энергичный и целеустремлённый командир. Честолюбивый и честный. Все силы отдаёт службе — и достигает успеха, «повелевает счастием», как говаривал сам Суворов. Державина ещё не воспринимали всерьёз, хотя сам он считал, что ухватил птицу счастья за хвост, что он — и никто другой — спасёт империю от «речёного Емельки».

…Давненько он не бывал в родных краях! Казань охватила паника: дворяне бежали из города, спасая пожитки. Город выглядел облезлым, неприбранным — как будто разбойники уже вволю покуражились на его улицах. Только весть о прибытии Бибикова несколько успокоила обывателей — тех, кто не симпатизировал Пугачёву и страшился смуты. Нашлось среди казанцев и немало потенциальных сторонников Пугачёва — тех, кто готов был искать счастья в стихии мятежа. Державин, прибывший в Казань раньше генерала, принялся выявлять настроения и пришёл в ужас. Такое бывает: народ как будто истосковался по гражданской войне, многие рады были броситься в авантюру. Ещё по дороге в Казань Державин прослышал о

бунтарских настроениях во Владимирском гренадерском полку. Да, многие солдаты готовы были сложить оружие и даже перейти на сторону «императора Петра Фёдоровича». А полк этот собирались бросить против Пугачёва. Бибикова известие обескуражило. Но рвение нового сотрудника радовало — значит, он в нём не ошибся: этот годится для секретных дел, для разведки. Владимирский полк следовал в Казань отнюдь не суворовскими темпами, останавливаясь в разных уездных и губернских городах. Губернаторам было поручено следить за владимирцами тайно и неусыпно, выявляя крамолу. И, по пути в Казань, сведения Державина подтвердились, люди нижегородского губернатора Ступишина выявили нескольких злоумышленников. Всех подозрительных наказали, на остальных нагнали страху.

Первым делом в Казани Державин явился в родительский дом. Он не мог утешить мать дорогими подарками и щедрой денежной помощью, но случилась долгожданная встреча со слезами счастья. Державин не умел бездействовать, он немедленно принялся собирать впечатления, выявлять настроения — всё это входило в его нынешние обязанности.

Бибиков прибыл в Казань 25 декабря. Не успел он освоиться в новой ставке — Державин уже явился к нему с обстоятельным и тревожным докладом. «Надо действовать!» — этот призыв Державин повторял вновь и вновь. Генерал и сам знал, что промедление смерти подобно, но верные войска ещё не подошли, а из казанского гарнизона сформировать карательные отряды невозможно. Никому нельзя было доверять! Бибиков наделил Державина (и не его одного, разумеется) полномочиями контрразведчика. В этой ситуации лейб-гвардии подпоручик, будучи членом секретной комиссии, стал поважнее иных полковников. Он выявлял, говоря словами Бибикова, «развратителей доброй службы, чуму военной службы».

А через неделю Державин получил настоящее боевое крещение. Бибиков приказал ему направиться в Симбирск, а оттуда — в Самару, занятую бунтовщиками. В Симбирске стояли войска подполковника Гринёва, туда же направлялись из Сызрани части генерал-майора Муффеля. Они должны были соединиться и двинуться на Самару. Это было таинственное поручение: выехав из Казани, подпоручик ещё сам не знал всех тонкостей своей миссии, даже не знал маршрута и готовился к худшему. Бибиков вручил ему два запечатанных конверта, которые следовало вскрыть, проехав 30 вёрст от Казани. Все 30 вёрст Державин проскакал с ощущением, что едет навстречу гибели, а потом прочитал: «Притом поручается вам делать ваши примечания, как

на лёгкие обе полевые команды, так и на гусар: в каком состоянии они находятся и во всём ли исправны, и какие недостатки? Каковых имеют офицеров и в каком состоянии строевые лошади?» Во втором ордере — ещё более деликатное поручение: «По известиям, дошедшим сюда, слышно, что жители города Самары, при приближении злодейской сволочи, со звоном и выходили на встречу и по занятии теми злодеями пели благодарный молебен; когда город Самара от командированных войск паки занят и злодеи выгнаны, найтить того города жителей, кто первые были начальники и уговорители народа к выходу на встречу злодеям со крестом и со звоном, и через кого отправлен благодарный молебен. По испытании же тех, буде со страху и не по склонности к злодеянию исполнили, то взяв первых и распрося, представить ко мне обстоятельно на рассмотрение, а если сие от сущего злого намерения и склонности произошло, то как наискорее под крепким караулом скованных отправить ко мне же, а некоторых для страху жестоко на площади наказать плетьми при собрании народа, приговаривая, что они против злодеев должны пребыть в твёрдости, и живота своего, как верные подданные, щадить не долженствуют».

Контрразведка есть контрразведка. Вероятно, кто-то следил и за Державиным — но уж точно не Гринёв и не Муффель. Бибиков, как и любой здравомыслящий человек, понимал, что мятеж страшен народной поддержкой. Поймать Пугачёва, уничтожить шайку — это дело времени. В Польше не таких ловили: Пулавского! Огинского! Страшно, что у смуты, как у Лернейской гидры, вместо отрубленной головы вырастают новые. И здесь не обойтись без тайной спецслужбы, в которой состояли прибывшие с Бибиковым гвардейские офицеры.

В те годы ещё не сложились ни аристократические, ни тем более интеллигентские представления о тайной полиции как о чём-то позорном, недостойном солдата, поэта или просто просвещённого человека. Державин воспринимал задание Бибикова как честную службу — и за страх, и за совесть, и за деньги, и за славу.

Приближаясь к Симбирску, Державин пытался узнать — не попал ли сей город в руки разбойников? За несколько вёрст до Симбирска он встретил крестьян, возвращавшихся с базара. Державин схватил одного из мужиков, посадил рядом с собой в повозку и начал расспрашивать. По словам крестьянина, в Симбирске военные ходят в крестьянском платье и «собирают шубы». Лишь одна деталь убедила Державина, что город не в руках пугачёвцев: мужик заметил у солдат штыки на ружьях. У мятежников не могло быть штыков. Значит, и верные присяге

войска опустились до мародёрства. Гаврила Романович ужасался: вся губерния пропитана мятежным духом: иной раз ему не хотели менять лошадей, приходилось угрожать старосте пистолетом.

Симбирск встретил подпоручика суровым морозом и тревогами. Державин должен был убедиться в надёжности подполковника Гринёва: Бибиков сомневался в этом офицере, как и в любом другом. Подполковник не разгадал миссию Державина, он казался ему военным советником и пропагандистом, а не соглядатаем Бибикова. К счастью, Гринёв проявил себя как верный и смышлёный командир. Он стал приятелем Державина.

В Самаре Державин убедился, что местное духовенство и впрямь повело себя недостойным образом, колокольным звоном встретив отряд самозванца. Одни боялись расправы, другие, те, что попроще, по темноте своей, были убеждены, что в город въезжает законный государь. Державин должен был строго наказать самарских батюшек, показать твёрдую руку империи. Но… он посчитал за благо повременить с арестами, о чём и написал Бибикову:

«В таковом случае, ежели их всех забирать под караул, то, лиша церкви служения, не подложить бы в волнующийся народ, обольщенный разными коварствами, сильнейшего огня к зловредному разглашению, что мы, наказывая попов, стесняем веру».

Подпоручик советовал генерал-аншефу сперва подготовить смену самарскому духовенству, а уж потом «цапнуть» виновных. Бибикову понравились столь дальновидные рассуждения: он не был самодуром и поощрял находчивость. Сам генерал-аншеф тем временем споро устранял крамолу в казанском гарнизоне. Солдаты, замеченные в симпатиях к мятежу, попали под подозрение, многие уже были наказаны.

«Сочел должность быть самолично в сражении с бунтовщиками при пригородке Алексеевском», — с явной гордостью писал Державин Бибикову 11 января. Первый (и не последний) настоящий кровавый бой — незабываемый! В сражении Державин приглядывался к офицерам, но не стал придираться к ним в рапорте Бибикову. Напротив, доблесть воинов восхитила поэта:

«Что же принадлежит до гг. офицеров, то они все показали достойную душу храбрых Ея Императорского высочества войск; а особливо 24-й полевой команды г. капитан и кавалер Станкевич своею расторопностию и отважным ободрением солдат преимуществует пред всеми своими собратьями; также и находившийся при артиллерии поручик Жадовский; а особливо последним на горе выстрелом, как сказывают, ранил атамана

Арапова, кончил в пользу нашу сражение, обратив в бегство дерзостное мятежническое скопище».

Генерал остался доволен Державиным: и воевать умеет, и мыслит, и на бумаге излагает толково.

Державин и Гринёв предприняли лихой налёт на Красный Яр, где засели взбунтовавшиеся калмыки. Сии мирные буддисты устроили погром в Ставрополе, перебили тамошнюю администрацию, отняли у гарнизонных солдат оружие, даже пушками овладели… Кавалерийской атакой Гринёв уничтожил боевой отряд калмыков, добыл и пушки, и ружья. Теперь нужно было распропагандировать калмыков. Между прочим, казак Пугачёв лучше многих понимал роль пропаганды — не зря его манифесты Пушкин нарёк «удивительным образцом народного красноречия». Самозванец не принялся бы за воззвания шутки ради; он видел, что это работает, что люди уже относятся к нему, как к представителю священной власти. Законная власть должна была ответить достойно, и миссию агитатора, разумеется, взял на себя Державин. Он постарался найти доступную аргументацию, чтобы послание звучало и грозно, и любезно, и толково — в понимании калмыков.

Вот она, державинская агитка, нашпигованная эффектными риторическими вопросами: «Кто вам сказал, что государь Пётр Третий жив? После одиннадцати лет смерти его откуда он взялся? Но ежели б он и был жив, то пришёл ли б он к казакам требовать себе помощи?.. У него есть отечество, Голштиния, и свойственник, великий государь Прусский, которого вы ужас и силу, бывши против его на войне, довольно знаете. Стыдно вам, калмыкам, слушаться мужичка, беглого с Дона казака Емельяна Пугачёва, и почитать его за царя, который хуже вас всех для того, что он разбойник, а вы всегда были люди честные». В манифесте, кроме доводов, звучали и угрозы: вот придут войска — и всех вас перебьют ни за что ни про что, если не принесёте повинную императрице.

Послание зачитывалось калмыкам от имени генерала Мансурова — старшего по званию из представителей государства, находившихся в окрестностях Красного Яра. Мансуров станет действовать против Емельки до победного конца — как и Державин.

Бибикову манифест пришёлся по душе, он понимал, что борцам с крамолой не хватает пропагандистского задора. Генерал-аншеф вообще проникся уважением к Державину и готов был покровительствовать этому тридцатилетнему подпоручику. Калмыки вроде бы присмирели — значит, вняли доводам. Бибиков решил похвастать успехом перед императрицей — и

выслал ей текст обращения, указав и имя сочинителя — «поручик Державин».

Впервые Екатерина прочитала эту фамилию, да ещё и в литературном контексте. Но… она решительно не согласилась с Бибиковым. «Письмо Мансурова к калмыкам такого слога, что оного, конечно, не напечатаю», — раздражённо ответила она Бибикову, не удостоив и упоминания какого-то там Державина. Нет, не слог её огорчил. Слог-то вполне гладкий, по-римски рациональный — в стиле Юлия Цезаря. А вот содержание… Упоминания голштинского отечества, разговоры о родстве с Фридрихом Великим — это не тот костюм, в котором следует являться перед народом. Надобно понимать, что такое фигуры умолчания.

Державин вернулся в Казань, засел за составление списков обывателей, пострадавших от Пугачёва и потворствовавших ему. Бибиков возложил на него и ответственную миссию главного казанского агитатора. Несколько раз Державин выступал перед казанскими дворянами, призывая их браться за оружие и помогать обороне деньгами. Помещики решили выставить по одному ополченцу с каждых двухсот крепостных душ. Так должен был формироваться конный корпус. Узнав об этом порыве, императрица назовёт себя «казанской помещицей» и в ответ выставит по одному рекруту с каждых двухсот душ царских крестьян губернии. В ответ на эту царскую милость Державин организовал восторг подданных и написал речь, которую продекламировал перед портретом государыни. Вот эта весьма высокопарная речь («…за всё сие из глубины сердец наших любомудрой души твоей восписуем благодарение») имела некоторый успех у императрицы: её опубликовали «Санкт-Петербургские ведомости».

Вскоре и Бибиков, и Державин оставили Казань. Первый направился поближе к осаждённому Оренбургу, второй — к Саратову.

Державин той зимой сдружился с майором Соловьёвым. С этим храбрым воякой можно было на ура распить бутылку водки, посоревноваться в остроумии, побаловаться пуншем. Это он во время схватки бесстрашно бросился на шайку пугачёвского атамана Ильи Арапова, чем решил исход сражения, — тогда Державин впервые увидел своими глазами смелую атаку. Походы, оперативные поиски частенько разлучали друзей — и Державин по-дружески посылал майору водку, сахар. Среди запуганных калмыков можно было слегка поправить материальное положение — но только слегка. Державину вырваться из нищеты никак не удавалось.

Саратов в те времена относился к Астраханской губернии — и местному губернатору Кречетникову Державин не пришёлся по душе. Он пресекал поползновения поручика взять под свою команду побольше войска. Державин быстро наживал врагов среди влиятельных администраторов, а ведь ему ещё нужно было заботиться и о собственном кармане.

В краях, охваченных бунтом, можно было по дешёвке купить юных калмыков и башкир обоего пола — их выкупали прямо из семей. Офицеры, отличившиеся в боях с пугачёвцами, и вовсе рассчитывали поживиться «калмычатами» бесплатно. Соловьёв отвечал Державину на просьбы похлопотать насчёт бесплатных крепостных: «Братец сударик, Гаврила Романович. Дружеское ваше письмо я имел честь получить, за кое приношу мою искреннюю благодарность, равно за обсылку меня водкой. Касательно ж до калмычат и башкирчат, так мы ещё их не видали; а если случай допустить, так верьте, что не пропущу вам тем служить». Чем закончилась история — нам неизвестно, но будем надеяться, что Державин не остался без награды. В его небогатом хозяйстве каждый калмычонок был бы на счету..

Бибиков придерживался осторожного плана: в Казани собрать в кулак войска из близлежащих городов, испытать их, избавиться от предателей — и двинуться на Оренбург или туда, где окажутся основные силы Пугачёва. Больше всего генерала пугало своеволие черни… В мятежной атмосфере генералу остро не хватало сабель. Небольшие отряды, малочисленные гарнизоны «никуда носа не смеют показать, сидят по местам, как сурки». Он понял: масштабы смуты несравнимы с событиями десятилетней давности и одними внушениями не обойдёшься, нужно показать силушку, чтобы вернуть не только уважение к короне, но и страх.

Рассадниками крамолы в Саратовском крае считались раскольничьи скиты, которых немало таилось по берегам реки Иргиз. Здесь Пугачёв начинал свою эпопею, здесь его пытались обезвредить два бдительных крестьянина — Трофим Герасимов и Иван Серебряков.

Герасимов в Малыковке (позже из этого посёлка образуется славный уездный город Вольск) указал на Пугачёва властям, бунтовщика арестовали — случилось это в июне 1773-го. Пугачёву удалось бежать из-под стражи, но Герасимов и Серебряков вроде бы доказали верность трону. Последний уже во времена Бибикова явился в Казань, предлагая свои услуги по борьбе со злодеем.

В Малыковке и на Иргизе ожидали наступления пугачёвцев. Серебряков только происхождением был крестьянином, а по роду деятельности — воротила и плут уездного масштаба. Впрочем,

значилось в его биографии и вполне почтенное занятие — монастырский слуга. Он получил известность, прилепившись к выгодному дельцу: речь идёт о расселении польских раскольников на Иргизе. Серебряков подавал начальству идеи и, если выпадала возможность, ловчил напропалую. Кроме почтенных раскольников из Речи Посполитой, он устраивал в иргизских краях беглых крепостных, за что и был посажен в тюрьму в Москве, откуда его вызволили предприимчивые друзья. В тюрьме он сошёлся с запорожским казаком Черняем, которого одно время принимали за Пугачёва. Серебряков попал под подозрение — и стремился выслужиться.

Державину Серебряков не нравился. Гаврила Романович его знал давненько, по московским кругам картёжников и пройдох. (Удивительное совпадение, что им довелось встретиться в Казани!) И всё-таки он представил Серебрякова Бибикову: из таких плутов и вербуются ловкие тайные агенты.

Бибиков принял Серебрякова ночью. Иван одну за другой извергал из себя идеи захвата Пугача, который, по его словам, обязательно кинется на Иргиз! Русский авантюрьер предлагал генералу положиться на местного помещика — подпоручика Максимова. Того самого, который вызволил Серебрякова из тюрьмы! Нам известно, что уж этого вертопраха Державин преотлично знал по шулерской молодости и не горел желанием продолжить знакомство. Бибикову подпоручик сразу показался ненадёжным, но идея Серебрякова приглянулась. Давно пора ускорить облаву на самозванца!

Генерал вошёл в азарт, рассмотрел крупицы разума в речах «залётной птицы» и велел Державину ехать с ним в Малыковку, снабдив поручика секретными наставлениями.

В Малыковке Державин принялся вербовать штат тайных осведомителей — подлазчиков, лазутчиков из крестьянского сословия. Разумеется, платных. Не забывал он и распространять ложные сведения о целях своего пребывания здесь. Даже лазутчикам сообщалось, что Державин прибыл в Малыковку для встречи войск, идущих из Астрахани, и вот-вот покинет её. На самом деле Державин лишь ненадолго выезжал в Саратов, после чего принялся собирать в Малыковке боеспособный отряд, поскольку пугачёвцы уже орудовали поблизости. Не только дворяне и военные были готовы к сопротивлению. Серебряков и Герасимов, по приказу Державина, сколотили какое-никакое крестьянское ополчение.

А кратковременное пребывание в Саратове станет причиной новых служебных невзгод Державина, но об этом разговор впереди.

Державин не знал, что генерал Бибиков уже страдал от неизлечимой болезни. Он умирал без лекарей, но и во дни болезни не уклонялся от исполнения долга. Из-под Оренбурга пришла воодушевляющая весть: князь Пётр Михайлович Голицын, генерал-майор, давний соратник Бибикова, разбил мятежников при крепости Татищевой. Впервые пугачёвцам нанесли чувствительное поражение.

Тут же, почти одновременно, Державин получает два известия: первое — о производстве в поручики. В то же самое время подполковником Преображенского полка стал возвысившийся Потёмкин (в полковниках, понятное дело, ходила сама императрица). Отныне и на долгие годы именно он станет вершителем судьбы Державина. Но второе известие повергло Державина в долгую скорбь: умер Александр Ильич Бибиков. Он один мог стать благодетелем Державина после окончательной победы над самозванцем. Никто, кроме генерал-аншефа, не ведал о заслугах расторопного преображенца в тайных делах… Державин даже во дни сражений находил время, чтобы написать строку-другую в честь генерала Бибикова. И вот его не стало, рассеялись и надежды на достойное вознаграждение. Державин предвидел: придётся доказывать новому начальнику свою расторопность, выслуживаться без гарантии успеха. Сидеть сложа руки Державин не собирался.

Узнав, что Пугачёв движется к Яику, Державин решил предпринять поход на Яицкий городок. Он мечтал захватить Пугачёва самолично и торопился чрезвычайно, дабы опередить другие отряды. В распоряжении Державина было 200 гарнизонных солдат, два орудия и 150 крестьян-ополченцев. Он пытался привлечь к походу казачьи эскадроны, но на полпути поход пришлось прервать: пришло известие, что Яицкий городок успели занять войска генерала Мансурова. Опоздание! Впрочем, Пугачёва не захватили, игра продолжалась. У Державина к тому времени появился недурственный девиз «Бдителен и смел!». Эти слова, записанные на подорожной с печатью Бибикова, Гаврила Романович осмыслил по дороге из Казани в будущий Вольск.

Он усмирял бунт в окрестностях Малыковки — и, поддавливая на помещиков, набирал воинство из условно «верных» крестьян, коих насчитывалось уже более тысячи. «Ежели они, совокупя своё усердие и должную истинной своей самодержице ревность и верность, вора и бунтовщика, называемого покойным императором Петром Третьим, Емельку Пугачёва, каким-либо своим проворством поймают живого, то обещаюсь чрез сие, словом всемилостивейшей нашей императрицы, в награждение их сей важной заслуги, всё село

Малыковку, как оно прежде было, выстроить и другие дать награждения. Иргизским жителям чрез сие объявляется ж, как они имеют охоту быть казаками, то конечно, будут, ежели только вышеописанное исполнят дело и поймают бунтовщика Пугачёва».

Можно ли было доверять малыковским крестьянам? Несколько раз Державин отъезжал в Саратов — и дважды в эти дни крестьяне поджигали его малыковскую штаб-квартиру. Князю Ф. Ф. Щербатову, заменившему Бибикова, Державин писал прямо: «Если в страну сию пойдёт злодей, то нет надежды никак за верность жителей поручиться».

К тому же слухи о мобилизационных успехах Пугачёва ходили самые гиперболические — и Державин прибегал к политике устрашения. К политике карательной, о которой сохранилось немало свидетельств:

«Державин, приближаясь к одному селу близ Малыковки с двумя казаками, узнал, что множество народу собралось и намерены идти к Пугачёву. Он приехал прямо к сборной избе и требовал от писаря Злобина (впоследствии богача) изъяснения, зачем собрался народ и по чьему приказанию. Начальники выступили и объявили, что идут соединиться с государем Петром Фёдоровичем, — и начали было наступать на Державина. Он велел двух повесить, а народу велел принести плетей и всю деревню пересёк. Сборище разбежалось. Державин уверил их, что за ним идут три полка. Дмитриев уверял, что Державин повесил их из поэтического любопытства». Это из «Истории Пугачёва» — событийного полотна, восстановленного Пушкиным. В пушкинской этической системе такое считалось недопустимым — даже в ответ на зверства мятежников. А Державин брал с крестьян подписку, по которой в случае перехода на сторону Пугачёва и потворства бунтовщикам они обрекали себя на смертную казнь! Всё это Державин осуществлял без тени куртуазного сладострастия. Служба! Времечко военное! Война междоусобная, гражданская, братоубийственная — это бесславное дело, но, если уж она разгорелась, завершать её следует только победно…

Многим знаком этот отрывок, потому что к Пушкину мы относимся с пиететом. «Повесить из поэтического любопытства» — кажется, что может быть циничнее? Как тут не вспомнить другой пушкинский текст — «Моцарт и Сальери», спор о гении и злодействе. Был ли убийцей Микеланджело «или это бредни тупой завистливой толпы»? Первым заговорил о казнях «из любопытства» Иван Иванович Дмитриев — поэт, один из первых сентименталистов, добрый приятель Державина, даже душевный друг. Как и Державин, он не чурался чиновничьей карьеры, как и Державин, дослужился до кресла министра юстиции.

Поэзия, честь, ум
Его были душою…
Юстиция, блеск, шум
Двора — судьбы игрою. —

напишет Державин о Дмитриеве. А, может быть, отчасти — о себе самом.

Что же, Иван Иванович не упустил случая бросить тень на плетень? Или просто блеснул остроумием? И Пушкину, и Дмитриеву легко было корить Державина за жестокость. Но для Державина борьба с пугачёвщиной не была литературным приключением. Он превращался в карателя, когда считал это тактически необходимой мерой. Но осознавал (в отличие от многих соратников!), что одним страхом народ не утихомирить! Полгода в эпицентре гражданской войны стоили десятилетия: события и впечатления быстро наслаивались и смешивались, но Державин пришёл к трезвому выводу: «…надобно остановить грабительство или, чтоб сказать яснее, беспрестанное взяточничество, которое почти совершенно истощает людей… Сколько я мог приметить, это лихоимство производит в жителях наиболее ропота, потому, что всякий, кто имеет с ним малейшее дело, грабит их. Это делает легковерную и неразумную чернь недовольною и, если смею говорить откровенно, это всего более поддерживает язву, которая теперь свирепствует в нашем отечестве». Об этом Державин не шептался, это — из письма казанскому губернатору Якову Ларионовичу фон Бранту.

Державин понял: нельзя относиться к пугачёвщине как к «беспорядкам» и только. Помещики и администраторы сами превращаются в грабителей. Казаки и крестьяне обижены, они тоскуют по справедливости, тут — социальная язва, а не только помрачение умов. Потому так трудно искоренять крамолу.

Поручик вдоль и поперёк изучил управленцев Малыковки, Саратова — мелких столоначальников, от которых зависела судьба сотен, а то и тысяч крестьян. Слова доброго сии государевы люди не стоили: «большая половина — пьяницы, плуты, грабители и ворам потатчики». Лиходеи, да и только. Именно тогда замыслил Державин свою дерзновенную сатиру — оду «На знатность», которая со временем перерастёт в «Вельможу».

История иронична. Каждого, кто, посверкивая белоснежными манжетами, отшатывался от кровопролития, она проводила по кругу и заставляла пропеть оду сапогу и кнуту. Станет и Пушкин певцом карательной польской кампании. Конечно, это разные

вещи: Пушкин лишь приветствовал польскую операцию звуками лиры и трубы, а Державин самолично карал и миловал, допрашивал с пристрастием, приказывал высечь и вешал… Но Пушкин не где-нибудь, а в заочной дискуссии с Державиным сказал: «Слова поэта суть дела его».

События той гражданской войны любого убедили бы, что без карательных мер с крамолой не совладать — но карать нужно не только непокорных крестьян, но и злонравных дворян…

Между тем Пугачёв, вроде бы отступавший, праздновал одну победу за другой. Именно в июле он ворвался в Казань, где от мятежников пострадала мать поручика Державина. Никто в те дни не ведал, что это последний выплеск бунта. Готовились к худшему. Державин порой впадал в отчаяние. С сотней казаков он метался по городкам и сёлам, спасая казну и порох, призывая крестьян сопротивляться злодею. Сколько сил потрачено — а Пугачёв, кажется, стал только сильнее. Державин связывал обострение ситуации со смертью Бибикова. Тогда родились строки, которые не хотелось зарифмовывать:

Пустыни вретищем покрылись,
Весна уныла на цветах;
Казань вострепетала в сердце;
Потух горящий воев дух;
Спешат писать увещеванья:
«Мужайтесь, бодрствуйте!» вещают,
Но тщетно!.. Нет уже тебя!
Расстроилось побед начало;
Сильнее разлилася язва;
Скрепился в злобе лютый тигр.

Тигр уже рычал поблизости, оскаливаясь на поручика.

Поездка в Петровск едва не закончилась плачевно: Пугачёв явился туда прежде Державина — и началась опасная игра в казаки-разбойники. Казачья сотня, сопровождавшая Державина, перешла на сторону «амператора». Кибитку с оружием бунтовщики захватили, Державину пришлось спасаться вскачь. Несколько вёрст с гиканьем гнались за ним мятежные казаки. «Пугачёв сам с некоторыми его доброконными вслед за ними скакал; но порознь к ним, имеющим в руках пистолеты, приблизиться не осмеливались. Итак, их и Державина злодею поймать не удалось, хотя он чрез несколько вёрст был у них в виду. И как наступила ночь и они на станции переменили лошадей, то и отретировались благополучно», — вспоминал спасшийся чудом поручик.

Самозванец обещал за голову Державина десять тысяч рублей. Этими сребрениками соблазнился слуга Державина, захваченный под Петровском, — польский гусар, которого Гаврила Романович нанял в Казани. Державин вёл агитацию среди немецких колонистов, которых с недавних пор немало прибыло в Заволжье. Русское сельцо Волково немцы переименовали в Шафгаузен; там верховодил окружной комиссар Иоганн Вильгельми — обходительный и добродушный масон. Они сдружились, и Державин называл его Иваном Давыдовичем. В первый раз он задержался в Шафгаузене на два дня. А под Шафгаузеном уже орудовал пугачёвский полковник, включившийся в охоту на Державина. Мятежники склонили на свою сторону нескольких немцев — первостатейных авантюристов. Егерь комиссара Вильгельми, на счастье, предупредил Державина об опасности. Бежать! Только куда? Надёжных путей нет, кругом измена, кругом засады. Девяносто вёрст одним духом проскакал Державин. На пути его не раз встречались караульные с «духом буйства», готовые схватить поручика и увезти в «скопище разбойников». Только под дулом пистолета они отступали. Державин не медлил с ответным ходом. Крепостной одной местной барыни по фамилии Былинкин вызвался (разумеется, небескорыстно) убить Пугачёва — и Державин с наставлениями направил его в «скопище».

Мятежники за это время покуражились и в Казани, и в Малыковке, и в Саратове — везде, где служил в последние месяцы Державин. Закрепиться в этих пунктах они не могли, Пугачёву приходилось уклоняться от сражений с войсками расторопного премьер-майора Ивана Ивановича Михельсона, но погромы наводили ужас на дворян, а хозяйственная жизнь местных помещиков (в том числе и Державиных) окончательно расстроилась… Приходилось надеяться только на царскую помощь — когда-нибудь, в неопределённом будущем, когда утихнут грабежи.

Неприятности продолжались. Державин послал в Сызрань к Мансурову Серебрякова — с требованием подкрепления. Старый пройдоха прихватил с собой сына и двинулся в путь. Но до Мансурова не доехал: попал в руки разбойников, беглых солдат, которые ограбили и убили и его, и сына. Кто знает, может быть, они напали на Серебряковых не только ради поживы, но и по идейным причинам? Проворный, неугомонный Серебряков многим успел насолить, а для сторонников «Петра Третьего» стал первым врагом. Державин лишился энергичного помощника, короля иргизских лазутчиков.

Пришла беда — отворяй ворота. С малыковским казначеем

Тишиным Державин нередко спорил, они не всегда ладили: тот не желал подчиняться беспрекословно какому-то поручику, препятствовал пополнению боевого отряда. Но, отступая из Шафгаузена, Державин приказывал ему на время удалиться из Малыковки. Пугачёвцы наступали, и следовало спасать голову и казну. Тишин эвакуировался ненадолго — на близлежащий речной островок, вместе с семьёй. Никакого наступления пугачёвцев не последовало, и, проклиная раскомандовавшегося преображенца, Тишины решили вернуться в Малыковку. А село уже было охвачено хмелем бунта! Большой пожар, как это часто случается, возник из-за копеечной свечки. Всего лишь несколько пугачёвцев тихомолком явились в Малыковку на гулянье — а встретили их как героев. Те, кто несколько дней назад кланялся до земли Державину и Тишину, превратились в дружинников «государя Петра Третьего». Супругов Тишиных схватили сразу — не успели они выйти из лодки. Казначея жестоко избили, казначейшу изнасиловали возле церковных врат. Потом принялись за детишек — с уханьем разбивали им головы. Наконец Тишиных повесили, а для верности ещё и расстреляли. Пугачёвцы покуражились, малость подкрепились — и ускакали прочь, а малыковцам — в том числе и пособникам разбойников — досталось тяжкое похмелье.

Когда Державин приблизился к Малыковке, страсти почти улеглись. Вернулись гарнизонные артиллеристы, похоронили погибших. Выявили виновников бесчинства — местных мужиков, сотрясавших топорами за Петра Третьего. Разъярённый Державин, появившись в селе, немедленно приговорил их к смерти. И — принялся восстанавливать порядок железной рукой.

Годы спустя Державин поведал обо всём без утайки и без смущения: «Чтоб больше устрашить колеблющуюся чернь и привесть в повиновение, приказал на другой день в назначенном часу всем обывателям, мужескому и женскому полу, выходить на лежащую близ самого села Соколову гору; священнослужителям от всех церквей, которых было семь, облачиться в ризы; на злодеев, приговорённых к смерти, надеть саваны. Заряженную пушку картечами и фузелёров 20 человек при унтер-офицере поставил задом к крутому берегу Волги, на который взойти было трудно. Гусарам приказал с обнажёнными саблями разъезжать около селения и не пускать никого из онаго с приказанием, кто будет бежать, тех не щадя рубить. Учредя таким образом, повёл с зажжёнными свечами и с колокольным звоном чрез всё село преступников на место казни. Сие так сбежавшийся народ со всего села и из окружных деревень устрашило, что хотя было их несколько тысяч, но такая была тишина, что не смел никто рта

разинуть. Сим воспользуясь, сказанных главнейших злодеев, прочтя приговор, приказал повесить, а 200 человек бывших на иргизском карауле, которые его хотели поймав отвести к Пугачёву, пересечь плетьми. Сие всё совершали, и самую должность палачей, не иные кто, как те же поселяне, которые были обвиняемы в измене. Державин только расхаживал между ними и причитывал, чтоб они впредь верны были Государыне, которой присягали. Народ весь, ставши на колени, кричал: „виноваты“ и „рады служить верою и правдою“». Вот такая мистерия, наскоро сочинённая и отрежиссированная одним махом, в приступе ярости. В тот день высекли не меньше двухсот крестьян — добрую половину мужского населения Малыковки. «Народ пьянел, терял обыкновенное русское свойство — здравый смысл», — писала графиня Блудова. Державин всё это видал своими глазами.

Не удержусь от банального комментария: перечитывая стихи Державина, будем помнить, в каких схватках огрубела его душа и закатился ум. Стихи и в те дни возникали в его душе, но некогда было писать: каждый день — допросы, подготовка к новым сражениям. Гражданская война в Поволжье — это вам не шарканье по дворцовым паркетам. Тут приходилось даже родню подозрительных крестьян превращать в заложников.

В Малыковку Державин со своим отрядом на редкость своевременно нагрянул транзитом, путь его лежал в киргизские степи. Неутомимого поручика встревожили метания колонистов — «рассудительных европейцев», кое-кто из которых примкнул к повстанцам. В то же время киргиз-кайсацкие (по преимуществу) кочующие отряды изрядно пограбили мирных немцев, угнали скот, взяли пленных.

Державин воспринял ситуацию как новый шанс отличиться — и без колебаний решился на крупнейшую в своей биографии военную операцию — поиск в киргизскую степь. Ему удалось сформировать небольшой, но боеспособный отряд: 25 гусар, несколько казаков да 300 русских крестьян и немцев-колонистов. С гусарским авангардом Державин двинулся в поход 21 августа — и грозой промчался по деревням. Ещё до малыковских экзекуций среди новых повешенных оказался один из убийц Серебрякова. В Малыковке Державин получил многочисленное подкрепление — около семисот ратников и снарядил обозы.

Следовало отрезать воинственных кочевников от основных сил Пугачёва — соединившись, они бы стали настолько грозной силой, что отрядам, вроде державинского, пришлось бы совсем туго.

Не тогда ли впервые зазвучала в воображении Державина

победная строка — «Богоподобная царевна киргиз-кайсацкия орды…»? Правда, обстановка складывалась не триумфальная — легче было самому оказаться повешенным, чем захватить Емельку.

Воинство Державина двигалось к Узени — а Вильгельми пытался настичь приятеля письмом, в котором рассказывал о новых набегах киргизов на немецкие колонии. Даже патера они захватили в плен.

Главная боевая сила Державина — 25 гусар. Он разделил их на два отряда и атаковал киргизскую тысячу в верховьях Малого Карамана. Короткая схватка — и киргизы бросились прочь на своих лёгких лошадках, оставив Державину награбленное. 48 кочевников пришлось похоронить, шестерых взяли в плен. Главный успех — освобождение «киргизских пленников»: их было около тысячи! 811 колонистов из Европы, 20 малороссов и трое русаков. Как трусоватым (судя по сражению) киргизам удалось добиться покорности от столь многочисленной толпы — загадка.

Державин вернул колонистам имущество, скот — перепуганные немцы увидели твёрдую руку государства Российского и стали заметно лояльнее. Для защиты от новых набегов поручик учредил в колониях посты и разъезды из добровольцев. Не без хвастовства Державин рапортовал Голицыну о виктории и просил наградить храбрецов: поляка Гоголя, поручика Зубрицкого и вестника победы, крестьянина Герасимова, которому Державин просил даровать звание мещанина — дабы пробудить рвение в других волжанах низкого сословия… Между строк значилось: в первую голову необходимо наградить поручика Державина, умеющего действовать быстро и решительно.

Голицын ответил письмом, полным комплиментов, и обещал похлопотать о Державине и его соратниках перед Паниным. Но граф Панин уже заочно, по донесениям астраханского губернатора Кречетникова, составил о поручике нелестное мнение: шумный и нахальный искатель чинов. Пётр Никитич Кречетников слыл приятелем Панина, граф ему доверял… К тому же на боевом мундире поручика Державина зияло пятно: Пугачёв с погромом взял Саратов, Державин, как и другие борцы с мятежом, не сумел этому воспрепятствовать. А при Саратове к пугачёвцам присоединились не только казаки, но и некоторые солдаты и даже офицеры… Державин, саратовский комендант Бошняк и другие офицеры маневрировали, каждый старался переложить ответственность на ближнего — а Панин негодовал. В ордере Голицына, наряду с благодарностями за победу над киргизами, значилось: «Вследствие его же сиятельства повеления

изволите прислать ко мне к доставлению ему рапорт, в котором объясните обстоятельство, каким образом не случились вы быть при защите своего поста в городе Саратове». Панин требовал объяснений! В этих словах — зерно будущих неприятностей Державина. С Бошняком Державин крепко поссорился, когда они обсуждали оборону Саратова. А комендант был доверенным лицом словоохотливого и хитроумного астраханского губернатора Кречетникова… Державин умел наживать врагов!

Тем временем в краях, охваченных бунтом, установилось двоевластие: правили Пётр и Павел. Пётр Панин и Павел Потёмкин. Генерал-майор Павел Сергеевич Потёмкин — вояка, показавший храбрость в сражениях с турками, Панину не подчинялся! Сей генерал-майор приходился троюродным братом блистательному князю Тавриды и считался противником панинской партии. По-видимому, императрица считала, что конкуренция генералов послужит к скорейшей поимке злодея. Но Державин, тосковавший по славным временам Бибикова, от двоевластия только страдал. Потёмкин вроде бы покровительствовал Державину, но сбрасывать со счетов могущественного Панина было затруднительно. Что же касается «маркиза Пугачёва», то для него началась чёрная полоса.

Весной 1774-го самозванец и не думал складывать оружие: у него выработалась собственная эффективная тактика мобилизации новых сил. Волей, обещаниями привилегий он привлекал и казаков, и представителей приволжских национальностей, и беднейших крепостных. В Казани Пугачёву не удаётся штурм Кремля, но в родном городе Державина — а это был крупнейший форпост империи на Волге — его войска покуражились вволю. Под Казанью полковник Михельсон разбивает войско Пугачёва, но самозваный император переправляется на правый берег Волги и расширяет ареал мятежа, хозяйничая в обширных районах. В июле самозванцу донесли, что широкие полномочия по борьбе с ним получает генерал-аншеф граф П. И. Панин, а ведь под его началом хорунжий Емельян Пугачёв служил при осаде Бендер.

В Петербурге уже нельзя было скрыть признаки паники. Пугачёва демонизировали, считали непобедимым, неуязвимым. После Кючук-Кайнарджийского мира Петербург получил возможность переправить в Поволжье проверенные в боях войска и, самое главное, решительного и авторитетного в войсках генерала. Выбор пал на Суворова.

Скажем словами Пушкина: «Между тем новое, важное лицо является на сцене действия: Суворов прибыл в Царицын… Он принял начальство над Михельсоновым отрядом, посадил пехоту

на лошадей, отбитых у Пугачёва, и в Царицыне переправился через Волгу. В одной из бунтовавших деревень он взял под видом наказания 50 пар волов и с сим запасом углубился в пространную степь, где нет ни леса, ни воды и где днём должно было ему направлять путь свой по солнцу, а ночью по звёздам…»

Державин и Суворов — соседи по петербургскому памятнику Екатерине Великой. Но на скользких паркетах золотого века дворянства каждый из них чувствовал себя по-разному. Суворовский гений стремился к подлинной внутренней свободе; усердный постник и признанный чудак и оригинал отнюдь не был характерным человеком своей эпохи, как не был бы он характерным ни для одной другой эпохи, если бы в истории существовало сослагательное наклонение. В 1790-е годы Державин почувствовал силу суворовской чудаковатости, суворовской ортодоксальной непоколебимости, но сам был человеком иного склада и свою свободу видел не в конфликте с «гибнущим сим веком». Да, и Державин — с суворовской насмешливой правотой — умел «истину царям с улыбкой говорить…», и Державин прослыл неуживчивым вельможей за вечные споры с сильными мира сего, споры, доходившие до высших судебных инстанций. Честность Державина вошла в легенду.

И всё-таки Державин — поэт, чья жизнь была полным-полна мытарств, — сумел приспособиться к неписаным законам придворной жизни куда лучше Суворова, в бессонных переходах и вечной погружённости в мир военного искусства, литературы и религии утратившего возможность понимать общепринятое.

Державин, конечно, уже слыхал о Суворове, хотя они никогда не встречались. О чудаковатом сыне оборотистого генерала Василия Суворова заговорили в армии, когда он был ещё полковником. Суздальский полк Суворова отличался на всех учениях. В армейских кругах с тех самых пор ходили анекдоты о чудачествах полковника — один из них запишет Егор Фукс: «В Новой Ладоге делал он с своим Астраханским полком разные маневры, повторяя беспрестанно: „Солдат и в мирное время на войне. Предпочитаю греков римлянам. У первых были военные училища, беспрестанно и в мире занимались они воинским учением. Римляне беспечно отдавали судьбу армии своим консулам и не умели пользоваться славою“. Весьма желал он показать полку своему штурм. На пути встречает монастырь. В пылу воображения тотчас готов у него план к приступу. По повелению его, полк бросается по всем правилам штурма, и победа оканчивается взятием монастыря. Екатерина пожелала увидеть чудака. И сие первое свидание, как он сам говорил,

проложило ему путь ко славе».

В Польше Суворов, ставший уже генералом, громил отряды конфедератов под Люблином, при Столовичах и Бресте. Его отличал Бибиков. Но та война пребывала в тени побед Румянцева на Дунае. И вся Россия заговорила о Суворове, когда его перевели в армию Румянцева и воевать пришлось не против поляков, а против турок.

Гроза польских конфедератов, победитель турок при Туртукае, Суворов уже прогремел на всю Россию с окрестностями, и враги слагали про него почтительные были и небылицы. Птицу славы он приручил только к сорока годам — поздновато по меркам того времени. Опытный, предусмотрительный генерал, уже создавший собственную «науку побеждать», — в Поволжье сразу всё расставил по местам.

Он опережал всех, его быстрота ошеломляла и противника, и коллег. Предусмотрительность, точность, умение быстро сориентироваться в незнакомой среде — вот качества, которые проявил Суворов в пугачёвском деле. В первые дни пребывания в бунтующих краях он получил сотни противоречивых сведений о последних сражениях с пугачёвцами. И сразу отметил расторопность поручика Державина. 9 сентября, остановившись для краткого отдыха, Александр Васильевич написал рапорт Панину, в котором дважды упомянул своего будущего поэта: «Господин поручик лейб-гвардии Державин при реке Карамане киргизцев разбил». И — далее: «Сам же господин Державин уставясь отрядил 120 человек преследовать видимых людей на Карамане до Иргиза».

Суворов почувствовал в поручике родственную душу: гвардеец, задержавшийся в нижних чинах, судя по всему, остроумный и способный к быстрым, дерзким действиям. 10 сентября с берегов речушки Таргуна Суворов обращался уже лично к Державину — в весьма уважительных тонах: «О усердии к службе Ея Императорского величества вашего благородия я уже много известен; тоже и о последнем от вас разбитии Киргизцев, как и о послании партии для преследования разбойника Емельки Пугачёва от Карамана; по возможности и способности ожидаю от вашего благородия о пребывании, подвигах и успехах ваших частых уведомлений. Я ныне при деташаменте графа Меллина следую к Узеням на речке Таргуне, до вершин его вёрст с 60-ть, оттуда до 1 Узеня верст с 40. Деташамент полковника Михельсона за мною сутках в двух. Иду за реченным Емелькою, поспешно прорезывая степь. Иргиз важен, но как тут следует от Сосновки его сиятельство князь Голицын, то от Узеней не учиню ли или прикажу учинить подвиг к Яицкому городку. Александр

Суворов».

Знаменательный документ!

Державин со своим отрядом тоже продвигался к Узени в поисках Пугачёва: лазутчики дали знать, что после поражения при Красном Яре самозванец скрылся в этом районе. Крестьянам из своего отряда Державин раздал по пять рублей и послал их врассыпную искать «злодея». Посланцы Державина увидели кострище, вокруг которого сидели сообщники Пугачёва, предавшие своего императора. Державин опоздал: самозванца уже передали Симонову, коменданту Яицкого городка. И всё-таки посланцы Державина явились к поручику с пленником — то был пугачёвский полковник Мельников. Гаврила Романович допросил его и под надёжной охраной направил к князю Голицыну. То был далёкий путь — более 100 вёрст. Князь припишет поимку Мельникова своим личным стараниям.

Пробираясь по берегам Узени, Суворов узнал от пустынников в скитах, что Пугачёв был связан собственными сообщниками и что они повезли его к Яицкому городку. Суворов поспешил туда же. Ночью он сбился с дороги и пошёл на огни, разложенные всё теми же киргизами — бесприютными налётчиками. Завязался бой, Суворов потерял нескольких человек, включая адъютанта, — но кочевники, конечно, не смогли преградить ему путь. Комендант Симонов передал Суворову самозванца. Не смыкая глаз, генерал доставил его в Симбирск Панину.

Офицеры и их курьеры устроили соревнование: кто первым сообщит о пленении Пугачёва Панину? А кто — Потёмкину? И, наконец, императрице… Державин не сплоховал: именно его курьер доставил победное известие Павлу Потёмкину, а тот написал Екатерине в Петербург:

«Сейчас получил я от поручика гвардии Державина, находящегося для защищения колоний от набегов киргиз-кайсаков, наиприятнейшее известие, что изверга и злодея Пугачёва на Узенях поймали и, связав, под стражею повезли в Яицкой городок». Из этого письма Екатерина и узнала о пленении самозванца — и Державин гордился, что это было его сообщение. Но Панин имел право возмутиться: его обошли, презрев субординацию. Гнев его мог обрушиться на Павла Потёмкина, но с ним опасно ссориться. Кто первым снабдил сведениями Потёмкина? Державин. Панин не скрывал враждебного отношения к поручику и в донесениях императрице…

Потёмкин, впрочем, надеялся, что и самого Пугачёва доставят к нему, а не к Панину. Он почему-то считал, что поручик Державин способен это устроить — в обход Суворова, который уже вёз самозванца в Симбирск. Когда Державин оказался

бессилен в этом щекотливом деле — Потёмкин несколько охладел к своему ретивому порученцу.

Злодей пойман, но не побеждена крамола. Державин не торопился списывать в архив созданную им сеть лазутчиков. И Суворов после краткого отпуска (он недавно женился, нужно было хотя бы ненадолго воссоединиться с супругой) вернулся на берега Волги, Камы и Яика, вскоре переименованного в Урал. Продолжалась его миссия по искоренению мятежа. Суворов энергично добивал «остатки пугачёвских шаек» и боролся с башкирской смутой.

Пройдёт больше десяти лет — и Суворов так объяснит причины фантастических успехов Пугачёва: «Большая часть наших начальников отдыхала на красносплетённых реляциях». Про Державина такого не скажешь: ему не хватало полномочий, не хватало командирского опыта, но он не сидел сложа руки.

Награду он заслужил. Но всесильный Панин барственно говаривал, что готов повесить Державина рядом с Пугачёвым. За саратовский конфуз, за самоуправство, за упрямство, которое бросалось в глаза даже в реляциях.

Императрице Панин писал о подвигах Бошняка и ошибках Державина… Екатерина отвечала:

«Если доподлинно комендант Саратовский поступал так, как в сказке капитана Сапожникова показано, то он достоин, чтоб верность его не осталась без награждения, что поручаю вам наиприлежнейше рассмотреть и в ясность привести, а потом представить ко мне. Доходили до меня гвардии поручика Державина о сем коменданте письма, кои не в его пользу были; а как сей Державин сам из города отлучился будто за сысканием секурса, а вы об нём нигде не упоминаете, то уже его показание несколько подвержено сомнению, которое прошу, когда случай будет, объяснить наведанием об обращениях сего гвардии поручика Державина и соответствовала ли его храбрость и искусство его словам, а прислан он был туда от покойного генерала Бибикова». Вот так императрица впервые упомянула того, который станет её певцом, «певцом Фелицы».

Можно предположить, что до Екатерины доходили и рапорты Державина, и добрые слова о нём. «Я уже о расторопности и усердии вашем представлял Высочайшему двору», — обмолвился как-то Павел Потёмкин в письме Державину.

Державин не собирался отвечать головой за падение Саратова, о чём и попытался доложить Панину: «В Саратове был я для объявления награждения за поимку злодея и проповеди о неприлеплении к нему, для чего и собраны были от меня подписки под смертною казнью. Отлучился я от него, что

услышал наклонения к бунту в другом месте, для меня важнейшем». Державин тогда отбыл в Сызрань. Никто не приказывал ему оборонять Саратов! Его, конечно, было в чём упрекнуть: ведь и его пропагандистская миссия в Саратове провалилась и, несмотря на подписки, люди переходили к «злодею». Но разве «проповеди» других офицеров оказались более действенными?

И тут Державин решился во что бы то ни стало поговорить, с Паниным начистоту, с глазу на глаз. Он прискакал в Симбирск. Первым его симбирским собеседником стал Голицын, который дружески посоветовал Державину избегать встреч с Паниным, а лучше направиться прямиком в Казань — искать покровительства у Павла Потёмкина. К Голицыну стоило прислушаться: князь полюбил поручика. Но Державин проявил упрямство — и, дождавшись возвращения Панина с охоты, явился в резиденцию графа. Приняли его неласково. Первый разговор, в присутствии Михельсона, Панин начал с вопроса: «Видел ли ты Пугачёва?» Державин вспомнил погоню под Петровском, гикающих казаков — и ответил: «Видел, на коне». Тогда, по приказу Панина, в зал ввели самозванца — скованного, в старом тулупе. Державин вспоминал: «Чрез несколько минут представлен самозванец в тяжких оковах по рукам и по ногам, в замасленном, поношенном, скверном широком тулупе. Лишь пришёл, то и встал пред графом на колени. Лицом он был кругловат, волосы и борода окомелком, чёрные, склоченные; росту средняго, глаза большие, чёрные на соловом глазуре, как на бельмах. Отроду 35 или 40 лет».

Ликующий Панин и коленопреклонённый Пугачёв сообразили короткий диалог специально для Державина: «Здоров ли ты, Емелька?» — «Ночей не сплю, всё плачу, батюшка». — «Надейся на милосердие государыни».

Вот он, самозванец, которого не сумел пленить Державин! Мемуарные записки диктовал действительный тайный советник Державин, ставший опытным из опытных, — и он углядит в манёврах их сиятельства ловкий укол:

«Сие было сделано для того, сколько по обстоятельствам догадаться можно было, что граф весьма превозносился тем, что самозванец у него в руках, и, велев его представить, хотел как бы тем укорить Державина, что он со всеми своими усилиями и ревностию не поймал сего злодея».

Пугачёва увели — и Панин (царь царём!) в окружении офицеров степенно отправился ужинать. Державина никто не приглашал, но он и без приглашений занял место возле главнокомандующего. Взыграла гордость гвардейского офицера, который сиживал за одним обеденным столом с самой

императрицей. Панин покосился на упрямца — и ужинать не стал, демонстративно удалился в кабинет.

На следующее утро, перед рассветом упрямый поручик занял место в передней главнокомандующего. Несколько часов он ждал — и, наконец, Панин явился, в колпаке и халате. Он шествовал, никого не замечая, но Державин чуть ли не за рукав его схватил: «Я имел несчастие получить вашего сиятельства неудовольственный ордер, беру смелость объясниться». На этот раз Панину приглянулось офицерское нахальство, он провёл Державина в кабинет — и уже на ходу упрекнул его за неуважение к саратовскому коменданту. Державин отвечал пылко и прямодушно, даже дерзко:

«Кто бы стал вас обвинять, что вы, быв в отставке на покое, из особливой любви к отечеству и приверженности к службе государыни, приняли на себя в столь опасное время предводить войсками? Так и я, когда всё погибало, забыв себя, внушал в коменданта и во всех долг присяги к обороне города».

Панина, конечно, не убедила такая аргументация, но он увидел перед собой дворянина, знающего себе цену, честного, ершистого. Таких людей он ценил! И барственный генерал впал в сентиментальное настроение. «Садись, мой друг, я твой покровитель!» — неожиданно воскликнул граф. Державин даже заметил слёзы в его глазах — в мемуарах, как известно, начальники умилённо плачут гораздо чаще, чем в жизни. Разговор продолжился в присутствии Голицына, Михельсона и других тиунов Панина. Державин не был простаком, своей весёлостью он тут же показал им, что гроза миновала, что он в чести у Панина. За обедом граф постоянно обращался именно к Державину — и поручик ещё раз убедился, что перед ним — талантливый, но хвастливый и болезненно тщеславный политик. Графу понравилось беседовать с Державиным — он и наедине рассказывал ему о своих боевых подвигах.

А потом граф решил поразвлечься за карточным столом. Играть в вист Державина не пригласили — хватало и более высокопоставленных офицеров. Михельсон, Голицын… И тут Державин, охмелев от успеха, объявил Панину, что отбывает в Казань, к Павлу Потёмкину и ждёт приказаний «от Вашего сиятельства».

Панин мгновенно переменился в лице. Не в том дело, что поручик заговорил «под руку». Но как он посмел упомянуть Потёмкина? Граф сухо ответил: «Нет» и более не обращал внимания на поручика. Державин ищет благосклонности Потёмкина? Значит, во всяком случае, он её не дождётся от Панина.

После пугачёвщины Державин встретится с Паниным лишь однажды — через 15 лет во время сенатского разбирательства по тамбовскому делу. Их объединит общий противник — князь Александр Вяземский. Но об этом — как водится, позже. На смерть Панина Державин откликнется четырьмя строками:

Прочь, враг отечества с нахмуренным челом!
Сему не прикасайся тлену:
Сокрыт в нём на измену
И на неправду гром.

…После объяснений с Паниным Державин надеялся только на Потёмкина. Но и тот не принял поручика с распростёртыми объятиями. Впервые Гаврила Романович попался во многоугольную ловушку: покровители, царедворцы, полководцы враждовали, преследовали противоположные интересы, Державин был вынужден взаимодействовать с каждым из них, а лавировать он не научился. В такую ловушку Державин попадёт ещё не раз…

Победа над Пугачёвым сулила ливень из наград: орденами, чинами, деньгами, крепостными… Придворные группировки начали борьбу не на жизнь, а насмерть — и не один Державин остался на бобах.

Что ни говори, а Суворов и впрямь явился одним из главных героев великого усмирения. При походе в Яицк за девять суток он преодолел 600 вёрст по разбитым дорогам — если бы Бонапартий умел проводить столь быстрые марши по русскому бездорожью, солоно пришлось бы Барклаю и Кутузову! В Яицком городке Суворов принял пленённого соратниками Пугачёва. Это триумф, хотя и без боя достигнутый! Возникла идея сразу везти пленника в Москву: там, несомненно, Суворова встретили бы как победителя. Но Панин знал цену славы — и приказал доставить Пугачёва в Симбирск, где и принял «императора» из рук Суворова. Однако в реляциях Екатерине Панин честно представил Суворова героем: «…неутомимость и труды Суворова выше сил человеческих. По степи с худейшею пищею рядовых солдат, в погоду ненастнейшую, без дров и без зимнего платья, с командами майорскими, а не генеральскими, гонялся до последней крайности». Здесь каждое слово — всем правдам правда. Вроде бы нельзя было сомневаться: награда будет щедрой. В Симбирске Панин встретил Суворова радушно, с громкими похвалами. Он понимал: конвоирование Пугачёва из Яицкого городка в Симбирск было предприятием небезопасным: несколько раз на отряд нападали мятежные кочевники. Приходилось отбиваться, в стычках погибали соратники

Суворова, сам генерал ежечасно рисковал жизнью…

В разорённых войной областях начался голод. Державин предупреждал: голод и бедность порождают разбойничью крамолу. Панин и Суворов приняли меры к смягчению последствий бойни: были устроены провиантские магазины, голодным раздавали хлеб — правда, его вечно не хватало. Для голодавших губерний — Нижегородской и Казанской — Панин на казённые деньги закупает 90 тысяч четвертей хлеба. Торговцев, повышавших цены на хлеб, считали мародёрами и строго наказывали, как в военное время — вплоть до смертной казни. Крестьянам простили недоимки — и начали взимать с них подати с сентября 1774 года «с чистого листа». Если бы не эта деятельность Панина и Суворова — вряд ли пугачёвщину удалось бы искоренить. Ведь на место одного самозванца мог прийти другой — как это случалось в Смутное время XVII века.

Свидетелем того, с каким почётом Панин принимал в Симбирске Суворова, был Павел Потёмкин. Проводя следствие по делу Пугачёва, он, в пику Панину, посчитал за благо представить Екатерине события тех дней в невыгодном для Суворова свете.

Вот и получил Суворов роковое резюме императрицы в письме Г. А. Потёмкину (последний всегда, то бурно, то пассивно, Суворову покровительствовал): «Голубчик, Павел прав, Суворов тут участия более не имел, как Томас, а приехал по окончании драк и по поимке злодея». И никакого Андреевского ордена!.. Наградой за поволжскую кампанию для Суворова стало только милостивое письмо императрицы от 3 сентября — когда она получила известие о спешном появлении героя Туртукая в районе Пугачёвского восстания. В письме Екатерина жаловала ему две тысячи червонцев. Разве это награда для генерала за усмирение опаснейшего бунта?

Череда обидного непризнания заслуг Суворова продолжилась: Гирсов, Козлуджи, Пугачёв… И в 1781-м он будет вспоминать эти печальные обстоятельства в письме одному из самых доверенных своих корреспондентов, П. И. Турчанинову: «Подобно, как сей мальчик Кам[енский] на полном побеге обещает меня разстрелять, ежели я не побежду, и за его геройство получает то и то, а мне — ни доброго слова, как и за Гирсов, место первого классу, по статуту, хотя всюду стреляют мои победы, подобно донкишотским. Не могу, почтенный друг, утаить, что я, возвратясь в обществе разбойника с Уральской степи, по торжестве замирения, ожидал себе Св. Ан[дрея]. Шпаги даны многим, я тем доволен! Обаче не те награждения были многим, да что жалко — за мои труды». Нечто подобное мог бы написать и Гаврила Романович. Да, вокруг «пугачёвского

наследства» вельможи нагородили столько хитросплетений, столько обоюдоострых интриг, что оставалось только кручиниться.

И Суворов, и Державин усерднее других сражались с самозванцем; благодаря усилиям таких офицеров государству Российскому удалось утихомирить и накормить бунтовавшие области. А награды достались непричастным. Суворову было где себя проявить, его слава в армии к тому времени окрепла, а Державин впал в отчаяние. Снова — бесславное прозябание и утомительная добыча хлеба насущного из захудалых имений и нищенского жалованья.

Правда, одну награду за пугачёвские дела Державин получил без промедления: знакомство с Суворовым. Это немало! В горящем Поволжье зарождалась легендарная дружба солдата и поэта. Хотя они оба были солдатами и поэтами.

…А новое задание, которым озадачил Державина «малый» Потёмкин, отнюдь не сулило славы.

Молва твердила, что некий старовер, старец Филарет, в своё время благословил Пугачёва на борьбу под именем убитого царя. Иргизский святитель вообще симпатизировал Пугачёву, не раз предоставлял ему кров и многих колебавшихся староверов превратил в горячих сторонников самозваного императора. Вот Державин с помощью своих лазутчиков и должен был доставить отца Филарета к царскому столу…

Власти не упустили случая лишний раз потеснить раскольников, выжигая крамолу. Филарета искали давно, но безуспешно.

Не исключено, что у этого задания был и деликатный подтекст: Потёмкин решил отослать Державина подальше от амурных развлечений. Ходил слушок, что они не поделили прекрасную фаворитку: да-да, в алькове поручики иногда представляют опасность даже для молодых генералов. Предлог самый благовидный: найти преступного старца. Но тут ударили первые лютые ноябрьские морозы — и Державин слёг с тяжёлой простудой. Так бывает: он угодил на гражданскую войну, целый год не смыкал глаз, сражался, хитрил. Пока шли сражения — силы его не иссякали. Но вот поймали Пугачёва — и сказалось переутомление, здоровье рассыпалось.

В те времена каждое такое недомогание воспринималось как репетиция смерти. Три месяца в постели, в неведении — что происходит в столицах, что — в Поволжье, схвачен ли Филарет… А в это время в столицах делят награды, расправляются с Пугачёвым. Молитва, лёгкий бульон, мёд — и силы возвращаются к Державину. Снова приказ: искать Филарета. Старец оставался

неуловимым! Возможно, Державин в глубине души пожалел несчастного пастыря, которого окружали, как зверя, и эту миссию он исполнял без привычного рвения.

Бунт, крестьянская война — это последствия социального раскола, который стал очевиднее и жёстче после петровской европеизации. Ни мужики, ни дворяне не знали понятия «социальная ненависть», но ненавидеть они умели! Для Пугачёва дворянская кровь была дешевле грязи, проливал он её безжалостно. И дворяне, после разгрома мятежного войска, в мстительном порыве готовы были «наесться мужицким мясом». Патриархальное единство православного барина и крестьян тоже не пропагандистская выдумка, но каким зыбким оно было! Поднесёшь спичку — и вспыхнет, и окажется, что мужики и баре — враги. Конечно, у казаков — особый вольный дух. И поволжские инородцы ещё не прониклись имперским порядком. Но кто скажет, что в срединной России мужички не соблазнились бы пугачёвской агитацией, не поддались на хмель бунта?

К чему способности и ум,
Коль дух наполнен весь коварства?
К чему послужит вождя шум,
Когда не щит он государства?
Емелька с Катилиной — змей;
Разбойник, распренник, грабитель
И царь, невинных утеснитель, —
Равно вселенной всей злодей, —

напишет Державин во дни пугачёвщины. Намотаем на ус: он уподобил Емельку Катилине — деятелю римской истории, которая традиционно воспринималась как нечто возвышенное. Разбойнику он уподобил и некоего царя, «невинных утеснителя». Возможно, это намёк на одного из общепризнанных царей-злодеев вроде Ирода, но не исключён и дерзновенный смысл: любой монарх, впавший в алчность, ставит себя вне закона, оказывается разбойником. Что это — не урок ли пугачёвщины?

Письмо фон Бранту и эти строки — вот свидетельство серьёзного отношения Державина к поволжскому кризису. Надо ли говорить, что влияние гражданской войны Гаврила Романович будет испытывать всю жизнь — и на политическом, и на литературном поприще. Он умел не только эмоционально переживать, но и анализировать события политической повестки дня.

ЧИТАЛАГАЙ

Ещё не получив наград за борьбу с пугачёвщиной, нажив себе гонителя в лице Панина, Державин всё-таки чувствовал, что в жизни его начинается новая глава. Ему за тридцать, это пора зрелости. Он — больше не солдат, не нищий младший офицер, всеми понукаемый. О нём уже спорят генералы, его имя известно государыне. Недолго осталось страдать в безвестности и бедности. Он и к поэзии отныне относился серьёзнее. Раньше казалось — это просто забава на потеху офицерским жёнам и в литературные круги ему не пробиться. Теперь Державин видел себя автором самой настоящей книги — совсем, как Сумароков. Он учился оттачивать стихи, продумывать композицию оды, чтобы управлять общественным мнением, беседовать с царями.

После утомительной и опасной игры в казаки-разбойники следовало отдохнуть и подлечиться, но Державин энергично берётся за литературные дела. После болезни, бывая в Малыковке и в немецких колониях, он вёл себя как заправский литератор. Всюду появлялся с книгой, с пером и бумагой, созерцал… Он всегда любил рассуждать о вдохновении («*Вдохновение ни что иное есть, как живое ощущение, дар Неба, луч Божества. Поэт, в полном упоении чувств своих, разгорался свышним оным пламенем или, простее сказать, воображением, приходит в восторг…*») — по-видимому, именно в Шафгаузене эта стихия овладела им. Упоение, полёт — всё, как положено.

Неподалёку от Шафгаузена Державин при первом же появлении в этих краях приметил большой холм, носивший татарское имя — Читалагай (Шитлагай). Русские крестьяне переиначили это название: Чертолагай, да и только. Места там болотистые, всё поросло камышом, а Читалагай в переводе с татарского — верхушка камыша.

Когда колониям угрожали пугачёвцы и киргиз-кайсаки, Державин размещал там артиллерию, строил шанцы. Он и тогда — весной 1774-го — марал бумагу в свободные минуты, слагая оды на смерть Бибикова и в честь императрицы. Гора Читалагай пробуждала вдохновение. Но тогда он мог уделять литературным занятиям лишь редкие минуты, а шафгаузенская весна 1775 года стала для Державина первой «болдинской осенью». В прусской колонии он нашёл несколько книг. Один из немцев — Карл Вильмсен — по-видимому, был ценителем изящной словесности. Скромная книга из его библиотеки поразила Державина — немецкий прозаический перевод философских од короля Фридриха Великого — разумеется, не названного. Двенадцать од,

двадцать писем и поэма «Военная наука». Славный пруссак для стихов предпочитал французский язык. Державин не без труда разобрался в германской премудрости и переложил оды на русский язык: «Личиною притворства прикрываешь ты своё сквернообразие. Продерзость скаредного твоего языка восстаёт даже на самих государей. С ужасным рёвом во всех чертогах царских слышно рыкание твоей наказания достойной зависти. Ты есть единственная душа придворных, преобращающая смеющиеся их дни в печальныя нощи». Неизвестно, знал ли Державин, что автор этих размышлений — знаменитый монарх. Думается, «Военную науку» он не мог не узнать и не связать с именем знаменитого монарха и полководца. И здесь вновь перед нами встаёт фигура покойного Бибикова. Ведь Александр Ильич был знаком с прусским королём, пользовался его расположением. Державин знал, что Фридрих комплиментарно отзывался о Бибикове, мог знать и о переписке русского генерала со Старым Фрицем.

Бибиков кое-как переводил прозой некоторые сочинения Фридриха Великого — и в том числе поэму «Военная наука». Несколько позже, в 1767-м, эта поэма выйдет и в поэтическом русском переводе Василия Майкова.

> О ты! рожденный в свет! державой Предков править,
> Их правдой и мечем не век себя прославить;
> Героев славных кровь, надежда всех рабов,
> Защита общества, отрада и покров.
> Внемли учению ты воина такова,
> Которой взрос в станах, где брань кипит сурова… —

так заговорил Фридрих в переводе Майкова. Державин запросто мог примерить эти строки на себя — солдатом он стал много лет назад, а воином — именно «при горе Читалагае». Кому из великих русских поэтов довелось дёру давать от Пугачёва, атаковать киргизов и приговаривать к повешению мятежных убийц? Читал ли Державин «Военную науку» в переводе Майкова до читалагайских приключений? По крайней мере, её он переводить не стал.

Фридрих со знанием дела рассуждает о клевете. Эти строки Державин принял близко к сердцу: он ведь считал себя оклеветанным. Бошняк — Кречетникову, Кречетников — Панину, Панин — императрице: все они, в понимании Державина, возводили на него напраслину. И чёрное обернулось белым, храбрость и прилежание — слабостью и поражением. Оказывается, всё это можно излить в стихах и прозе — и найти

утешение.

При горе Читалагае Державин, охваченный мечтательным немецким духом, превратился в поэта.

В его воображении забушевали дерзновенные строфы — по смелости превосходившие Ломоносова. Вот, например:

Услышьте, все земны владыки,
И все державный главы!
Ещё совсем вы не велики,
Коль бед не претерпели вы!
Надлежит зло претерть пятой,
Против перунов ополчиться,
Самих небес не устрашиться
Со добродетельной душой.

А что говорить об оде «На знатность», многие строки которой много лет спустя перешли в «Вельможу». Вот вам блистательная строфа:

Не той здесь пышности одежд,
Царей и кукол что равняет,
Наружным видом от невежд
Что имя знати получает,
Я строю гусли и тимпан;
Не ты, седящий за кристалом
В кивоте, блещущий металлом,
Почтен здесь будешь мной, болван!

Вскоре он позаботился и об издании книги — ему виделся сборник из восьми од, первые четыре — переводные, в прозе, остальные — в стихах, оригинальных во всех отношениях. «Ода на ласкательство», «Ода на порицание», «Ода на постоянство», «Ода (послание) к Мовтерпию» — это из Фридриха. «Ода на великость», «Ода на знатность», «Ода на смерть генерал-аншефа Бибикова», «Ода на день рождения ея величества» — это уже державинское, самобытное.

Лучшие строки читалагайской книги — несомненно:

Я князь, коль мой сияет дух;
Владелец, коль страстьми владею;
Болярин, коль за всех болею
И всем усерден для услуг.

Через 20 лет Державин, слегка переиначив, повторит их в «Вельможе». А ведь это парафраз Сумарокова — из письма «О достоинстве»: «Честь наша не в титлах состоит, тот сиятельный, кто сердцем и разумом сияет, тот превосходительный, который других людей достоинством превосходит, и тот болярин, который болеет об отечестве». Из громадного наследия Сумарокова всегда можно было выхватить нечто насущное, заветное. Сумароков умел вворачивать в стихи афоризмы. Державин превратил в зарифмованный афоризм публицистическое рассуждение Сумарокова.

Но блёстков остроумия недостаточно, чтобы книга обратила на себя внимание: Державин уже тогда понимал, что стихи нужно умело сервировать. Поэт ломал голову над композицией книги — и выходило неординарно. Проще всего было бы последовать сложившемуся этикету и открыть книгу одой императрице, но Державин оставляет прославление Екатерины для заключительного аккорда. И в позднейших — главных — книгах поэт мучительно выстраивал последовательность стихотворений, следуя потаённой, загадочной для нас логике.

«Оды, переведённые и сочинённые при горе Читалагае 1774 года» — так называлась книга. Полноценный дебют, если не считать двух случайных публикаций. В 1773 году в журнале Рубана «Старина и новизна» появился державинский перевод немецкой пьесы «Ироида, или Письма Вивлиды к Кавну» — по сюжету из Овидия. Чуть позже Державин опубликовал «Оду на всерадостное бракосочетание великого князя Павла Петровича» отдельным изданием, тиражом аж в 50 штук. Вполне вероятно, что Державины присутствовали на свадебных торжествах — и жена с тёшей, верно, советовали Ганюшке воспеть сие событие в виршах. Как-никак — шанс отличиться.

Возможно, в Гатчине эти стихи имели успех, но мэтры русской лиры не обратили внимания на стихотворца, придумавшего себе экзотический псевдоним — «потомок Аттилы, житель реки Ра». Свадьба будущего императора привлекла внимание многих поэтов — и, конечно, голоса Сумарокова, Хераскова, Княжнина заглушили самозваного гунна. Интонационно (вовсе не только из-за традиционного размера — четырёхстопного ямба) некоторые строфы оды 1773 года напоминают «Фелицу»:

Здесь злоба аду не рыгает,
Вражды, крамол, убийства нет.
Никто свирепости не знает,
Никто за честь ея не чтет.

Бессильный с сильным безопасно
Живут в содружестве согласно
И всякий час ликуют вновь.
Древа друг друга обнимают,
Под коркой сердцу быть являют!
Конечно, здесь живет любовь?

Здесь ещё не преодолены преграды на пути к «забавному слогу», ещё нет ощущения непринуждённой беседы. Но Державин уже умело ставит риторические вопросы, уже не боится в торжественной оде использовать низкий слог. Но если мы вспомним первую строфу аналогичной оды Сумарокова — станет ясно, почему публика предпочитала именно такой напевный и торжественный слог:

О сын великия жены!
Великого ты правнук мужа,
Наставника сея страны,
Ты, коему неправда чужа
И многой истина цены.
Рожден от крови ты преславной,
А участи твоей предел —
Во всей природе жребий главный.
Он дан тебе для славных дел.

Здесь царят симметрия и гармония, нет нагромождения согласных, каждое слово на своём месте, ни одна мысль не кажется тёмной. Сумароков подкупал рациональным великолепием стиха. Державин ещё не мог противопоставить ему впечатляющий художественный беспорядок.

К 1774–1775 годам Державин написал немало од, эпиграмм, любовных песен, но в книгу включил только восемь пьес. Он добивался строгой симметрии: четыре перевода в прозе, четыре оригинальных стихотворения. И — единство места написания: Шафгаузен. А ведь была ещё «Эпистола к генералу Михельсону на защищение Казани», которую много лет считали утраченной. Попытка по горячим следам воспеть борьбу с пугачёвщиной — косноязычная, торопливая, но честная. Не любил Державин вспоминать об этих стихах — к тому же они написаны не «при горе Читалагае», вот и не прошли отбор.

Получилось всего 38 страниц — и ни имени автора, ни выходных данных… Неизвестно даже, в каком году первая книга Державина вышла в свет. Сам Державин называл 1777-й; по

свидетельству же Ивана Дмитриева, книга вышла в 1776 году в типографии Академии наук.

Мало кто из любителей поэзии позднейших времён с наслаждением штудировал читалагайские оды. Но само слово — «Читалагай» — навсегда останется в литературе. Оно накрепко связано с державинской легендой. Уж очень звучное слово, созвучное глаголу «читать», — возможно, этот каламбур оценил и Державин, знавший толк в игре словами.

Вряд ли рассуждения Фридриха открыли перед Державиным бездну роковых вопросов о бренности земного существования. О том, что *всё проходит,* в первый раз полагается тужить в юности, а Державин взрослел быстро. Но автор оды к дражайшему Мовтерпию доказал Державину, что эту тайну можно формулировать словами — хоть в прозе, хоть в стихах. Прусский король (и не важно, знал ли Державин, что именно он был автором меланхолических од!) убедил казанского дворянина в том, что изящная словесность — это сила!

Гаврила Романович практически не перепечатывал читалагайские оды, не пропагандировал их. Первая книга Державина нашла преданного поклонника только в XX веке. Конечно, я говорю о Ходасевиче, который рассмотрел в читалагайских строфах истоки и смысл всей последующей поэзии Державина, черновик его главных побед. Действительно, у Фридриха намечены коронные темы Державина — страдания от клеветы, похвала стоическим добродетелям, наконец, трагическая ограниченность земной жизни. «В зеркале, поднесённом рукою Фридриха, Державин впервые увидел своё лицо. Новые, дерзкие мысли, пробудясь, повлекли за собою резкие образы и новые, неслыханные дотоле звуки. Державин впервые нащупал в себе два свойства, два дара, ему присущих, — гиперболизм и грубость, и с этого мига, быть может, не сознавая того, что делает, — начал в себе их вынашивать, обрабатывать» — это Ходасевич. Просто удивительно, что до него никто не замечал этого…

Книга не сделала поэта знаменитым — даже в литературных кругах. Какая там слава! Пожалуй, Державин и не надеялся мгновенно получить лавры Сумарокова, но кислая реакция публики на поэтическую премьеру его, конечно, разочаровала… Оставалось утешаться мудростью того же Фридриха Великого: «Ежели ваше невежественное бешенство почитало славолюбие за истинную славу, то, ах! какая будет судьба ваша?»

А судьба испытывала терпение Державина. Не хватало смерти Бибикова — так ещё и князь Голицын, который мог бы постоять за Державина, погиб на дуэли…

Усмирение пугачёвщины стало для Державина боевым

крещением. Кто из классиков русской литературы всерьёз воевал? Вяземский и Жуковский приняли участие в Отечественной войне 1812 года, отличились в сражениях боевые офицеры Лермонтов и Лев Толстой. Воинами были Денис Давыдов и Фёдор Глинка. Борьба с Пугачёвым была полноценной войной, войной без правил — партизанской и потому особо опасной.

Державин пропитал боевыми впечатлениями немало стихов — не только тех, что напрямик говорят о борьбе с Пугачёвым. Сегодня никого не удивляет, если поэты-фронтовики пишут о войне. А Державин был первопроходцем: писал не об абстракциях, а о своём, о личном. Даже если речь шла о сражениях, в которых он не принимал участия. Первые наши поэты о победах времён Елизаветы Петровны писали как об античных сражениях. Следовали высокому классическому трафарету.

Державин не умел долго выдерживать высокопарность, голос его дрожал — как в заключительной читалагайской оде:

Тогда ни вран на трупе жить,
Ни волки течь к телам стадами
Не будут, насыщаясь нами,
За снедь царей благодарить:
Не будут жатвы поплененны,
Не будут села попаленны,
Не прольет Пугачев кровей.
Твоя кротчайшая природа
Утешит все страны народа,
Коль будет в власти все твоей.

Вслушаемся: Пугачёва упоминает в стихах непосредственный участник войны!

Но не будем преувеличивать значение этих стихов: Россия их не прочитала. Куда большую известность снискали стихи Сумарокова:

Ты подлый, дерзкий человек,
Незапно коего природа
Извергла на блаженный век
Ко бедству многого народа.
Забыв и правду и себя
И только сатану любя,
О Боге мыслил без боязни
И шёл противу естества,
Отечества и божества,

Не помня неизбежной казни…

Из московского далёка Сумароков перекладывал на стихи слухи о чудовищных зверствах Пугачёва. В нём он видел предводителя новых гуннов, которые разрушат всё, что дорого Сумарокову. Никакой пощады к разбойнику! — просветитель яростно требовал расправы над бунтарями:

Сей дерзостный Икар ко солнцу возлетает
И тщится повредить блаженный жребий росск.
Под солнце подлетев, жжёт крылья он и тает,
И растопился воск.

Осетил Пугачёв себе людей безумных,
Не знающих никак нимало божества.
Прибавил к ним во сеть людей, пиянством шумных,
Извергов естества.

Хорошее словцо — «осетил». Но приметим: Державин писал о Пугачёве сдержаннее, если угодно, объективнее.

Сумароков рассуждал о пугачёвщине и в своей «Истории», которая, к сожалению, отсутствует в научном обороте. Да, это не научные изыскания, скорее — агитационная публицистика, которая ждёт своего исследователя. Пушкин (блистательный историк!) с форсом отхлестал его за эти сочинения: «Незнание наших историков удивительно. Г-н Сумароков в „Истории Екатерины“ пишет: „неистовства Пугачёва быстро распространялись. Правительство переменило мнение, уверилось в важности обстоятельства, отрядили против его полки и вручили начальство генералу Бибикову. Начало не соответствовало ожиданию; Кар и Мансуров не устояли, изверг овладел Оренбургом и, прогнанный оттуда князем Голицыным, устремился на Уфу, наконец к Казани, жёг, опустошал их предместия и окрестности“.Что слово, то несправедливость. В начале бунта прибыл не Бибиков, а Кар; Мансуров никогда не был разбит; Оренбург не был взят Пугачёвым; самые первые распоряжения Бибикова были увенчаны успехом». А всё-таки — занимательный и полезный документ.

…Никаких ласковых писем от начальников Державин не получал, никаких известий о наградах не поступало. За награды придётся сражаться почти два года — дольше, чем длилась война с Пугачёвым! Империя праздновала победу над Оттоманской Портой — победу в первой при Екатерине Русско-турецкой войне.

На всю Европу прозвучали имена русских побед, напоминавших о доблести непобедимых римских легионов, — Кагул, Ларга, Козлуджи. Какой триумф без гвардейских полков? Всех офицеров гвардии императрица собирала в Москве. Давненько Державин не бывал в столицах… Он отстал от полковой жизни, отвык от муштры. А тут извольте исполнять наряд, пожалуйте в дворцовый караул… Как назло, на глазах Потёмкина и Румянцева он скомандовал привычно: «Левый стой, правый заходи!» — и солдаты остолбенели. Оказывается, за время отсутствия Державина ввели новую команду: «Вправо заходи!» Потёмкин заметил замешательство и пригрозил поручику строгим наказанием. В палочный караул!

За разорение деревень Державиным полагалось 25 тысяч, но получить удалось только семь. А тут на Державина навалилась новая беда: по доверчивости он поручился в банке за некоего поручика Маслова, а тот возьми и скройся. На Державина навесили громадный долг: 40 тысяч. К счастью, подвернулась картёжная удача — и поручик выкарабкался из беды.

Державин добивался награды, составил бумагу на имя графа Потёмкина (на тот момент ещё не князя): «Для чего я обижен пред ровными мне?» Надеялся на денежное вспомоществование за воинские подвиги, на чин полковника с выпуском из гвардии.

Насилу ему удалось поговорить с Потёмкиным. Тот заверил Державина, что о награде будет объявлено в Преображение.

6 августа — Преображение Господне, для гвардейцев-преображенцев — не только церковный, но и полковой праздник. Офицеров пригласили в Чёрные Грязи, отобедать с императрицей. Торжество шло своим чередом, но о награждении Державина никто не обмолвился.

Потёмкин, командовавший преображенцами, вроде бы симпатизировал Державину, хотя в то время, конечно, не относился к нему, как к равному. Но не сидели на месте недруги Гаврилы Романовича во главе с майором Толстым — который считался правой рукой Потёмкина в полку. Державин «принужден был толкаться в передней» Потёмкина.

Но Потёмкин не обманывал: награда к Державину пришла, хотя и с опозданием. Очень скромная по гвардейским меркам и незначительная, если вспомнить о заслугах Державина в борьбе с Пугачёвым. Державина перевели с военной службы на статскую. Говорят, это Толстой убедил Потёмкина, что Державин не способен к воинской службе.

Дали ему чин коллежского советника, соответствующий воинскому чину полковника. Получил он и 300 душ в Белоруссии.

Державин был счастлив, что утомительная борьба

завершилась хотя бы таким результатом. На всякий случай он набросал панегирик — «Излияние благодарного сердца императрице Екатерине Второй». Если бы будущая Фелица прочитала эти строки — наверняка растрогалась бы: «Сокровища целого света, вы менее для меня тех награждений, которые получил я от моей императрицы: они делают мне честь, они славу жизни моей составляют, они следствие правосудия Великой Екатерины». Это излияние красноречия Державин выпустил отдельным изданием. Так случается: чем скромнее награда — тем пышнее словеса благодарности.

Да, беспорочная служба в областях, охваченных бунтом, не позволила Державину прорваться на олимп. Он заслуживал большего. И всё-таки впервые Державин получил солидную награду, он вырвался из нужды, его фамилию запомнили первые люди империи, начиная с Потёмкина. И он не даст им повода забыть о себе.

РЯДОМ С ВЯЗЕМСКИМ

Эйфория от награды если и не была наигранной, то прошла скоро. В поисках достойного места новоявленный коллежский советник решил поволочиться за князем Вяземским.

Генерал-прокурор Александр Алексеевич Вяземский в те годы был самой влиятельной фигурой империи, исключая императрицу и Потёмкина. Никто не считал его человеком блестящих дарований, но на посту генерал-прокурора он действовал властно и цепко. В его руках оказались финансы, юстиция, внутренние дела, включая Тайную экспедицию… Злые языки поговаривали, что он угодил императрице своей заурядностью. На сером фоне Вяземского ей легче было блистать. Ему не хватало галантности, зато в работоспособности он не уступал никому.

Жена Вяземского — Елена Никитична, в девичестве Трубецкая, — была сводной сестрой Хераскова. Это первая ниточка, связавшая Державина с Вяземскими. Вторая ниточка — старые друзья Гаврилы Романовича, Окуневы. Александр Гаврилович Окунев служил в Сенате, а дочь свою выдал за князя Урусова — двоюродного брата княгини Вяземской. Окуневу нетрудно было ввести Державина в дом Вяземских.

Сперва Державин погулял на свадьбе, где в весёлом раже и познакомился с генерал-прокурором. Он стал частым гостем Вяземских и в петербургском доме на Малой Садовой, и на даче в Александровском. Скрупулёзно продуманная операция по внедрению в семью Вяземских прошла на удивление успешно.

Державин ближе сошёлся с Александром Алексеевичем за карточным столом, они играли по маленькой. В домашней обстановке Вяземский оказался приятным собеседником, это на службе он показывал крутой нрав. Как партнёр по игре Державин Вяземского устраивал. А супруга генерал-прокурора Елена Никитична и вовсе взяла Гаврилу Романовича под покровительство. Ей хотелось, чтобы этот остроумный, тонкий человек чаще захаживал к ним, украшая домашние собрания стихотворными экспромтами.

Елене Никитичне Державин был обязан многим: в отличие от генерал-прокурора, она в изящной словесности знала толк и любила иллюминировать жизнь стихами. Державин «писал стихи похвальные в честь её супруга, хотя насчёт её страсти и привязанности к нему не весьма справедливые, ибо они знали модное искусство давать друг другу свободу». Вот они, нескучные современные нравы! Елена Никитична знала, что суровая

репутация её мужа многих отпугивает, а Державин — скромный коллежский советник — придавал блеск их дому.

Дабы угодить влиятельному сановнику, Державин по-приятельски развлекал его чтением вслух самых непритязательных образцов лёгкой литературы. Вяземский засыпал, исполняясь чувством благодарности услужливому Гавриле Романовичу.

Вскоре княгиня решила заняться судьбой холостого поэта. Державин внушал ей доверие, она настойчиво предлагала ему в качестве невесты свою родственницу и двоюродную сестру Хераскова — княжну Екатерину Сергеевну Урусову. Урусова задержалась в девицах: она всего лишь на четыре года была младше Державина. Пожалуй, не было в обеих столицах невесты, столь же страстно влюблённой в литературу. Княжна писала стихи, публиковала их в «Аонидах», отличалась бойким, самостоятельным умом и, конечно, вздыхала по Державину. И приданое за неё, верно, дали бы завидное. Этот брак укрепил бы служебные позиции Державина, но… он не готов был идти под венец без страстного увлечения…

Пришлось отшутиться: «она пишет стихи, да и я мараю, то мы все забудем, что и шей сварить некому будет». Ему — о чудо! — даже после таких шуток удалось сохранить дружеские отношения и с Вяземской, и с Урусовой. Державин вёл тогда небезгрешную жизнь, повесничал, однако знал меру и до поры до времени сохранял хладнокровие. В качестве идеала ему представлялась юная девушка, которую он превратил бы в молодую хозяйку хлебосольного дома. Вот ради такой девушки он отринет все мимолётные связи…

Державин долго выжидал — и наконец судьба его вознаградила. Всё тот же Окунев получил выгодное предложение — руководить строительством нового храма в Александро-Невском монастыре (через 20 лет, при Павле I, монастырь получит статус лавры). Таким образом, освобождалось место экзекутора в первом департаменте Сената — в княжестве Вяземского.

Державин запросто явился к князю и напрямую попросился на службу. Князь отдыхал в личных покоях, а в прихожей его ожидала какая-то просительница. Вяземский незаметно улыбнулся и попросил Державина принять у неё прошение, вникнуть и пересказать своими словами — так, чтобы князь сразу вошёл в курс дела. Когда Державин излагал — Вяземский придирчиво сверял его слова с бумагой. Что ж, получилось толково. «Вы получите желаемое место». В тот же день Державин стал сенатским экзекутором — с ходу.

Ну, и влюбился Державин опрометью. Несколько раз увидел девицу Бастидонову мимолётом — и образ её не мог выбросить из головы. Она выделялась в любом обществе: не только португальскими чёрными глазами (дед её — Яков Бастидон — португалец, прибыл в Россию из Голштинии), но и грацией. А ещё Державину сразу показалось, что она девушка воспитанная и неразвращённая.

Любовь любовью, но решение создать семью он принимал на трезвую голову, взвесив свои возможности… Много лет он жил бесприютно, по-солдатски — неудивительно, что ему захотелось домашнего убежища. Пока что никакого дома у Державина не было — если не считать казанского, который с трудом восстановили после пугачёвского погрома. Но на родине Державин не появлялся годами…

Состояние Державина к тому времени, если считать и заложенную собственность, достигло тысячи душ. К наследству прибавилась награда, полученная при отставке из гвардии, к тому же примерно треть своего состояния Державин выиграл в карты за последние годы — играл он теперь с умом, осторожно, редко да метко.

Он сразу открылся верному Гасвицкому, и они вместе, напялив маски, наблюдали за Катериной Бастидоновой на карнавале. А началось с того, что Державин, завидев прекрасную Катерину, крикнул Гасвицкому: «Вот она!» — от чего дамы перепугались.

Её поступь и степенное обращение им понравились. Державин с удовольствием приметил, что «при малейшем пристальном на неё незнакомом взгляде лицо её покрывалось милою, розовою стыдливостию» — редкое качество по тем, как, впрочем, и по нашим временам.

На следующий день после маскарада за поместительным столом у Вяземского, как водится, обсуждались карнавальные интрижки. Манёвры Державина и Гасвицкого не остались незамеченными. «Что за красавица тебя так скоропостижно пленила?» — спросил Вяземский. Державин бодро назвал её по имени и фамилии. Тут встрепенулся правитель ассигнационного банка Пётр Кирилов (именно так — с одной «л»): «Полно, братец, не хорошо шутить на счёт честного семейства! Сей дом мне коротко знаком; покойный отец девушки мне был друг. Не позволю шутить насчёт неё». — «А я не шучу. Я поистине смертельно влюблён и намерен свататься». Кирилов тут же предложил услуги свата. Выходит, он уважал Державина! На другой день ввечеру они заехали к Бастидоновым. Кирилов представил Державина и потребовал чаю. Державину

запомнилось, что прислуживала им босая девка, а красавица Катерина скромно вязала чулок, изредка вмешиваясь в беседу. «Любовник жадными очами пожирал все приятности, его обворожившие», — улыбался мемуарист Державин. Слово «любовник» здесь употреблено в значении «влюблённый». Он сразу определил, что Бастидоновы — люди небогатые, но благочестивые, а Катерина не только прелестна, но и умна. На обратном пути Державин подтвердил Кирилову своё намерение жениться.

Будущая тёща поэта, Матрёна Дмитриевна Бастидонова (Бастидон), дама энергичная и бывалая, до сих пор представления не имела о Державине. Ей мало было парадной информации, она бросилась собирать и пересуды о женихе. Получилось досье, которое выглядело вполне удовлетворительно. Служит при Вяземском, вхож в дом генерал-прокурора. Амурными интрижками не опутан, с мошенниками не связан… Не блестящий кавалер, зато не вертопрах, не гуляка. Труженик, который вполне ещё способен выдвинуться, хотя и не молод. Всё ходит в коллежских советниках, но давно заслужил следующий чин и вскорости его получит. Несомненно, ей поведали о поволжских подвигах Державина — как-никак, паническая память о Пугачёве была ещё свежа.

Но одного согласия матери Державину было недостаточно — ведь для семейной жизни надобна и душевная дружба супругов. Он, в нарушение чопорных правил, снова заехал к Бастидоновым и вызвал Катерину на прямой разговор о сватовстве. «„Матушка мне сказывала“, — она отвечала. „Что она думает?“ — „От неё зависит“. — „Но если бы от вас, могу ли я надеяться?“ — „Вы мне не противны“, — сказала красавица вполголоса, закрасневшись. Тогда жених, бросясь на колени, целовал её руку». Тут, как во французском романе, в комнату вошли. Сначала — общий приятель Державина и Бастидоновых, Яворский, а через час-другой и мать. Состоялась помолвка, Державин получил обещание хорошего приданого, но, оказывается, Бастидоновы ждали благословения великого князя. Это обстоятельство немного страшило Державина, но и пробуждало честолюбивые фантазии.

Свадьбу сыграли после Пасхи, 18 апреля 1778 года. В стихах он величал её Пленирой — под таким именем Катерина Яковлевна и останется в истории литературы. Тогда ей было 18 лет, выглядела она юной, но очень скоро в Пленире обнаружился зрелый, взрослый ум. Державин обрёл не только чаровницу, но и советчицу, помощницу. А как она умела принимать гостей! Друзья-поэты боготворили её — и общались без скидок на возраст

и прекрасный пол. Львов придавал художественную законченность её опытам в рукоделии, Боровиковский увлечённо создавал портрет Екатерины Державиной — не только из уважения к её мужу. Катерине Державиной, увы, не довелось познать счастье материнства, но она стала одной из царственных муз русского искусства. Во второй половине XVIII века умные жёны вошли в моду. Тон задавала, разумеется, императрица: само присутствие Екатерины на троне и в литературном каноне исключало пренебрежительное отношение к «бабью». Женщин воспринимали всерьёз, с ними беседовали об искусстве, о просвещении. Нередко они и впрямь оказывались начитаннее мужчин, которые отдавали всё время войне и политике. Катерина Яковлевна была классической «умной женой» — после солдатских треволнений именно в такой Державин и нуждался.

Личная жизнь должна оставаться личной. Не дело автора приоткрывать альковные тайны и выдумывать баснословные подробности личной жизни замечательных людей. Но — скажем прямо — красавец, поэт, воин Гаврила Державин в первом своём браке не множил побочных интрижек. Вскоре он станет статским генералом. Генералу полагается отдыхать с размахом, но Державин был сдержаннее многих. А в картинах рассказывать об этом мы не станем.

Катерина Яковлевна вовсе не считалась скрягой (этот упрёк можно адресовать второй жене поэта), и всё-таки в семье Державиных она вполне успешно возглавляла интендантскую службу и министерство финансов. Состояние Державиных неуклонно росло, несмотря на расточительные проекты, главным из которых стали покупка дома и его обустройство.

Державин получал скромное жалованье, зато вращался среди лучших управленцев империи. В канцелярии Вяземского служили деятели, которые много лет — вплоть до расцвета долгого правления императора Александра I — будут опорой трона, столпами правительства. Любимцем Вяземского слыл обер-секретарь Александр Храповицкий, с которым Державин быстро сдружился. Вскоре Храповицкий станет любимым секретарём самой императрицы. Среди сотрудников Вяземского трудно не заметить расторопных молодцев Осипа Козодавлева и Алексея Васильева. И Державину удалось выдвинуться, удалось освоиться в непривычной гражданской обстановке. Он усердно вникал в законы, изучал работу финансовой системы. Ему поручали расследование деликатных коррупционных дел, ему же вверили надзор за перестройкой Сената. Когда при генерал-прокуроре создали отдельные экспедиции по доходам и расходам, Державин стал советником экспедиции доходов — то есть поднялся выше на

одну ступень служебной лестницы.

Державин вспоминал: «В исходе того 1780 года учреждена экспедиция о государственных доходах, под ведомством того же генерал-прокурора, яко государственнаго казначея. Она разделялась на 4 части: на I, приходную, на II, расходную, на III, счётную, и IV, недоимочную; в каждой было по 3 советника и по одному председателю. Во вторую — из экзекуторов, тем же коллежским советником, переведён Державин. Председательствующий был действительный статский (советник) из обер-секретарей Сената г. Еремеев, человек уже престарелый». Гаврила Романович своей активностью в два счёта заслонил Еремеева, и Вяземский предпочитал иметь дело с Державиным напрямую.

Можно предположить, что в те дни генерал-прокурор относился к нему с приязнью. Державин (как и некоторые другие сенатские чиновники) пользовался гостеприимством Вяземского, летом нередко квартировал на одной из дач князя — в Мурзинке, где он обыкновенно занимал верхний этаж, а Васильев — нижний.

Вскоре недавний поручик гвардии получил замысловатое поручение: разработать положение о круге действия и обязанностях этих экспедиций, которое сохранило свою силу до преобразования экспедиций в Департамент государственного казначейства аж в 1820 году. Державин заперся в своём кабинете — и за две недели создал проект устава. Проект одобрили — но награды Гаврила Романович не дождался. Между тем он давно заслужил чин статского советника! Вяземский отчего-то медлил с протекцией…

Пришлось Державину, к неудовольствию генерал-прокурора, искать покровительства Безбородко и, по существу, выпрашивать чин у императрицы…

18 июня 1780 года, в день восшествия на престол августейшей императрицы, Державин наконец-то получил чин статского советника. Долгожданный! Всем известны карикатурные стороны Табели о рангах, этой конституции петровского имперского устройства. На человека смотрели как на бездушный механизм, как на колёсико в огромной государственной машине. Ох, страшная картина. Но как ещё прикажете управлять империей? Табель о рангах выдвигала правильный критерий — служебный, профессиональный. Не происхождение, не популярность, а всё-таки профессионализм! Конечно, неизбежны издержки: влиятельные вельможи нередко проталкивали вверх податливых и удобных, а не наиболее способных. Но и талантливые люди получали шанс! Как

применить правило золотого сечения к подбору руководящих кадров? Демократическая система не поможет: неизбежно проявится перекос в сторону шумных, искристых провокаторов, которые умеют принимать эффектные позы, критиковать предшественников и обещать златые горы. Необходима логика, которая поможет проявить себя способным людям, независимо от происхождения.

Убеждён, что в ближайшем будущем нам нужно будет задуматься о современном аналоге Табели о рангах, потому что демократическая система (что с приставкой «псевдо», что без оной) подменяет профессионализм интригами и демагогией, и мы деградируем. Демократия навязывает отрицательный отбор. Уж лучше — Табель о рангах.

…Настороженность Вяземского по отношению к Державину летом 1783-го переросла в гнев.

В экспедиции по государственным доходам вместе с Державиным служил коллежский советник Николай Иванович Бутурлин — зять влиятельного секретаря императрицы Ивана Перфильевича Елагина.

Державину приходилось работать за троих: Бутурлин оказался легкомысленным гулякой, к служебным обязанностям относился пренебрежительно, к тому же не обладал литературным даром. Его вполне устраивало, что Державин берёт на себя бремя решений и тянет воз. А Гаврила Романович добивался, чтобы казённые палаты предоставляли в экспедицию ежемесячные отчёты! Бутурлину эта идея казалась излишне хлопотной, он считал, что достаточно и ежегодных отчётов… Князь Вяземский почти каждую неделю проводил близ императрицы воскресенье, в этот день он истязал её докладами, а возвращался в понедельник вечером. Державин, дожидаясь его, подготовился к решительному монологу.

В очередную среду Державин явился к Вяземскому на дачу, в село Александровское — рапортовать о проделанной работе. А Бутурлин уже подготовил князя — и Вяземский принялся придираться. Бесцеремонно — как он умел. Державин подносил ему одну за другой бумаги на подпись. И Бутурлин, который ещё недавно одобрял всё, что пишет Державин, колкими замечаниями ещё сильнее распалял князя против него. Гаврила Романович не мог примириться с коварством, он с ненавистью поглядел на Бутурлина, сунул ему в руки бумаги и буркнул: «Пишите же вы сами, коли умеете лучше». С тем и ушёл, оставив Вяземского в суровом недоумении.

Вскоре к Державину явился Алексей Иванович Васильев — не только талантливый управленец, но и помощник и родственник

Вяземского. Все они — родственники! Васильев с дружеской улыбкой передал Державину приказ Вяземского: писать прошение об отставке, поскольку князь им недоволен. Князь не желает служить с Державиным…

Что ж, Гаврила Романович дождался возвращения генерал-прокурора на дачу из Петербурга и явился к нему с решительным ответом.

Державин не без хвастовства вспоминал эту сцену, которую запомнил детально: он «с благородною твёрдостью духа сказал: „Ваше сиятельство чрез г. Васильева изволили мне приказать подать челобитную в отставку, — вот она; а что изъявили своё неудовольствие на мою службу, то как вы сами недавно одобрили меня пред Ея Величеством и исходатайствовали мне чин статскаго советника за мои труды и способности, то предоставляю вам в нынешней обиде моей дать отчёт Тому, пред Кем открыты будут некогда совести наши“. — Сказав сие, не дождавшись ответа, вышел вон». Эффектное выступление, нечего сказать! Державин добавил: «Глубокая тишина сделалась в комнате, между множества людей. Княгиня зачала первая говорить: „Он прав перед тобою, князь“». Она знала цену Бутурлину, знала и некоторые нюансы дела, в которых сгоряча не разобрался генерал-прокурор. Вяземский увидал в окно, что Державин бредёт восвояси пешком, и велел предоставить ему карету. Гаврила Романович гордо отказался…

Державин уже грезил о помещичьем житье-бытье. Можно будет переезжать из деревни в деревню, обустраивать хозяйство, писать… Да, должно образоваться время для стихотворчества. Правда, жалованья не будет — как и надежд на царские милости. Но случилось непредвиденное. Васильев в келейном разговоре поведал Державину, что Вяземский, железный Вяземский, признал свою неправоту и готов примириться с ретивым подчинённым. Но нужно укротить свою вспыльчивость! Нужно первым принести извинения. Державин поразмыслил, вспомнил пословицу «с сильным не бороться, а с богатым не тягаться» и… согласился. Давно князь не держал себя столь радушно с ним.

«В кабинете, поговорив совсем о другом, ничего не значащем, вышли подобру-поздорову, как будто ничего между ними не было». Отставка не состоялась, а помещичья идиллия рассыпалась. Но приближалась и окончательная размолвка: Державин превращался в знаменитого поэта, а Вяземского это не радовало.

КРУЖОК

В первом поколении русских поэтов приятелей не было: Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков враждовали непримиримо. Не прощали друг другу успеха, то и дело обменивались пасквилями. Державин избегал литературной вражды. Если отвечал на пасквили — всегда колебался: стоит ли публиковать ответные эпиграммы? Нередко даже близким друзьям не показывал. «Умеренность есть лучший пир».

Друзья — это подчас историко-литературное понятие. Всё началось с перестройки Сената. Державин, по служебной надобности, осматривал облезлые залы и увидел молодого архитектора. Скульптор Жан Доминик (он же — Яков Иванович) Рашет должен был украсить залы аллегорическими барельефами, а Николай Александрович Львов присматривал: где лучше установить барельеф и на какой сюжет. Там они и познакомились.

С Рашетовыми барельефами связана ещё одна история, о которой никогда не забывал Державин:

«Между прочими фигурами была изображена скульптором Рашетом Истина нагая, и стоял тот барельеф к лицу сенаторов, присутствующих за столом; когда изготовлена была та зала, и генерал прокурор, князь Вяземский осматривал оную, то, увидев обнажённую Истину, сказал экзекутору: „Вели её, брат, несколько прикрыть“. И подлинно, с тех пор стали от часу более прикрывать правду в правительстве». На дружбу Державина и Львова казус с аллегорическими статуями не повлиял.

Необыкновенно одарённый самоучка (а кто в разгаре XVIII века не был самоучкой?), острослов, красавец — Львов сразу рассмотрел в Державине уникальный характер. Вокруг Львова всегда образовывались кружки пытливых доброхотов — книгочеев, любителей искусства, архитекторов… Это началось ещё в полковой школе — Львов, гвардеец-измайловец, и там был лидером, объединял неравнодушных под флагом просвещения. Позже он притягивал к себе художников, зодчих, поэтов. Сам намечал интересных людей и обхаживал их, чтобы ввести в свой кружок. Однажды Львову попалась на глаза «Ода на взятие турецкой крепости Журжи», он счёл её небезынтересной и бросился искать автора. Им оказался Иван Иванович Хемницер он станет самым скромным и молчаливым участником львовского кружка. В Могилёве Львов наблюдал за строительством собора Святого Иосифа — и приметил художника Боровиковского. Удивительного, несравненного портретиста.

К Львову применимо горделивое клише — «Человек эпохи Возрождения». Он был не только поэтом, прославленным архитектором и литератором, но вместе с Державиным участвовал в коммерческих предприятиях. А ещё — открывал для России расчудесное минеральное топливо. Искал уголь, чтобы «протопить вселенную». Впрочем, искали многие, а он ещё и находил.

Державин считал его мудрейшим из мудрых, поражался начитанности и ранней мудрости Николая Александровича. Он был на восемь лет моложе Державина, но страсть и способность к самообразованию давали ему право считаться едва ли не учителем Державина во многих областях.

«Сей человек принадлежал к отличным и немногим людям, потому что одарён был решительною чувствительностью к той изящности, которая, с быстротою молнии наполняя сладостно сердце, объясняется часто слезою, похищая слово. С сим редким и для многих непонятным чувством он был исполнен ума и знаний, любил науки и художества и отличался тонким и возвышенным вкусом, по которому никакой недостаток и никакое превосходство в художественном или словесном произведении укрыться от него не могло», — писал Державин в «Объяснении» к стихотворению «Памяти друга». «Сей человек» — даже этот расхожий оборот звучит с нежностью, когда речь идёт о Львове. Да, Державин переживёт младшего товарища, как и многих друзей.

С портрета на нас смотрит утончённый аристократ галантного века. Изображение Львова и на фарфоровой чашке выглядело бы уместным, и в иллюстрациях к какому-нибудь куртуазному французскому роману. История его женитьбы (которая аукнется и в судьбе Державина!) так и напрашивается в сентиментальный роман.

Львов тайно обвенчался с Марией Алексеевной Дьяковой — красавицей и актрисой. Три года её родители не признавали брак с нежеланным женихом. Всем Львов нравился, но тесть, обер-прокурор Алексей Дьяков, его невзлюбил.

К середине 1780-х годов Львов, вслед за Державиным, превратился во влиятельного и многообещающего вельможу. Его приблизил к себе А. А. Безбородко, к которому Державин относился противоречиво. Безбородко — в те времена уже граф, но ещё не князь — на всякий случай сделал «своим человеком» талантливого и обаятельного друга будущего певца Фелицы.

Львов отвергал тяжеловесную поэзию — инерцию классицистического «высокого штиля» — и бывал к ней беспощаден. И в архитектуре, и в литературе он был искателем

золотого сечения, ценил чувство меры. Нагромождение излишеств разрушает гармонию — для Львова сие, как зубная боль. Рядом с Николаем Александровичем Державин выглядел эдаким неогранённым гением, грубоватым самородком. Считалось, что Державин даже азбучные правила стихосложения знает слабо. Львов «просвещал» старшего друга, но не впадал в гордыню: он ощущал недюжинную силу державинского дара. Да и Державин ещё солдатом проштудировал Ломоносова и кое-что понимал в стихосложении, просто до поры до времени скучноваты ему были филологические приседания. А репутация «дикаря» и «самородка» закрепилась за ним, потому что он никогда — даже в малейшей степени — не был и не выглядел снобом.

Львов, как и Державин, был поклонником русского фольклора, так называемой простонародной поэзии. Он помогал Ивану Прачу в составлении и публикации «Собрания народных русских песен» (1790). Львов увлекался анакреонтикой — и мотивы русской простонародной речи вкрапливал в переводы древнегреческого пиита. Вначале 1790-х Державин и Львов одновременно начали создавать русскую анакреонтику. По части критики именно Львов был лидером кружка. Он влиял на собратьев сильнее, чем они на него… Державин не обижался, когда друг вышучивал его новые строки, указывал на дисгармонию, на кургузые двусмысленности в стихах.

Однажды Николай Александрович написал Державину послание в стихах — написал, как умел: остроумно, гладко:

О друг отечества и мой,
Друг истины святой,
Глагол полуночных колоссов
Ещё тебе, ещё венец
Доблественных, надежных россов,
Внушенный силою певец!
Что древни барды и друиды,
Где вашей томной лиры честь?
У нас пером орла Алкиды
Монархам говорят нелесть,
Но, духом громы воспаляя
И словом молнии вращая,
Предвечной истины закон
Любви отечества стрелою,
На сердце огненной чертою
Изобразив, несут пред трон,
Блаженством общим упоенну,

Народным мужеством внушенну
Раскаянья, ни страху нет;
Слова его суть правды стрелы,
А щит — отечества пределы,
Убежище его — весь свет;
Где только солнца луч блистает,
Везде сын истины витает,
Везде с ним счастие живет.
Но кто, кто витязь сей венчанный?
Кто дела смелого творец,
Кто сей России сын избранный,
Стяжавший вечности венец?
Единым вздохом оскорбленных
Кто гром небесный воспалил
И каплей слез сердец смиренных
Удар на милость обратил;
Кто благодарных душ слезою,
Как розу, горнею росою
Порфиру царску окропил?
Любимого царя покою
Поставил твердою стеною
Сердец незыблемый оплот;
Любовь народную священну
На стражу верную бессменну
У царских утвердил ворот?
Кто словом душу возвышает,
Пленяет ум и слух прельщает,
Тому пролег и звездный путь…
Он душу Пиндара вмещает
В российскую алмазну грудь.

Вот такого Державина он и полюбил — русского Пиндара! Поэта, которому доступны и лирика, и героика. Даже скрипачу недостаточно быть просто виртуозом, нужен жар, нужно нечто необъяснимое, пленительное. В неогранённом Державине что-то посверкивало.

Львов иногда пытался переделать Державина на свой лад, но умел ценить и имперский размах, и политический азарт петербургского «мурзы». Державин для него — поэт, вставший вровень с государством, осмысливший его победы. Державину хотелось большего — он ведь и сатирик, и лирик, и философ в стихах…

Львов видел в Державине образец сильного нутряного

дарования, неогранённый алмаз. Привлекал и боевой опыт бывшего гвардейца, сражавшегося с Пугачёвым, хотя Гаврила Романович редко вслух вспоминал о сражениях, лазутчиках и карательных операциях. Державин нуждался в литературных разговорах и впечатлениях, в слушателях и читателях…

Круг Хераскова казался Державину слишком чопорным. Чтобы сойтись с ними коротко, нужно было стать масоном, а Державин этого чурался. Другое дело — недавние гвардейцы, перешедшие в статскую службу. Среди них Державин оказался старшим — и это ему льстило. Молодого Капниста Державин помнил по гвардии. Отец его — бригадир, тоже Василий Капнист, — погиб при Гросс-Егерсдорфе. В юности Капнист получил недурственное домашнее образование, ему легко давались языки, а склонность к острословию превратила его в стихотворца.

Мечтательный Василий Капнист, подобно Львову, считался утончённо образованным парнасцем. В истории литературы он остался смелой комедией «Ябеда», в которой есть куплеты на все времена: «Бери, большой тут нет науки, / Бери, что только можно взять, / На что ж привешены нам руки, / Как не на то, чтоб брать, брать, брать». Спору нет, в жанре комедии он превзошёл всех друзей по славному литературному кружку.

Они бесстрашно (благо то бесстрашие было безопасным) критиковали официальных одописцев, прилежно выдающих продукцию к праздникам. Высмеивали сложившиеся шаблоны торжественной поэзии, возвышенный стиль, который был свежим во времена Ломоносова, а теперь казался нестерпимо фальшивым. В кружке Державина и Львова ценили изящество и остроумие (вовсе не обязательно развесёлое!). Правда, Державин не увлекался ниспровержением литературных авторитетов. Но и Капнист, осуждая Петрова и Рубана, иногда пробовал себя в жанре торжественной оды и высот не достиг. В 1886 году вышел высочайший указ о новой форме обращения к царствующей особе. Отныне нужно было называть себя не «рабами», а «верноподданными» или «верноподданнейшими». Исчезало и старинное понятие «челобитная». Капнист отозвался на это новшество одой «На истребление в России названия раба». Стихи вышли звучные и высокопарные — они мало отличались от тех, над которыми Капнист посмеивался:

Красуйся, счастлива Россия!
Восторгом радостным пылай;
Встречая времена златые,
Главу цветами увенчай,

В порфиру светлу облекися,
Веселья миром умастися.

На императрицу ода произвела скверное впечатление. По легенде, она воскликнула: «Вы хотите истребления рабства на деле? Довольно и слова!» Но это слишком анекдотично, чтобы быть правдой. Впрочем, анекдот в истории иногда оказывается существеннее и влиятельнее документа. Капнисту не удалось повторить путь Державина. При дворе его не признали, к престолу не приблизили. Он остался в тени Державина. Впрочем, на Екатерину Капнист не рассердился.

Гимн императрице звучал и в «Ябеде» — в изначальной редакции комедии:

Воспоём тьму щедрот
Нашей матери царицы:
Той, котора в род и род
Весь счастливит свой народ.

Всегда полезно гарниром к взрывоопасной сатире подать похвалу действующему монарху — об этом хорошо знал Мольер, которого Капнист обсуждал с друзьями, а потом и перекладывал на русский. Но надо признать, что у Державина песни в народном духе получались сильнее. А Капнист и после смерти императрицы писал о ней почтительно.

Капнисту Державин посвятил одно из самых знаменательных посланий. В этих стихах Державин прорвался к той раскрепощённой повествовательной «прекрасной ясности», которую мы связываем с именем Пушкина:

Покою, мой Капнист! покою,
Которого нельзя купить
Казной серебряной, златою,
И багряницей заменить.
Сокровищми всея вселенной
Не может от души смятенной
И самый царь отгнать забот,
Толпящихся вокруг ворот.

Державин частенько писал громовым голосом, а здесь мы слышим усталый шёпот. И дальше — снова о сокровенном, о горькой судьбине лучших из лучших в нашем несправедливом

мире:

Век Задунайского увял,
Достойный в памяти остаться;
Рымникского печален стал!
Сей муж, рожденный прославляться,
Проводит ныне мрачны дни:
Чего ж не приключится с нами?
Что мне предписано судьбами,
Тебе откажут в том они.

Император Павел I назначил Капниста директором всех императорских театров столицы. Нежная душа поэта не вынесла убийства Павла. Он посчитал за благо покинуть столицу и надолго обосновался в Малороссии. Вёл там жизнь не только помещика, но и просветителя: стал директором народных училищ Полтавской губернии. Трудов он не боялся, лишь бы оказаться подальше от кровавых столичных пиршеств. Державин умел становиться толстокожим, когда речь шла о судьбах государства. Капнист же не был ни воином, ни политиком. Политик не должен быть брезгливым, не имеет права: взялся за гуж — не гнушайся. Иногда и в навозных кучах встречаются жемчужные зёрна…

Державин понимал: мерзости и даже преступления неизбежны, нужно закрывать на них глаза и сражаться с теми пороками, которые можно одолеть. Весь XVIII век пропитан духом классической Эллады. Вспомним героев «Илиады» — кто без греха? Хитроумный Одиссей ещё до событий, воспетых Гомером, коварно отомстил герою Паламеду, погубил его. И всё-таки царь Итаки — герой, мы сочувствуем ему в «Одиссее». Из героев-ахейцев, пожалуй, только Аякс Теламонид не запятнал себя кровавым коварством. Но боги лишили его рассудка, и от отчаяния он покончил с собой. Вот так награда за принципиальность и прямодушие!

Когда Державин в сентябре 1789-го опубликовал «Изображение Фелицы» — оду, которая должна была вернуть поэту «фавор», Капнист отозвался недружеским «Ответом Рафаэла певцу Фелицы». Он выслал Державину свои стихи с иронической надписью: «Лейб-автору от екатеринославских муз трубочиста Василия Капниста». Вот вам и скандал в благородном семействе.

Державин ужаснулся: друг сердечный сочинил какой-то пасквиль — да как заковыристо сочинил:

Премудрого сего совета,
Мурза! Отнюдь не презрю я.

Итак, Фелицына портрета
Ниже картины дел ея
Тебе доставить не намерен.
Когда ж ты в способах уверен
Те чуда живо написать,
То кисть и краски пред тобою:
Пиши волшебною рукою,
Что живо так сумел сказать.

(1789)

«Враги нам лучшие друзья», — скажет Державин. Откуда у лучших друзей столько яду? Фактически Капнист упрекал Державина в льстивости. Державина, который столько раз отбояривался от предложений воспеть Фелицу! Отвечать на критику — себя ронять. Нельзя! Но Державин сорвался, позволил себе продемонстрировать обиду во всю мощь темперамента. «Ежели таковыми стихами подаришь ты потомство, то в самом деле прослывёшь парнасским трубочистом, который хотел чистить стих других, а сам нечистотою своих замаран» — никогда Гаврила Романович так грозно не гаркал в письмах. Не ожидал он от милейшего Капниста удара в спину…

Но друзья оказались беспощадны — так бывает, когда к справедливой оценке примешивается стихотворческая зависть. Всё-таки слишком высоко взлетел к тому времени стихотворец Державин в глазах ценителей русской поэзии, да и в глазах императрицы.

Певец Фелицы ждал поддержки от Львова, но и тот покритиковал стихи. Правда, его замечания касались формы. Нападки Капниста Львова нисколько не смутили; он придирался лишь к малозначительным нюансам. Например, у Капниста значилось: «Рафаэл, живописец римский». Львов уточнил: «Рафаэл Санкцио Урбинский» — чтобы никто не подумал, что великий художник жил в Древнем Риме. Два друга методично оттачивали едкое стихотворение, направленное против третьего друга.

После этого случая Державин немного охладел к Капнисту, хотя новых друзей так и не приобрёл, и переписку они вскоре возобновили.

О смерти друга Капнист узнает в Обуховке. 16 августа 1816-го он без промедления напишет одну из лучших эпитафий Державину:

Державин умер!.. слух идет.

И все молве сей доверяют.
Но здесь и тени правды нет:
Бессмертные не умирают.

Жаль, что эти строки не выбьют на могильном камне Державина.

Ни Львов, ни Капнист не могли научить Державина писать стихи. Этому даже доценты Литинститута не могут никого научить. Хотя учительских амбиций Львов и Капнист не скрывали — и литературные беседы закадычной четвёрки или тройки частенько превращались в коллективное поучение Державина. Если бы Державина это обижало — только бы его и видели. Но у них и ссоры, и обиды (за исключением истории с «Изображением Фелицы») получались в добром семейном духе. Державин без колебаний отдал Львову лавры главного теоретика. Когда речь шла о живописи или архитектуре — и вовсе доверял Львову безоглядно. Если учёный друг сказал, что Рафаэль и Тициан — несравненные живописцы, значит, так оно и есть. Николай Александрович отрицал пышное барокко в архитектуре: «В моём отечестве да будет вкус Палладиев, французские кудри и английская тонкость и без нас довольно имеют подражателей». Но замашки тогдашних аристократов редко соответствовали вкусам Львова: каждый хотел поразить свет роскошью, блеском золота и алмазов. Где благородная простота и спокойное величие? То был век противоречий — тем и интересен.

Шелестела за окнами эпоха утончённой галантности, фарфоровых идиллий, эротических аллегорий… Но — артиллерия работала беспрерывно, и вся аристократия служила в армии. Фарфор и пушки…

Самый яркий архитектурный образ русского XVIII века — это, пожалуй, припудренное елизаветинское барокко. Зимний дворец, Смольный Воскресенский собор… А где-то рядом — кондовые избы, лапотный крестьянский мир, рождавший непобедимых чудо-богатырей, которые, перекрестившись, шли в штыковую и сметали врага. Женственная мода с бледно-розовой и нежно-голубой пудрой на париках — и «пуля дура, штык молодец!». Сочетать несочетаемое можно только в молодости, а это была молодость империи.

Наши пращуры хорошо знали, что мода, альковы, летом сладкий лимонад — это приятственно, но есть вещи поважнее. «Слава тех не умирает, кто за Отечество умрёт» — так скажет Державин о героях Измаила. Просвещённая публика XVIII века имела представление об иерархии ценностей, о высоком и

низком. Низким считалось всё личное, приватное. А высоким — героическое, общественное, государственное. Львов пытался разрушить эти стереотипы.

В XVIII веке, по большому счёту, каждый был на своём месте. Дворянство сражалось, пока его не развратили вольностями. Торговые люди торговали. Далеко ещё до распада крестьянской общины. Царила бедность, но не постыдная, ведь религия денег ещё не овладела умами.

От того времени нам осталось немало крепких построек в мире идей.

Имперское слово «Россия» родом из XVIII века. Поэты полюбили торжественные, длинные слова «россиянин», «российский», подходившие к размаху высокопарной оды. И не стёрлись, как позолота на камне, слова одного из первых наших поэтов Василия Тредиаковского: «Россия мати! Свет мой безмерный!» Львов же видел в Тредиаковском только дисгармонию и дурной вкус. Разве можно языком ученического классицизма выразить полутона чувств?

Да что там Тредиаковский! Львов презирал и Рубенса: что может быть непристойнее, чем «полная, голая, толстая купчиха, бесстыдно обнажающая отвислые свои прелести, толстые ляжки и красную кожу»? Это он про Рубенсову Венеру. Но Державин в стихах предпочитал яркие цвета и утрированные страсти — и ему от Львова доставалось, как Рубенсу. Для Державина в поэзии живописность стояла превыше риторики, во всех его одах мы видим движения картин. «Фелица» напоминает сценарий мультфильма, ода «На переход Альпийских гор» — триллер, кинематографична и ода «Бог». По насыщенности картинами стихи Державина превосходят и Ломоносова, и Сумарокова. Он не только повар, но и рисовальщик:

> Багряна ветчина, ведены щи с желтком,
> Румяно-жёлт пирог, сыр белый, раки красны,
> Что смоль, янтарь, икра, и с голубым пером
> Там щука пёстрая — прекрасны!

Ведь это живопись! Просто крупными мазками обозначены цвета, почти без оттенков (только пирог не просто жёлт, а румяно-жёлт) — а получилось не хуже, чем у Рубенса. Да, здесь напрашивается сравнение с нелюбимыми Львовым фламандцами. Державин не стал подражателем Львова, у своего друга он почерпнул внимание к народной поэзии, к бытовой детали. Всего этого им не хватало у Ломоносова.

Друзья наполнили литературную кухню ароматом лёгкой

поэзии, которую можно приспособить и для самых главных тем. Правда, Львов от исполинских материй держался подальше: боялся впасть в ломоносовщину, боялся банальности… Державина никакой страх не сковывал — он мечтал лёгким слогом писать о смерти, о войне, о земном счастье и о Промысле Божием. «Союзом разумных и добронравных» называл Львовский кружок Михаил Никитич Муравьёв. Он тоже был для них собратом — правда, поступь Муравьёва в поэзии была слишком робкой. Скромности в нём было не меньше, чем таланта — а ведь он был истинным мастером лёгкой поэзии. Через некоторое время он станет одним из литературных оруженосцев Карамзина, а в 1770-е захаживал в кружок Львова.

Чему ещё могли научить великовозрастного литературного неофита утончённые друзья? Среди первых стихов Державина, которые сгорели в сундуке на карантинной станции, посверкивали бриллианты чистой воды. К счастью, Державин восстановил их по памяти:

Лобызаю, обмираю,
Тебе душу отдаю,
Иль из уст твоих желаю
Выпить душу я твою.

На столь возвышенную и человечную эротику Львов был способен только в теории…

Но сам Державин скромно заметил: «Я хотел парить, но не мог постоянно выдерживать изящным подбором слов, свойственных одному Ломоносову, великолепия и пышности речи. Поэтому с 1779 года избрал я совершенно особый путь, руководствуясь наставлениями Баттё и советами друзей моих Н. А. Львова, В. В. Капниста и Хемницера, причём наиболее подражал Горацию».

Это Капнист пристрастил его к Горацию, стал личным переводчиком Державина, снабжал его подстрочниками с латыни. Мечтатель-малоросс недурно писал по-французски, он и оду на Кючук-Кайнарджийский мир сложил на языке Расина и Вольтера, а потом перекладывал на русский — вместе с Державиным. Для Гаврилы Романовича это было вроде курсовой работы в Литинституте или на филфаке.

Что касается Баттё — его эстетика, основанная на Аристотелевом принципе «подражания природе», помогала раздвигать рамки классицизма. Баттё увлекались и немцы, которых штудировал наш поэт. Природы, естества в стихах Державина всегда было сверх меры.

В кругу просвещённых друзей поэта нужно назвать ещё одно имя, хорошо известное современному читателю. «Ты меня на рассвете разбудишь…» — кто не помнит эту балладу на стихи Андрея Вознесенского? Много лет с ажиотажным успехом идёт в Москве «современная опера» Алексея Рыбникова на стихи Вознесенского — «Юнона и Авось». А в поэме Вознесенского «Авось», которая была опубликована задолго до создания оперы, присутствовал и Державин. И было бы странно, если бы Вознесенский не вспомнил о своём великом предшественнике, обратившись к судьбе Николая Резанова.

Резановы подружились с Державиным, когда тот ещё не стал фигурой вселенского масштаба. То есть — задолго до «Фелицы». Но они благоговели перед ним: очаровывала мудрость Державина, ярко обрамлённая горячим нравом. Державин восхищался первым успехам просвещённого мальчишки — Николая Резанова. Коленька познавал науки, изучал иностранные языки, следуя рекомендациям Державина. У Резанова открылись способности полиглота, он быстро опередил своего кумира по части иностранных языков. Но не возгордился, не перестал относиться к Державину как к высшему авторитету по всем иным вопросам. «Был бы неблагодарен, если б такому благодетелю, как вы, за память обо мне не выразил глубочайшей моей признательности: вы принимаете участие в моей судьбе и, как я слышал от маменьки, хотите взять меня из лейб-гвардии Измайловского в Преображенский полк под своё покровительство», — писал Державину девятилетний мальчишка Николай Резанов. Державин не упустит его из виду — когда поэт достигнет высоких степеней, Резанов возглавит его канцелярию, станет правой рукой Державина во многих начинаниях.

ГЛАГОЛ ВРЕМЁН

На рубеже 1770–1780-х годов Державин стал постоянным автором ежемесячного «Санкт-Петербургского вестника».

Невелик тираж этого издания — около трёхсот экземпляров, но ни один из них не попадал в случайные руки. К журналу относились как к ювелирной ценности, хотя стоил он даже немного дешевле иных русских изданий: четыре — четыре с полтиной рубля за подписку.

Именно в «Вестнике» Гаврила Романович приветствовал возвратившегося на родину Шувалова. Публиковался он анонимно, и мало кто связывал малозаметного сенатского чиновника с этими строфами.

Ценители поэзии примечали, что стихи неизвестного автора не уступают творениям Хераскова и Княжнина и отличаются диковатой, но впечатляющей смелостью образов. Размашистую кисть анонима полюбили. Ну а «Кружка» пришлась по нраву не только изысканным любителям поэзии. Со временем это стихотворение стало известным каждому грамотному человеку. А уж когда придворный композитор Трутовский превратил «Кружку» в настоящую песню… Не всегда известными песнями становятся лучшие стихи, но стихи, подхваченные певцами, повсюду являются самыми известными. Законы шлягера действовали и в XVIII веке.

Оказывается, русская поэзия может быть и простодушной, и весёлой, и — одновременно! — осмысленной. Не хуже, чем у французов:

Краса пирующих друзей,
Забав и радостей подружка,
Предстань пред нас, предстань скорей,
Большая сребряная кружка!
Давно уж нам в тебя пора
Пивца налить
И пить:
Ура! ура! ура!

«Граждан гуляк обыкновенная приятельская попойка из старинных серебряных кружек, наполненных сушёным хлебом с лимонною коркою и налитых пополам английским и русским пивом», — деловито прокомментирует Державин эти строки в «Объяснениях».

Особым жанром стали масонские застольные песни: вольные каменщики страсть как любили петь, это и сплачивало, и веселило. Своим любимым поэтам они умели создавать завидную репутацию. Два друга — генерал-майор Степан Васильевич Перфильев и князь Александр Иванович Мещерский попросили Державина сочинить песнь о Петре Великом — специально для исполнения во время масонских собраний. Державин приятелям не отказал, попробовал себя в застольном жанре. Получилось пространно и напевно:

Он, древний мрак наш побеждая,
Науки в полночь водворил;
Во тьме светильник возжигая,
И в нас благие нравы влил.
Неси на небо гласы, ветр:
Бессмертен ты, Великий Петр!

Строки эти удачно легли на известный мотив — и вольные каменщики заголосили их с воодушевлением. Державин пояснял обстоятельно: «Песнь сия была в великом употреблении в ложах у масонов, почитающих память Петра Великого, в которых секты хотя автор убедительно был привлекаем, но никогда не был в оных». Это правда: Державин приятельствовал со многими влиятельными масонами, нередко им помогал. Но незримая черта их разделяла.

Но недолго Мещерский пел про Петра Великого. В сентябре 1779-го в «Вестнике» вышла ода «На смерть князя Мещерского» — и тут многие ценители словесности захотели выведать фамилию автора! Державин не торопился выходить из-за кулис на сцену. Только тешил самолюбие словами издателя Брайко: «Читатели ваши творения одобряют!» Но литераторы отчего-то помалкивали, не писали ни об оде «На смерть Мещерского», ни о «Ключе». И знаменитые поэты — хотя бы Сумароков и Херасков — не цитировали Державина ни в стихах, ни в письмах…

В поэзии не бывает бесспорных достижений. И всё-таки рискнём предположить, что в 1779 году Державин создал своё первое гениальное стихотворение.

Белинский писал: «Как страшна его ода „На смерть Мещерского“. Кровь стынет в жилах, волосы, по выражению Шекспира, встают на голове встревоженной ратью, когда в ушах ваших раздаётся вещий бой *глагола времён,* когда в глазах мерещится ужасный остов смерти с косою в руках». Одна строчка этой оды стала крылатой: «Где стол был яств, там гроб стоит». Без этого стихотворения нельзя представить себе не только нашей

поэзии, но и русского языка. В стихах Державина колокол смерти всегда будет звучать по-русски: «Глагол времён, металла звон».

Державин нередко бывал у генерала Перфильева в компании князя Мещерского — богатого барина, любителя пышных празднеств. Князь Александр Иванович Мещерский служил главным судьёй Таможенной канцелярии. Это весьма ответственный пост для молодого человека, баловня судьбы. Хотя и недостаточно высокий для того, чтобы на его смерть откликались поэты — чай, не главнокомандующий. Но прославился Мещерский не ретивой службой, а хлебосольством. Лучшим другом князя был генерал-майор Степан Васильевич Перфильев, один из воспитателей будущего императора Павла. Неразлучные жизнелюбы, эти удачливые господа не чурались общества Державина. Их объединяли не только пиры. Как уже сказано, Мещерский и Перфильев были масонами. Считалось, что убеждённый масон всегда готов хладнокровно встретить смерть, ведь она несёт очищение, переход в лучшее качество. Но Державин был «от мира сего»!

Скромного коллежского советника ценили как острослова, прошедшего к тому же гвардейские университеты. Ода «На смерть князя Мещерского» обращена к Перфильеву. Державина глубоко трогали контрасты, сочетание несочетаемого. Нрав блистательного, полного сил, 32-летнего Мещерского казался Державину торжеством жизни. А тут — гроб и в яму.

О смерти Державин напряжённо размышлял в лучших своих стихах, снова и снова возвращался к этой теме. И не срывался в банальное переписывание ходячих истин. Прислушаешься — и ахнешь: ничего косноязычного, как будто это сказано после Пушкина и Блока. Только давненько не было поэтов, которые посмели бы сказать:

Не зрим ли всякий день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной?
Не слышим ли в бою часов
Глас смерти, двери скрып подземной.

К такой поэзии Державин относился как к святыне. Ведь только в стихах можно угадать тайну смерти, найти волшебные, многозначительные слова…

По сравнению с Сумароковым стихи вышли не благозвучные. Державин сознательно отказался от гладкописи. Даже явные дилетанты уже тогда писали более округло и «правильно». Державин дорожил своим стихом — непослушным, заусенчатым. Потому так часто Державина упрекали в неграмотности — не

забывая отметить, что поэзия его пленяет, «несмотря на…».

К русскому масонству XVIII века нельзя подходить со стереотипами нашего времени. Послушать некоторых пропагандистов — так Россия всем лучшим обязана масонству. К масонам приписывают и Суворова, который никогда не состоял в ложах, и Пушкина, в биографии которого масонские игры были третьестепенным эпизодом. А вот Державина, кажется, к масонам никогда не приписывали. Сумароков, Херасков, Голенищев-Кутузов, Баженов, Новиков и впрямь были активными масонами, а Державин избежал этого ко многому обязывающего увлечения. Гаврилу Романовича вообще не тянуло на «международный уровень». У него была возможность путешествовать по европам — а он практически не покидал Россию. Среди друзей и эпистолярных собеседников Державина на удивление мало иностранцев. Державин — счастливый человек: Россия была для него не только местом пребывания, но и увлечением. Именно поэтому он понимал Россию лучше большинства современников — даже самых премудрых! И с забавным русским слогом управлялся, как опытный повар — с картошкой.

Ему хватало России и русских. Конечно, он много писал о международной политике — но сплошь в сугубо патриотическом духе. Конечно, он обращался к образам Античности и Средневековья, но с большей охотой вводил в мир оды героев славянской древности. Пожалуй, «всемирной отзывчивости», о которой обмолвился Достоевский, Державину недоставало. Уж такая странная натура — тем и интересен.

БОГОПОДОБНАЯ ЦАРЕВНА!

Только тот, кто наделён мелочным остроумием, способным на одни мгновенные, лёгкие соображенья, увидит здесь лесть и желанье получить что-нибудь, и такое соображенье оснуёт на каких-нибудь ничтожных и плохих одах тех же поэтов. Но тот, кто более, нежели остроумен, кто мудр, тот остановится перед теми одами Державина, где он очертывает властелину широкий круг его благотворных действий, где сам, со слезою на глазах, говорит ему о тех слезах, которые готовы заструиться из глаз, не только русских, но даже бесчувственных дикарей, обитающих на концах его империи, от одного только прикосновенья той милости и той любви, какую может показать народу одна полномощная власть. Тут многое так сказано сильно, что если бы даже и нашёлся такой государь, который позабыл бы на время долг свой, то, прочитавши сии строки, вспомнит он вновь его и умилится сам перед святостью званья своего. Только холодные сердцем попрекнут Державина за излишние похвалы Екатерине…

Н. В. Гоголь. О лиризме наших поэтов

Екатерина любила улыбчивую сатиру, улыбчивую правду. Бог весть откуда прознал об этом Державин…

Через 200 лет после смерти императрицы у Екатерининской эпохи сложилась блистательная репутация. Золотой век, взлёт могущества Российской империи. А ведь в начале XIX века у Северной Семирамиды, у «богоподобной Фелицы» было куда больше обвинителей, чем адвокатов. Александр I начал

царствование со слов «Буду править по заветам бабушки», — но это была лишь дань заговорщикам, унизительная для молодого государя. Будем помнить: фронда всегда в моде, и Державин мог бы предаться ностальгии по временам очаровательной дочери Петра Великого. Да, он не застал в столицах Елисавет, но она к тому времени превратилась в соблазнительную легенду, а сыскать повод для недовольства действительностью во все времена проще простого.

Почему же Державин решил «лощить полы»? Никто не принуждал его воспевать императрицу. Он — бедолага среди преображенцев — имел право чувствовать себя обделённым. Без наград, без положения, без денег… Эффектно преподнести монархине пиндарический свиток Державин не мог: слишком далёк он был от престола в те времена. Теперь — малозаметная служба у Вяземского, который не любит сантиментов. А друзья в любом случае не удержались бы от упрёков в подлом искательстве. Ведь каждый из нас благородно снисходителен по отношению к самому себе, но кто удержится от соблазна поймать за руку товарища?..

Замышляя большую оду, Державин обыкновенно набрасывал черновик в прозе — своеобразный подстрочник. Это помогало обуздать фантазию, буйство которой подчас пугало самого поэта. Вот такой набросок предшествовал «Фелице»:

«Ты, которая одна, без помощи министра, по примеру богов, держишь всё своею рукою и видишь всё своими глазами! Великая государыня, если я до сих пор из благоразумия пребывал в почтительном молчании и тебя не хвалил, так это не от того, чтоб моё сердце колебалось вскурить тебе должный фимиам; но я мало умею хвалить, и моя трепещущая Муза убегает столь чрезмерной тягости и, не будучи в силах говорить достойно о твоих великих делах, боится, коснувшись твоим лаврам, чтоб их не засушить. Я не ослепляюсь тщетным желанием и умеряю мой полёт по моим слабым силам, и моим молчанием разумнее тех отважных смертных, которые недостойною жертвою оскверняют твои алтари; которые в сем поле, куда их корысть заводит, без сил и духа смеют петь твоё имя и которые всякой день безобразным голосом наводят тебе скуку, рассказывая тебе о собственных твоих делах».

В прозе Державин выглядел академичнее, чем в стихах… Ну да, настоящая поэзия всегда своенравна. Хотя и в прозаический прообраз «Фелицы» мы вникаем не без интереса:

> «Я не дерзаю опорочивать в них желание тебе нравиться; но к чему, не имев сил, без пользы трудиться

и, тебя не похваляя, себя лишь обесславить? Чтоб плесть хвалы, то должно быть Виргилию. Я не могу богам, не имеющим добродетели, приносить жертвы и никогда и для твоей хвалы не скрою моих мыслей: и сколь твоя власть ни велика, но если бы в сём моё сердце не согласовалось с моими устами, то б никакое награждение и никакие причины не вырвали б у меня ни слова к твоей похвале. Но когда я тебя вижу с благородным жаром трудящуюся в исполнении твоей должности, приводящую в стыд государей, труда трепещущих и которых тягость короны угнетает; когда я тебя вижу разумными распоряжениями обогащающую твоих подданных; гордость неприятелей ногами попирающую, нам море отверзающую, и твоих храбрых воинов — споспешествующих твоим намерениям и твоему великому сердцу, всё под власть Орла покоряющих; Россию — под твоей державою счастием управляющую, и наши корабли — Нептуна презирающих и досягающих мест, откуда солнце бег свой простирает: тогда, не спрашивая, нравится ль то Аполлону, моя Муза в жару меня предупреждает и тебя хвалит».

К тому времени он уже посвятил императрице несколько стихотворений, никем не прочитанных.

Но однажды, смешивая мотивы из высокого и низкого штиля, Державин почувствовал вкус реалистической поэзии. Как это заманчиво — увековечить в стихах наше время, до мелочей. В мелочах-то и содержится вся соль! Внести в поэзию запах кофия и лимонада, вкус вафлей с шампанским, ленивое послеобеденное кряхтение, все наши грехи и грешки… И не в пародийной поэме, а в лиро-эпическом жанре. А что, если пёструю «энциклопедию русской жизни» пристегнуть к торжественной оде, воспевающей государыню? Ведь это её эпоха — эпоха Екатерины.

Императрица, кроме прочего, была плодовитой писательницей. Прямо скажем, графомания её одолела — хотя случались в её писаниях и недурные страницы. Литературные безделки она считала государственным делом, в пьесах и сказках то и дело набрасывала стратегию реформ, основы идеологии. Для обожаемого внука Александра Екатерина написала сказку о царевиче Хлоре. Киевский царевич Хлор попадает в плен к киргизскому хану, который даёт ему задание найти розу без шипов — символ счастья и гармонии. Дочь хана — не по годам мудрая Фелица — помогает Хлору, как Медея — Ясону. Правда, Медея была девушкой свободной, а у Фелицы (совсем, как когда-

то у августейшей писательницы!) — нелюбимый муж с говорящим именем Брюзга. На пути к розе мальчика искушают пороки, главный из них — лень. Но ему помогает сын Фелицы — Рассудок. И финал у сказки счастливый: на вершине горы Хлор добывает розу без шипов — и хан дарует пленнику свободу… Державин почувствовал, что в эту сказку Екатерина вплела автобиографические нити.

Он понял: Екатерину нужно воспевать по-новому — учитывая любовь императрицы к забавным шуткам, к простой беседе… Петров и Ломоносов всё-таки слишком торжественны и серьёзны. Посмотрите: наша императрица увлечена литературой. В её сказках есть лёгкость и мудрость. Державин осторожно протаптывал дорогу новому стилю — сначала нашёл непринуждённое настроение, потом прочитал сказку… Сказку, которую написала сама монархиня.

Фелица — значит счастливая. Звучное слово! И «Фелица» принесёт Державину счастье.

А что, если придумать сказочный мир для хвалебной оды? Мир, в котором правит царевна Фелица, которая владеет розой без шипов, потому что эта роза есть добродетель… Киргизский колорит не помешал Державину создать очень русское стихотворение. Не «в народном духе», но в духе Петербурга, каким он был при Екатерине.

Первыми слушателями «Фелицы» стали Львов, Капнист, Хемницер. Да, это была неслыханная поэзия — энергичная, шутливая — и всё-таки серьёзная, потому что в ней не копошились приметы времени, в ней затевалась, заваривалась эпоха:

Богоподобная царевна
Киргиз-Кайсацкия орды!
Которой мудрость несравненна
Открыла верные следы
Царевичу младому Хлору
Взойти на ту высоку гору,
Где роза без шипов растет,
Где добродетель обитает,—
Она мой дух и ум пленяет,
Подай найти ее совет.

На этот раз придирчивые друзья не находили в длинной оде неряшливых заусенцев. Державина поздравляли с пиитической победой. Но Львов разбирался не только в поэзии, но и в политике — и его вердикт прозвучал беспрекословно:

публиковать «Фелицу» нельзя. Опасно! Кого только не кольнул Державин в этих стихах — и Потёмкина, и Вяземского, и Орлова. Если у вельмож задето самолюбие — анонимность не поможет. Разыщут, и костей не соберёшь. Державин и сам понимал, что поэтическая стихия в «Фелице» заставила его напрочь позабыть о политесе. Чтобы безнаказанно подшучивать над сильными мира сего — нужно самому быть, по меньшей мере, Потёмкиным.

И Державин спрятал рукопись в своём бюро — в доме на Литейном, где они с Пленирой снимали квартиру. Он понимал, что скрывает от публики едва ли не лучшую свою оду — и, конечно, мечтал, чтобы она всё-таки пошла в народ. К нему нередко заходил Осип Петрович Козодавлев — сосед, приятель, сослуживец по экспедиции о государственных доходах и, что важно, стихотворец. Козодавлев — один из многих выдвиженцев Вяземского, кто надолго остался в правящей элите. Сам Александр Благословенный сделает его — старика — министром внутренних дел. Козодавлев всюду успевал.

Этот господин — новое действующее лицо в нашем повествовании и в судьбе Державина. Подобно Державину, он лихо совмещал в себе страсть к литературе и административные умения. О европейском просвещении он знал не понаслышке и не по перекошенным подстрочникам. Как-никак, за плечами — Лейпцигский университет, юридический курс, знакомства в литературных кругах Германии. Он был младше Державина на десятилетие, но при дворе держался увереннее своего старшего товарища: Козодавлев никогда не был ни провинциалом, ни солдатом.

Однажды в присутствии Козодавлева Державин копался в ящиках бюро — и показал Осипу Петровичу краешек рукописи. Вспоминая об этом, Державин убеждает нас, что это произошло случайно. Кто знает? Мемуарист имеет право на лукавство. Если верить Державину, Козодавлев проявил любопытство, а поэт позволил себя уговорить и дал соседу почитать «Фелицу» под строгим наказом (Гаврила Романович вспоминал, что дело дошло до клятвы!) не показывать крамольную оду никому, кроме Анны Осиповны Бобрищевой-Пушкиной — тётки Козодавлева, которая любила поэзию и восхищалась персонально Державиным.

Вечером того же дня Козодавлев вернул оду автору. Но тут начались события головокружительные. Державина вызвал к себе сам патриарх российского меценатства — Иван Шувалов. С порога Шувалов огорошил его вопросом: «Как нам быть? Оду вашу требует к себе князь Потёмкин!» Стало ясно, что речь идёт о «Богоподобной царевне…». Шувалов решил посоветоваться с автором: послать ли Потёмкину полный вариант «Фелицы» или

отредактировать специально для всесильного фаворита, уничтожив строки, которые могут его рассердить. Державин изумился: откуда у Шувалова потаённая ода? Меценат признался, что получил её недавно, под большим секретом, но не удержался давеча во время застольной литературной беседы. Кто-то заметил, что у нас нет лёгкой поэзии во французском стиле, а Шувалов в ответ со смаком продекламировал «Фелицу». Все собравшиеся чрезвычайно хвалили монолог «мурзы», но теперь слух об оде дошёл до Потёмкина и Шувалов опасается последствий. Ведь Державин про князя Таврического написал ох как ершисто! Колко написал! А среди гостей Шувалова в тот вечер были и Безбородко, и Завадовский — уж эти найдут способ донести крамольное содержание оды и до Потёмкина, и до Вяземского.

Державин ответил в духе «двум смертям не бывать, а одной не миновать»: «Нет: извольте отослать как они есть, — рассуди в мыслях своих, что ежели что-нибудь выкинуть, то показать тем умысл на оскорбление его чести, чего никогда не было, а писано сие творение из шутки насчёт всех слабостей человеческих».

Он храбрился, но возвращался от Шувалова в панике. Тут же встретился со Львовым и попросил того разведать: что думает о «Фелице» Безбородко? Но дело само собой успокоилось: Потёмкин не позволил себе обидеться, ода ходила в списках — и никаких несчастий автору не принесла. Летом 1783 года Е. Р. Дашкова, возглавив Академию наук, задумала обустроить русскую литературу как Летний сад, по лучшим образцам. Для вымечтованного журнала Козодавлев (он считался первым помощником княгини в литературных делах), совершенно забывший про клятву, тут же предоставил список «Фелицы».

Журнал назвали «Собеседником». Лёгкая беседа о самом важном — любимый жанр эпохи. Впрочем, по законам того церемонного времени столь краткого названия у почтенного издания быть не могло. Назовём полное имя: «Собеседник любителей российского слова, содержащий разные сочинения в стихах и в прозе некоторых российских писателей». Первая книжка журнала вышла в июне 1783 года, и открывалась она удивительным стихотворением, у которого тоже имелось длинное название: «Ода к премудрой киргизкайсацкой царевне Фелице, писанная татарским мурзою, издавна поселившимся в Москве, а живущим по делам своим в Санктпетербурге. Переведена с арабского языка 1782». Но имелось и краткое — «К Фелице». А уж потом возникло и кратчайшее — «Фелица».

Дашкова в «Фелицу» сразу влюбилась и сделала ставку на Державина — да иначе и быть не могло. Подобных открытий в

русской литературе не было со времён ломоносовского дебюта. Только Ломоносов изумлял гармонической высокопарностью, а Державин — иронией и откровенностью.

Дальше — больше. Поглядим, как вспоминал о своём звёздном часе сам Державин: «…в первое воскресенье, в которое она обыкновенно езжала к императрице для поднесения ей об Академии своих рапортов, поднесла и тот журнал, на первой странице которого помещена сия ода. В понедельник поутру рано присылает императрица к ней и зовёт её к себе. Княгиня приходит, видит её стоящую, расплаканную, держащую в руках тот журнал; императрица спрашивает, откуда она взяла сие сочинение и кто его писал. Княгиня сначала испугалась, не знала, что отвечать; императрица её ободрила, сказав: „Не опасайтесь; я только вас спрашиваю о том, кто бы меня так коротко знал, который умел так приятно описать, что, ты видишь, я, как дура, плачу“. Княгиня ей сказала об имени автора и всё, что могла, об нём хорошего».

Вскоре Державин получил посылку из той самой сказки. Он обедал у Вяземского. Только закончил трапезу — как почтальон принёс пакет: «Из Оренбурга от Киргизской царевны к Мурзе». Державин немедленно понял, что к чему, вскрыл упаковку — и сердце его заколотилось. Золотая табакерка, усыпанная бриллиантами, а в ней — 500 червонцев! Экспедитор быстро сосчитал — да это же почти три тысячи рублей! Вот это выигрыш! Правда, и риску не меньше, чем в карточной игре.

Голова закружилась, скромный великовозрастный статский советник почувствовал себя кумом королю, ему захотелось покуражиться. Предлог нашёлся легко: он — чиновник, столоначальник, а тут — подарки из Оренбурга. Его — честнейшего из честных — могут уличить во взятке. И Державин обратился к Вяземскому: «Прикажете ли принять подарок из Оренбурга, от киргизской царевны?» Князь сурово спросил: «Какой? Что за подарки от киргизцев?» Державин показал роскошную безделушку.

Вяземский кисло посмотрел на табакерку, потом — на Державина. Сразу всё понял: «Возьми, братец, когда жалуют». И добавил многозначительно: «Вижу и поздравляю». Но поздравление не было искренним. «С того времени закралась в его сердце ненависть и злоба, так что равнодушно с новопрославившимся стихотворцем говорить не мог: привязываясь во всяком случае к нему, не токмо насмехался, но и почти ругал, проповедуя, что стихотворцы неспособны ни к какому делу. Всё сие сносимо было с терпением, сколько можно, близ двух годов», — жаловался Державин в «Записках».

Вяземскому вообще не по душе пришлась «Фелица» — как и вся остальная поэзия. К поэтическим красотам генерал-прокурор был слеп, а фривольное содержание его взбесило — не только карикатурой на себя, но и тем, что его сотрудника приласкали при дворе в обход начальника! Вяземский был убеждён, что статских чиновников следовало возвышать только по его представлению.

Екатерине не хватало в России атмосферы умеренного свободомыслия. Тут важно — внимание! — не только свободомыслие, но и его умеренность. В Державине она хотела видеть остроумного собеседника, не скованного византийским церемониалом. Она обманулась. Скоро императрица узнает, что Державин — не менее страстный сторонник Просвещения, чем Ломоносов. Но и таким он будет ей полезен — не хуже вкусного лимонада, о котором речь впереди.

После громких побед над турками Екатерина, почувствовав силу, желала править на новый лад. В моду вошла непринуждённая обстановка официальных встреч с высочайшей особой. Императрица подхватила литературную горячку — и 1780-е годы были пиком её писательской активности. Да-да, журнальная полемика занимала её не меньше, чем большая политика. В спорах о морали и литературе создавался ореол просвещённой монархини, которая иногда даже мирилась с существованием оппозиции.

Ода — уж таковы законы жанра — должна выражать восторг. Но потоки восторгов утомляют: ведь поэтические славословия императорам регулярно появлялись уже 20 лет. Они стали частью придворного ритуала, к ним привыкли — как к парадной живописи и бальным танцам. Державин прочувствовал, что нынешняя императрица считает царственной роскошью простоту, остроумие и живость в беседах и развлечениях — и угадал. Комплименты в стиле Ломоносова ей давно наскучили. Это понял и Княжнин, написавший в послании Дашковой 1783 года:

Я ведаю, что дерзки оды,
Которы вышли уж из моды,
Весьма способны докучать.
Они всегда Екатерину,
За рифмой без ума гонясь,
Уподобляли райску крину…

Крином называли прекрасный цветок — лилию. Было в ходу и другое созвучное слово — «крина». Это всего-навсего сосуд или горшок, ну а проще того — крынка. Обойтись без таких рифм в

стихах о Екатерине было затруднительно, даже Державин грешил. «1783. майя 23. Державин, может быть, первый из нас испытал Перепутаж в оде „К Фелице“, довольно остроумно: довольно издевательски и свободно» — такую запись набросал в дневнике М. Н. Муравьёв. Императрица долго ждала подобного перепутажа!

Холодно было под мраморными дворцовыми сводами высокопарных стихов, а в «Фелице» можно было расположиться, как в уютной светёлке. Её называли Минервой и Афиной-Палладой, изображали в латах, в шлеме — и в этом громоздком облачении Екатерина не узнавала себя. Это была лишь функция великой императрицы. А Державин, хотя и начал с громового «Богоподобная царевна!» — нашёл слова будничные, точные. Лёгкое платье Фелицы пришлось ей впору. Императрица уже приспособила придворные ритуалы под свой просвещённый нрав. В присутствии императоров всероссийских было принято цепенеть и трепетать. Екатерина ненавидела эту средневековую манеру! Какая искренность может быть в подобострастии, замешенном на страхе? Стоило ей появиться в зале — и все каменели. Екатерина ощущала себя Медузой Горгоной — и морщилась, как от кислой сливы. С горем пополам ей удалось добиться от приближённых истинной галантности — без священного ужаса.

Наконец явился поэт, достойный нового времени, нового стиля! Екатерина отвергала пышный дворцовый церемониал, в котором терялась душа государыни. Выше всего она ценила природу, то есть естественное, непринуждённое поведение. На еженедельных собраниях в Эрмитаже общалась с вельможами как с добрыми приятелями и всё старалась превратить в шутку. Самые грозные филиппики она облекала в полушутливую форму, екатерининская риторика сплошь состоит из насмешливых афоризмов — подчас удачных. В «Фелице» Державин невольно довёл эту манеру до совершенства. При дворе «Фелицу» цитировали чаще, чем в литературных кругах: забавная ода стала (правда, на короткий срок) кодексом нового раскрепощённого ритуала. Да, в те времена оды имели поболее влияния на политику, чем в наши дни — результаты футбольных турниров.

«Автор первым из всех российских писателей был первый, который в простом забавном лёгком слоге писал лирические песни и, шутя, прославлял императрицу, чем и стал известен», — скромно напишет Державин много лет спустя в «Объяснениях».

Императрица изумилась: а ведь этот самый Державин написал про «богоподобную царевну», не рассчитывая на её высочайшее внимание. Чиновник средней руки, не допущенный в узкий круг царедворцев и собеседников Екатерины, — он не

преподнёс ей свои стихи и даже не торопился с публикацией «Фелицы». Она проведала об этом — и ещё больше полюбила стихи Державина, поверила поэту. Отныне красноречие «карманного стихотворца» Петрова казалось ей грубой лестью, недостойной просвещённой эпохи. Кое в чём Державин ошибся: например, императрица любила маскарады, а он написал: «Не слишком любишь маскарады…» Но это тоже ей понравилось: значит, не крутился при дворе, писал по слухам и пересудам, а как точно и остроумно вышло!

Современники легко считывали намёки Державина, по шаржевым штрихам с ходу узнавали, о каких персонах идёт речь. С азартом включилась в эту игру и сама императрица. Но есть в сатирических строфах «Фелицы» и второй план, и сокрытый подземный пласт! Это не только сатира, это и лирическая исповедь. Там, где кончается сатира, начинается тонкая самоирония. Если бы Державин ограничился шаржами на Потёмкина, Орлова и Вяземского — получился бы шедевр на один сезон. Но мы и по сей день, перечитывая «Фелицу», ощущаем насыщенность образами, намёками, ассоциациями. Лучшие стихи Державина рождались на стыке — эпоса и лирики, лирики и сатиры. Попытаемся отвлечься от ликов Потёмкина и иже с ним — и увидим исповедь Державина. Мы помним первое настоящее державинское стихотворение — «Раскаяние». Он пришёл к раскаянию, запутавшись в карточных бедах. Осознал своё падение — и стал поэтом. Вот и мурза из «Фелицы» играет в карты. Он «развратен». Одно из самых запоминающихся высказываний Державина: «Таков, Фелица, я развратен!» Как не увидеть в этих признаниях отзвуки личного раскаяния? Поэзия Державина распахнуто автобиографична, о многих обстоятельствах он поведал в «Записках» и «Объяснениях». Автобиографический подтекст «Фелицы» Державин не раскрывал. Да, наверное, и сам догадывался о нём смутно.

Он показал в «Фелице» такую Екатерину, какой она хотела себя видеть — в том числе и в истории.

Весь Петербург знал, что императрице пришлась по сердцу самая весёлая из торжественных од. Господа, желавшие блеснуть причастностью к дворцовым тайнам, любили ввернуть в беседу анекдотец о том, как Екатерина плакала над строками «Фелицы». Вельможи, которых Державин задел колкой иронией, предпочли вслед за императрицей отдать должное остроумию пиита. На обиженных, как известно, воду возят. Лишь один Вяземский не сумел притвориться благодушным. Он и раньше с подозрением относился к Державину, а после «Фелицы» не скрывал своего негодования. Этот борзописец посмел выставить на публику

исподнее! Да, он иной раз просил своего подчинённого почитать вслух модный роман, да, развлекался лубочными книжонками — а Державин повёл себя, как нерадивый слуга, который выбалтывает секреты барина. Вяземский перенёс ненависть на всех стихотворцев: вот уж кто ради красного словца никого не пожалеет. Бесчестное племя.

С этого времени Державин встанет в шеренгу самых влиятельных политиков России. Его ожидали служебные успехи и катастрофы, ордена и отставки. Взлетев высоко, Державин не изведает горечь настоящей жестокой опалы. Но ни один служебный подвиг не принесёт ему столько «вистов», как случайная публикация «Фелицы». На «Фелице» держался интерес Екатерины к Державину. Уместна аналогия с Ломоносовым: Михайло Васильевич ведь тоже своим высоким положением был обязан исключительно стихам, которые пришлись по душе императрице Елизавете Петровне. За каждую оду «ко дню восшествия на престол» Ломоносов получал награду, сопоставимую с годовым жалованьем академика. Вот и Державину чиновничья служба приносила одни убытки, а поэзия отзывалась в карманах звоном червонцев.

Державин, влюблённый в поэзию, не считал себя демиургом слова. Он вообще скептически относился к возвеличиванию литературных пророков. Для Державина дела всегда были превыше слов — в том числе и эффектно зарифмованных. Вот и в «Фелице» есть такое суждение:

Пророком ты того не числишь,
Кто только рифмы может плесть:
А что сия ума забава,
Калифов добрых честь и слава.
Снисходишь ты на лирный лад;
Поэзия тебе любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад.

За эти строки в эпоху литературоцентризма Державина бранили. Дикарь! Вот Пушкин писал о высоком предназначении поэта-пророка, а здесь — забава, потеха добрых калифов, не более. Сравнение поэзии со вкусным лимонадом коробило и коробит многих серьёзных и утончённых ценителей словесности. Брюсов возмущался. Ю. М. Лотман заметил, что «поэзия — не летом сладкий лимонад, а воздух, которым мы дышим». Вообще-то эти строки — «Поэзия тебе любезна…» и дальше, насчёт прохладительного напитка, — относятся не к «мурзе», а к его

героине. Это Фелица относится к поэзии, как к лимонаду, какие же претензии к Державину? А претензии такие: он восхищается пренебрежительным отношением «киргизской царевны» к словесности. Это правда.

Просвещение Державин мог дерзновенно поставить выше престола. Но стихотворчество — никогда, всё-таки это забава. Наш дворянин — не такой вертопрах, чтобы ставить забаву выше государственного служения. Хотя со временем Державин с удивлением заметит, что, оказывается, слово имеет власть над людьми. Литературоцентризм, между нами говоря, утвердился в России не так давно, а исчез и вовсе совсем недавно.

Да, Державин не любил «философа брать вид». Без «славных дел» ничтожны и цари, и поэты. Без победы над собой, над «внутренними супостатами» жизнь бессмысленна — никакими стихами не оправдаешься, срам фигой не прикроешь.

Гораздо чаще литературе вредила чванливая поза пророка. Нет ничего скучнее самодовольных стихов в собственном соку — стихов о том, какое великое занятие стихотворчество само по себе. Для литератора сакрализация творчества — подчас непоборимый соблазн. Многие одарённые люди погибли или деградировали на этом пути. Уж лучше приравнивать себя к производителям лимонада!

Конечно, и о высоком предназначении поэта можно написать превосходные стихи. Но гораздо чаще получается звонкое самолюбование.

А цену поэзии Державин знал, считал стихотворчество пропуском в вечность. Но что толку в самозваных пророках?

Читаем дальше. Право слово, лучшая похвала любому начальнику — критика предшественника. И Державин не преминул намекнуть на пороки аннинского времени, о которых судил по слухам:

Там с именем Фелицы можно
В строке описку поскоблить,
Или портрет неосторожно
Ея на землю уронить.
Там свадеб шутовских не парят,
В ледовых банях их не жарят,
Не щёлкают в усы вельмож;
Князья наседками не клохчут,
Любимцы въявь им не хохочут
И сажей не марают рож.

Он сам подробно расшифровал эти строки в «Объяснениях»:

«Императрица Анна любила забавляться подлыми шутами, которых в ея царство премножество было; из числа оных был упомянутый князь Голицын; над ними любимцы государыни и прочие вельможи ей в угождение шучивали разными образами, подобно как иные благородные шалуны шутят над дураками, ими к забаве их содержимыми. Сии шуты, когда императрица слушала в придворной церкви обедню, саживались в лукошки в той комнате, чрез которую ей из церкви в внутренние свои покои проходить должно было, и кудахтали как наседки; прочие же все тому, надрывался, смеялись».

Случись Державину войти в литературную силу при Анне Иоанновне — стал бы он воспевать её, подобно Тредиаковскому? Традиция обязывала поэта отвешивать поклоны правящему монарху. Тем более это касается дворянина, который присягал государыне. Но вряд ли Державин с его ершистым нравом стал бы придворным поэтом Анны Иоанновны. Он был человеком екатерининского времени — не только по хронологии жизни и творчества, но и по сути.

В истории русской литературы немного найдётся столь своевременных стихотворений. Демонстративная злободневность сюжетов, восторженная реакция современников, череда подражаний — в наше время «Фелицу» окрестили бы культовым произведением. Остромодные штаны, камзолы и книги, как правило, быстро устаревают и превращаются в посмешище. Но к «Фелице» история применила другой закон: «Тот, кто был нужен лучшим людям своего времени, — жил для всех времён!» Эту мысль Шиллер уронил в беседе с Гёте как раз в державинские времена.

Екатерина принялась играть по правилам, которые предложил поэт. Она разослала своим вельможам — тем, кого уколол Державин в «Фелице», — экземпляры оды, подчеркнув для каждого «персональные» строки. Это была шутка, но и проверка, которую выдержали все, кроме Вяземского. Ко многим из них отныне прочно прилипли насмешливые стихи Державина — но обижаться никак нельзя, потеряешь лицо. И они терпели.

Но этим Фелица не ограничилась! Державин пробудил в ней литературное вдохновение — и в «Собеседнике» появились «Были и небылицы» — произведение августейшей писательницы. Само заглавие навеяно державинской строкой: «И быль, и небыль говорить». Там царила философия легкомысленного «мурзы»: «Весёлое всего лучше; улыбательное же предпочесть плачевным действиям».

Вяземский, которого императрица в своей сказке вывела под именем Брюзги, ворчал не только на Державина, когда восклицал:

«Когда им работать — они всё рифмы слагают!» Весь двор охватила литературная лихорадка, мрачного генерал-прокурора эти игрища раздражали. Зато как радовался Козодавлев! Авантюра удалась на славу: все любители словесности отныне цитировали «Фелицу», многие восхищались забавным новым слогом. Повсюду звучали пересуды о щедрости премудрой Фелицы, которая наградила поэта червонцами, игриво представившись «царевной из Оренбурга». Сорокалетний Державин вошёл в моду. Сколько ошибок, самых сладостных ошибок наворотил бы он, если бы познал такую славу смолоду…

Помнила ли Екатерина, что этот самый господин Державин, будучи гвардии поручиком, сражался с пугачёвцами, слагал для мужиков речи про императрицу, был поминаем в рапортах Бибикова, Павла Потёмкина, Панина? Они ведь не только похваливали расторопного поручика, но и обвиняли… Потом он долго хлопотал о награде — Потёмкин мог мимоходом рассказать ей про назойливого гвардейца. В толпе Державин не раз мог попасться на глаза императрице, но вряд ли она запомнила его в лицо. Несомненно, Екатерина читывала его оды в «Санкт-Петербургском вестнике», но вряд ли пыталась установить их автора. Наконец, ещё совсем недавно этот самый Державин писал ей жалобные письма — описывал своё плачевное материальное положение, рассказывал об уроне, причинённом пугачёвцами, просил каких-то ссуд. В другом письме нижайше напоминал, что ему уже много лет не присваивают нового чина — статского советника. «Между тем производятся в чины моложе меня; не упоминая о военной, и ныне двое в статской пожалованы». Секретарь зачитал императрице эти строки — и 18 июня Державина пожаловали чином, соответствующим воинскому званию бригадира. На сороковом году жизни он стал всего лишь статским советником. Это случилось до «Фелицы».

Но после забавной оды он ворвался в избранный круг собеседников императрицы. Вошёл пока ещё на птичьих правах: скромный чин не позволял развернуться. Долгим и мучительным было ожидание «посвящения» в статские советники. Но следующий чин — действительного статского советника — Державин получит через несколько месяцев после успеха «Фелицы». Он станет их превосходительством, статским генерал-майором. Неудачник Державин, который ревностно служит, оставаясь незамеченным, исчез. Зато возник екатерининский орёл, который будет падать и вставать, но — на главной сцене империи. Почивая на лаврах, он научился кокетничать. «…К несчастью я для Фелицы сделался Рафаэлем… Рафаэль, чтобы лучше изобразить божество, представил небесное сияние между

чёрных туч. Я добродетели царевны противопоставил своим глупостям…» — заявил Державин в письме Козодавлеву.

Отныне Державина называли «певцом Фелицы». Мало кто в те времена удостаивался почётного прозвища. Скажешь: Северная Семирамида или Минерва, а теперь ещё и Фелица — и всем понятно, о ком идёт речь. Прав был Белинский (не всегда справедливый к Державину): в «Фелице» «полнота чувства счастливо сочеталась с оригинальностью формы, в которой виден русский ум и слышится русская речь. Несмотря на значительную величину, эта ода проникнута внутренним единством мысли, от начала до конца выдержана в тоне».

Ироническая (но не глумливая: Державин умел посмеиваться без ехидства!) энциклопедия столичной жизни екатерининских времён.

РЕШЕМЫСЛ И ФЕЛИЦА

После успеха «Фелицы» чего только не ждали от Державина. Кто только не хватал его за пуговицу: «Напишите ещё об этом… и об этом…» Стихотворцы упражнялись в посланиях «мурзе» и «певцу Фелицы», каждый хотел включиться в литературную игру, сулившую царские милости. Державин читал эти послания не без гордости, дегустировал сладость поздней славы.

Всё более входил в силу Потёмкин — уже не просто фаворит и соратник, а муж императрицы. Правда, брак у них был свободный и, конечно, тайный — ну и в скором времени у Екатерины стали появляться новые амурные увлечения.

Не многим ещё были ясны его выдающиеся способности. Немногие могли предвидеть, что загадочно высокий статус Потёмкина сохранится на долгие годы — вплоть до смерти Григория Александровича, к тому времени уже князя и фельдмаршала.

Княгиня Дашкова, чьи отношения с императрицей давно запутались и обострились из-за игры амбиций, желала видеть в «Собеседнике» похвальные стихи Потёмкину. Державин не проявил рвения. Признаем: излишняя поспешность в таких делах выглядит суетливо. Что он знал о Потёмкине? Когда Державин обивал пороги, добиваясь награды за поволжские старания, Потёмкин не спешил ему помочь, не «снисходил». Державину непросто было смириться, превозмочь в себе злопамятные мыслишки. Кто знает, где будет этот Потёмкин завтра?

Но вскоре отказывать и тянуть было уже невозможно, и Державин углядел в сказке «О царевиче Фивее» воеводу Решемысла. Надо ли говорить, что написала сказку «богоподобная»? «Решемысл был ближайший вельможа Тао-ау, царя китайского, которого супруга, то есть царица, езжала на оленях златорогих и одевалась соболиными одеялами, о чём читатель может достоверно выправиться в книжке о царевиче Февее, напечатанной в здешней академии прошлого 1782 года, которая повесть и взята в основание сей оды». Словом, очень скоро в «Собеседнике» появилась «Ода великому боярину и воеводе Решемыслу, писанная подражанием оде к Фелице 1783 году», к которой Державин хотел добавить подзаголовок: «Или изображение, каковым быть вельможам должно». Оговорка замечательная: стало быть, речь идёт о недостижимом идеале…

Ода получилась крепкая, она не канула в Лету, так и осталась поэтическим портретом сказочного воеводы. Но Потёмкина эти строки не слишком вдохновляли:

Но, муза! вижу ты лукава,
Ты хочешь быть пред светом права:
Ты Решемысловым лицом
Вельможей должность представляешь:
Конечно, ты своим пером
Хвалить достоинствы лишь знаешь.

Двусмысленные похвалы! Однако светлейший видел, что перед ним — новая поэзия, явленная миру в «Фелице», и это утешало.

«С Державиным умолкнул голос лести», — напишет Пушкин Бестужеву. Ломоносов, прославляя, поучал. А Державин не только поучал, но и покалывал, нередко даже посмеивался над могущественными властителями и судиями…

Конечно, он воспевал Решемысла, но, по меркам того времени, не слишком назойливо пытался ему угодить. Хотя всесильный властитель мог бы и оценить, например, такие строки:

Без битв, без браней побеждает,
Искусство уловлять он знает;
Своих, чужих сердца пленит.
Я слышу плеск ему сугубый:
Он вольность пленникам дарит,
Героям шьёт коты да шубы.

«Вольность пленникам» — это крымская история, самая что ни на есть событийная правда. Потёмкин великодушно отпустил тех крымских татар, которые были недовольны приходом русской армии. «Коты да шубы» — это про внимательное отношение Потёмкина к обмундированию. Он, как никто другой, заботился о том, чтобы солдату было тепло и сухо, пёкся о медицине и снабжении. «Наряд солдатский должен быть таков, что встал и готов» — это слова Потёмкина. Умение «побеждать без браней» Потёмкин демонстрировал не раз — в том числе и через несколько лет после издания «Решемысла», под Очаковом. Длительная осада привела к взятию крепости с наименьшими потерями при штурме. Румянцев иронически называл Очаковскую операцию «осадой Трои», Суворов, жаждавший штурма, упражнялся в остроумии: «Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу». Но Потёмкин гнул свою линию: осторожность, предусмотрительность, изматывание противника. Правда, при долгой осаде русская армия несла потери — прежде всего от

болезней. Но у Потёмкина своя правда: авантюрный приступ обернулся бы куда более серьёзными потерями. Под Очаковом Потёмкин оправдал авансы, выданные Державиным Решемыслу. Проявил себя как мудрый воевода.

«Решемысл» вышел звучным, энергичным. И всё-таки ода не стала событием. После «Фелицы» от Державина ждали невиданных деликатесов. Да и мы, вспоминая о Потёмкине, редко цитируем «Решемысла». Решемысл — идеальный боярин, он так и остался сказочным персонажем. Другое дело — «Водопад», написанный Державиным после смерти героя. Лучшие стихи о Потёмкине, которого Державин постиг, позабыв личные обиды.

Как бы то ни было, в восприятии большого света Державин «Решемыслом» укрепил свой статус поэта, приближенного к трону, умеющего польстить в утончённом (с виду — наивном) стиле, который так нравится императрице.

Любимым композитором Державина был Бах — и Бахов орган звучит во многих одах поэта. Но игривый стиль «Фелицы» и «Решемысла» скорее напоминает Моцарта — современника наших героев. Потёмкин высоко ценил игривого венского гения. Его музыка — и развлечение, и молитва. В своём современнике и соплеменнике трудно было рассмотреть ровню Моцарту… Правда, и Бах умел шутить.

Поэтическая слава «мурзы» росла, но службишку никто не отменял, а уж от Вяземского поблажек не дождёшься. Несколько лет назад Державин искал дружбы генерал-прокурора, нынче он сделал ставку на другого вершителя судеб — Безбородко. Лучший друг — Львов — стал незаменимым сотрудником влиятельного малоросса. Безбородко мог замолвить за Державина слово перед императрицей, мог и просто выручить деньгами. Так бывало — и Вяземский манёвры Державина примечал с неудовольствием. Уж конечно, генерал-прокурор относился к Безбородко как к выскочке и конкуренту.

Убедившись в монаршием доверии, Державин окончательно осмелел. А тут как раз составлялись табели о государственных доходах на грядущий 1784 год. Ожидалось, что доходы значительно увеличатся по сравнению с предыдущими годами: хотя бы потому, что увеличивался оброк с казённых крестьян. Вяземский настоял, чтобы табель составили на основании прежних, устаревших данных. Державин давно знал, что генерал-прокурор утаивает доходы — чтобы, когда императрице требовались дополнительные средства, эффектно доставать их из рукава как волшебник, как незаменимый финансовый умелец… Императрица дорожила сотрудником, у которого всегда наготове лишняя сотня тысяч — и предпочитала не замечать, что он водит

её за нос. Был и другой резон — элементарное воровство. Это ведь целая ироическая эпопея — «как наши деды воровали давным-давно». Без размашистой коррупции Петербург, верно, превратился бы в пустыню.

Получив козыри, Державин пошёл в атаку. Председателем экспедиции, в которой служил Гаврила Романович, был Сергей Вяземский, родственник генерал-прокурора. Державин настоял, чтобы его мнение о составлении новых табелей вписали в журнал. Это объявление войны, не иначе. Державин втихомолку собрал у столоначальников нужные сведения и сказался больным. Дома он аккуратно составил смету на 1784 год и торжественно преподнёс её Вяземскому. Князь не сдержался от издевательских восклицаний: «Вот казначей-то выискался!» Но придраться к табелям Державина не сумел, как ни старался. А доходов оказалось на восемь миллионов больше, чем в 1782 году!

Державин торжествовал! Но трудиться под начальством Вяземского более было невозможно. Он запросился в трёхлетний отпуск, дабы поправить дела и здоровье. И категорически оговорил в письме, что, если отпуск ему не предоставят, — он готов к отставке. Дело затянулось: только в декабре 1783-го Сенат утвердил указ об увольнении Державина, а императрица утвердила отставку только в феврале 1784-го. Тогда Безбородко напомнил ей о Державине — и получил милостивый ответ: «Скажите ему, что я его имею на замечании. Пусть теперь отдохнёт; а как надобно будет, то я его позову».

Во дни размолвок с Вяземским Державину пришла подмога от брата-литератора. Генерал-прокурор угнетал Державина как легкомысленного поэта, а Фонвизин уже во весь голос (правда, под псевдонимом Иван Нельстецов) заступался за литераторов, к которым высокомерно относятся вельможи. Фонвизин, как не раз бывало, нашёл слова хлёсткие и точные: «Они, исповедуя друг другу неведение своё в вещах, которых не ведать стыдно во всяком состоянии, постановили между собою условие: всякое знание, а особливо словесные науки, почитать не иначе как уголовным делом. Вследствие чего учинили они между собою определение, которое, в противность высочайших учреждений, нам, именованным, при открытых дверях не прочитали и без всяких обрядов к действительному иного исполнению нагло приступили. Сие беззаконное определение их состоит, как мы стороною узнали, в нижеследующих пунктах: 1. Всех упражняющихся в словесных науках к делам не употреблять. 2. Всех таковых, при делах уже находящихся, от дел отрешать». Да это же про Державина написано! Осведомлённые современники в этом и не сомневались.

Мудрый Денис Иванович обращался к императрице не только как к покровительнице словесности, но и как к коллеге! Он защищал права литераторов, не забывая о комплиментах мудрой Минерве.

Гаврила Романович без колебаний присоединился к челобитной Фонвизина:

> «И дабы вашего божественного величества указом поведено было сие наше прошение принять и таковое беззаконное и век наш ругающее определение отменить; нас же, яко грамотных людей, повелеть по способностям к делам употреблять, дабы мы, именованные, служа российским музам на досуге, могли главное жизни нашей время посвятить на дело для службы вашего величества».

Тем временем двор ждал от Державина сговорчивости и новых комплиментов. В поэтический диалог с Державиным поспешил вступить всё тот же Осип Козодавлев, призывавший поэта писать не только в стиле «Фелицы», но и про Фелицу. В том же духе выступал и Храповицкий.

Да и сама Екатерина ждала от Державина новых стихов. Это воспринималось как придворная обязанность. Прежде главными событиями литературной жизни были торжественные оды Ломоносова, которые он преподносил императрицам ежегодно, в день восшествия на престол. За это щедро награждали, к постулатам Ломоносова прислушивались. Державин не мог, да уже и не желал писать по-ломоносовски. Он напишет ещё несколько стихотворений с упоминанием царевны Фелицы. Лишь одно из них стало событием — «Видение мурзы», написанное вскоре после первого успеха. Но в «Видении мурзы» как раз осмысляется природа лести… Другие «фелицианские» оды Державина производят менее сильное впечатление. Чувствуется в них вымученность. Пока поэт лично не был знаком со своей героиней — приходили прозрения, воспаряла ввысь фантазия.

В 1789 году Державин опубликует «Изображение Фелицы» с таким посвящением: «Автор Фелицы тебе же, богоподобная, и изображение твоё посвятить дерзает. Плод усердия, благодарности, покоя и свободы». Тут же был организован перевод на немецкий язык: императрица желала предстать в выгодном свете и перед соплеменниками.

22 сентября — день коронации Екатерины. Державин преподнёс оду новому фавориту — Платону Зубову. Постаревшая императрица снова впала в состояние восторга.

Вот тут-то Державина и стали упрекать в «искательстве», в

карьеризме, тут-то лучший друг — Василий Капнист — и написал язвительные стихи «Ответ Рафаэля певцу Фелицы». А ведь Капнист и сам подчас пробовал силушку в жанре торжественной оды — только до монархов его упражнения доходили нечасто. Акустика власти удесятеряла значение каждой фелицианской оды Державина. Но второго Державина империи не требовалось.

АКАДЕМИК

В том же 1783 году начала работу Российская академия. Дашкова, оглядываясь на французский образец, но пылая патриотическими чувствами, видела академию лабораторией русской грамматики и литературы. На первом заседании почтенного собрания избрали академиков, достойнейших из достойнейших. Их было 34. Первой в списке значилась Дашкова, вслед за ней шли архиереи. Девятнадцатым в списке оказался «первой экспедиции государственных доходов член, статский советник» Державин. Чины здесь упоминались по традиции: академиком его избрали не за служебные заслуги, всё решала литературная слава.

Выше Державина в академической иерархии оказался Херасков — он и чином опережал Гаврилу Романовича, и знаменитым поэтом стал гораздо раньше. Кроме них, из писателей первыми академиками стали Фонвизин, Богданович, Львов, Капнист… Цвет русской литературы того времени.

Академия занялась составлением словаря.

Стал академиком — делать нечего, пришлось запереться в библиотеке. Державин, не имея капитального образования, попробовал себя в роли исследователя, филолога. Ему поручили собрать слова на букву «Т». Державин, по обыкновению, трудился усердно. Штудировал Тауберта, Ломоносова, Кондратовича. Очень скоро в его черновике насчитывалось почти 1200 слов на «Т». В словарь попадут далеко не все…

Академики приняли установку: не включать в словарь диалектные слова. «Провинциальные, неизвестные в столицах речения не должны иметь в словаре места», — гласило предписание, возмутившее Державина. Недоучка из Казанской гимназии не мог с этим примириться!

В письменных комментариях он пытался возражать дипломатично: «Кажется, и провинциальные слова, которые имеют выговор хороший и выражение смысла точное, не мешают». На заседаниях же принимался бурно спорить.

В нём заговорил поэт. Державин постоянно искал слова, искал новые созвучия — для неожиданных рифм, для неслыханной оркестровки стиха. Если каждый год писать по оде привычным академическим языком — получится монотонное стихотворное варево, в котором не встретишь открытий, озарений.

Диалектизмы для сочинителя — как золотые копи. В них — скрытые возможности литературного языка. Разве можно

гнушаться ими из научного снобизма?

Вот, например, замечательный глагол «тоурить». Тоурить очи — значит, таращить, выпучивать глаза, можно употреблять это словцо, когда речь идёт о перенапряжении сил… Державин 100 раз слыхал его на Волге, в родных краях. Слыхал в простонародной речи: «Что истоурился на меня?» В Петербурге и Москве так не говорят — и что же тут хорошего? Чем больше синонимов, тем выразительнее и гибче язык.

И русский язык станет ярче, если об этом слове узнает каждый школяр! А уж литература точно обогатится — и Державин самолично доказал это, украсив оду «На приобретение Крыма» такой строфой:

Увидя Марс — тоурит брови,
Скрежещет и кричит, ярясь:
«Как? мир? — и без меня победы?
Я вас!..» Но, будучи сражен
Вдруг с Севера сияньем кротким,
Упал с железной колесницы;
Его паденье раздалося
Внутрь сердца Зависти — и трость,
Водимая умом обширным,
Бессмертной пальмой обвилась…

Державин убеждал: симбирский глагол даже с Марсом сочетается на славу! Правда, нашлись критики, убедившие Державина подредактировать «тоурящую» строку. Академики сочли все державинские спорные предложения чудачеством малообразованного поэта. А жаль!

Всё равно в стихах Державин будет козырять то бранными, то жаргонными, то редкостными «провинциальными» словами. Без таких слов невозможно представить и поэзию Пушкина, Дениса Давыдова, Мятлева, не говоря уже о Некрасове…

Вплоть до переезда в Петрозаводск Державин регулярно посещал заседания академии. А в Петрозаводск он отправится не в увеселительную поездку. Академик стал губернатором.

КОГО МЫ НАЗЫВАЕМ БОГ

Между службой у Вяземского и новым назначением Державин получил почти три месяца вольной жизни. Свои финансовые дела он за это время не поправил, зато лиру настроил на безупречный лад.

«Мурза» не культивировал экстатическое отношение к творчеству — «марание стихов», как правило, не становилось для него священнодействием.

А эта тема требовала уединения и покоя. А может быть, не покоя вовсе, но редкостного полёта души. Державин снискал славу поэта-забавника. Но духовная лирика — высшее проявление поэзии. Ломоносов и Сумароков оставили достойные её образцы, но их переложения псалмов всё-таки казались Державину холодноватыми.

Державин накрепко запомнил историю создания этой — заветной — оды:

> «Автор первое вдохновение, или мысль, к написанию сей оды получил в 1780 году, быв во дворце у всенощной в Светлое воскресенье, и тогда же, приехав домой, первые строки положил на бумагу; но, будучи занят должностию и разными светскими суетами, сколько ни принимался, не мог окончить оную, написав, однако, в разные времена несколько куплетов. Потом, в 1784 году получив отставку от службы, приступал было к окончанию, но также по городской жизни не мог; беспрестанно, однако, был побуждаем внутренним чувством, и для того, чтоб удовлетворить оное, сказав первой своей жене, что он едет в польские свои деревни для осмотрения оных, поехал и, прибыв в Нарву, оставил свою повозку и людей на постоялом дворе, нанял маленький покой в городке у одной старушки-немки с тем, чтобы она и кушать ему готовила; где, запершись, сочинял оную несколько дней, но не докончив последнего куплета сей оды, что было уже ночью, заснул перед светом; видит во сне, что блещет свет в глазах его, проснулся, и в самом деле, воображение так было разгорячено, что казалось ему, вокруг стен бегает свет, и с сим вместе полились потоки слёз из глаз у него; он встал и ту ж минуту, при освещающей лампаде написал последнюю сию строфу, окончив тем, что в самом деле проливал он благодарные слёзы за те понятия, которые

ему вперены были».

Вот так — с конспирацией, с видениями ему удалось уединиться и хотя бы на несколько дней без остатка предаться сочинительству…

В этом могучем стихотворении несколько финалов — когда читателю необходимо перевести дух. Читаем:

Твоё созданье я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и Царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Моё бессмертно бытиё;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! — в бессмертие Твоё.

Да это же финальная кульминация! Вот тут бы и задуматься о Божием величестве потрясённому читателю. «Отец! — в бессмертие Твое». Куда выше? Все слова сказаны, продолжать, кажется, невозможно. Но Державин снова поворачивает огромный фрегат оды и направляет его вперёд — дальше, дальше, по волнам и против течения:

Неизъяснимый, Непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать Твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слёзы лить.

Прочитав оду, отложив книгу, мы физически чувствуем: здесь поэт отдал всё, до дна вычерпал эмоции и, обессиленный, рухнул на колени.

Один современный поэт, любящий и понимающий Державина, убеждал меня, что самая последняя строфа здесь — лишняя. Всё уже сказано, она только размазывает финал. Да,

Державин нередко допускал «проходные» строфы — из любви к масштабным полотнам. Длиннее — значит, фундаментальнее, а столь необозримая тема достойна непременно длинной, пространной оды. Но здесь заключительная строфа для Державина была ключевой! Он удостоил её на редкость проникновенного комментария — о пролитых слезах, которыми только и можно завершить такую оду.

Нечасто Державин в объяснениях к стихам проговаривался о сокровенном. Он стеснялся припадков вдохновения, боялся показаться юродивым или вертопрахом. А тут вдруг заговорил о высоком, о божественном. Оказывается, молитва отзывается в сердце той самой музыкой, которую чуть позже все подряд многозначительно стали называть вдохновением. У Державина было меньше пиитической гордыни, чем у Соловьёв эпохи литературоцентризма.

Оду «Бог» иногда называют началом классической русской литературы. Крупнейший исследователь поэзии и судьбы Державина Я. К. Грот рапортует о «первом русском произведении, которое стало достоянием всего мира». Трудно говорить о массовом международном успехе русского стихотворения в XVIII веке. Но переводы «божественной» оды сочинялись повсюду. Главным образом они появлялись по инициативе русской стороны…

«Ода „Бог“ считалась лучшею не только из од духовного и нравственного содержания, но и вообще лучшею из всех од Державина. Сам поэт был такого же мнения. Каким мистическим уважением пользовалась в старину эта ода, может служить доказательством нелепая сказка, которую каждый из нас слышал в детстве, будто ода „Бог“ переведена даже на китайский язык и, вышитая шелками на щите, поставлена над кроватью богдыхана», — говорит Белинский.

Василий Михайлович Головин опубликовал записки «О приключениях в плену у японцев» — с экзотическим подтверждением славы Державина: «Однажды учёные их меня просили написать им какие-нибудь стихи одного из лучших наших стихотворцев. Я написал Державина оду „Бог“, и когда им оную читал, они отличали рифмы и находили приятность в звуках; но любопытство японское не могло быть удовольствовано одним чтением: им хотелось иметь перевод сей оды; много труда и времени стоило мне изъяснить им мысли, в ней заключающиеся; однако напоследок они поняли всю оду, кроме стиха:

Без лиц в трёх лицах Божества? —

который остался без истолкования, об изъяснении коего они и не настаивали слишком много, когда я им сказал, что для уразумения сего стиха должно быть истинным христианином.

Японцам чрезвычайно понравилось то место сей оды, где поэт, обращаясь к Богу, между прочим говорит: „И цепь существ ты мной связал“».

…Державинскую попытку объяснить суть Троицы не только японцы не могли понять.

Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трёх лицах Божества!

Многие посчитали эту формулу крамольной, да и Державин намекал, что одним православным каноном здесь не обойтись. «Автор, кроме богословского православной нашей веры понятия, разумел тут три лица метафизические; то есть: бесконечное пространство, беспрерывную жизнь в движении вещества и неокончаемое течение времени, которое Бог в себе и совмещает». Намёки на существование множества миров и солнц тоже вызывали недоумение ревнителей канона. И всё-таки ода получила признание и в церковных кругах: покоряла молитвенная искренность.

У Державина находят немало то ли бессознательных, то ли продуманных заимствований из немецкой поэзии. Перекличку отрицать невозможно — тут вспоминается и «Вечность» Галлера, и «Мессия» Клопштока, и «Бог» Гердера, и «Величие Божие» Брокеса. «Зависимость Державина от западных образцов вообще заходила, кажется, дальше, чем это принято думать», — считал историк литературы А. Н. Веселовский. Ясно одно: немецкая поэзия подтолкнула Державина к смелому замыслу: показать связь Бога и человека в природе, в мыслях, даже на бытовом уровне. Об этом вопит самая известная строфа «Оды» — совершенная по форме и глубине мыслей:

Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих.
Черта начальна Божества;
Я телом в прахе истлеваю.
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я Бог!
Но, будучи я столь чудесен,

Отколе происшел? — безвестен;
А сам собой я быть не мог.

Как и после «Фелицы», поэты принялись подражать Державину. «Гимн Богу» Дмитриева, «Гимн Непостижимому» Мерзлякова, «Песнь Божеству» Карамзина, наконец, «Бог» Хвостова… О, Хвостов! В скором будущем — граф Сардинский. Дмитрий Иванович Хвостов — анекдотический персонаж истории русской литературы, и это по-своему почётная роль. Он олицетворение метромании, страстной поэтической графомании. Когда у него случались крепкие строки — Воейков приговаривал: «Это он нечаянно промолвился!» Камер-юнкером он стал по протекции Суворова: острословы облюбовали реплику императрицы по этому поводу: «Если бы граф Суворов попросил — я бы его и камер-фрейлиной сделала!» Даже графский титул его вызывал улыбку: ведь это Суворов, освободитель Италии, выхлопотал ему *Сардинского.* Хвостов был не просто родственником великого полководца, он стал его лучшим другом. И это уже не потешная история! Ни с кем Суворов не был так откровенен, как с Хвостовым. Обиды на Потёмкина после Измаила, несогласие с павловским опруссачиванием армии, отчаяние во дни жестокой опалы — всё это Суворов напрямки излагал в письмах Хвостову, которому доверял, как никому другому. Он и скончался в доме Хвостова на набережной Крюкова канала. Но даже Суворов не считал Хвостова истинным поэтом. Современники так огульно зашикали Хвостова, что после смерти метромана его практически не переиздавали.

Подобно Державину, Хвостов обратился к теме, сокровенной для каждого христианина, и, конечно, считал, что его божественная ода превосходит державинскую. На то он и легендарный метроман, что переубедить его было невозможно.

Если Барков стал символом скабрёзной, нецензурной поэзии, то Хвостов — неуклюжей графомании. Баркову приписывали матерные поэмы, к которым он не имел отношения, а графу Сардинскому — всяческую курьёзную белиберду, которую шутники сочиняли «под Хвостова».

Узнав о честолюбивых речах Хвостова, Державин сочинил злую, но не слишком отточенную эпиграмму:

«Как нравится тебе моя о Боге ода? —
Самхвалов у меня с надменностью спросил, —
Я фантастическа не написал урода,
О коем нам в письме Гораций говорил;
Но всяку строку я набил глубокой мыслью

И должный моему дал Богу вид и рост».
— «То правда, — я сказал, — нелепицу ты кистью
И быть бы где главе, нарисовал тут… хвост».

Что ещё сказать об оде «Бог»? Державину удалось без проволочек опубликовать её в «Собеседнике» незадолго до отбытия в Олонецкую губернию. Она вышла в свет в конце апреля 1784-го. При первом отдельном издании Державин подписал её собственной фамилией. Переизданий было немало, ведь ода насыщена образами и мыслями, которые если не понятны, то интересны каждому.

В том же 1784 году поэт осиротел: скончалась в Казани Фёкла Андреевна.

Сохранились воспоминания Ивана Дмитриева, относящиеся к более позднему времени: «Катерина Яковлевна вспомнила покойную свекровь свою, начала хвалить её добрые качества, её к ним горячность; наконец, стала тужить, для чего они откладывали свидание с нею, когда она в последнем письме своём так убедительно просила их приехать навсегда с нею проститься. Поэт вздохнул и сказал жене: „Я всё откладывал в ожидании места (губернаторского), думал, что, уже получа его, испросить отпуск и съездить в Казань“. При этом слове оба стали обвинять себя в честолюбии, хвалить покойницу, и оба заплакали. Я с умилением смотрел на эту добросердечную чету».

Да, Державин не застал Фёклу Андреевну в живых, когда приехал на родину — и чувство вины долго его не покидало. Иван Иванович Дмитриев — сентименталист! — восхищался душевной ранимостью четы Державиных.

ГУБЕРНАТОР

В 1775 году Екатерина подписала «Учреждение для управления губерний Российской империи». Число губерний удвоилось: их стало 50. Кроме губернаторов, областями России руководили генерал-губернаторы, курировавшие по две-три губернии. Державин, конечно, надеялся возглавить Казанскую губернию, но — не судьба. На первый раз ему досталась третьестепенная Олонецкая губерния. Далёкая периферия. Там ему предстояло сработаться с наместником (генерал-губернатором) Тутолминым…

В 1784 году Державин отбыл в Петрозаводск. Если вдуматься — удивительное назначение, необъяснимое! Остаться в истории покровительницей наук и искусств — что может быть важнее для Северной Семирамиды? Екатерина пребывала в восторге от «Фелицы» и вроде бы должна была приблизить Державина к трону, превратить в придворного поэта. При чём же здесь периферийный Петрозаводск? Императрица исключила Державина из литературной и придворной жизни. На посту губернатора он почти ничего не написал — кроме административных и географических отчётов. Разве что несколько разрозненных строк пришли на ум при лицезрении Кивачского водопада. И, главное, — Державин влюбился в тихую красоту северной природы. Влюбился навсегда.

Тимофей Иванович Тутолмин окончил Шляхетский кадетский корпус, участвовал во многих сражениях, неоднократно проявлял храбрость и офицерскую смекалку. Но наибольших успехов достиг по штатской линии. Всем был хорош Тутолмин, только слишком задирал нос и к деньгам относился легкомысленно. Как водится, и к своим, и к государственным. Он любил праздники и почести, обременение бюджета его не смущало, да и о служебном долге он задумывался нечасто. Временщик — не временщик, но явно не рачительный, а расточительный хозяин. Он окружал себя свитой. Петрозаводский «двор наместника» в тихом городе выглядел экзотически. Передвигались тутолминские вельможи в каретах, сам наместник горделиво выезжал в сопровождении конного конвоя.

Боевитый клан Тутолминых представлял для Державина величайшую опасность. Родственники наместника контролировали все хлебные места в Петрозаводске и его окрестностях. Да и сам глава рода впал в зависимость от «своих людей». Любое притеснение родственника он считал

государственным преступлением. Сработаться он мог бы только с мягкотелым губернатором, который правил бы с плотно закрытыми глазами.

В первые месяцы службы в Петрозаводске Державин поддерживал вполне дружеские отношения с генерал-губернатором. Они то обедали, то ужинали вместе, за непринуждённой беседой. Но Державин сразу поставил диагноз Тутолмину: «Гордец».

Державин возглавил огромную, но малозаселённую губернию — всего 205 тысяч человек. Здесь не было крупного крепостного аграрного производства: больше 70 процентов населения составляли государственные крестьяне. Здесь проживало немало староверов. Староверы в те времена вызывали постоянное беспокойство властей, ещё совсем недавно притеснения раскольников оборачивались кровавыми сценами…

Державин побывает в раскольничьих скитах и, в конце концов, издаст секретное распоряжение «О недопущении раскольников сжигать самих себя, как часто то они из бесноверия чинили». Правда, это было не первое и не последнее распоряжение такого рода.

В самом Петрозаводске проживало ровным счётом 3254 человека. Державин приказал составить «реестр фабрик». Оказалось, что на трёх городских кожевенных заводах работало всего лишь семь человек. А на пильном заводе купцов Драницыных — четверо. Индустриальное имя города более или менее оправдывало только одно предприятие — Александровский пушечно-литейный завод, славившийся и художественным литьём. Но и он узнает лучшие деньки в позднейшее время.

В губернаторском доме не случилось подходящей мебели — да и откуда ей взяться? Во всём Петрозаводске не нашлось приличной библиотеки. Пришлось Державину продавать золотую табакерку — дар императрицы. И отправились на баржах в Петрозаводск изящные стулья и добротные столы, а также ящики с книгами. Богатейшая библиотека! Государева служба была делом разорительным…

Ближайшими сотрудниками Державина стали Н. Ф. Эмин и А. М. Грибовский — этих просвещённых молодых людей губернатор привёз из Петербурга вместе с мебелью. Николай Эмин был сыном известного писателя Фёдора Эмина и сам увлекался литературой. Баловался сочинительством и Адриан Моисеевич Грибовский — расторопный, умный молодой чиновник, недавний студент.

Державин энергично занялся исправлением нравов: наказывал за проступки, внимательно рассматривал жалобы.

Погружался в пучину сутяжничества. Екатерина не ошиблась в нём: недавний капрал оказался способным администратором, энергичным и вдумчивым. Он вникал во всё. Через 40 лет император Николай Первый произнесёт: «Россией управляют столоначальники». Все проделки столоначальников Олонецкой губернии Державин взял «на карандаш».

Вот столоначальника Харлицкого обвинили в том, что он «непрестанно упражняется в пьянстве несмотря на многие сделанные ему выговоры». Державин усмехнулся: в Преображенском полку он и не такое видал. Но терпеть хмельную бюрократию он не собирался. К Харлицкому приставили караульного, которому приказали не подпускать страстного чиновника к бутылке. Повенецкий казначей Скоромыслов тоже получил нагоняй за своё увлечение: оказывается, он появлялся на службе в пьяном виде! Караульного к нему не приставили (Скоромыслов всё же был воздержаннее Харлицкого), но рублём наказали. У Державина строго: за каждую провинность бюрократа били «пенями».

Державин наказывал не только пьяниц, но и трезвых драчунов и буянов — скажем, из числа полицейских. Но и самого Державина недруги упрекали в рукоприкладстве. Дело было так. Многие были недовольны поведением советника Соколова. Узнав о жалобах на себя, Соколов взбрыкнул и, оскорблённый, перестал посещать присутственное место. Державин велел штаб-лекарю освидетельствовать прогульщика. У Соколова обнаружили геморрой и зубную боль. Но советник казённой палаты Шишков принялся распространять слухи, что Державин избил Соколова! Соколов благородно развеял эти слухи — он не был сторонником губернатора, но держался независимо и мараться клеветой не захотел.

А вот ещё анекдотец, над которым хохотал весь Петербург. Асессор Аверьянов при губернаторском доме (!) держал ручного медвежонка. По очаровательной простоте провинциальных нравов, никто его не боялся, он потешал и самого Державина, и визитёров губернатора. Местный балагур, заседатель земского суда Молчин, приманивая свежим калачиком, привёл медведя в суд. «Вот вам новый столоначальник — Михайло Иванович Медведев!» А в суде, как и во всей Олонецкой губернии, правили балом родственники Тутолмина.

Некоторых судейских эта ситуация позабавила, другие принялись прогонять мишутку. Прапорщик Горлов огрел Михайлу Медведева палкой. Молчин окрысился: «Поостерегись! Медведь-то губернаторский!» На Руси издавна в ходу были шутки с медведями: зверь-то нашенский, из сказок и побасёнок.

Молчин — вояка, отставной офицер, он был приверженцем Державина, и Гаврила Романович относился к нему с симпатией. Но водевильная выходка с медведем на воеводстве губернатора не позабавила. Державин с уважением относился к институту суда. Он помнил, что Калигула, желая поколебать основы представительной власти, ввёл в сенат коня. И вот во вверенном Державину городе в суд вводят медведя — для потехи.

Узнав о медвежьем деле, Державин рассердился, вспылил, принялся кричать, но вскоре смягчился и простил Молчина за «анекдотец».

Однако шутка Молчина дорого стоила Державину. Приверженцы Тутолмина постарались обвинить губернатора в неуважении к суду, к государству, к порядку. Многие верили, что поэт, сумевший высмеять в «Фелице» всех вельмож, способен на столь эксцентрический поступок. В медвежьем водевиле находили сатирический подтекст и, конечно, издевательство над Тутолминым. Распоясался Гаврила Романович!

Державин отвечал резко: по его мнению, отвечать за этот проступок Молчина должен и председатель суда, родственник и приверженец Тутолмина.

Заскрипели перья доносчиков. Дело дошло до Петербурга и Москвы, до Сената. Старый недоброжелатель Державина Вяземский не упустил возможности уколоть пиита: «Вот, милостивцы, как действует наш умница стихотворец: он делает медведей председателями!»

Князь нервно воспринял успех Державина, пасквильные строки «Фелицы» забыть было невозможно. Болтун и бездельник ухитрился понравиться Екатерине — и запросто может превратиться во влиятельного вельможу. Вяземский надеялся преградить Державину путь к императрице. Опозорить его. Есть же и поэты посолиднее — тот же Василий Петров, приятель Потёмкина. Потёмкин всесилен, взлёт его любимцев неизбежен. Но Державин не должен взлететь, пусть утонет в провинции, пусть погрязнет в склоках…

Державин спасался путешествиями. Карельская природа отвлекала от скандалов, интриг и расследований. Иные губернаторы не любили объезжать свои владения. Наказ императрицы предписывал объезжать губернию раз в три года — сам факт такого предписания свидетельствует, что губернаторы не стремились инспектировать отдалённые уезды чаще. В губернском городе им было комфортнее. Только не Державину! Его предупреждали о дурном состоянии дорог и мостов: даже неприхотливые крестьяне боялись там хаживать. Но Державин двинулся в путь, захватив с собой Грибовского и Эмина. Вместе

они попытались составить топографическое описание глухой губернии. В этом краю самый надёжный способ путешествий — водный. Их путь лежал от острова к острову. Остановившись, разведывали местность версты на две вокруг. Побывали у Кивача, побывали на мраморных ломках. Встретили там 104-летнего старика, который потчевал колодезной водой Петра Великого. Дальние монастыри, погосты, староверческие поселения — везде прошли слуги Отечества. Тутолмин дал Державину заведомо невыполнимое задание: открыть город в Кеми. В суровую августовскую погоду редкие рыбаки отваживались ходить в Кемь. Но Державин туда прорвался и даже нашёл (на сенокосе!) священника, который окропил пределы нового города святой водой. Из Кеми Державин направился к Соловкам — по Белому морю им предстояло пройти 60 вёрст. Но поднялась буря. Эмин и Грибовский без чувств лежали на дне лодки — а Державин продолжал руководить гребцами и вывел судно к островам. Соловецкого монастыря он так и не увидал. Онега, Каргополь, Вытегра — и двухмесячное путешествие закончилось.

В Петрозаводске доносы и клеветнические слухи множились. Державин в который раз проинспектировал присутственные места и в кассе приказа общественного призрения обнаружил недочёт в тысячу рублей, да ещё и купцы получали ссуды без расписок. Не ровён час придётся отвечать за эти художества… Но Гаврила Романович энергически провёл расследование — и виновником оказался лучший его сотрудник Грибовский, казначей этого приказа. Державин покрыл недостачу из собственных средств, но из Грибовского вытряс правду: деньги понадобились ему для уплаты карточных долгов. Львиная доля казённых денег осела в карманах более удачливых игроков, нежели Грибовский — вице-губернатора и прокурора. А они были лидерами партии Тутолмина! А как же ссуды? Тут Грибовский не был оригинален: выдавал деньги без расписок, таким образом, получался бессрочный кредит. А расписки купцы составляли задним числом, при возврате денег. Надо ли пояснять, что взятки (а кто же даст бессрочный кредит без взяток?) Грибовский тоже проигрывал в карточки? Державин тут же задумал дьявольскую сцену. Грибовский дрожащей рукой письменно изложил признание, не забыв, кому сколько долгов он выплатил ворованными деньгами, — и удалился. В нём Державин более не нуждался. Зато вызвал вице-губернатора и дружески поведал ему о растрате. «Как поступить с Грибовским?» Вице-губернатор потребовал для проворовавшегося гуляки самую строгую кару! «Он не стоил вашей доверенности, этот Грибовский!» Тогда Державин с улыбкой показал ему признание Грибовского. Побледневший

чиновник удалился спешно… Этот фокус Державин в ту ночь повторил ещё дважды — с другими столоначальниками.

Следующим утром Державин собрал купцов — и всех принудил подписать по чести расписки. Тут к Державину явился прокурор с жалобой на облыжное обвинение в картёжной игре, которым пугал его губернатор в ночное время. Державин снова улыбнулся: «Никуда я вас ночью не приглашал. Никакой недостачи и никакого картёжного дела нет». Хотите в этом убедиться? Проверьте казну, проверьте расписки. Прокурор пересчитал деньги — и подумал, что сходит с ума. Державин всё с той же улыбкой принял жалобу прокурора, разорвал её и приказал принести шампанского. Державин, ошеломлённый прокурор и остальные присутствовавшие при этом господа выпили по бокалу игристого напитка. Всё случившееся Державин весело предложил считать сонной грёзой. Затем губернатор без пояснений вышел из комнаты, сел в повозку, где уже ждала его супруга. Куда они направились? Никто не ведал. Наверное, в Каргополь. А они уехали в Петербург. Губернаторский кабинет Державин покинул по-английски — заблаговременно выхлопотав себе отпуск. Не одолел, так хотя бы огорошил Тутолмина на прощание.

ЕРМИЛ КОСТРОВ

Державин страдал на губернаторском посту, а его литературная слава росла.

Есть в Вятской губернии село Синеглинье. Там в 1755 году родился Ермил Иванович Костров — стихотворец, который посвятил лиру армии, воинской героике. Сын монастырского крестьянина, он с детства рвался к просвещению. Путь этот проходил через церковные врата. Сначала — Вятская семинария, потом — Славяно-греко-латинская академия. Наконец, Московский университет. Костров состоял при университете в качестве стихотворца, а мечтал о кафедре, на которую так и не пробился. Тогда не было такой научной специальности — «филолог», а Ермил Иванович стал тончайшим знатоком словесности. Он истово служил литературе — переводил и сочинял стихи, спорил, проповедовал.

Ему покровительствовал Суворов, он научился в стихах создавать батальные полотна. Было у Ермила Ивановича одно обременительное хобби — оно стало для него роковым проклятием. Хмельным проклятием.

Костров одним из первых разобрался в «забавном русском слоге» Державина: многие восторгались «Фелицей», но немногие глубоко проникли в замысел Державина, оценили обаяние его небрежного человечного стиля. Впрочем, Костров — не только поэт, но и внимательный читатель — полюбил стихи Державина ещё до «Фелицы».

Сам Ермил, как водится, написал несколько звучных од в честь императрицы. Прочитав «Фелицу», он понял: писать по-старому далее невозможно. Только как приручить новый слог? Костров тужился, но составлял панегирик Державину:

Наш слух почти оглох от громких лирных тонов,
И полно, кажется, за облаки летать,
Чтоб, равновесия не соблюдя законов,
Летя с высот, и рук и ног не изломать:
Хоть сколь ни будем мы стараться
В своём полете возвышаться,
Фелицыны дела явятся выше нас.
Ей простота приятна в слоге,
Так лучше нам, по сей дороге
Идя со скромностью, к ней возносить свой глас.

В союзе с нимфами Парнаса обитая,

По звучной арфе я перстами пребегал,
Киргиз-кайсацкую царевну прославляя,
Хвалы холодные лишь только получал;
Стихи мои там каждый славил,
Мне льстил, себя чрез то забавил;
Теперь в забвении лежать имеют честь.
Признаться, видно, что из моды
Уж вывелись парящи оды.
Ты простотой умел себя средь нас вознесть.

Костров торопился проявить себя в новом стиле — стал писать проще, грациознее. Допускал немыслимые вольности! Он даже написал похвальную песнь на возвращение императрицы из полуденных стран — о ужас! — хореем! Да, это была не ода, а песнь, но всё-таки хорей и государыня казались несовместимыми…

Несгибаемый Ермил принялся открыто воспевать Суворова, когда Державин ещё опасался упоминать полководца, вечно неугодного кому-то из правителей. И даже намекал в послании Суворову, что для достойного воспевания подвигов графа Рымникского необходим державинский дар:

О! если б мне твой дух и лёгкое перо,
Изобразил бы я… Судьба не так решила:
Вития слабый я, усердье лишь быстро́,
Усердие быстро — изнемогает сила.
Ты, снисходя мне, граф, доволен оным будь,
Прими, прими мой стих, что сердце мне вещало,
В себе питала грудь,
Усердье начертало.

Державин в эпиграмме вывел его под кличкой «Хмельнин» — но не уничижения ради, а из сочувствия:

Весьма злоречив тот, неправеден и злобен,
Кто скажет, что Хмельнин Гомеру не подобен:
Пиита огнь везде и гром блистает в нём;
Лишь пахнет несколько вином.

Кто только не помогал Кострову — Херасков, Суворов, Потёмкин, Шувалов, Державин… Лучших меценатов и приятелей и представить невозможно. И всё-таки умер он в нищете. Нестор

Кукольник аж в 1853 году напишет про него трагедию.

ТАМБОВСКИЕ СТРАДАНИЯ

Державин всё ещё мечтал погубернаторствовать в Казани. Родина, крупнейший центр Поволжья, город старинного кремля и новых очагов просвещения. Державин знал о проблемах Казани, готов был развернуть там строительство. В Казанской губернии можно найти таких столоначальников, которые способны стать опорой просвещённому губернатору. Немножко старания — и можно превратить Казань в жемчужину, в город Солнца. Державин готов был поработать и с татарским населением — чтобы крестились и обрусевали, как легендарный Багрим.

Певец Фелицы робко пытался донести свои намерения до императрицы. Должна же рассудительная Екатерина понять, что именно в Казанской губернии Державин сумеет показать себя, послужить Отечеству со славой…

В Петербурге он сошёлся с казанским губернатором. Генерал-майор Иван Татищев тоже прибыл в столицу с жалобами на генерал-губернатора. Правда, жаловаться по-настоящему не решился, нашёл себе дело куда более увлекательное и безопасное: принялся выхлопатывать орденок. Ходили слухи, что кресло казанского губернатора вскоре окажется вакантным. Державин зачем-то прямо объявил Татищеву, что желает стать его преемником. Но генерал не торопился сдавать Казань — и у императрицы не было оснований его отзывать.

А что же олонецкие недруги? На державных берегах Невы Державин был сильнее Тутолмина. При дворе он нашёл поддержку: Безбородко оставался его благодетелем, появились у поэта и новые влиятельные поклонники. Но императрица уготовила Державину Тамбов. Из олонецких губернаторов он без передышки стал тамбовским.

В феврале 1785 года на вахту фаворита императрицы заступил Алексей Петрович Ермолов. В будущем — искусный и храбрый генерал, а покамест — статный офицер, полный сил и огня. Державину (по-видимому, не без помощи Львова) довелось познакомиться с ним, заручиться поддержкой. Перед отъездом в Тамбов Державин поговорил с Ермоловым откровенно. Признался, что мечтал о назначении в Казань, но не смеет настаивать на такой милости: государственные посты — не карточные фоски, чтобы ловко их тасовать. А ещё они говорили о делах сугубо материальных и наиболее щекотливых: именьица, долги… Державин обещал в Тамбове подыскать Ермолову доброго рысака.

Ермолов готовил себя в Мильтиады, в Сципионы — и не

скрывал честолюбивых помыслов. Несомненно, он ждал, что Державин приободрит его стихами, воспоёт. Не сложилось.

«Случай» Ермолова продлился недолго, от главного будуара России его вскоре отстранили. Будущий генерал был ершист и неуживчив, подобно Державину. Державин подберёт ему рысака, но Алексей Петрович к тому времени от двора отдалится.

Тамбовская губерния по территории в два с лишним раза меньше Олонецкой. Но после безлюдной Карелии она казалась Вавилоном: почти 900 тысяч человек!

Главный город губернии, в котором проживало около десяти тысяч жителей, не был торговым и промышленным центром.

Новым кандидатом в злые гении станет для Державина генерал-губернатор Иван Васильевич Гудович, выходец из малороссийской шляхты, человек неглупый и обаятельный.

Сумасбродное правление Петра Третьего стало для него счастливым временем. Дело в том, что брат будущего фельдмаршала, Андрей Васильевич Гудович, входил в узкий круг друзей государя, стал генерал-адъютантом императора Петра Фёдоровича. Иван Васильевич стал адъютантом фельдмаршала принца Георга Шлезвиг-Голштинского. Принца Георга — своего дядю — император прочил в главнокомандующие. Армия готовилась к войне со Шлезвигом. Заводилы екатерининского переворота почли за благо арестовать Гудовича. Три недели он провёл в заключении. Принц Георг не предал своего племянника и государя и попытался пресечь присягу конногвардейцев новой императрице. Принца в России презирали: он олицетворял «голштинскую» политику Петра Третьего. Но Екатерина не допустила расправы над фельдмаршалом. Его освободили и с почётом направили в Голштинию. А Гудович вскоре получил в командование Астраханский полк.

Военная карьера Гудовича развивалась споро и не без блеска: за семь лет он дослужился до высокого звания генерал-поручика. Неудивительно, что в автобиографии Гудович, гордившийся по праву военными победами, о гражданской службе умолчал. Что такое рязанское наместничество для боевого генерала? Прозябание да и только. Бороться с разгильдяйством он не собирался за недосугом.

Переписка Державина с Гудовичем началась ещё до прибытия нового губернатора в Тамбов. В первом письме Державин извинялся, что задержался в пути из-за болезни жены. «Приятно мне донесть вашему превосходительству, что в проезд мой чрез Рязань был я с женою моею у ваших любезных деток. Они находятся в желаемом здравии, нарочито веселы, только с нетерпеливостию ожидают вас, так как сие бы и нам принесло не

малое удовольствие, чтоб возвращение вашего в-пр. было благополучно».

Губернатор и наместник попытались дружить семьями. Вроде бы повторялась олонецкая история, но Гудовича, в отличие от Тутолмина, Державины не считали напыщенным павлином. «Я здесь после Петрозаводска подлинно душевно и телесно воскрес», — писал Державин в те идиллические дни. По расчётам Державина, рубль в Тамбове был раза в три весомее, чем в Петрозаводске: низкие цены, изобилие мяса, рыбы и овощей.

Боевой генерал равнодушно относился к управленческим неурядицам. На рыхлых статских чиновников он поглядывал свысока, а Державин — бывший гвардейский офицер, одна выправка чего стоит. К тому же — известный пиит, приближенный к императрице.

Катерина Яковлевна писала Капнисту: «Начальник очень хорош; кажется, без затей, не криводушничает, дал волю Ганюшке хозяйничать; теперь совершенный губернатор, а не пономарь». Державин не упускал случая продемонстрировать Гудовичу свою приязнь. Когда наместник пожаловал в Тамбов — его встречали цветами, венками и театрализованным представлением с хорами. А какой пир закатил Державин в честь генерала! Катерина Яковлевна всё устроила наилучшим образом: вина из Петербурга, сласти из Малороссии, от Капниста… «Устраивались приятные собрания и увеселения, так что начало знатное дворянство не токмо в губернский город часто съезжаться, но и строить порядочные домы для их всегдашнего житья, переезжая даже из Москвы», — горделиво вспоминал Державин много лет спустя.

Застройка города по новому плану — вот первая задача для Державина. Гудович знал, что императрица хотела бы видеть в каждом губернском городе каменные здания, чистые мостовые, театры, учебные заведения… Ничего этого в Тамбове не было. Для начала новый губернатор попытался замостить улицы и приступил к строительству плотины.

Гудович благосклонно выслушал рассказ Державина о подготовке строительства народного училища и сиротского дома. Он понимал, что Тамбов по архитектурному содержанию не соответствует статусу губернского города, и призывал Державина в первую очередь заняться градостроительством.

Помощником Державина по строительным делам, конечно, стал Львов — по переписке. В Тамбове он не работал, но подобрал для Державина «искусного каменного мастера» — итальянца Лукини. Началось возведение театра. Строительные заботы затягивали губернатора — он лихорадочно подыскивал работников, добывал железо и кирпич. Пермскому губернатору

Колтовскому в те дни Державин сообщал, что в губернском городе Тамбове предполагается приступить к сооружению «казенного каменного строения», и просил прислать необходимого и редкостного для Тамбова «сибирского мягкого железа».

Незамощённые улицы, непролазная грязь… Единственная отдушина — усадебки в пригороде. Таких уютных уголков в Карелии не было! Но в этих усадьбах сидели помещики, с которыми губернатору приходилось сражаться.

Дом Державина стал центром общественных собраний, концертов; при губернаторской квартире устроили даже школу, в которой детишек обучали арифметике и грамматике. Державины хлебосольно принимали гостей: у них побывало, кажется, всё местное дворянство.

Державин устроил в Тамбове типографию, где начала свой путь первая в России провинциальная газета «Тамбовские известия», публиковались книги светского содержания и переводы иностранных романов. Державин гордился газетой, понимал, что в Петербурге оценят эту новацию. Типографские станки не порастали мхом, работа спорилась бурно. В державинской типографии вышли в свет книги: «Граф Вальмонт, или Заблуждения рассудка», «История короля Генриха Великого», «Таблицы восхождения и захождения солнца в Тамбове, сочинённые по астрономическим наблюдениям». Издавались там и стихи Державина. Но гордостью губернатора была газета — первая в России губернская газета, которую он редактировал! При типографии открыли книжную лавку, а при лавке — публичную библиотеку, первую в Тамбове. При тогдашней дороговизне на книжном рынке библиотека, в которой можно было взять книгу за щадящую плату, стала вратами учёности для многих горожан.

Державину было, чем похвастать перед просвещённой царицей: в городе открылся театр, появилось народное училище с четырёхгодичным сроком обучения. Много сил губернатор приложил для развития судоходства по Цне, а предложенное им шлюзование реки позволило доставлять в Тамбов лес и строительный камень.

В письме генерал-губернатору Державин указывал на слабость судебной власти в губернии: «Я примечаю, что обвиняются здесь всегда малые чины, а большие, коих из дел сих изволите увидеть, оправдываются. По мнению моему, закрывать в искании и в приговоре винного не есть человеколюбие, но напротив, зло, вредящее обществу».

В Тамбове не нашлось даже правовой литературы — ни одного сборника законов! Суды работали произвольно, «на

честном слове», — не суды, а сплошная прореха. Возможно ли в таких условиях искоренить чиновничью круговую поруку?

Тамбовские тюрьмы до Державина пребывали в страшном запустении: тесный полуподвальный смердящий хлев, в который загнали 200 человек обоего пола, — вот что представляла собой тамбовская тюрьма. Молодые воришки, которых ещё можно было вразумить, теснились вместе с душегубами и умалишёнными. Получалось не тюремное заключение, а смертная казнь, да и только.

Державин писал:

> «При обозрении моем губернских тюрем в ужас меня привело гибельное состояние сих несчастных… Более 150 человек, а бывает, как сказывают, нередко и до 200, повержены и заперты без различия вин, пола и состояния в смердящие и опустившиеся в землю, без света, без печей, избы, или, лучше сказать, скверные хлевы. Нары, подмощённые от потолка не более ¾ разстоянием, помещают сие число узников, следовательно согревает их одна только теснота, а освещает между собою одно осязание». Державин не просто критиковал, он уже готовил строительство нового острога. А нерасторопных юристов предлагал наказывать оригинальным способом: «Признаюсь я вашему высокопревосходительству, что господам уголовным судьям, между разговорами, приятельски советовал я взять способ к скорейшему решению их распри и разноголосицы тот; чтоб они, хотя когда из любопытства, один раз заглянули в тюрьму и увидели, как страждут там люди».

Словом, Державин сделал всё для того, чтобы Лермонтов через полвека сумел написать о Тамбове:

> Тамбов на карте генеральной
> Кружком означен не всегда;
> Он прежде город был опальный,
> Теперь же, право, хоть куда.
> Там есть три улицы прямые,
> И фонари и мостовые,
> Там два трактира есть, один
> Московский, а другой Берлин.
> Там есть ещё четыре будки,
> При них два будочника есть;
> По форме отдают вам честь,
> И смена им два раза в сутки;

Там зданье лучшее острог,
Короче, славный городок.

Впечатляющее здание острога — это уж точно заслуга Державина. Устройством тюрем Державин всегда интересовался особо. Наказания должны исправлять, а не уничтожать провинившегося — по крайней мере в идеале, к которому Державин стремился.

С удивлением поглядывали тамбовчане на строительство острога, а Державин приказал ещё и обустроить отдельный дом для умалишённых.

Где выискать верных и достойных соратников?.. В Петрозаводске оставался старший советник правления Свистунов — Державин доверял ему, хотел перевести в Тамбов. В Тамбов Свистунова устроить не удалось, но верный товарищ помог Державину продать новому олонецкому губернатору мебель, оставшуюся в Петрозаводске. А Свистунов, с которым Державин надолго сохранил дружеские отношения, вскоре оказался в столицах.

И всё-таки наладить работу бюрократического аппарата энергичному управленцу было проще, чем урезонить крепостников, которых ни на хромой козе, ни на губернаторской лошадке не объедешь.

«Я приехал сюда с твёрдым намерением действовать, как я должность свою понимаю, всё, что делается нами, на пользу Отечеству служить должно. Глубокую надежду питаю, что общие наши усилия да труды на благо государства и во имя процветания края Тамбовского, коль скоро сделается мне опорой, и подмогой, не напрасны будут. А пуще всего с беззакониями бороться. Соблюдение законов — первейший долг наш. Неправедности и гнусности не потерплю. А посему должны господа служители правления Свод законов Российской Империи изучить прилежно, дабы все дела в соответствии отправлять…» — таково губернаторское кредо. Чтобы исполнять законы, их нужно знать и понимать. И Державин занялся правоведческим просвещением: выписывал книги, экзаменовал чиновников.

Рвение Державина постепенно начинало утомлять Гудовича. Державин обнаружил, что государственные повинности взимаются неисправно, а казённая палата покрывает воровство и даже не составляет в срок списки неплательщиков… Подробно исследовав эту проблему, Державин составил записку в Сенат. Гудович исключил из записки жалобы на казённую палату. Его можно понять: он не позволял Державину выслуживаться перед

Сенатом за счёт губернских органов. Начинаниям тамбовского реформатора сопротивлялись тамбовские ставленники генерал-губернатора, а дел у Гаврилы Романовича было несметно.

Тамбовские историки и краеведы много лет спустя признают: «С приездом Державина в губернии начался честный период». Казалось, что Державин никогда не отдыхает, не бездействует. Он не ради красного словца объявил «о доступе к себе во все часы для людей всех состояний».

Тамбов нуждался в народном училище. Для этой цели наняли далеко не самый роскошный купеческий дом Ионы Бородина в Покровской слободе. Едва хватило денег на оплату этого скромного здания… А тут ещё и расходы на мебель, на учебники, на ремонт. Пришлось кланяться в ножки богатым землевладельцам и купцам, которые не горели желанием помогать просвещению. Державин поступил по-военному, показал личный пример, первым из своих средств отрядил на благородное дело 100 рублей. Купец Носов — богач, не в пример Державину — внёс только пять целковых. Жадничал торговый люд, жадничал! Все препоны Державин побеждал изворотливой настойчивостью.

Даже 105 рублей, конфискованные у атамана разбойников, известного на всю округу Кузьмы Осипова, пойманного в Елатомском лесу, Державин приказал потратить на обустройство училища. Вообще-то на училище в год выделялось три тысячи рублей. Вроде бы солидная сумма, но Державин понимал, что без дополнительных субсидий всё зачахнет. И стремился привлечь надёжных меценатов, которые станут помогать тамбовскому просвещению десятилетиями.

Из Петербурга приехали учителя — аж четыре человека. Самым уважаемым был Василий Роминский. Он преподавал математику, физику, латинский язык, русский язык, рисование… Савва Венедиктов обучал детишек истории с географией. Лукьян Антонов нёс в массы Закон Божий, изъяснение Евангелия и книгу «о должностях человека и гражданина». Василий Смирнов обучал чистописанию, изучат со школярами букварь и Священную историю.

Каждому педагогу Державин выделил по квартире, с каждым выпил чаю. В столице пришлось заказывать и оборудование: 40 аспидных досок, 100 грифелей, 10 фунтов красных карандашей — всё это было в диковинку для тихого Тамбова.

Несколько месяцев непрерывных хлопот губернатора — и четырёхклассное училище открыло двери для тамбовских мальчишек. Их набралось больше пятидесяти — Казанская гимназия когда-то начиналась с меньшего.

Державин (школа Верёвкина!) позаботился о торжественном

открытии училища — так, чтобы этот день запомнился и школярам, и педагогам, и всему Тамбову. Сам он никогда не забывал первый день Казанской гимназии… В назначенный час собралась местная знать. Обедню отслужил епископ Феодосий. Солдаты приветствовали собравшихся салютом. После выступления учителя Роменского многие посчитали, что церемония окончена, но тут шаг вперёд сделал мало кому известный первый писатель губернии, свободный поселянин однодворец Захарьин, добравшийся до Тамбова пешком из Козлова. И полилась речь, достойная пера Вольтера: «По воспитанию моему и по рождению я человек грубый: я бедный однодворец и теперь только от сохи, но услышав, что государыня благоволила приказать в здешнем городе открыть народное училище, почувствовал я восхитительное потрясение в душе моей… Проснитесь, в Бозе почивающие блаженные и человеколюбивые российские монархи, вводившие в народ сей просвещение! Проснитесь, царь Феодор Алексеевич и ты, великий император Пётр! Проснитесь и воззрите на преемницу вашу! Вы основали духовную и светскую академии, а она — народные школы… Вы обучали дворян и духовенство, а она, усугубя ваши заведения, просвещает чернь! Кто из вас более? Предвечная Премудрость для восстановления падшего человеческого естества основала храм благовестия своего среди простых сердец. В сей храм, в сие народное училище, исторгая из объятий матерных сына моего, с радостным восторгом предаю я, да будет он человек!» Тут супруга однодворца подвела к нему сына, он поднял его над головой и водрузил к портрету императрицы со словами: «Слушай, сын мой! Услышь и ты меня, простой народ: ты будешь человеком! Ибо Екатерина Великая желает управлять *людьми*!» Тут, ясное дело, Захарьин заплакал, всплакнули и некоторые матери новоявленных школяров: всё исполнялось по задумке Державина, каждая слезинка — по смете. Сцена эффектная, что и говорить. Узнав, что тамбовским губернатором стал знаменитый поэт, однодворец пешком пришёл к нему из Козлова. Державин принял его, пролистал его сочинения, поверил в талант Захарьина, покровительствовал ему и самолично написал прочувствованную речь для простодушного литератора.

Когда стемнело — город украсила иллюминация, а торжество продолжилось в губернаторском доме, Державин давал бал. Простецкий люд на улицах потчевали сбитнем и вином.

Все толковали про речь Захарьина! Писательство не было единственным увлечением однодворца. Он предавался и более ответственному занятию: пил горькую. Хмель пробуждал фантазию — и Захарьин мог поведать случайному собеседнику,

что его отец был татарином, попал в русский плен, крестился и нажил изрядное состояние торговлишкой. Но проклятые мошенники расхитили всё состояние Захарьиных после смерти оборотистого отца… Жил Захарьин в Козлове, из нужды не выкарабкивался. Как удалось Петру Михайловичу превзойти науки, изучить иностранные языки — загадка. Но Державин сразу определил: это просвещённый и одарённый человек.

После знакомства с Державиным Захарьин станет относиться к литературе серьёзнее. Среди его новых трудов выделялся «Новый синопсис, или Краткое описание о происхождении славяно-российского народа, владычествовании всероссийских государей в Новгороде, Киеве, Владимире и Москве с подробным описанием полководцев от Дмитрия Ивановича, великого князя Московского, и о последующих за ним великих князей и царях до вступления на престол Государь императора Петра Великого».

После открытия училища однодворец надолго выпал из игры. Державин писал прямо: «…сие трогательное действие так поразило всех зрителей, что никто не мог удержаться от сладостных слёз, и надавали оратору столько денег, что он несколько недель с приятелями своими не сходил с кабака». Державин не раз пытался излечить Захарьина от хмельного недуга, но тщетно.

Пьянство пьянством, но известие о трогательном выступлении однодворца на открытии училища дошло до императрицы! Фелица покровительствовала народному просвещению и решила наградить Захарьина. Не забудем, что училище открывалось в день коронации Екатерины, а это главный придворный праздник, с которым связана репутация монарха.

Речь Захарьина (по сути дела, это была мистификация, речь-то готовил Державин!) признали образцом русского красноречия. Гудович переслал её в Петербург — и Захарьин прославился. Несколько журналов перепечатали спич однодворца, выходили даже отдельные издания. Императрица позаботилась о переводе речи на французский и немецкий языки — чтобы вся Европа знала о размахе народного просвещения в России. Екатерина слыхала немало лести, но приметы народной лояльности до сих пор приводили её в состояние радостного волнения.

Даже недруги Державина восхищались ораторским искусством и благородством мыслей бедного однодворца. Восторженным поклонником Захарьина стал на некоторое время такой стреляный воробей, как Пётр Васильевич Завадовский — глава комиссии об учреждении училищ, невысоко ценивший административные способности Державина. Захарьина поднимали до небес: оказывается, даже Ломоносов не достигал

таких высот, а уж о Феофане Прокоповиче и речи нет. «И в устах самого правителя речь заслужила бы похвалу и уважение!» — молвил Херасков.

Кто только не писал Державину восторженных писем о Захарьине: Львов, Козодавлев, Саблуков… Гаврила Романович с улыбкой перечитывал эти послания…

Даже «прислан был от графа Безбородки курьер, и именем Императрицы приказано было однодворца (привезти) в Петербург; ибо тотчас усумнились, каким образом можно было простому мужику иметь такие чувства и сведения, каковые в той речи оказались и каковых от лучших риторов ожидать только можно». Но не довелось Захарьину увидеть Северную Пальмиру.

Руку истинного автора речи первой узнала императрица. Вскоре распространился слух о суждении Екатерины: «Речь прекрасная, каковую я ещё не читывала. Я уверена в достоинствах и благородных чувствованиях господина Державина». Ах, это работа певца Фелицы? Скептические оценки прославленной речи появились незамедлительно. Впрочем, авторство приписывали не только Державину, но и тамбовскому архиерею, и даже Завадовскому!

Олонецкий недруг Державина Тутолмин, конечно, видел в этой сенсации тщеславные потуги Гаврилы Романовича — и всюду язвил по этому поводу. Княгиня Дашкова с раздражением отнеслась к неожиданной славе Захарьина. Екатерина Романовна считала себя монополисткой российского просвещения — вот если бы Державин ей первой прислал эту речь — тогда другое дело… А так, по словам княгини, получилась «дурно сыгранная комедия посредством однодворца».

И всё же не зря корпел Державин над «экспромтом» Козловского самородка! В очередной раз ему удалось порадовать императрицу. Недруги ворчали, а Державин не дремал, он уже добивался трёхсотрублёвой пенсии для Захарьина, хотя не рекомендовал Гудовичу привлекать к административной работе глубоко пьющего человека. Захарьина хотели видеть в Петербурге — но он беспробудно праздновал успех своего выступления, путешествуя по гостеприимным усадьбам Тамбовщины.

Нет, Захарьин не был фиктивным литератором! Жалованье позволило ему сводить концы с концами, и после знакомства с Державиным он написал свои лучшие книги, хотя и пил подчас беспробудно. Одна из книг Захарьина получила всероссийскую известность — это «Арфаксад, Халдейская вымышленная повесть». Поговаривали, что Захарьин написал эту повесть в доказательство своих способностей, когда узнал, что многие сомневаются в его авторстве знаменитой речи… Державин

прочитал эту книгу и порадовался за своего выдвиженца.

Буйная фантазия однодворца породила и другую повесть в экзотическом вкусе: «Приключение Клеандра, храброго царевича Лакедемонского и Ниотилды, королевы Фракийской». Поклонником литературных талантов Захарьина стал адмирал Мордвинов. Последние годы жизни Захарьин провёл в Николаеве, пользуясь покровительством адмирала. Бесприютный русский литератор отогрелся на берегах Южного Буга, отдохнул в сытости и покое…

Начальство не могло не оценить, что Державин в Тамбовской губернии показал себя усердным сеятелем просвещения. Малые, двухклассные народные училища открылись в Козлове, Моршанске, Липецке, Шацке, Елатьме, Лебедяни, Спасске, Темникове… О таком просветительском размахе Фелице не стыдно было написать и Дидероту. Не хватало учителей: не выписывать же их из Петербурга! Державин попросил архиепископа Феодосия прислать семинаристов для преподавания в уездных городках. Но даже в семинарии студентов не хватало! С горем пополам нашли нескольких кандидатов в учителя. Роменский на скорую руку позанимался с ними в тамбовском училище — и молодые учителя отправились сеять разумное, доброе, вечное.

Крупнейшим из уездных училищ стало Козловское. Несколько учителей, почти 70 учащихся — это серьёзно. Но Державин, посетив Козлов, приметил, что учатся в основном дворяне. А что же купечество? И науки постигать не желают, и рублишком не помогают. Державин пытался повернуть торговый люд лицом к просвещению. Но купцы поймут необходимость образования лишь через полвека, когда в русской глубинке появится немало меценатов просвещения. А тут… Едва завершится губернаторская трёхлетка Державина — и уездные училища придут в упадок.

В державинском Тамбове публика аплодировала одной из первых комических русских опер — «Ямщики на подставе». Музыку написал Евстигней Фомин, а либретто — Николай Львов, о котором Державин не забывал никогда. Опера, основательно забытая в наши дни, шла и в столице. В те времена мало кто из тамбовских дворян знал и ценил оперное искусство. Зато многие притворялись знатоками, с ужасом наблюдая за экзотическим зрелищем на сцене.

Сам Державин к открытию народного училища и театра написал текст путаного драматического действа под названием «Пролог». Почему «Пролог»? Во-первых, с этой вещицы начиналась биография театра. Во-вторых, державинское действо

предшествовало премьере — пьесе Верёвкина «Так и должно». Да, Державин не забывал и про своего старого учителя…

Идейная направленность «Пролога» сомнений не вызывает. Державин прославляет просвещение и хаотически высмеивает его врагов:

Я знаю должность в чём моя.
Под ней сокрывшись, я, как будто не нарочно,
Всё то, что скаредно, и гнусно, и порочно,
И так и сяк ни в ком никак не потерплю.
Не в бровь, а в самый глаз я страсти уязвлю…
И буду только тех хвалою прославлять,
Кто будет нравами благими удивлять,
Себе и обществу окажется полезен…
Будь барин, будь слуга, но будет мне любезен…

Нашлось место и для бичевания «безграмотных вралей, безмозглых стихотворцев, кащеев, гордецов, и пьяниц, и мотов». Словом, всё, как полагается. Думаю, в те дни вдохновение не посетило Державина, а переутомление помешало отточить стихи. Получилась наспех зарифмованная публицистика.

Катерина Яковлевна стала подлинным украшением Тамбова. Она во всём старалась поддержать старания мужа, устраивала чаепития для учителей и школьников в губернаторском доме, умела каждого обласкать, каждому улыбнуться. Она была рукодельницей — и открыла в Тамбове своего рода кружок кройки и шитья. Дамы готовили костюмы для театра и для домашних представлений. «Тут рисовали и шили, которые повзрослее девицы для себя нарядное и театральное платье по разным модам и костюмам, также учились представлять разные роли. Сие всё было делом губернаторши, которая была как в обращении, так и во всём том великая искусница и сама их обучала», — вспоминал Державин, тоскуя по любимой Пленире. До времени она оставила его… Но это будет впереди, а в Тамбове о каждом любительском спектакле в губернаторском доме благородные дамы судачили неделями, обсуждая замашки губернаторши. Да, она блистала на любительской сцене, не боялась ни восторженных взглядов, ни насмешек. По примеру губернатора тамбовские дворяне принялись устраивать театральные вечера. Играли Расина, Сумарокова, Верёвкина. Сам Державин принялся за перевод расиновой «Федры».

28 июня 1786 года Державин поставил праздничное представление «Торжество восшествия на престол императрицы Екатерины II», где артистами предстали именитые тамбовские

господа: Свечины, Беклемишевы, Хвощинские, Мелины и, конечно, Державины.

Державины любили пение, и губернатор принялся обучать губернию вокалу. Для охотников (то есть для всех желающих!) губернатор устроил воскресный певческий класс. К радости Державина, детский хор вскоре уже насчитывал 400 голосов — по меркам тогдашнего Тамбова очень даже немало. Два раза в неделю в губернаторском доме проходили танцклассы. Поддержку губернатора получили и местные крепостные оркестры, постоянно ублажавшие гостей Державина.

По канонам екатерининского времени, важнейшая задача для управленца — исправление нравов. Вот помещицу Дарью Николаевну Салтыкову за её кровавые преступления примерно наказали в Москве пожизненным заключением в подземной тюрьме — значит, и губернатор должен бороться с жестокосердыми крепостниками.

Однажды Державин увидал на крыльце губернского правления мальчика лет семи или восьми, худого — кожа да кости, грязного, в рваной одежонке. На шее у него висела цепь. Гаврила Романович пригласил мальчика в присутствие, подробно расспросил, с какой обидой тот пришёл, почему у него на шее цепь. Мальчонка рассказал, что он из села Борщевки, принадлежащего помещику Дулову. Родители у него крепостные. Барин приставил его пасти свиней, и одна из них пропала. За это Дулов наказал его «езжалыми кнутьями (то есть употребляемыми при езде. — *А. З.)* и палками», надел на шею цепь и приковал к стулу, пригрозив, что на другой день повторит наказание. Цепь оказалась надломленной, мальчонка был таков. Конечно, с художествами Салтычихи это несравнимо. Но Державин не мог оставить без наказания столь вопиющее проявление бессмысленной жестокости. Вот из-за таких самодуров и появляются Пугачёвы!

В те времена ещё действовал варварский указ, запрещавший крестьянам жаловаться на помещиков, — кстати, многие доносчики на Салтычиху были в своё время строго наказаны. Державину пришлось ограничиться внушением помещику… А мальчишку девять месяцев откармливали и лечили — на пять копеек в сутки. Набежало 13 рублей да ещё 70 копеек, их потом взыскали с помещика. Через уездный и земский суд губернатор пытался выяснить — что из себя представляет этот Дулов, водятся ли за ним грешки. По всему выходило, что это почтенный, всеми уважаемый человек, правда, земский суд предоставил сведения о трёх побитых мальчишках, которые пытались бежать от Дулова.

Губернское правление потребовало, «чтобы он с рабами своими столь жестоким образом не поступал, а имел к оным человеколюбие. Если же впредь в таких поступках замечен будет, то с ним поступлено быть имеет по законам». Дуловское дело восстановило против губернатора многих тамбовских землевладельцев. Однако не будем преувеличивать: не один Державин боролся со злоупотреблениями помещиков, подобным образом поступали многие губернаторы.

После пугачёвщины никто бы не назвал Державина мягкотелым добряком: он и с губернаторских высот не упускал случая ударить по рукам нерадивых чиновников — разумеется, низшего ранга. Вот некий секретарь Данилов «в исправлении своей должности был медлителен и неисправен». Выговоры и внушения на него не действовали. Державин предложил на полмесяца посадить его на хлеб и воду под присмотром унтер-офицера — фактически под арестом.

Тут необходимо разъяснение: Державин не был противником крепостного права. Он верил в возможность идиллических отношений между барином и крепостными. Просвещённый барин должен быть справедлив и добродушен, как служебный начальник или патриархальный отец семейства. С нарушителями дисциплины Державин был строг: известно, что крестьянок, просивших «уволить их от страды», он велел высечь «хорошенько на сходе мирском, которые старее, тех поменее, а которые моложе, тех поболее». Но то воспитательная мера, самодурство же недопустимо!

В Липецке Державин останавливался в доме городничего Петра Тимофеевича Бурцева. Этот человечище прожил 115 лет, и было у него больше двадцати детей. Один из сыновей городничего нам памятен — это гусарский офицер Алексей Бурцев, величайший гуляка и самый отчаянный забулдыга своей эпохи, символ бесшабашного гусарства. Именно к нему обращены строки Дениса Давыдова — которые наверняка были известны Державину:

Бурцов, ёра, забияка,
Собутыльник дорогой!
Ради бога и… арака
Посети домишко мой!

Но это всё случится позже, в XIX веке, а отец славного забияки, городничий Бурцев, как водится, постоянно путал личный карман с городским, и в липецком хозяйстве вечно царил беспорядок, но ему всегда удавалось ускользнуть от

разоблачения. Вот и при Державине подручные Бурцева изловчились вложить в казённый сундук тысячу рублей ассигнациями — ту самую тысячу, которую отцы города весело растратили… А вы думали, «Ревизор» — это фантазия?

Губернии требовались брёвна и кирпичи. Державин быстро разобрался в махинациях поставщиков и понял, что перевоспитать их невозможно. Будут воровать, покуда дышат. Значит, надо действовать, просчитывая ходы на круг вперёд.

Губерния превращалась в строительную площадку. В Тамбове имелся захудалый, недостроенный кирпичный завод. Новый губернатор взялся за дело — и в августе 1787 года отцы города пили шампанское на открытии обновлённого завода с двумя обжигальными печами и девятью сараями для сушки. Трудились там главным образом колодники — народец суровый.

Гаврила Романович не только разбирался в законах, в преступлениях и наказаниях, в просвещении. Он преклонялся и перед чудесами промышленности. Россия и после петровской лихорадочной индустриализации оставалась сплошь крестьянской страной. К заводам относились словно к диковинке. Державин, как и любой рачительный помещик, пытался постичь премудрости индустрии. Надо сказать, что в екатерининские времена среди русских промышленников дворян было всё ещё больше, чем купцов.

Самым опасным тамбовским противником Державина заслуженно считается Матвей Петрович Бородин — удачливый и властный купец. «В жизни для него один смысл, одна цель, одно дело — нажива», — писал о нём граф Салиас, исследовавший тамбовскую одиссею Державина. В первый раз Державин обрушился на Бородина, когда тот взялся поставить кирпич для строительства казённых зданий. Купец для этой цели подготовил 1 миллион 145 тысяч кирпичей, в чём убедились чиновники строительной комиссии. Но когда дело дошло до работы, Бородин сумел поставить только 60 тысяч кирпичей… Державин намеревался отдать его под суд, но Бородин вывернулся.

Казённой палатой в Тамбове управлял вице-губернатор Ушаков. Державин подозревал его в нечистоплотности: не мог же Бородин действовать в одиночку? В губернии вообще небрежно хранили казённые деньги — это безобразие Державин приметил в первый же месяц пребывания в Тамбове. Не Ушакову ли отвечать за такие безобразия?

Оказалось, что палата, в обход Державина, отдала Бородину винный откуп, уменьшив количество вина, которое купец обязывался поставить, на 20 тысяч вёдер. Это почти полмиллиона убытков! Кто, если не Ушаков, потворствовал художествам

Бородина? Вице-губернатор надеялся на бюрократическую верёвочку, которая вытянет в трудную минуту: он дружил со всесильным секретарём Гудовича Лабой. Конечно, эта дружба строилась на принципе «рука руку моет». Разве возможна невзаимовыгодная дружба в чиновничьей среде?

Осенью 1787 года Гаврила Романович получил орден Святого Владимира 3-й степени. Гудович, судя по всему, способствовал этому награждению, хотя к тому времени между губернатором и наместником уже пробежала кошка.

Настоящая же беда свалилась на губернатора, когда речь пошла о защите Отечества. Тамбовские помещики умело уклонялись от рекрутского набора. И это в пору, когда Россия воюет непрестанно, пробиваясь штыками к Царьграду! Помня о Петрозаводске, Державин старался держать себя в руках, не допускал нервных срывов. Но видя, как негодяи обманывают армию, бывший офицер Преображенского полка приходил в бешенство.

В августе 1787 года началась Русско-турецкая война. Россия должна была силой оружия подтвердить свои претензии на Дунай, Крым, Кубань, Кавказ… «Нынче времечко военно, от покоя удаленно», — пели солдаты.

Весной 1788 года в Тамбов прибыл комиссионер Гарденин, представитель Потёмкина, занимавшийся закупками провианта для армии. Чтобы расплатиться с помещиками-поставщиками, комиссия должна была воспользоваться предназначенными для этого деньгами из местной казны. Но вице-губернатор Ушаков, недруг Державина, наотрез отказал в выплате. Свой интерес оказался для него выше государственного. Шла война, армия Румянцева сражалась на берегах Днестра, шведский флот в Финском заливе атаковал русские корабли — и Державин, как патриот, не мог медлить. Он быстро провёл ревизию губернской казны, выявил 177 тысяч рублей, в том числе специально ассигнованные для провиантской комиссии 17 тысяч, и приказал выдать Гарденину всё, что требуется, до копейки! Гудович посчитал это превышением полномочий губернатора, и началось «провиантское дело». Снова сенатские разбирательства, снова презрительные остроты Вяземского.

Бюрократические проволочки в снабжении были проклятием тогдашней армии. Сколько раз Суворову приходилось, перебарывая собственную скуповатость, из личных денег оплачивать строительство укреплений… Сколько раз князь Потёмкин путал собственный карман с государственным — но не в смысле наживы, а наоборот, для снабжения армии.

Россия была воинской державой, а вице-губернаторы и купцы

относились к военным как к бедным родственникам.

В рязанский кабинет Гудовича бесконечной чередой поступали жалобы на слишком ретивого губернатора. Державин самодурствует, хочет выслужиться, выдвинуться на борьбе с мздоимцами. Такой ни своих, ни чужих не пожалеет. Гудович ещё в годы придворной и армейской службы усвоил: неумеренное честолюбие следует окорачивать, иначе неприятностей не оберёшься.

В конфликте губернатора и Бородина Гудович, к удивлению Державина, занял сторону купца. Гаврила Романович не сомневался: Бородин — мошенник, негодяй, ему колодником быть. Как же может наместник — опора императрицы, опора империи — поддерживать преступника?

Гудович не мог не понимать, что уязвлённый Державин способен наделать шуму. Он знал, что Державина поддерживал Безбородко, мог догадываться и о доброжелательном отношении к поэту всесильного Потёмкина. И всё-таки пошёл в атаку: он свято верил в служебную иерархию и был убеждён, что подчинённый не в силах одолеть начальника. Субординация даже для Суворова была священным понятием (хотя подчас великому полководцу ох как хотелось её нарушить!), а Гудович привык преклоняться перед властью и не сомневался, что нижестоящий обязан быть податливым. Державин ещё недавно считал Гудовича справедливым и честным человеком, нарадоваться на него не мог — и вдруг такой конфуз.

Снова, как и в Петрозаводске, город разделился на два лагеря. Державин мешал лёгкому обогащению местных чиновников, давно связанных общими интересами с верхушкой тамбовского купечества. Снова сторонники Державина оставались в меньшинстве — и преобладали в их рядах люди пришлые, приглашённые губернатором. Это неудивительно: Державин показал себя максималистом-государственником, резкими выпадами задевал интересы благородного сословия, не говоря о купцах. Тамбовское дворянство побаивалось губернатора, который нисколько не прислушивался к местным помещикам, гнул свою линию без манёвров…

Гудович и Ушаков умело (не в пример Тутолмину!) составляли рапорты, им удалось настроить Петербург против Державина. Гудович представил Державина эдаким возмутителем спокойствия — а императрица страшилась смуты, старалась избегать колебаний. Даже если Державин прав в деталях, он ошибся стратегически: настроил против себя губернию, не сумел стать опорой наместника…

В лучшие дни тамбовской службы Державин переписывался с

Вяземским — и князь в эпистолярном жанре общался с ним весьма уважительно. Генерал-прокурор однажды даже пересёк Тамбовскую губернию — и Державин во время путешествия окружил его заботой и почётом. Но политес не в счёт. Вяземский всерьёз считал Державина зарвавшимся хвастуном, неспособным к государственной службе.

У Вяземского было немало поводов, чтобы придраться к Гудовичу. Князя не проведёшь: он видел, что злоупотребления корёжили жизнь и в Рязани, и в Тамбове. Сам генерал-прокурор неизменно держался в стороне от сомнительных комбинаций с губернаторами, был в этом отношении вне подозрений, за что и уважала его императрица. Ему вполне хватало бюджетных утаек. Но во всех конфликтах Вяземский (вот уж странное совпадение!) поддерживал противников Державина. Обидчивость и упрямство — эти два качества мешали Александру Алексеевичу простить и приблизить к себе Державина. За неуживчивый нрав, за насмешки над чтением «Полкана и Бовы», за шашни с Безбородко Вяземский, не любивший менять своих решений, навсегда вписал Державина в список своих врагов. Не всегда он явно демонстрировал свою ненависть к певцу Фелицы, но ни разу не упустил случая поставить его на место. В Тамбове Державин проявил всё ту же глупую горячность. Вяземский приметил её ещё в дни конфликта с Бутурлиным.

Одно вызывало у него уважение: Державина топили (и правильно делали!), а он не тонул. Он воскрес после олонецкого позора — посмотрим, как вывернется после тамбовского! Льстивыми стихами, в которых снова на потеху императрице поднимает на смех достойных людей? Тех, кто не красивыми словами, а неусыпными трудами служит трону!

Ссора с Тутолминым объясняется просто: Державин теснил его родственников, Державин с самого начала презирал петрозаводского наместника за павлиньи замашки, за халатность и глупость. Гудович — другое дело. Его можно было уважать. Да и Гудович искренне ценил Державина — энергичного, честного губернатора. В Олонецкой губернии Державину удалось продемонстрировать только благие пожелания: родственники и сподвижники наместника бойкотировали все начинания шустрого губернатора. С Гудовичем Державин сработался, до поры до времени тамбовско-рязанский «тандем» действовал продуктивно. «В 1786 и 1787 году всё шло в крайнем порядке, тишине и согласии между начальниками», — вспоминал наш герой.

А теперь — чем меньше было оснований жаловаться на Державина — тем убедительнее звучали филиппики Гудовича. «Граф Гудович столь же мстителен, сколько груб, глуп, горд и

бешен», — заключит Ростопчин много лет спустя.

Начались крупные неприятности, о которых Державин не забывал и в глубокой старости:

> «В сентябре получен указ из Сената, последовавший по жалобе наместника, в коем многие глупые небылицы и скаредные клеветы на Державина написаны были: между прочим, что будто он его за ворот тащил в правление, что будто в присутствии его в правлении сделанные им распоряжения не исполнял, что накопил недоимки, и другие всякие нелепицы, но ни одного истиннаго и уважения достойнаго проступка (или) дела не сказал. Губернатору не трудно было на такой сумбур ответствовать и опровергнуть — лжи прямым делом».

Каждый свой шаг в этой борьбе Державин пытался подкреплять справками, которые требовал от столоначальников, не всегда имея на это право.

> «Гудович, будучи о сем извещён, послал в Сенат жалобу на Державина, говоря, что он под видом справок отдал якобы его под суд губернскому правлению. Ему больно было, что справками обнаружились его лжи и чёрной души клевета. Например, он доносил Сенату, что губернатор в присутствии его в губернском правлении сделанных им распоряжений не исполнял (по справкам открылось, что он с самаго своего пожалования в тамбовские наместники в правлении ни разу не бывал и распоряжений никаких не делал); что недоимок не взыскивал: оказалось, что никогда оных так мало не было. Что же касалось, что будто за ворот тащил в правление, то толь грубую ложь никакое безстыдное свидетельство подкрепить не могло; ибо надобно было, чтоб кто-нибудь их рознял, и тому подобное».

К тому времени Пётр Васильевич Завадовский стал одним из самых влиятельных политиков империи. А он был давним другом и дальним родственником Гудовича. Именно Завадовский — талантливый литератор — составил роковой доклад об отрешении Державина от должности и предании его суду. «Сенат, рассматривая все вышеизъяснённые происшествия, поставляет долгом вашему императорскому величеству всеподданнейше донести, что хотя по поводу первопоступивших донесений о непорядках тамбовского правителя Державина во отправлении порученной ему должности…»

Скажем прямо: Державин допустил немало административных ошибок. Петрозаводский опыт подсказывал ему, что губернатор должен подчиняться генерал-губернатору, хотя бы для блезиру, иначе — беда. Но в Тамбове, освоившись в отсутствие Гудовича, Державин снова захотел утвердиться как самостоятельный политик. Ему казалось, что Гудович из Рязани сквозь пальцы будет глядеть на тамбовские дела — особенно если Державину удастся продемонстрировать весомые достижения.

Другая ошибка — увлечение второстепенными разбирательствами. Укрощение помещиков и мелких столоначальников выжимало из губернатора соки, а похвастать было нечем. Губернатор не продемонстрировал дипломатических способностей.

Разумное лицемерие есть политическая добродетель. Без лжи и лицемерия человек не вылез бы из пещеры и не слез с дерева. К чему это притворство, если уж по правде?

А что такое правда в политике? Подчас она оборачивается опасной бестактностью, иногда становится причиной великих бед, а чаще всего правдолюб через некоторое время пересматривает свои взгляды. Вот такой ненадёжный компас эта правда, только что вывеска у неё эффектная. А продуманное лицемерие отличает человеческое общество от стада и стаи. Правда, бездельники всё это называют цинизмом. Державин оказался в ложном положении.

29 ноября Храповицкий запишет в дневнике: «По докладу сената приказано Державина отдать под суд. Он стихотворец, и легко воображение его может быть управляемо женою». Вот она, главная причина того, что императрица не защитила тогда своего певца! Бастидоны — ненавистная для неё фамилия… До Петербурга докатился слух о рукоприкладстве, которое допустила Катерина Яковлевна, — и, надо думать, императрица с раздражением вспомнила про кормилицу Павла, про её дочь… Самое странное, что императрица, при всей её мнительности, в чём-то была права. Именно в те годы Пленира всё чаще пыталась управлять мужем, вразумляла его, позабыв о женских добродетелях — скромности и смирении. Она то и дело просила его уделить внимание нужным, влиятельным персонам, пыталась выбирать для супруга друзей и покровителей. Но он редко позволял собой управлять! И — главное — все тамбовские выходки, за которые возненавидел Державина Гудович, не имели никакого отношения к влиянию Катерины Яковлевны и её мамаши.

Что касается дамской потасовки — это история тёмная. Известно, что жена председателя гражданской палаты Василия

Чичерина отличалась сварливым нравом и злым языком. Державин не мог оставаться безучастным к её клеветническим речам, которые звучали во всех благородных домах Тамбова. Вина Чичериных усугублялась тем, что Державин в первый год губернаторства помог председателю палаты поправить свои дела, считал его «своим человеком». Только уверившись в слабости Державина, Чичерин перебежал в стан противников губернатора. Державин вызвал его на разговор, потребовал укротить злоречивую супругу, но та не унималась. Катерина Яковлевна (характер!) как ни в чём не бывало всё ещё посещала гостиные. И в доме помещика Арапова две дамы столкнулись. Чичерина изрекла нечто презрительное по адресу Державина, наговорила колкостей и лично Катерине Яковлевне — и Пленира вступила в перепалку. Разговор выдался нервный — поговаривали, что губернаторша задела Чичерину опахалом. Молва тут же окрестила этот жест избиением несчастной Чичериной, и недруги Державина не помедлили с новым доносом. На сей раз — по поводу разгулявшейся губернаторши.

Между тем в губернии настало время выбора судей. Державин явился к Гудовичу «и с должною учтивостью спрашивал его, что он ему по сему случаю прикажет. Он с презрением ему отвечал: „Ничего“. — В обряде выборов и на него возложена должность. — „Мне вы ни на что не надобны“». Педантичный Державин через час прислал к нему рапорт — письменное свидетельство беспричинного удаления Державина от выборов… Правда, на сей раз перепуганные советники не стали заверять губернаторских справок: Державин уже был им не указ. Тем не менее Гудович пришёл в бешенство — и отомстил незамедлительно. Он написал письмо Безбородко, в котором, кроме бурных оскорблений губернатора, содержалось тяжёлое, хотя и необоснованное обвинение: Державин срывает выборы, баламутит дворян! Нарушает спокойствие в губернии, замышляет чуть ли не бунт.

Безбородко не сумел или не захотел снова выручить Державина: ему ни к чему было портить отношения с Завадовским. Вяземский, потирая руки, ожидал императорского решения.

Только одного вельможу невозможно было впечатлить россказнями о том, как Державин в Тамбове злостно нарушал субординацию. Одного, но зато — Потёмкина. Он, как обычно, колесил по империи и почти не участвовал в столичных дрязгах. Ох, как повеселился Григорий Александрович, когда ему пересказывали слухи о петушиных боях Гудовича и Державина. Подумаешь, субординацию не почитают! Подумаешь, характер

неуживчивый! Когда речь идёт о создании могущественной империи — не до крючкотворства. Державин ещё пригодится.

В худшие дни утешением для Гаврилы Романовича стало письмо Грибовского:

«Его светлость не переменил к вам своего благорасположения, но отлагал защитить вас в Петербурге самолично, не желая писать к князю Александру Алексеевичу Вяземскому и что приехавши туда, конечно, сделает в вашу пользу всё возможное».

Промельк надежды согревал душу.

Тогда ещё не в ходу было понятие «хромая утка». Но тамбовские чиновники и дворяне — даже те, которые многим обязаны были Державину, — как по команде, отвернулись от губернатора. Они пренебрегали его распоряжениями, общались с ним дерзко и презрительно. Это непреложное правило любой большой корпорации и не в последнюю очередь — государственного аппарата: если имярек в чести у начальника, каждый считает его лучшим другом и стремится это продемонстрировать. Как только тот же самый имярек попадает в опалу — от него отворачиваются. Что за птица? Знать не знаем такого! Это не преувеличение, не юмор и тем более не сатира, это самая респектабельная реальность. На Державина смотрели как на неуместного, назойливого неудачника. Он уже перестал отдавать распоряжения — даже самые ничтожные, — потому что опасался открытой дерзости.

Он лихорадочно бросался к перу и бумаге, но не для стихов. Хотелось поговорить с друзьями и покровителями, среди которых нашлось немало критиков и советчиков. Главным адресатом был, конечно, Потёмкин. Державин жаловался ему на Гудовича и просил предоставить краткий отпуск для поездки в Петербург. В столице он надеялся со справками в руках доказать свою невиновность, но «если найдуся виновным — да подвергнуся строгости законов».

«Не токмо без суда, но и без рассмотрения моих (обстоятельств? — *А. З.)* отрешен я от должности и препровожден в 6-й сената департамент; следовательно, лишаясь тем монаршего благоволения, сделался я вечно несчастливым», — ужасался Державин в письме Потёмкину. На него да на Безбородко надеялся Гаврила Романович. А ещё — на поэзию, к которой лежала душа императрицы.

Державин, конечно, понимал, что любой дружественный жест Потёмкина разоружит врагов. Но князю Таврическому было не до переписки, он то метался по империи, то хворал, а в столицах не бывал.

Львов, не забывая об осторожности, пытался настроить в пользу Державина хитроумного Безбородко.

Козодавлев сочинил целый трактат о субординации и политкорректности: «Позвольте, любезный друг, попенять вам, что вы не во всём следовали правилам честного, позволительного или, лучше сказать, должного благоразумия. Например, когда от вас требует ответа вышнее правительство, тогда приказываете вы отвечать месту, в коем вы председательствуете. Когда вам велят проситься в отпуск по команде, тогда вы относитесь к тому же месту, где вы законами посажены командовать, ибо советники ваши суть вам совершенно подчинены. Сие и сему подобное можно толковать на разные образы; а в том-то и состоит *быть мудру яко змия,* чтоб из ответов ваших и из исполнения поведения вышние власти ничего иного извлечь было не можно, как ваше оправдание».

Всё это резонно, и не поспоришь. Нет у Державина змеиной мудрости, нет и, пожалуй, не будет.

А императрица держала паузу, тянула с отставкой. Вроде бы Завадовский всё сформулировал с убийственной для Державина убедительностью — а Фелица тянула. Ей запомнилось, что Державин в Тамбове энергично взялся за дело, что-то строил, кого-то приструнял, открыл училище. На открытии с великолепной и политически грамотной речью выступил этот… ну, однодворец. И Гудович вроде бы ещё недавно недурно с Державиным уживался. Стоит ли рубить сплеча? Хотя… Начальников следует почитать. Не уберёшь Державина — обидишь Гудовича. А это опасное нарушение иерархии!

Тяжела губернаторская ноша! Мало того что нужно угодить Петербургу, приходится ещё и ублажать вышестоящих царьков. И кто придумал должность наместника на горе всем губернаторам? Уж лучше служить при дворе, на скользких паркетах. Да и там можно расшибить голову, но провинция связывает по рукам и ногам.

У Гудовича — своя правда. Державин — не просто своенравный гордец, у него прорезаются диктаторские амбиции. Всех готов в бараний рог свернуть — во имя правосудия и собственной блажи. «Злость, властолюбие, неумеренное пристрастие заводить по партикулярной злобе следствия, угнетая почти всех живущих с ним без изъятия, довели его до того, что он себя совсем и против начальника позабыл», — писал генерал Воронцову. И доля истины в этих обвинениях была. Другое дело, что, воюя с Державиным, Гудович опустился до клеветнических наветов.

Из Тамбова Державин направился в Москву. Пока в Кремле

тянулось сенатское разбирательство — он не имел права покидать Белокаменную. А Гаврила Романович стремился в Петербург: там ожидался триумф Потёмкина по случаю взятия Очакова. Но о петербургских делах он узнавал только из переписки с друзьями. Почти четыре месяца Сенат изучал тамбовское дело. Наконец начались слушания. Гудович забрасывал Сенат новыми жалобами на бывшего губернатора. Оказывается, Державин незаконно отказался утвердить Бородина городским головой, незаконно требовал справок от губернского правления… Вроде бы мелочные придирки, но каждая из них нервировала Державина. Впрочем, Гудович заигрался, перегнул палку и перехитрил сам себя. Сенаторы знали, что в первый год тамбовской эпопеи Державина генерал-губернатор отзывался о нём одобрительно. А некоторые обвинения явно были взяты с потолка — кажется, Гудовичу очень хотелось, чтобы список претензий выглядел внушительно и состоял из многих пунктов. По-видимому, боевой генерал не рассчитывал, что сенаторы станут дотошно проверять каждое обвинение, и стремился впечатлить их начальственным апломбом, картинным гневом благородного отца. Простой пример: при Державине недоимки уменьшились — а он обвинял губернатора в недоимках… Почти всё юридическое блюдо, приготовленное Гудовичем, состояло из таких пересоленных кусков.

Знатные тамбовчане проводили губернатора презрительным свистом. Для них он был самодуром-карателем, который только и знал, что размахивать мечом правосудия, заставляя всех раскошеливаться в пользу империи. Но не прошло и года, как многие стали испытывать ностальгию по Державину. Тем более что до Тамбова долетели слухи о том, что Екатерина снова приблизила к себе певца Фелицы.

Граф Салиас, внимательно изучивший тамбовский период Державина, так оценивал эти настроения: «Стали говорить, что прежний губернатор был горяч и крут, но честнейший человек и умел веселить общество. Тем более стали сожалеть о Державине, что его преемник, генерал-поручик Зверев, не только ничего не делал ни для губернии, ни для общества, но был во всём игрушкой у советника Савостьянова, приобревшего великую силу в Тамбове и делавшего всё по своему произволу».

Тамбовские старания и страдания Державина не пропали даром. Народное училище в XIX веке преобразовали в гимназию, а из стен Тамбовской гимназии, которая вылупилась из державинского училища, вышли дипломат Г. В. Чичерин, писатели С. Н. Терпигорев и П. В. Вышеславцев, востоковед И. П. Минаев, поэт и художник Д. Д. Бурлюк, актёр

Александринки и московского Малого театра Владимир Давыдов (в Тамбове он был известен как Иван Горелов).

Всего лишь три года правил Державин в Тамбове, но со временем стал чуть ли не символом этого города. В современном Тамбове Державин окружён почтением! Его именем названа одна из центральных улиц. Местные литераторы слагают стихи о бывшем тамбовском губернаторе, издают книги о Державине. Тамбовский государственный университет тоже носит имя Гаврилы Романовича. Этим Державин обязан литературной славе, хотя в губернаторские годы ему приходилось затворяться от музы.

За три года жизни в Тамбове Гаврила Романович написал драматическую сцену «Пролог», шуточное стихотворение «Желание зимы», оды «Осень во время осады Очакова» и «На смерть графини Румянцовой». Наконец, именно в Тамбове он создал «Властителям и судиям» и незабываемое сатирическое шестистишие «Справки». Возможно — ещё кое-какие черновые наброски будущих пиес, некоторые из которых так и остались незавершёнными. Губернаторские хлопоты побеждали поэтическую лихорадку, «болдинской осени» не получилось.

В «Желании зимы» Державин развивал Тредиаковского, который, правда, приветствовал не зиму, а весну. Но у «Желания зимы» был вполне реальный адресат, которого Державин шутливо обозначил в посвящении: «Его милости разжалованному отставному сержанту, дворянской думы копиисту, архивариусу без архива, управителю без имения и стихотворцу без вкуса». Конечно, этим горемыкой был Захарьин! «Сей одно-дворец, к которому сия ода писана, имел большие природные способности к сочинению романов, что доказывает повесть его об Арфаксаде, в стихотворениях же не было вкуса, но непреодолимою побеждён страстию к пьянству, от которой был удерживаем разными средствами сочинителем сей оды; но как ничто не успело, то в шутку над ним и написана сия площадная пьеса». Написана лихо и забористо:

В убранстве козырбацком,
Со ямщиком-нахалом,
На иноходце хватском,
Под белым покрывалом
Бореева кума
Катит в санях — Зима.
Кати, кума драгая,
В шубёночке атласной,
Чтоб Осень, баба злая,

На Астраханской Красной
Не шлендала кабак
И не кутила драк.
Кати к нам белолика,
Кати, Зима младая,
И, льстя седого трыка
И страсть к нему являя,
Эола усмири,
С Бореем помири.

Вот так-то!

ТЯЖБА

Державина быстро истомило московское затворничество, долгое ожидание сенатского вердикта. Но если бы он не кипятился, то понял бы, что такая проволочка — добрый знак. В самое трудное время Катерина Яковлевна попыталась похлопотать за мужа перед царевичем. Ходили слухи, что Павел пожаловал верным слугам тысячу рублей — на покрытие издержек от обременительного губернаторства.

В новом грандиозном здании Сената, которое Матвей Казаков выстроил к 1788 году, тянулось разбирательство. Наконец Сенат сварганил заключение и выслал его в Петербург, генерал-прокурору и императрице. Туда же направился и Державин. То ли под влиянием потёмкинской партии, то ли просто по законам здравого смысла Сенат во многом поддержал Державина. По каждому пункту обвинений Гаврила Романович постарался выдать ответ, подкреплённый документами и свидетельствами. Приведём для примера лишь один пункт из многих: «Вмешавшись в должность своего начальника и в дела посторонние и оставляя свою собственную, накопил в наместническом правлении с 1787 года и не исполнил более 800 дел, в числе коих и на сенатские указы многих исполнительных рапортов посылаемо не было, хотя о том от генерал-губернатора неоднократно посылаемо было». Такова претензия Гудовича. «В чём именно вмешивался Державин в должность его, генерал-поручика, и в чём оставлял свою собственную, Сенат не видит, и как по ответам Державина, так и по учинённым в правлении справкам того не значится, а впрочем и упущения в делах по правлению, в рассуждении их количества, не примечается; ежели же когда и случилось, что нескоро указы Сената или сообщения других мест исполнялись, то сие происходило, как из ответов Державина явствует, от нижних присутственных мест, на которые за то и взыскание полагалось; а что собственно по правлению отправляемы были дела с должною поспешностью, в том свидетельствуется он, Державин, многими полученными лично от генерал-поручика письмами и рекомендацией) о нём бывшим в Тамбове при обозрении губернии сенаторам, и к получении ордена».

В таком же духе Сенат ответил на большинство обвинений Гудовича. О, этот язык чиновничьей России, он бессмертен! И ведь в те годы государственный аппарат контролировал сравнительно небольшое пространство социальных и производственных отношений. Большинство подданных императрицы существовали в крестьянской общине, чиновники

соприкасались с ними нечасто. И всё-таки империя Петра Великого породила множество столоначальников, которые контролировали друг дружку, общаясь на птичьем канцелярском наречии. «Бюрократ» — ругательное слово, а жаль. Без них — никуда. Державин, Гудович, Вяземский, Екатерина Великая были едины в убеждении, что следует упорядочивать социальные и экономические отношения, а также — религиозную и культурную жизнь. Более того, и воровство должно быть не хаотичным, а, по возможности, регламентированным. А как упорядочить жизнь без дивизии отважных бюрократов? Правда, для того чтобы существовать в этом режиме, нужно стать заправским лицемером, умело пользоваться двойной бухгалтерией.

А Державин был правоведом-идеалистом. Он (не имея на то оснований) всерьёз верил, что закон — не дышло. В послепетровское время в России возник культ закона — светского закона. Державин без сомнений сопоставляет земное крючкотворство с божественным законом:

Нет! знай, что Правосудья око,
Хоть бодрствует меж звёзд высоко,
Но от небес и в бездны зрит:
Тех милует, а тех казнит
И здесь, в сей жизни скоротечной,
И там, и там, по смерти, в вечной.

Максимализм придаёт сил, вдохновляет, но мешает, когда приходится работать среди людей, которые редко походят на строчку в циркуляре. Державин всерьёз намеревался править по законам, каждый шаг обосновывал необходимыми бумагами — справками.

Но иногда и у него от справок голова шла кругом.

Без справок запрещает
Закон дела решить;
Сенат за справки отрешает
И отдаёт судить.
Но как же поступать?
Воровать?

Именно тогда, в 1788-м, Державин набросал эти строки. Горькое ироническое стихотворение под названием «Справки». Любопытно, что через десять лет Державин заменит «сенат» на «диван». Надо думать, слишком прямые ассоциации с

обстоятельствами личной биографии он посчитал излишними.

И всё-таки — если бы не дотошность Державина в собирании справок — Сенат отнёсся бы к нему суровее. Даже Вяземский понимал, что Державин — не преступник, не худший в России губернатор, а просто злостный нарушитель субординации. И Сенат осудил Державина только за неуважение к чину Гудовича, проявленное в пору их конфликта. Конфликт начался с дела купца Бородина — и по этому (ключевому!) вопросу Сенат не встал на сторону Гудовича. Проступки купца, перечисленные Державиным, произвели должное впечатление на сенаторов. Сенат не посчитал неутверждение Бородина городским головой виной Державина. Если купец не согласен с такой опалой — пускай отстаивает своё доброе имя в суде, с подробными доказательствами. Между строк можно прочесть: сенаторы считают подозрительной столь пылкую любовь Гудовича к богатому купцу.

Державин в приступе самоуверенности принялся демонстрировать, что не вполне доволен сенатским расследованием. «Дело моё кончилось. Я, слава Богу, по всем клеветам Гудовича, взведённым на меня, нашёлся невинным, о чём и подан доклад. При всём том в угодность сильных моих гонителей не оставили завернуть ерихонский крючок, который, сколько сам собою ничего не значущ, но при всём том мне не может быть приятен». Что же не устраивало Державина? Сущая мелочь: Сенат не принял во внимание объяснения по поводу обвинения в незаконном истребовании справок. А Державин стремился чётко доказать, что губернатор имел право требовать от правления справки! С жалобой на «тёмное и кривое» решение Сената он готов был дойти до императрицы.

Вердикт императрицы был лестным для поэта: «Если и Сенат его оправдал, могу ли я обвинять автора „Фелицы“?»

Но в этом муторном, бесконечном деле каждая развязка оказывалась промежуточной. Вроде бы Гудовичу, Завадовскому, Вяземскому пришлось примириться с викторией Державина. И Гаврила Романович праздновал победу.

18 июля в Малороссию к Капнисту полетело торжествующее письмо: «Дело моё кончено. Гудович дурак, а я умён. Её величество с особливым вниманием изволила рассмотреть доклад 6-го департамента о моих проступках, о которых Гудович доносил, и приказала мне чрез статс-секретаря объявить своё благоволение… Почему я в Царском селе и был представлен; оказано мне отличное благоволение; когда пожаловала руку, то окружающим сказала: „Это мой собственный автор, которого притесняли“. А потом, как сказывали, чего я однако же не

утверждаю, во внутренних покоях продолжать изволила, что она желала бы иметь людей более с таковыми расположениями, и оставлен был я в тот день обедать в присутствии Её величества. Политики предзнаменуют для меня нечто хорошее; но я всё слушаю равнодушно, а поверю только тому, что действительно сбудется. Посмотрим, чем вознаграждена будет пострадавшая невинность…»

Да-да, Державин уже ждал не оправданий, а наград! В его новом письме императрице содержалось целых две просьбы: он просил выплачивать ему губернаторское жалованье до нового назначения и настаивал на новой аудиенции для полного объяснения всех тамбовских недоразумений. Императрица ответила благосклонно. 1 августа к девяти утра Державин явился в Царское — с увесистым томом тамбовских документов. К счастью, он внял совету Храповицкого и оставил бумаги в сенцах.

Состоялся нелицеприятный, но доверительный разговор. Державин уже понял, что в беседе с императрицей главное — не растеряться. Тут уж как в карточной игре: каждый ход нужно «крыть». Находчивость в диалоге с монархами ценится выше логики.

Екатерина расспрашивала его обо всех начальниках, с которыми Державин успел рассориться — по порядку. Отвечал Гаврила Романович ловко. Вяземский? Да ему не понравилась «Фелица», ода, удостоенная высокой оценки её императорского величества. Тутолмин? Он возомнил себя монархом, а я привык исполнять только Ваши законы! Гудович? Он не соблюдал интересов императрицы и государства! По этому вопросу Державин готов был предоставить целый ворох доказательств, о чём и доложил Богоподобной. Екатерина Алексеевна не удержалась от поучения, хотя строгим словам старалась придать иронический оттенок.

Проиграл он или выиграл в этом словесном висте?

В записках Храповицкого о той аудиенции осталось несколько строк: «Провёл Державина в Китайскую (то есть комнату. — *А. З.)* и ждал в Лионской». И — резюме императрицы после того, как Державин откланялся и исчез: «Я ему сказала, что чин чина почитает. В третьем месте не мог ужиться; надобно искать причину в себе самом. Он горячился и при мне. Пусть пишет стихи. Il ne doit pas être trop content de ma conversation[1]». Наконец, финансовый итог, приятный для Державина: «Велено выдать не полученное им жалованье, а гр. Безбородка прибавил в указе, чтоб и впредь производить оное до определения к месту».

Державин бодрился, поддерживал слух об очередном крылатом выражении, брошенном императрицей: «Это мой

собственный автор, которого притесняли». Эта фраза стоила имения или ордена!

Вероятно, Екатерина не нуждалась в неуживчивом губернаторе, но поэта и гражданина хотела бы приблизить. Потому Державина не бросили на растерзание Вяземским и прочим. Он обрёл высокий, но неопределённый статус: без государственных должностей, но с жалованьем и в милости у монархини.

Державин не упивался новой славой, скорее тревожился: «Удостоясь со благоволением лобызать руку монархини и обедав с нею за одним столом, он размышлял сам в себе, что он такое: виноват или не виноват? в службе или не в службе?» Он даже затаил обиду на своего всегдашнего благодетеля Безбородко.

Ждать назначения пришлось долго — больше двух лет. «Шатался по площади в Петербурге без всякого дела», — вспоминал Державин об этих временах. По-видимому, в те годы он безудержно стремился к государевой службе и недооценивал плоды мнимой праздности. При дворе звучали его стихи, новые оды воспринимались как события государственного масштаба. Державин затмил Петрова и Рубана, стал бесспорным лидером русской словесности. В окружении императрицы у него сложилась репутация необходимого человека. Что может быть важнее? Поэзия захватывала его, смягчала тоску по «широкому поприщу» службы. Всё чаще он писал «на случай» — по репутационной необходимости. У пустяковых стихов складывалась лёгкая, счастливая судьба, это за главные строки приходилось бороться… Даже помолвку княжны Софьи Голицыной и графа Павла Строганова Державин удостоил пустячка, лестного для молодых:

О, сколь, София! ты приятна
В невинной красоте твоей,
Как чистая вода прозрачна,
Блистая розовой зарей!

Державин решительно возобновил знакомство с Вяземским, время от времени он посещал князя, отбросив давнюю вражду. Вскоре Вяземский тяжело заболел: его разбил паралич. Державин эгоцентрично считал, что причина недомогания — его победа над Гудовичем. Как будто у пожилого генерал-прокурора не было других поводов для расстройства…

Княгиня Дашкова предложила императрице сделать Державина придворным историографом. Пускай изучает архивы, прославляет монархов, а в особенности — «славные дела

царствования Екатерины». Но из этой затеи ничего не получилось.

Между тем, несмотря на политическое оправдание и возвышение Державина, тянулись тяжбы по экономическим претензиям к бывшему тамбовскому губернатору. Державин вырвался из нужды, но был небогат, зависел и от урожаев, и от жалованья — и финансовые претензии Гудовича и Бородина грозили ему разорением. Сенатские треволнения не закончились счастливой сказочной развязкой. На Державина наложили штраф в 17 тысяч рублей за то, что он незаконно подверг аресту имение строптивого купца. Державин считал, что Сенат из-за происков Вяземского настроен к нему с предубеждением, и надеялся, что императрица лично спасёт «своего автора» от клеветы.

В конце концов Державину не пришлось раскошеливаться. Его приблизила императрица — а таких счастливчиков не принято атаковать финансовыми претензиями. Все претензии от века обрушиваются на опальных и безвестных.

Последний отзвук тамбовского скандала прозвучал в 1808 году. Отставной министр, знаменитый поэт, он в те дни поднялся до великодушия: «Касательно Михаила Ивановича Ушакова, у нас с ним были неприятности, но не лично, а по делам. Я исполнял свой долг по моим чувствованиям, а он по своим или в чью-либо благоугодность; но когда всё это прошло так, как сон, то несправедлив бы он был, ежели бы по сие время злобился за сновидение. Мы все здесь на театре, и когда с него сойдём, тогда всем объяснится, кто как свои роли играл; может быть, и я делал более погрешностей, нежели он: то и будет сие зависеть от решения всеобщего Судьи, от Которого никто ничего скрыть не может».

Да, ураган прошёл, и Державин с добродушной улыбкой вспоминал давние дрязги. Ушаков больше не был для него олицетворением зла: довелось помериться силой и с более опасными ворогами. Державин почти ласково называл прощённого неприятеля по имени и отчеству.

ЦАРИ, Я МНИЛ, ВЫ БОГИ ВЛАСТНЫ…

В конце 1780-х трон зашатался не только в самой населённой европейской стране — трещины пошли по всему миру. Отмахнуться от Марсельезы нельзя было ни в Берлине, ни в Москве…

В 1789 году Яков Борисович Княжнин создал трагедию «Вадим Новгородский». Княжнин был на год-другой старше Державина (точная дата его рождения не установлена — предположительно 1740-й), но прославился на литературной ниве гораздо раньше певца «Фелицы».

Французская революция впечатлила Княжнина. Можно предположить, что он почему-то решил: такое событие перевернёт и русскую жизнь. «Свобода, равенство, братство!» — эти лозунги, глядишь, сметут и русское самодержавие. Противостоять логике истории невозможно, а прогресс всё-таки на стороне революционеров. Эти выводы, конечно, выдают в Княжнине мечтателя, но если вспомнить, какие книги овладели умами к тому времени, — появление «русского якобинца» покажется закономерным. Даже господин Монтескье — самый умеренный «революционер» из тогдашних гуманистов — настраивал Княжнина против замшелого и бесчеловечного (а как же иначе?) русского самовластия. Державин научился пропускать мимо ушей крамолу в сочинениях модных мыслителей. Княжнин был более пылок. Недаром Пушкин на все времена назвал его «переимчивым». Он перенимал не только сюжеты французских трагедий, но и политические воззрения. Это не просто «безродный космополитизм», не блажь и не причуда. Времечко-то было жестокое. Политическая реальность во многом покоилась на лжи, на фигурах умолчания. Княжнин не мог отмахнуться от сомнительной легитимности пребывания на троне вдовы убиенного царя — при живом и здравствующем наследнике. Исторический сюжет перекликался с любезными его сердцу европейскими трагедиями. И в этой фабуле Екатерине доставалась роль злодейки — не иначе. Трагедия об узурпаторе не увидела сцены. Княжнин не решался её публиковать, даже приятелям показывать остерегался. Только после смерти драматурга Дашкова опубликовала «Вадима» — и трагедия вызвала неудовольствие двора. «Вадима» запретили, а разошедшиеся экземпляры конфисковывали. Оно и неудивительно: в Европе революция, престолы трещат, а тут — тираноборческая пьеса.

В сентябре 1790-го молодой Карамзин, вернувшийся из

европейского путешествия, обедал в доме Державина. Так начиналось замечательное литературное знакомство. За столом гость сидел возле хозяйки. Зашла речь о французской революции. Николай Михайлович возьми и брякни о французских событиях нечто одобрительное. Во время этого разговора Екатерина Яковлевна несколько раз толкала его ногой под столом. Ведь вместе с ними вкушал яства и Пётр Иванович Новосильцев, женатый на племяннице Марьи Савишны Перекусихиной — камер-юнгфрау и ближайшей подруги императрицы. В революционное время необходимы бдительность и молчаливость.

Державин в те дни сочинял насмешливую, шутливо-философскую оду «На счастие», в которой употребил арго картёжников. Екатерининская Россия пребывала на пике развития. Тогда, по выражению князя Безбородко, ни одна пушка в Европе без соизволения нашего выстрелить не могла… Впереди — новые батальные победы, в этих стихах можно ощутить предчувствие новой славы. Державин рассуждает о счастье с тёплой иронией, он умеет посмеяться и над собой. Ему за пятьдесят, он перебирает в памяти термины игроцкой молодости. Когда-то офицер Державин был заядлым картёжником, потом бросил это увлечение… Но в стихах остались такие слова, как «марьяж» и «трантелево». «На счастие» — это ода, в которой грустная ирония переплелась с бодрой патриотической героикой.

От восприятия французских событий неотделима и самая дерзновенная ода Державина, за которую императрица окрестила его якобинцем. Державин, по собственному благоразумному признанию, набросал эти стихи в Тамбове в 1787-м, когда о французской революции даже французам ещё не было известно:

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.
И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Звучит грозно — но разве может богоподобная Фелица принять это на свой счёт? Мы цитируем окончательный вариант, он несколько отличается от первоначального, и, думается, события 1789-го в этом переложении псалма всё-таки отразились — не могли не отразиться…

А дело складывалось кисловато. 6 ноября 1795 года

Державин, по совету жены, поднёс императрице собрание своих сочинений со специальным посланием к Фелице:

Что смелая рука Поэзии писала,
Как Бога, истину, Фелицу во плоти
И добродетели твои изображала,
Дерзаю к твоему престолу принести…

(«Приношение монархине»)

Екатерина благосклонно приняла дар и, подгоняемая любопытством, принялась вчитываться в строки любимого поэта.

Но в очередное воскресенье, прибыв во дворец «по обыкновению для свидетельствования ей своего почтения», Державин встретил холодный приём. И придворные косились на него неодобрительно. В чём дело? Он и подумать не мог, что прогневил Фелицу переложением псалма… Всё это повторилось через неделю. На третье воскресенье Державин забеспокоился всерьёз и решился расспросить Безбородко. И что же? «Граф, по обыкновению своему, в неприятных случаях старался отделаться от него невразумительным бормотаньем, с чем от него и должен был идти. Случившийся тут граф Мусин-Пушкин, который тогда был обер-прокурором Синода, позвал его к себе обедать; туда же приехал к обеду Булгаков, бывший посланником в Цареграде; он, быв автору довольно знакомым, спросил у него, для чего он нынче пишет якобинские стихи. Он не мог сего понять; Булгаков объяснил ему, что читал их в его сочинениях в парафразисе псалма 81. Автор ответствовал, что он никогда не бывал якобинских мыслей, и почему считают таковым сей псалом, который написал царь Давид? — „Однако ж, в нынешние времена это очень дурно“, — ответствовал Булгаков, замолчав».

Яков Иванович Булгаков — один из наиболее толковых выдвиженцев Потёмкина. Подчас ему удавалось совершать невозможное на полях сражений «тайной войны». Это он даже из заточения, из Семибашенного замка, ухитрялся посылать в Россию секретные сведения о турецких военных операциях… В Россию он возвратился героем, его щедро наградили и снова направили туда, где трудно, — посланником в Варшаву. С Державиным он приятельствовал, сам ловко писал стихи…

В отличие от Державина он знал, что 81-й псалом Давидов не так давно переложили и на французский язык… И это переложение, в котором проклинались злонравные монархи, стало одним из гимнов революции.

В тот же вечер к Державину заявился Иван Дмитриев —

офицер Семёновского полка, который оказался в курсе интриги… «Вас велено спросить г. Шешковскому (Тайной канцелярии секретарь), почему пишете вы такие дерзкие стихи, которые вы поднесли императрице». Это звучало ох как серьёзно! В Державине обнаружили якобинца. Гаврила Романович вскричал, что не будет ждать ничьих вопросов, что сам намерен выяснить, почему за Давидов псалом его считают якобинцем!

В смятении Державин всё-таки нашёл спасительный выход: написал анекдот с обстоятельными объяснениями недоразумения:

> «Александр Великий, будучи болен, получил известие, что придворный доктор отравить его намерен. В то же время вступил к нему и медик, принесший кубок, наполненный крепкого зелья. Придворные от ужаса побледнели. Но великодушный монарх, презря низкие чувствования ласкателей, бросил проницательный свой взор на очи врача и, увидав в них непорочность души его, без робости выпил питие, ему принесённое, и получил здравие. Так и мои стихи, примолвил пиит, ежели кому кажутся крепкими, как пасынковое вино, то они однако так же здравы и спасительны. Сверх того, ничто столько не делает государей и вельмож любезными народу и не прославляет их в потомстве, как то, когда они позволяют говорить себе правду и принимают оную великодушно. Сплетение приятных только речений, без аттической соли и нравоучения, бывает вяло, подозрительно и непрочно. Похвала укрепляет, а лесть искореняет добродетель. Истина одна только творит героев бессмертными, и зеркало красавице не может быть противно.
>
> Подобно, ежели бы спросили меня: с каким намерением переложил я псалом 81-й? я бы ответствовал: не с иным каким, а точно с тем же, как и г. Ломоносов — следующий:
>
> Хвала всевышнему Владыке
> Потщися, дух мой, возылать:
> Я буду петь в гремящем лике
> О Нём, пока могу дыхать.
> Никто не уповай вовеки
> На сильну власть князей земных:
> Их те ж родили человеки
> И нет спасения от них.
> Когда с душою разлучатся
> И тленна плоть их в прах падет,

Высоки мысли сокрушатся
И гордость их и власть минет.

Словом, наше намерение было с ним одно и то же: чтоб небесную истину в стихах и в чистом употребительном слоге сделать понятнее и удобнее ко впечатлению в разуме и сердце».

Этот ответ Державин направил Платону Зубову, Безбородко и статс-секретарю Трощинскому. Императрица прочитала «анекдот» с благосклонной улыбкой, и в очередное воскресенье Державин «увидел императрицу, весьма к нему милостивую и господ придворных, весьма ласковых». Просвещённую Фелицу (слава её мудрой отходчивости!) можно было переубедить литературными средствами…

Державин считал «Властителям и судиям» своей удачей, стремился опубликовать эти стихи, знал, что они производят сильное впечатление.

О французских событиях Державин по горячим следам написал два стихотворения — «Колесницу» и «На панихиду Людовика XVI». Он не ограничился проклятиями революционной толпе, некоторые строфы «Колесницы» звучали крамольно, и перед публикацией Державин их подправил:

Учитесь из сего примеру
Царями, подданными быть,
Блюсти законы, нравы, веру
И мудрости стезёй ходить.
Учитесь, знайте: бунт народный,
Как искра, чуть сперва горит,
Потом диет пожара волны,
Которых берег небом скрыт.

Многих посещали подобные мысли, но мало кто отваживался их открыто высказывать… Революция — это, оказывается, не просто стихийное бедствие, а наказание за беспечность и злоупотребления властителей…

Появилось в бумагах Державина и такое странное стихотворение:

Там с трона Людвиг пал,
А здесь с колен — Милушка.
Надменный смертный, зри!

Ещё рок сильный показал,
Что все его игрушка —
Собачки и цари.

Он несколько раз переписывал эту безделицу — создал не меньше пяти вариантов. Даже название менял не раз: «На смерть Милушки, постельной собачки, во время полученного известия о несчастной кончине французского короля Людовика 16», «На смерть Людовика XVI, короля французского, при получении о которой известия маленькая собачка упала с колен хозяйки и убилась до смерти, 1792 года»… Дату Державин перепутал: Людовик XVI был казнен 21 января 1793 года. Это был скорее вздох о бренности мира, чем плач по убиенному королю…

А ведь Радищев ещё за десять лет до этого грезил о суде над монархами:

Надежда всех вооружит
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает
В различных видах смерть летает
Над гордою главой царя.
Ликуйте склепанны народы
Се право мщения природы
На плаху возвело царя.

Революции не приходят без буревестников, как не случаются они и без вины правителей. Многие в Европе накликали мятеж, бравировали правом нации на восстание. Ибо, как изрекал Дидро, «всякая власть, основанная только на насилии, насилием же свергается». В России Радищев был едва ли не первым и одним из немногих таких буревестников. Только не нужно воспринимать его как желчного отщепенца (каковых немало было и среди аристократии, и среди интеллигенции). «Твёрдость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский».

Державин остался невысокого мнения о литературных достоинствах радищевского «Путешествия». Много лет впечатляла умы легенда, что именно Державин «донёс» на Радищева императрице. Александр Николаевич действительно именно ему прислал один из экземпляров повести. Но, судя по запискам Храповицкого, императрица не сразу установила автора крамольной книги, которую читала. Если бы Державин ей

преподнёс эту книгу — вероятно, он назвал бы автора. Установлено, что о книге Фелица узнала от Шешковского. Кстати, свой экземпляр «Путешествия» имелся и у Козодавлева. А Державин вполне простодушно в разговоре с Дашковой упрекал автора «Путешествия» в незнании русского языка.

Очень возможно, что именно Державин написал самую насмешливую эпиграмму на Радищева:

Езда твоя в Москву со истиною сходна;
Некстати лишь смела, дерзка и сумасбродна;
Я слышу на коней ямщик кричит: вирь, вирь!
Знать, русский Мирабо, поехал ты в Сибирь!

По крайней мере, насмешки над первым русским революционером Державину пришлись по душе.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Ещё в августе 1785 года управа, распределявшая петербургскую землю под застройку частным лицам, выделила Державину «два порожжих места» на углу Невского проспекта и Фонтанки, напротив Аничкова дворца. Место завидное и просторное, более 600 квадратных сажен. Державин обязался в течение пяти лет застроить его «регулярным каменным строением». Труднёхонько было исполнить это обязательство, не прибегая к злоупотреблениям, а Гаврила Романович принципиально не брал взяток, хотя принимал приношения меценатов. Представим себе: даже в годы строительства дома Державин не воровал! Трудно поверить, но это так. Проект огромного трёхэтажного дома составил, разумеется, Николай Львов. Державин и Львов всё продумали, не забывая и о презренном металле: корпус, выходивший на Невский, они намеревались сдавать внаём купцам, там предполагалось открыть торговую залу. Но вот Державин, уж такова губернаторская доля, уехал в Тамбов — и с планами пришлось распрощаться. Землю передали другому счастливцу.

Только в 1791 году мечта о собственном доме в Петербурге стала, как говаривали в XX веке, обретать реальные очертания. Приятель Державина, Иван Семёнович Захаров, продавал уютный, хотя недостроенный и запущенный дом на набережной Фонтанки. Величественные своды выглядели заманчиво, но это предприятие сулило необозримые расходы.

Хороших квартир и в современной России намного меньше, чем тех доброхотов, что мечтают в них поселиться. Богатых домов в екатерининском Петербурге тоже не хватало на всех желающих, а потому очаровательные мелочи, связанные с обустройством интерьеров, стоили дорого.

Захарову Державин заплатил 26 тысяч — и стал собственником недостроенного каменного дома с участком земли, на котором грудились ещё и деревянные постройки. Лето 1791 года ушло на хлопоты по обустройству усадьбы. Занималась этим главным образом Катерина Яковлевна. Работу вёл зодчий, приглашённый прежними хозяевами, — Пильников. Державин, конечно, хотел пригласить на эту роль Львова и даже начал писать стихотворное послание к нему — до сих пор не вполне расшифрованное по неразборчивым черновикам:

Зодчий Аттики преславный,
Мне построй покойный дом,

Вот чертёж и мысли главны
<…> написаны пером.
На брегу реки Фонтанки…
Иль отстрой только средину,
Поколь денег наживу.
А другую половину
Ты тогда уже дострой.

Но Пильников знал этот дом «от и до». Львову пришлось ограничиться советами. Строительство — накладное дело! Сразу и не осилить. Державин закладывает деревни, бросает на распыл часть приданого Катерины Яковлевны — и всё равно денег не хватает. Рачительная хозяйка завела «Книгу о издержках денежных для каменного дома. С августа 1791 года».

Заглянем в эту тетрадь: «За молебен священнику при закладке — 1 рубль. Посеребрить артели — 2 рубля. За переноску досок на вино и угощение рабочим — 30 копеек. На пир работникам 9 рублей 95 копеек. На вино мужикам — 37 ½ копеек, гончарам — 20 копеек, извощикам — 1 рубль 50 копеек. Маклеру — 1 рубль». И таких затрат — без конца и края, день за днём.

А ещё — обустройство сада и двора, но в первую очередь — мощение двора. Всё должно быть как на лучших столичных улицах. В контракте от 29 апреля 1793 года сказано, что крестьянин Матвей Тимофеев берётся исполнить следующие работы по благоустройству двора: «Счистить, сравнять по ватерпасу, дабы в трубу был спуск воды, усыпать весь двор песком вышиною на четверть, а сверху песку выкласть морским булыжным камнем в линейках и крестах, крупный камень на ребро, а мелкий в клиньях востряками вверх и защебенить мостовую красным щебнем из кирпича… У стен сделать возвышенные площадки для проходу пешим так точно, как мне показано было».

В архиве Державина сохранился контракт и со столяром-краснодеревцем Иоганном Гратцем от 22 января 1792 года, по которому тот должен был изготовить для кабинета девять книжных шкафов, большой письменный стол *«с* подъёмным налоем» красного дерева, маленькое квадратное в плане бюро («в полтора аршина») с одним ящиком и диван с двумя шкафами по сторонам, тоже из красного дерева. При этом специально оговаривалось, что мастер обязуется «всё оное сделать так, как договаривался с Николаем Александровичем Львовым».

В конце 1790-х годов, когда финансовые дела Державина

поправились, пришло время для новых крупных строительных работ. Справа и слева от основного корпуса, параллельно набережной Фонтанки выросли ладные двухэтажные пристройки, садовый фасад которых оформлен ионическими полуколоннами. Восточное крыло заняла большая столовая, в которой устраивали танцы; впрочем, стареющий поэт не был до них охотником. К столовой примыкали подсобные помещения, вроде буфетной комнаты, а также гостевые апартаменты. В западном крыле сотворили великолепный парадный двусветный зал с хорами, которые опирались на колонны, облицованные искусственным мрамором. Простенки между окнами украсили сдвоенные условные колонны. В соседнем помещении устроили домашний театр, не хуже публичных театров, даже уютнее.

В нижнем этаже центральной части дома заново отделали гостиную, в которой висел огромный (примерно три на два метра) портрет Державина кисти Тончи.

После смерти Дарьи Алексеевны, второй жены Державина, дом купила Римско-католическая коллегия. Не было у Державина наследников… В 1920-е годы дом стал жилым, в величественных залах устроили коммунальные квартиры. Зато в наше время там воссоздали первоначальную обстановку.

По соседству с Державиным возводил хоромы полковник Михаил Антонович Гарновский, сотрудник Потёмкина во многих начинаниях — между прочим, и в строительстве Таврического дворца. На этих праведных трудах полковник разбогател фантастически. Оборотистый Гарновский строил дом на продажу — он надеялся, что его втридорога купят для одной из великих княжон. И — дал волю дикой фантазии. Его дом превышал установленные законом размеры — и затмевал Державину солнце. Державин пожаловался на него в полицию, а заодно написал многозначительные стихи — «Ко второму соседу»:

Почто же, мой вторым сосед,
Столь зданьем пышным, столь отличным
Мне солнца застеняя свет,
Двором межуешь безграничным
Ты дому моего забор?
Ужель полей, прудов и речек,
Тьмы скупленных тобой местечек
Твой не насытят взор?

Поэт напророчил соседу трудные времена:

Кто весть, что рок готовит нам?

Быть может, что сии чертоги,
Назначенны тобой царям,
Жестоки времена и строги
Во стойла конски обратят.

И добавил извечное: «С сумой не ссорься и тюрьмой». В который раз Державин оказался провидцем: при Павле Грановского осудили как растратчика, а дом продали за долги. Вскоре там расположились казармы Измайловского и Егерского полков.

Державину вообще к лицу пришлась маска честного скромника среди сверкающего алмазами бомонда. В «Приглашении к обеду» он писал:

Приди, — и дом, хоть не нарядный,
Без резьбы, злата и сребра,
Мой посети: его богатство —
Приятный только вкус, опрятство
И твёрдый мой, нельстивый нрав.

Трудно сказать, почему Державин считал обстановку в своём дворце ненарядной и скромной. Разве что по сравнению с императрицами и их фаворитами… А вообще даже на аристократическом фоне дом впечатлял изысканными интерьерами. И резьба там как раз имелась. Сегодня здесь музей, всё устроено на уровне исторической правды — и мы можем убедиться, что Гаврила Романович в преклонном возрасте жил вовсе не в хижине. Как-никак, не последний человек в окружении блистательной императрицы, хотя и не взяточник.

КАБИНЕТ-СЕКРЕТАРЬ

Приятный, острый Храповицкий уже несколько лет служил статс-секретарём императрицы. Он был младше Державина на шесть лет, но давненько достиг высокого положения. Ещё в 1781 году занял заметный пост в Сенате, стал управляющим экспедицией о государственных расходах и доходах. Эрудиция Храповицкого в щекотливых бюджетных вопросах не вызывала сомнений у первых лиц государства. Натренированная память позволяла ему оперировать точными данными, в случае необходимости он толково мог ответить на самый неожиданный вопрос. При дворе ценился и литературный дар Храповицкого. И — особенно — его красноречие. Почти из каждого спора он выходил победителем, при этом не наживая врагов! Не удивительно, что в 1783 году он стал секретарём Екатерины. Правда, одним из многих. А в первого среди равных он превратился в 1787-м, во время легендарного (скажем без лести: триумфального) путешествия императрицы по Новороссии и Крыму.

Превыше всех орденов было доверие монархини: она «удостаивала его даже очень любезных шуток и большой откровенности во многих совершенно интимных делах».

Храповицкий дружил с Гаврилой Романовичем, они даже в стихах общались на «ты». Он осознавал значение поэзии Державина, но, конечно, и не думал становиться клакером поэта. Ему удавалось не только уживаться, но и приятельствовать со многими недругами певца Фелицы. Он и для них оставался приятным и острым. Храповицкий начинал свою блистательную карьеру как человек Вяземского — того самого державинского покровителя и мучителя.

Всем известна немаловажная дипломатическая доблесть: умение крепко выпить. Храповицкий никому не уступал в застолье, но в конце концов это увлечение подмяло его под себя. Он стал первейшим пьяницей при дворе Фелицы. Даже бывалые генералы уступали ему на этом поприще. После обеда или под вечер императрица отпускала его, их рабочий день был окончен — и Храповицкий немедленно направлялся в кабак. Ему удавалось напиваться вечерами и ночами почти без ущерба для службы. Этому тучному, потливому вельможе приходилось ежеутренне героически преодолевать мучения. Куда сдержаннее в этом смысле был Державин! Гаврила Романович в кабаках любил предаваться картёжному азарту, а не Бахусу. Державин не сторонился весёлых компаний, не исключал вино и из

обыденного рациона, но почти никогда не напивался. Нужно ли предаваться алкоголю, если у вас и без того горячий, вспыльчивый нрав? Лучше поостеречься. К тому же пьянство — это крест и серьёзное занятие, которое требует свободного времени. А Державин ревностно служил и пылко творил. Снова и снова — творил и служил. «Умеренность есть лучший пир».

Рабочий день императрицы начинался на рассвете. Она выпивала крепчайшего кофию, быстро приходила в себя и была готова выслушивать доклады и жалобы. Словом, работала с документами. Секретарь для утренних дел — первый помощник. Кому ещё будет Великая диктовать свои мудрые записки или письма, в которых необходимо продемонстрировать мудрость и непринуждённость стиля? Конечно, Храповицкому — талантливому литератору, а значит, и редактору. А наш молодец очухаться не в силах после вчерашнего! Ему спать бы и спать. Часто бывало: до пяти утра он кутил в кабаке, а к шести нужно во дворец. В те времена лекарям был известен один способ быстрого отрезвления: пациенту пускали кровь. После этого, сказывали, и похмеляться не надо: хлебнул воды — и хорош. Почти хорош. Однажды императрица решила проверить своего любимца: вызвала его вечерком, после рабочего дня… Александр Васильевич, по обыкновению, был пьян мертвецки. Но ему пустили кровь — и секретарь явился к императрице на своих двоих.

О слабости Храповицкого хорошо знали его помощники; не оставался без работы и лекарь, ставший доверенным лицом статс-секретаря государыни. По два-три стакана крови выпускали ему по утрам после кабацких заседаний. Бодрость возвращалась, но подготовить документы к работе он, конечно, не успевал. Выручала уникально цепкая память. Он для виду держал в дрожащих руках лист чистой бумаги — и по памяти, по наитию вслух прочитывал нужный документ. Императрица, конечно, примечала страдания секретаря, но трюк с бумагой долго не могла разгадать.

Однажды знойным летним днём Державин и Храповицкий гуляли по Летнему саду. Беседовали о поэзии — и даже не заметили, что надвигается гроза. Храповицкий рассыпался в похвалах: «Ты не поэт, ты — Зевс-громовержец в поэзии!» «В эту минуту блеснула ослепительная молния и раздался такой удар грома, что Державин, при всей своей смелости и привычке к военной жизни, бросился под навес беседки; туда же побежал и Храповицкий. Оба, оглушённые ужасным раскатом грома, несколько времени стояли безмолвно. Наконец Державин прервал молчание. *Вот видишь ли, какой я громовержец!»*

Дома в тот же вечер Державин написал стихи:

Как назвал ты меня Зевесом,
От имя Божья грянул гром;
Я с страху скрылся под навесом
И бью тебе, мой друг, челом:
Избавь от пышных титл: я пешка.
Чрезмерна похвала — насмешка.

Только монархам, всесильным фаворитам и полководцам Державин чаще посвящал стихи, чем Храповицкому. С ним он приятельски пикировался даже из-за комплиментов, так уж было заведено в их дружбе. Храповицкий всегда опережал Державина в служебном кроссе: сперва — любимец Вяземского, потом — секретарь императрицы. Порой в мечтах Державин примеривался к его положению… В муторные дни склок с тамбовскими хитрецами служба Храповицкого казалась Державину блистательной и необременительной.

…Отражая атаки Гудовича, Державин принялся налаживать отношения с новым фаворитом императрицы. Платон Зубов! — это имя звучало тогда в Петербурге повсюду. Никто не считал его ценителем искусств, он ровным счётом ничего не понимал в поэзии, но Державин завоевал его расположение, о чём напрямки поведал нам в «Записках»:

> «Но что делать? надобно было сыскивать случаю с ним познакомиться. Как трудно доступить до фаворита! Сколько ни заходил к нему в комнаты, всегда придворные лакеи, бывшие у него на дежурстве, отказывали, сказывая, что или почивает, или ушёл прогуливаться, или у Императрицы. Таким образом, ходя несколько (раз), не мог удостоиться ни одного раза застать его у себя. Не осталось другаго средства, как прибегнуть к своему таланту. Вследствие чего написал он оду Изображение Фелицы, и к 22-му числу сентября, то есть ко дню коронования Императрицы, передал чрез Эмина, который в Олонецкой губернии был при нём экзекутором и был как-то Зубову знаком. Государыня, прочетши оную, приказала любимцу своему на другой день пригласить автора к нему ужинать и всегда принимать его в свою беседу».

Державин понадобился Екатерине не только из-за лестного для неё продолжения «фелицианского» цикла. Она доверяла ему,

хотела приблизить — и для государственных дел, и для блеску.

Императрица приказала — фаворит исполнил. По-видимому, ему было нетрудно «принять Державина в свою беседу»: остроумный пиит умел поразвлечь Зубова анекдотцем, умел вооружить против недругов. Они сошлись, но до поры до времени всесильный Платон никакой поддержки Державину не оказывал. Разве что однажды испытал Державина, поручив ему составить записку о том, как увеличить государственный доход, не ущемляя обывателя. Задание из разряда «где роза без шипов растёт?». Державин предложил, кроме прочего, основать патриотический банк, который выдавал бы ссуды дворянам под залог имений без грабительских поборов. Зубов сочувственно кивнул, но не приложил усилий для воплощения проекта. Как известно, до сих пор патриотических банков не существует.

В меценаты Платон не годился по скупости, а в политических интригах обнаруживал нерешительность, ждал указаний от матушки-императрицы… И всё-таки польза от этих «бесед» неоспоримая: весть о том, что Державин приятельствует с Зубовым, без стука проникала во все кабинеты. Отныне его уважали и побаивались, что не исключало, впрочем, и досадных недоразумений. Иногда рушились и старые дружбы. «Императрица приказала приглашать его в эрмитаж и прочие домашние игры, как-то на святки, когда они наступали, и прочие собрания. В доме Вяземскаго был также принят хорошо; но как брат фаворитов, то есть Дмитрий Александрович Зубов, сговорил на меньшой дочери Вяземскаго, и Державин приехал его поздравить, то княгиня, приняв холодно, показала ему спину. Сие значило то, что как они сделались, чрез сговор дочери, с любимцем Императрицы в свойстве, то и не опасались уже, чтоб Державин у него мог чем их повредить. Чрез сей низкий поступок княгини так ему дом их омерзел, что он в сердце своём положил никогда к ним не ездить, что и в самом деле исполнил по самую князя кончину». А ведь в прежние дни княгиня покровительствовала поэту.

Святки в обществе императрицы, Эрмитаж — после Тамбова Державин мог ощутить себя кумом королю, но прямодушный характер снова и снова показывал себя… Ему в те дни удавалось поддерживать баланс во взаимоотношениях с Потёмкиным и Зубовым. И вдруг пришлось рискнуть дружбой с очаровательным Платоном. Отец фаворита — сенатский обер-прокурор Александр Зубов — почувствовав себя всесильным, во Владимирской губернии самовольно занял часть соседского имения. Пострадавший майор Бехтеев обратился за помощью к Потёмкину. В тяжбу втянули Державина… Гаврила Романович

быстро разобрался в неправоте Александра Зубова — и прямо объявил об этом Платону Александровичу. Державин советовал не доводить дело до суда, разрешить конфликт полюбовно. Платон был бы рад не ввязываться в тяжбу, но старший Зубов упрямился. Он объявил, что отступится только, если Бехтеев заплатит ему 16 тысяч. Бехтеев готов был дойти до императрицы, и Державину великих трудов стоило примирить помещиков, не допустив конфликта между Потёмкиным и Зубовым. Поэт в те дни «ездил» к обоим фаворитам.

Одноглазый исполин выглядел переутомлённым: болезнь иссушала его, но трудился он по-прежнему за четверых. И всё чаще нуждался в Державине. Григорий Александрович вчитывался в каждое стихотворение Державина — и всякий раз его что-нибудь огорчало. Но, может быть, истинная поэзия и должна быть такой? Как родниковая вода с песчинками. Удобные, на всё согласные подпевалы, конечно, приятны в общении, но не всегда на них можно положиться.

Между тем Зубов относился к Державину как к доверенному сотруднику. Вяземский болел, делами в Сенате заправлял обер-прокурор Ф. М. Колокольцов. Над Сенатом парил неопытный Зубов — и помощь Державина пришлась ему кстати. В нескольких спорных вопросах Державин продемонстрировал Зубову и императрице аналитический ум и административную хватку. Сбывалось обещание Зубова: вы получите всё.

…Жил да был в Петербурге банкир Сутерланд. Екатерина даровала ему баронский титул. Он оперировал крупными суммами казённых денег — и по первому требованию должен был пустить их, куда велит императрица. Но однажды понадобилось перевести в Британию два миллиона — не шутка! — а денег не оказалось. Банкир признался, что деньги растрачены. Большую часть их он роздал в долг сильным мира сего — ближайшим сподвижникам императрицы. Всем, кроме Платона Зубова.

В 1792 году этот пятидесятилетний богач покончил с собой. Расследование растраты поручили Державину.

Зеваки удивлялись, что барон застрелился: считалось, что банкир никогда не держал в руках оружия. Потом выяснилось, что барон всё-таки отравился: ну, яд — это для банкиров привычное дело, тут уж удивляться нечему.

Сутерланд давал взаймы всему Петербургу, даже цесаревич Павел Петрович пользовался его услугами. Не говоря уже о Державине, у которого барон подчас клещами вытаскивал деньги с процентами… Например, 8 января 1789 года банкир грозно писал Гавриле Романовичу: «Письмо ваше от 23 минувшего декабря я получить честь имел, в котором вы изволите объяснять

невозможность заплатить ваш долг в 2-х тысячах рублях, а посредством П. И. Новосильцова доставляете в зачёт только 1000 р., а на другую 1000 р. вексель в шесть месяцов. На что я вам объяснюсь, что сколько я прежде сего был расположен ко службе всякого честного человека, столько же я и наказан за добрую мою волю неустойкою всех моих должников; почему я и нашёлся принуждённым сделать завещание ниже ни отцу родному более терпения не давать, вследствие чего вы, м. г., на мне не взыщите, что я более ни ждать, ниже посланные 1000 р. в зачёт взять не могу, да сверх того и без процентов… Я знаю, что всякому бы сходно было держать чужие деньги по году или более без интереса, но мне-то оно несколько накладно. В рассуждении сего и прошу вас покорно немедленно мне все деньги и с процентами на срок переслать; в противном случае принуждённым найдусь вексель ваш протестовать, что мне весьма будет жаль». Вот так Сутерланд обращался с должниками.

Финансовый авантюрист для русской короны был полезен как посредник при всех займах из Европы. И государственные деньги, полученные в долг, надолго оставались в его ведении — так высоко ценила императрица его посреднические услуги. «Сутерланд был со всеми вельможами в великой связи, потому что он им ссужал казённые деньги, которые он принимал из Государственного казначейства для перевода в чужие край по случающимся там министерским надобностям», — писал Державин, откровенно презиравший ростовщика. А как не презирать человека, который сдирает с благородных господ презренные проценты, да ещё и — без сомнения! — путает личный карман с государственным.

Барон знал немало тайн — и не удивительно, что после его самоубийства домыслам не было конца: вспоминали, как обычно, о Потёмкине, указывали на Платона Зубова как на возможного убийцу… В записках А. М. Тургенева читаем: «Лучше было бы, когда бы князь (Потёмкин. — *А. З.)* не объявил намерения своего „вырвать зуб“. Князь приехал в Петербург, и, как все утверждают, ему был дан медленно-умерщвляющий яд. Банкир Сутерланд, обедавший с Князем вдвоём в день отъезда, умер в Петербурге, в тот же день, тот же час и чувствуя такую же тоску, как Князь Потёмкин чувствовал, умирая на плаще среди степи, ехавши из Ясс в Николаев». Версия об убийстве барона волновала умы.

Загадка Сутерланда никогда не будет до конца разгадана. В истории немало вечных вопросительных знаков. Державину поручили, по существу, секретное расследование. Можно сказать, щекотливое дело. Но Державин, изучив обстоятельства дела, убедился, что банкир находился в отчаянном положении. И

мотивы для самоубийства у него были самые серьёзные.

Весь Петербург знал: у Сутерланда в любой момент можно занять любую сумму. Но чтобы поддерживать эту репутацию и приумножать доходы, барону требовались крупные суммы наличными — постоянно. Он всё время искал новые источники обогащения, сотрудничал подчас с мошенниками и пройдохами, которыми кишел русский XVIII век. А ведь в его руках постоянно оказывались казённые деньги, деньги империи! Императрица почему-то безоглядно доверяла господину Сутерланду, он стал придворным банкиром. Казалось, этот почтенный домовладелец если кого и обманет, то не свою благодетельницу.

И тут возник граф Дмитрий Мочениго — родовитый итальянец, к тому же — православный. Он недурно послужил Третьему Риму в делах военно-морских, торговых и дипломатических, был послом российской короны во Флоренции. Мочениго имел неосторожность стать деловым партнёром Сутерланда — и посчитал себя ограбленным. Свои потери он оценивал в 120 тысяч рублей. Масштаб спекуляций Сутерланда показывает: вряд ли итальянец преувеличивал. Барон в Петербурге получал от итальянского графа товар, сбывал его в России, а вырученные деньги давал в рост. Мочениго слыхал о Державине — и выразил желание, чтобы его жалобу рассматривал именно Гаврила Романович!

Державин счёл требования Мочениго справедливыми. Тут и спорить было не о чем: всем было ясно, что Сутерланд задолжал итальянцу. Несколько раз Державин пытался обстоятельно доложить императрице о банкирском деле. Не только, чтобы помочь Мочениго, заслуги которого перед русским флотом вызывали уважение. К банкирскому дому Сутерланда у Державина были личные счёты, но, право слово, дело не в них. Он считал несправедливым, что мошенники становятся почтенными людьми, к ним прислушиваются, они влиятельны, их на козе не объедешь. Неужели финансовые дела империи нельзя вершить чистыми руками? Державин давненько стал тёртым калачом, он понимал, что денежные потоки притягивают самых ловких и беспринципных. Уж они-то всех растолкают и затопчут по пути к лакомому барышу. И всё-таки нужно уничтожать очаги мздоимства, а такой делец, как покойный Сутерланд, не только сам воровал, но и чиновников развращал. И при этом сподобился от «богоподобной Фелицы» баронского титула! Эту ошибку надо бы исправить, заклеймить проклятого банкира — хотя бы посмертно. Державин начинал разговор о Сутерланде — а императрица отмахивалась.

В щекотливом положении, сложившемся после самоубийства

барона, Екатерина стремилась сохранить тайну финансовых делишек. Разоблачить Сутерланда несложно. Раз, два — и готово. Вот и Державин напишет разоблачительную сатиру о проворовавшемся самоубийце. Публика станет аплодировать, популярность Фелицы взметнётся до небес. Публика любит, когда цари одёргивают мздоимцев. Но что толку? Деньги не любят огласки. Кто в будущем станет выполнять секретные финансовые поручения императрицы, если допустимы скандалы в этой области? Банкиров приходится беречь, как племенных быков, даже если они не столь надёжны, как хотелось бы…

Посвящать Державина во все нюансы взаимоотношений с банкиром императрица не желала. Её раздражало, что этот настойчивый упрямец гнёт свою линию. Однажды она едва не вспылила — Державин крепко запомнил тот случай:

«„Ох, уж ты мне с твоим Моценигом… ну, помири их!“, что и исполнено. Моциниг рад весьма был, что получил, вместо претензии своей 120 000, хотя 40 т. рублей, ибо видел, что всё пропадало».

Благодарность графа станет проклятием Державина — но об этом речь впереди.

Дело Мочениго, начавшееся ещё при жизни Сутерланда, наконец завершилось. Обстоятельства же самоубийства барона оказались ещё запутаннее.

У Державина наготове были все бумаги: объёмистый ворох щекотливых документов. Говоря политическим языком 90-х годов XX века, семь чемоданов компромата… Державин не решался тревожить императрицу новым разбирательством. Он выжидал. А Екатерина уж кого-кого, но Сутерланда не забывала, хотя не показывала, что интересуется ходом дела… «Взнеси его сюды и положи тут на столик, а после обеда, в известный час, приезжай и доложи».

Светлейший князь Потёмкин брал у Сутерланда невообразимые, фантастические суммы. Около миллиона рублей! Императрица понимала, что эти деньги светлейший князь тратил на дела государственные — на снабжение армии, на строительство, наконец, на содержание агентов русской короны… Он широко вёл дела — и добивался успеха, повышая ставки. И империя покрывала долги Потёмкина — в том числе и долги наследников князя Таврического перед наследниками барона Сутерланда.

Однажды во время доклада по делу Сутерланда разгорячившийся Державин схватил Фелицу за мантилью. Императрица велела позвать Попова: «Побудь здесь, Василий Степанович, а то этот господин много воли даёт рукам своим и,

пожалуй, меня прибьёт». Толком продолжать доклад Державин не мог. На следующий день императрица молвила примирительно: «Прости, что вчера горячо поступила. Ты и сам горяч, всё споришь со мною».

После этого состоялся главный разговор: Державин повёл речь о том, «кем сколько казённых денег из кассы у Сутерланда забрано. Первый явился князь Потёмкин, который взял 800 000 рублей. Извинив, что он многие надобности имел по службе и нередко издерживал свои деньги, приказала на счёт свой Государственному казначейству принять. Иные приказала взыскать, другие небольшие простить долги; но когда дошло до великого князя Павла Петровича, то, переменив тон, зачала жаловаться, что он мотает, строит такие безпрестанно строения, в которых нужды нет: „не знаю, что с ним делать“, и такие продолжая с неудовольствием (подобные) речи, ждала как бы на них согласия».

Державин не мог поддакивать пренебрежительным речам о великом князе. Это было бы низостью. Сначала он потупил взор и помолчал с минуту, а потом ответил не по-царедворчески: «Наследника с императрицей я судить не могу». Императрица вспыхнула и впервые накричала на своего певца: «Пошёл вон!»

Пошёл вон… Императрица никогда не показывала себя с такой стороны человеку, который способен поведать об этом Истории. А тут вдруг позволила себе… В такие дни она говаривала про него почти презрительно: «Он ещё в делах нов».

В ужасе Державин бросился к Зубову и выдал нервную тираду:

«Поручают мне неприятные дела, и что я докладываю всю истину, какова она в бумагах, то Государыня гневается, и теперь по Сутерландову банкротству так раздражена, что выгнала от себя вон. Я ли виноват, что её обворовывают? да я и не напрашивался не токмо на это, но ни на какие дела; но мне их поручают, а Государыня на меня гневается, будто я тому причиною».

Платон Александрович, как ни странно, принял стенания Державина добродушно. Он вообще редко раздражался — возможно, поэтому их сотрудничество с Державиным и продолжалось так долго и безоблачно. Флегматичное спокойствие Зубова уравновешивало горячность Державина — и они находили общий язык. Державин вспоминал:

«Он его успокоил и знать, что тот же вечер говорил, что на другой день, выслушав порядочно все бумаги, дали резолюцию чтоб, как выше сказано, генерал-прокурор и государственный казначей предложил Сенату взыскать деньги с кого следует по

законам. Тем дело сие и кончилось».

Кончилось дело Сутерланда, но не злоключения Державина.

Державина считали докой по запутанным юридическим коллизиям — и Екатерина снова и снова сваливала на его головушку секретные поручения, связанные с растратами и злоупотреблениями… Она, как опытный политический фармацевт, понимала: в ограниченных дозах даже честность бывает пользительной. Державин во время докладов «змеёй пред троном не сгибался», но часто начинал горячиться, переходил на крик. Об этом Державин не утаил в «Записках»: «Часто случалось, что она рассердится и выгонит от себя Державина, а он надуется, даст себе слово быть осторожным и ничего с ней не говорить; но на другой день, когда он войдёт, то она тотчас приметит, что он сердит: зачнёт спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить и тому подобное ласковое и милостивое, так что он позабудет всю свою досаду и сделается по-прежнему чистосердечным. В один раз случилось, что он, не вытерпев, вскочил со стула и в исступлении сказал: „Боже мой! Кто может устоять против этой женщины? Государыня, вы не человек. Я сегодня наложил на себя клятву, чтоб после вчерашнего ничего с вами не говорить; но вы против воли моей делаете из меня, что хотите“. Она засмеялась и сказала: „Неужто это правда?“».

Что это — прямолинейность или изысканная лесть? Несомненно, и то и другое.

А от Сутерландов и впредь непрактичным русским дворянам не было спасу. Да и государство теряло кровные рубли из-за расторопных посредников.

Кажется, императрице доставляло удовольствие приручение ершистого сотрудника. Многое в Державине её решительно не устраивало. Особенно — его тёща, бывшая кормилица Павла… Всё, что напоминало императрице о мучительных днях материнства, вызывало у неё гнев. А Павел по-своему любил кормилицу. Жена Державина была его молочной сестрой — и цесаревич этого не забывал. Перед свадьбой будущая тёща представила Державина великому князю. Тот принял их милостиво, обещал недурное приданое… Минуло с тех пор почти 15 лет — но Екатерину всё ещё тревожило сближение Державина с Павлом.

Снова и снова — Павел, русский Гамлет. Подобно датскому принцу, великий князь невольно ранил каждого, кто попадался на пути.

Мы часто недооцениваем значение придворного раскола екатерининских времён. Павловский мотив можно увидеть едва ли не за каждой опалой того времени… И все приступы

охлаждения императрицы к своему любимому поэту, по большому счёту, связаны с воспоминаниями о Павле, с которым Державин был связан если не родственными, то вассальными узами. Мы имеем право предположить, что Державин понимал: стоит отречься от «принца» — и заслужишь доверие монархини. Оформить такое отречение несложно: достаточно в какой-нибудь оде язвительно высмеять гатчинский двор — хотя бы аллегорически! Фелица всё бы поняла и оценила: она давно ждала от Державина такого жеста. Но Державин отчего-то медлил. Быть может, гнушался предательством? Или — возомнил о себе, что сумеет примирить, объединить мать и сына — хотя бы в стихотворном имперском мире? Не удалось. Слишком явным было презрение матери к сыну, да и сыновняя ненависть к материнской политике в истории России выставлена напоказ. Не заретушируешь…

В отношении к Павлу Петровичу проявилась аристократическая честь Державина: он посчитал своё давнее знакомство с великим князем своего рода присягой. И не нарушал её! Не считать же нарушением присяги критическое отношение Державина к переменчивой политике императора Павла? Он не участвовал в тайных интригах против государя, тем более в заговоре. И во времена Екатерины демонстрировал опасную лояльность к гатчинскому двору…

Екатерина не раз «с жаром» говорила Храповицкому о проделках негодной тёщи Державина. Она была уверена, что коварная Бастидонша легко подчинила себе наивного, легковерного Гаврилу. У страха глаза велики: Екатерина преувеличивала способности Матрёны Дмитриевны.

И всё-таки императрица сочла, что Платону Зубову будет полезен энергичный, прямодушный Державин. Именно тогда молодому фавориту пришлось взять на себя потёмкинскую ношу, которая была ему явно не по плечу. Мало того что умер Потёмкин, так ещё и хваткий Безбородко надолго оставил Петербург: он отправился в Яссы на переговоры. Придворных льстецов и обаятельных эпикурейцев вокруг императрицы и Зубова водилось множество, а деловых людей — раз, два и обчёлся. Положение Державина при дворе точнее всех определила Пленира: «Ты не имеешь фавору, но есть к тебе уважение».

Державин стал «кабинетским секретарём» императрицы. Рассматривал прошения, жалобы, доносил их смысл до высочайших ушей. Его влияние возросло: многие отныне искали его расположения. Мало-помалу Державин освоился во «лживой, трусливой, низкопоклонной придворной стихии» (определение

Б. Пастернака, который, правда, в вельможных кругах не вращался).

Императрица казалась ему то мелочной, то истинно великой. Он примечал её остроумие, даже пустил в ход некоторые анекдоты, в которых отражается блеск ума Екатерины: «Вырывались также иногда у неё внезапно речи, глубину души её обнаруживавшие. Например: „Ежели б я прожила 200 лет, то бы конечно вся Европа подвержена б была Российскому скипетру“. Или: *„Я* не умру без того, пока не выгоню Турков из Европы, не усмирю гордость Китая и с Индией не осную торговлю“. Или: „Кто дал, как не я, почувствовать французам право человека? Я теперь вяжу узелки, пусть их развяжут“».

Круг новых обязанностей Державина необозримо широк. В первую очередь он должен просматривать все сенаторские мемории и составлять замечания о выявленных нарушениях закона. Подчас приходилось выступать в роли следователя. В «Записках» Державин так рассуждал о характере своей тогдашней деятельности: «…дела у него были все роду неприятного, то есть прошения за неправосудие, награды за заслуги и милости по бедности». Тут и земельные споры, просьбы о пенсиях, награждениях, восстановлении в должности, и разнообразные наследственные дела, утомительные донельзя. И так далее… Прошения, направленные к Екатерине II, вначале шли к Державину, он их внимательно изучал и уж потом докладывал императрице. Державин сам не раз тонул в кляузах, в разбирательствах. Другой бы давно возненавидел эту бюрократическую круговерть, но Гаврила Романович верил, что с помощью жалоб и расследований многое можно изменить к лучшему, видел высокий смысл в скрупулёзной, подчас тошнотворной работе с бумагами и судьбами.

«Лишь только он явился к своей должности, то Государыня, призвав его к себе в спальну (в коей она с 7-го часа утра обыкновенно занималась работою), подала кипу бумаг и сказала: „Тут ты увидишь рапорт обер-прокурора Колокольцова и при нём выписку из дел, которые переведены в другие губернии, то сделай примечание, согласно ли они с учреждением моим переведены и законно ли решены?“». Так и пошло — день за днём.

То было время наибольшей популярности Державина как поэта. В периферийных типографиях нередко издавали его оды без ведома автора: был спрос. В те времена к поэтам ещё не относились как к пророкам, да и круг читателей был не только «страшно далёк от народа», но и узок. Однако в кругах молодых дворян, охваченных желанием исправить нравы, к Державину относились трепетно. Его воспринимали не только как первого

поэта России, сравнимого с лучшими певцами Германии или Франции, но и как смелого бичевателя пороков, честного человека, приближенного к трону. И вот теперь этот благородный патриот и правдолюбец станет постоянным собеседником государыни!

Друзья и поклонники поэзии Державина шумно приветствовали его новое возвышение. В «Московском журнале» вышло восторженное послание «К честному человеку», подписанное одним инициалом — И.

Что слышу? О приятна весть!
Питомец Аонид любимый,
Порока враг непримиримый,
Стяжал заслугой нову честь!
Излейте, звуки скромной лиры,
Сердечну радость вы мою!..

Автором был не кто иной, как Иван Иванович Дмитриев. И это не единственное приветствие такого рода. Единомышленники надеялись, что вошедший в силу Державин оградит юношей от разврата, поможет несчастным вдовам, утешит несправедливо обиженных… Возможно, они сами не верили в это, но считали необходимым изъявлять наилучшие надежды в стихах. Однако общей и чёткой единой идеологии у них не было, скорее — расплывчатые представления об идеале. В пору укрепления империи это поважнее узких и прагматичных партийных установок.

Всех впечатляло, что Державин взлетел, приблизился к трону после скандалов и гонений, связанных с тамбовскими неурядицами. Для старых товарищей он стал надеждой в дни испытаний. Несколько раз Державин ходатайствовал за Верёвкина. Старый просветитель получил привилегию печатать ежегодно по 300 листов переводов с гонораром по десять рублей за лист. Платил Кабинет. Чуть позже, по просьбе Верёвкина, Державин принялся «пробивать» ему оплату перевода «Полной истории Оттоманской империи» и необъятной многотомной «Энциклопедии» Дидро. Но недолго оставалось жить Михаилу Ивановичу. Он умрёт в 1795-м, шестидесяти трёх лет. Помощь ученика скрасила закатные годы основателя Казанской гимназии.

Обратился за помощью к Державину и собрат по Парнасу — Михаил Матвеевич Херасков. Херасков старше Державина на десять лет, как поэт он прославился ещё в 1750-е годы; долго опережал Гаврилу Романовича и в литературной иерархии, и починам. Поэмы «Чесменский бой» (1771) и «Россияда» (1778)

утвердили репутацию классика, покорившего главную литературную вершину — жанр героической поэмы. В кружке Львова над Херасковым посмеивались, но Державин относился к нему почтительно. Хераскову он посвятил не какой-нибудь пустячок, а пространное и возвышенное стихотворение «Ключ». Гаврила Романович посетил Гребнево (Гребенёво) — усадьбу Голицыных, в которой несколько лет проводил жаркие месяцы Херасков, — и родилось стихотворение, на ту пору — одно из лучших у Державина:

Творца бессмертной Россиады,
Священный Гребенёвский ключ,
Поил водой ты стихотворства.

Они не были друзьями, но не стали и соперниками в поэзии.

И даже эпиграмма *«ПРИ ЧТЕНИИ ОПИСАНИЯ ЗИМЫ В „РОССИЯДЕ“»* вышла не злая:

Останови свою, Херасков, кисть ты льдяну:
Уж от твоей зимы
Все содрогаем мы.
Стой, стой! я весь замёрз — и вмиг дышать престану.

После «Фелицы» Державин в сознании поклонников литературы встал вровень с Херасковым, после «Бога» затмил его… До последних дней Державин регулярно почитывал Хераскова, находил в его поэтических массивах и красоту, и перекосы…

Когда Державин вступил в должность кабинет-секретаря императрицы, вовсю шла кампания по уничтожению масонских гнёзд. Московский университет, в котором кураторствовал Херасков, слыл крупнейшим центром мартинизма. После ареста Новикова заговорили об отставке Хераскова из университета. Поэт угодил в опалу, за ним следили… В отчаянии он обратился к Державину — и получил поддержку. Когда-то Херасков оказывал Державину услуги — и на литературном, и на политическом поприще. Такое не забывается. Спасая поэта, Державин решился на ложь: он засвидетельствовал перед императрицей и Зубовым, что Херасков не имел отношения к масонским ложам. Сам автор «Россияды» отрёкся от масонства — и был прощён.

Михаил Матвеевич не скрывал благодарности за то, что Державин «доставил ему Мецената, как некогда Гораций снискал

Виргилию благосклонность любимца Августова… Я хотя не Виргилий, но издали иду его путём, как вы проворнее меня идёте путём Горация».

А кто поможет самому Державину? В его царедворческой биографии не насчитаешь и семи бесконфликтных дней…

Новый секретарь не стал для Екатерины «своим», как Храповицкий, — и не обольщался на этот счёт. Оно и к лучшему: возможно, Державина оскорбили бы проявления фамильярности, которые для Храповицкого были дороже чинов и титулов. Уж как лихо императрица вышучивала чрезвычайную потливость тучного Александра Васильевича, его привязанность к Бахусу — а он только улыбался и снова потешно потел с похмелья. «Приятный, острый Храповицкий».

К Державину не было полного доверия! Вот неутомимый Попов отобрал для императрицы бумаги Потёмкина — его планы, предложения… Всесильный князь умер, но нужно было продолжать его начинания. Между прочим, Потёмкин с того света ходатайствовал о награждении Державина орденом Святого Владимира 2-й степени. Оказалось, что это не входило в планы Екатерины: «Он должен быть мною доволен, что взят из-под суда в секретари, а орден без заслуг не даётся». Державину и вправду ордена не давались легко…

Императрица рада была видеть поэта в праздничные дни, но еженедельные отчёты Гаврилы Романовича о сенатских делах её утомляли. Екатерина сумела оценить въедливость Державина: такой, пожалуй, землю станет грызть, выполняя самое муторное поручение. Вяземский был не прав: Державин не витает в поэтических фантазиях, он способен к кропотливой работе с бумагами, с фактами, со свидетельствами. У него другой изъян: прямолинейность. В другой среде Державин, наверное, казался бы хитрецом и дипломатом, но в окружении Екатерины блистали такие очаровательные лицемеры… На их фоне почти пятидесятилетний Державин выглядел эдаким неотёсанным мужланом.

Державин знал, что прямота в суждениях — лучший способ наживать врагов. Но жизнь придворная и жизнь литературная сложнее арифметических действий. Если бы Державин сломал себя, превратился в сговорчивого, мягкого собеседника царей и их фаворитов — он потерял бы лицо. Вершителям судеб земных бывают нужны и опасные, резкие правдолюбы. Державин давно понял: нельзя соскакивать со своего конька. Он и в «Записках» не упускал случая вспомнить (не без гордости), как снова и снова страдал из-за того, что резал правду. Видит Бог, он не столько жаловался на горькую судьбину, сколько бравировал лихим

правдолюбием. Какое застолье без солёного огурца? Он чрезвычайно уместен даже рядом с самыми изысканными и экзотическими блюдами! Вот и на пиршестве Екатерины Великой рядом с Безбородко, Зубовым, Храповицким нашлось место для Державина. Без него палитра оказалась бы неполной, блекловатой. Зубова он превосходил как законник и управленец, Храповицкого — как поэт, литератор. Энергичный сенатор, борец со мздоимством, при этом — остроумный поэт и немножко фрондёр — такую роль отводила Державину Фелица в своей главной сказке.

Служебные обязанности отнимали по семь часов каждый божий день. Редко удавалось вырвать день-другой для литературных занятий. Только оды государственного значения — когда от «заказа» не отвертеться. Но авторское честолюбие в Державине не угасало, о чём сохранились воспоминания Ивана Ивановича Дмитриева:

«Державин уже был статс-секретарём. Однажды входят в кабинет его с докладом, что какой-то живописец из русских просит позволения войти к нему. Державин, приняв его за челобитчика, приказывает тотчас впустить его. Входит румяный и слегка подгулявший живописец, начинает высокопарною речью извинять свою дерзость, происходящую, по словам его, единственно от непреодолимого желания насладиться лицезрением великого мужа, знаменитого стихотворца и пр. Потом бросается целовать его руки. Державин хотел отплатить ему поцелуем в щёку. Живописец повис к нему на шею и насилу выпустил из своих объятий. Наконец он вышел из кабинета, утирая слёзы восторга, поднимая руки к небу и осыпая хозяина хвалами. Я приметил, что это явление не неприятно было для простодушного поэта».

Визитёр, конечно, воодушевился и стал посещать Державина почти ежедневно. Он осмелел, освоился в доме поэта и не замечал, что вечером, после службы, у Гаврилы Романовича едва хватает сил на усталую улыбку и тихий кивок. И вот уже Державин жалуется друзьям: как освободиться от назойливого поклонника? Отказать от дома? Всё это чрезвычайно неприятно. Державину хотелось выслушивать восторги, хотя он всегда картинно смущался и лукаво призывал молодых людей читать Ломоносова или Пиндара. Друзья находили в таких замашках поэта очаровательное простосердечие.

ДЕЛО ЯКОБИЯ

Державин гордился: ему удалось спасти невиновного от неправедного суда. Иркутский генерал-губернатор Иван Варфоломеевич Якоби (Якобий) никогда не был другом поэта. Дело это попало к Державину несколько позже первого поручения насчёт банкира-самоубийцы, но завершил он его до развязки Сутерландова дела.

Якоби вёл переговоры с китайцами о статусе Монголии. Мало кто в те годы так досконально знал русский Дальний Восток. Да, Якобий видел себя щитом и мечом империи в этих краях.

Дипломат оказался храбрым солдатом. Якоби отличился в турецкую войну: «во время атакования неприятельских войск, сделавших в 774 году при Алуште десант на Крымские берега, переводя тогда составленной из гренадер каре против правой стороны неприятельскаго ретраншамента, где самое сильнейшее сопротивление было, штыками отворил себе дорогу, преодолел и опрокинул неприятеля и овладел ретраншаментом с пушками, где получил контузию».

Он благополучно погубернаторствовал в Саратове и Уфе, но душа рвалась в Сибирь…

В 1783 году Иван Варфоломеевич выпросил себе службу в Сибири, стал иркутским и колыванским генерал-губернатором. В Иркутске, где располагался его скромный дворец, Якоби жил, «как сатрап или сибарит». Державин, как известно, сибаритов не жаловал. Но вот Якоби обвинили в государственной измене, в коварных сношениях с китайцами… В вину ему были поставлены корыстные и честолюбивые планы: дескать, он намеревался разжечь войну с Китаем и нажиться, используя положение губернатора прифронтовых краёв… Прилагались и другие обвинения, более будничные, — самоуправство, неуважение к Сенату. Таким гарниром нетрудно обложить любого наместника.

Императрица не сомневалась: Якоби виновен. Слишком уж он честолюбив, верно, хочет отличиться на дипломатическом фронте в новой большой войне. Когда над головой проштрафившегося генерала начали собираться тучи, императрица обронила афоризм: «Если бы он был горд и если бы у него было сердце, то теперь бы уже зарезался». Не столь важно, была ли эта фраза произнесена в действительности. Главное, что молва пошла по всем дворцовым залам Петербурга и добралась до самого Якобия, который не рассчитывал на снисхождение.

Целый год Державин вёл расследование — по обыкновению, скрупулёзно и размашисто. Блистать в высшем обществе,

позировать на фоне побед любили все вельможи. Но чиновничья рутина приятна, как зубная боль. «А у меня, что дело, что не дело, обычай мой такой: подписано, так с плеч долой» — эта реплика из комедии Грибоедова годится для сотен сенаторов и губернаторов всех времён.

Если есть в истории России полная противоположность Фамусову — то это Державин. Даже неприятное, тошнотворное дело он распутывал до конца — как одержимый. Куда-то ездил, проснувшись спозаранок, беседовал с недружелюбными людьми, находил правду в документах. Не из любви к сибариту Якобию, а потому, что он был *Державиным, который поддерживал правосудие.*

И к этой одержимости он требовал уважения! Смело обременял императрицу многотомным крючкотворством, надеялся, что и она станет вникать в нюансы злоключений Якобия. И ведь Гаврила Романович не испытывал никакой симпатии к иркутскому сатрапу! Просто не смел отступиться, не смел опустить руки, если уж взялся за дело.

Целый год Якобий не выходил у него из головы — и вот настало время отчёта. Императрица велела Державину доложить ей обстоятельства дела — и изумилась, «когда целая шеренга гайдуков и лакеев внесли ей в кабинет превеликие кипы бумаг». Бумаги заполнили залу от стены до стены, от паркета до потолка. «„Что такое? — спросила она. — Зачем сюда такую бездну?“ — „По крайней мере, для народа, государыня“, — отвечал Державин. „Ну, положите, коли так“, — отозвалась с некоторым родом неудовольствия. Заняли несколько столов. „Читай“. — „Что прикажете: экстракт сенатский, или мой, или которую из докладных записок?“ — „Читай самую кратчайшую“. Тогда прочтена ей которая на двух листах. Выслушав и увидя, что Якобий оправдывается, проговорила, как бы изъявляя сомнение на неверность записки: „Я не такие пространные дела подлинником читала и выслушивала; то прочитай мне весь экстракт сенатский. Начинай завтра. Я назначаю тебе всякий день для того после обеда два часа, 5-й и 6-й“».

Старательный кабинет-секретарь воспринял это предложение как знак доверия. Каждый день после обеда он прилежно тревожил императрицу делом Якобия. Но императорское терпение таяло. Подчас Екатерина резко прерывала очередной доклад о «покорителе Китая», переводила разговор на менее пресную тему. Но на следующий день Державин снова являлся с кипой бумаг и продолжал, как пономарь, занудливо вслух читать материалы дела. И снова нужно было вникать в намерения бывшего иркутского губернатора. Разумеется, ни стужа, ни ливни

не останавливали Державина. И однажды, поздней осенью, в ненастье, Екатерина велела камердинеру Тюльпину поинтересоваться у Державина: «Как такая стужа вам гортани не захватит? Удивительно». Державин счёл это очередной милой шуткой Фелицы. Впрочем, её юмор больше не восхищал поэта. Всё-таки это была игра в одни ворота. Мало кто отваживался ответить императрице шуткой на шутку. Но Державин понимал: с каким-нибудь деспотом было бы труднее, а императрица отходчива.

Державину удалось убедить императрицу в своей правоте по делу Якобия. После нескольких докладов она уже поглядывала на него с одобрительным любопытством. Надо думать, её заинтересовало сочетание поэтических способностей и юридического упорства в одном человеке. К тому же Державину удавалось перемежать доклады шутливыми замечаниями — отныне он не удручал, а радовал Екатерину. Она уже ждала державинских докладов. Вердикт гласил: «Читано пред нами несколько тысяч листов под названием сибирского якобиевского дела, из коего мы иного не усмотрели, кроме ябеды, сплетен и кляуз».

Державин воодушевился, строил планы… Но благоприятное положение если и может измениться, то только к худшему!

«Он во время доклада сего дела сблизился было весьма с Императрицею по случаю иногда разсуждений о разных вещах; например, когда получен трактат 1793 году с Польшею, то она с восторгом сказала: „Поздравь меня с столь выгодным для России постановлением“. Державин, поклонившись, сказал: „Счастливы Вы, Государыня, что не было в Польше таких твёрдых вельмож, каков был Филарет; они бы умерли, а такого постыдного мира не подписали“. Ей это понравилось. Она улыбнулась и с тех пор приметным образом стала отличать его, так что в публичных собраниях, в саду, иногда сажая его подле себя на канапе, шептала на ухо ничего не значащие слова, показывая будто говорит о каких важных делах». Что это значило? Только ли дань остроумию поэта?

Державин склонен был считать, что такие манёвры императрицы связаны были с самым таинственным предприятием последних лет её царствования — документом, который регламентировал переход власти от императрицы к внуку, в обход сына. И Державин должен был стать поверенным в этих делах! Миссия сколь ответственная, столь и опасная. Но — не случилось.

Главным хранителем тайны стал граф Безбородко. После смерти Екатерины он быстро переориентировался и помог Павлу

избавиться от таинственного документа. Ушлый дипломат рассудил, что устранение Павла может ввергнуть страну в новую смуту. Генерал Бонапарт орудовал в Европе — и новый всплеск самозванчества на Руси обернулся бы кровавым пожаром.

И Павел осыпал Безбородко наградами: возвёл в княжеское достоинство, сделал канцлером, одарил поместьями и новомодным орденом Святого Иоанна Иерусалимского. Его — сподвижника императрицы, память о которой Павел пытался свести на нет. Вскоре Безбородко не станет — и Державин откликнется на его смерть не самым великодушным образом:

> Он мне творил добро, —
> Быть может, что и лихо;
> Но умер человек, не входит в небо зло.
> Творец! мольбе моей вонми:
> В объятие Своё, в сиянье тихо
> И слабости его прими.

Тут всё ясно: манёвры ушлого политика нередко мешали Державину в пору его секретарства и президентства в Коммерц-коллегии.

…Настроение стареющей императрицы менялось быстро. Она то притягивала, то отталкивала Державина. В придворном космосе не только паркеты скользкие — расшибить голову можно и на сырой земле. Для Державина едва не стала роковой развесёлая игра в горелки. Что может быть беззаботнее? Старинная славянская забава, связанная с обрядом выбора невесты. Однако ж… Всё начиналось лучезарно: в отменном настроении Державин возвращался домой, оставив императрицу в саду…

> «Она под тению дерев сидела, несколько задумавшись; то придворные старались её всячески увеселить, а для того и зачали играть в вышеописанную игру. Товарищ автора г. Турчанинов, подошедши к нему, просил убедительно, чтоб по немногому числу кавалеров и он играл. Согласился, и побежали великие князья, а за ними он; на покатистом лугу поскользнувшись, со всего маху упал и выломил себе руку. Без чувства почти великие князья его подняли и отвели сами в его покои, стараясь ему дать всевозможную помощь. Сей столь непредвидимый неприятный случай и был политическим падением автора, ибо в сие время вошёл было он в великую милость у императрицы, так что все

знатнейшие люди стали ему завидовать; но в продолжении шести недель, на излечение его употреблённых, когда он не мог выезжать ко двору, успели его остудить у императрицы, так что, появясь, почувствовал он её равнодушие».

Вот так. Лужайка, великие князья, смех — и прибаутка, звучащая на десятки голосов:

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
Глянь на небо — птички летят,
Колокольчики звенят,
Гляди — не воронь, беги, как огонь!

Коварная игра, что и говорить.

Травма не вызвала сочувствия императрицы. В отсутствие Державина её усердно настраивали против «певца Фелицы». Но не только в злопыхателях дело. Екатерина постоянно сомневалась в Державине: временами он казался ей полезным, пригодным для службы, верным, но всякое воспоминание о тёще Державина — кормилице Павла — портило кровь.

Почувствовав, что монаршая милость сменилась холодком, Державин себе в утешение сочинил лукавые вирши — «Горелки»:

На поприще сей жизни склизком
Все люди бегатели суть:
В теченьи дальнем или близком
Они к мете своей бегут.

И сильный тамо упадает,
Свой кончить бег где не желал:
Лежит; но спорника, — мечтает, —
Коль не споткнулся бы, — догнал.
Надеждой, самолюбья дщерью,
Весь возбуждается сей свет;
Всяк рвенье прилагает, к рвенью,
Чтоб у передних взять перед.

Хоть детской сей игре, забаве
И насмехается мудрец,
Но гордый дух летит ко славе,
И свят ему её венец.
Сие ристалище отличий,
Соревнование честей,

Источник и творец величий
И обожение людей;

Оно изящного содетель,
Великолепен им сей свет:
Превозможенье, добродетель
Лишь им крепится и растет.

О! вы, рожденные судьбою
Вождями росским вождям быть,
Примеры подавать собою
И плески мира заслужить!

Дерзайте! рвение полезно,
Где предстоит вам славы вид;
Но больше праведно, любезно,
Кто милосердьем знаменит.

Екатерине подражая,
Ея стяжайте вы венец;
Она, добротами пленяя,
Царица подданных сердец.

Финальная похвала императрице, откровенно говоря, получилась фальшивой. Ведь здесь так и сквозит обида, аж зубы дерёт. Для поприща управленческой карьеры Державин находит одно определение — склизкое оно! Есть в «Горелках» ощущение бессмысленной придворной конкуренции — в игровой кутерьме вокруг трона.

НЕ УКРАШЕНИЕ ОДЕЖД…

Государственная машина внушительно выглядит на расстоянии, но как отвратительны её кочегары, когда к ним приглядываешься… Державин мечтал исправлять нравы — и решил, что для этого благих пожеланий мало, необходим литературный кнут. Никак не выходила из головы давнишняя читала-гайская ода «На знатность».

Написать такую оду — немыслимо для приближенного к престолу чиновника и для придворного поэта. А Державин не только написал «Вельможу», но и опубликовал, отбросив все сомнения. Правда, при Екатерине Державину эти стихи напечатать не удалось, но в списках ода ходила — а это в те годы означало полноценную публикацию. Державин сперва отказывался от авторства, хотя читатели сразу узнавали руку мастера, а друзья поэта знали наверняка, кто автор гневной сатиры. В декабре 1794 года, вскоре после создания оды, Бантыш-Каменский докладывал князю Куракину; «Появилось ещё одно едкое сочинение „Вельможа“. Все целят на Державина, но он отпирается». А как тут не отпираться?

Это не бунт, не фронда — это просто широкий шаг истинно независимого мыслителя, честного дворянина.

Пожалуй, самая ответственная строфа оды — первая. Зачин, начальный аккорд, который должен заинтриговать, покорить музыкой стиха и озадачить острой темой:

Не украшение одежд
Моя днесь муза прославляет,
Которое в очах невежд
Шутов в вельможи наряжает;
Не пышности я песнь пою;
Не истуканы за кристаллом,
В кивотах блещущи металлом,
Услышат похвалу мою.

Перед нами одна из самых гармоничных строф Державина. Поэт сразу втолковывает: это не традиционная ода во славу героев и монархов. Скорее — антиода, в которой не место похвалам. Изнанку блистательного екатерининского двора не принято было демонстрировать.

Такой острой сатиры русская литература ещё не знала. Даже Фонвизин не замахивался на сильных мира сего столь

откровенно. А Державин не мог сдержать возмущения. Если видел порок — тут же объявлял ему войну. И рассказывал об этом не шёпотом, а во весь голос:

А там израненный герой,
Как лунь во бранях поседевший,
Начальник прежде бывший твой,
В переднюю к тебе пришедший
Принять по службе твой приказ, —
Меж челядью твоей златою,
Поникнув лавровой главою,
Сидит и ждёт тебя уж час!

Кто это — Суворов? Нет, скорее — Румянцев, образ которого Державин в «Вельможе» противопоставляет временщикам и сибаритам. В нём виделось воплощение идеальных героев Античности, воспетых Плутархом. «Камилл был консул и диктатор римский, который, когда не было в нём нужды, слагал с себя сие достоинство и жил в деревне. Сравнение сие относится к гр. Румянцеву-Задунайскому, который, будучи утесняем через интриги кн. Потёмкина, считался хоть фельдмаршалом, но почти ничем не командовал, жил в своих деревнях. Но по смерти кн. Потёмкина, получа в своё повеление армию, командовал оною и, чрез предводительство славного Суворова обезоружа Польшу, покорил оную российскому скипетру», — поясняет автор.

Державин сражается не только с вельможным высокомерием, но и с жёлтым дьяволом. Приглядимся: «меж челядью твоей златою», «се образ черни позлащенной». Зло сверкает золотом, истинное благородство поблёскивает сединой.

Любой актёр расскажет, как трудно декламировать державинского «Вельможу». И не только из-за архаичного, допушкинского тона. В «Вельможе» контрастно сочетается несочетаемое: саркастический хохоток и вдохновенное лирическое признание, громогласное, честное резонёрство и апокалиптический ужас. Теряется нить, приходится постоянно менять интонацию, нужно за семь минут побывать и сильным, и слабым, и демиургом, и маленьким человеком. Только у Державина получалось всё это связать воедино так, чтобы стихотворение не распадалось на куски. По канонам классицизма это форменное варварство. Тут уж — песни отдельно, а пляски отдельно. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм… Все определения литературных стилей, конечно, условны, особенно когда речь идёт о столь нетрафаретном художнике, как Державин. В его пиршественном меню всего вдоволь! Вот

Ломоносов никогда не перемешал бы ёрнический «Гимн бороде» с «Вечерним размышлением о Божием величестве». Державин, поклонявшийся Ломоносову, нашёл себя в яростной пестроте красок.

Державин сам был вельможей, крупным сановником. И у него в коридоре, бывало, толпились просители, и к нему приходили письма со слёзными жалобами… И в Сенате был не сторонним свидетелем. Там он служил, работал, всё видел собственными глазами. И точно знал, что имеет в виду, когда рифмовал:

Осёл останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.

Державин очаровательно прокомментировал эти строки: «Автор, присутствуя тогда в сенате, видел многих своих товарищей без всяких способностей, которые, слушая дело, подобно ослам, хлопали только ушами».

Поведал и про несчастную вдову с грудным ребёнком: «Вдова Костогорова, которой был муж полковник, оказывал многие услуги Потёмкину и был из числа его приближённых, имел несчастие, поссорясь за него, выйти на поединок с известным Иваном Петровичем Горичем, храбрым человеком, который уже после был генерал-аншефом; сей убил его выстрелом из пистолета, как говорили тогда, умышленно тремя пулями заряжённого; вдова Костогорова после смерти мужа, прося покровительства князя, часто хаживала к нему и с грудным младенцем на руках стаивала, ожидая на лестнице его выезду».

Державин был строг к Потёмкину, подчас несправедливо его корил. Уж таким человеком был князь Григорий Александрович — многих задевал исполинскими плечами. Среди отзывов современников о Потёмкине преобладает злая критика. Кого только Потёмкин походя не обидел — хотя бы своей удачливостью.

В 1798 году ода «Вельможа» вышла в свет — уже не в списках, а в официальной печати. Получилось, скажем прямо, не вполне благородно. Публика в те дни воспринимала «Вельможу» как хлёсткий удар по князю Таврическому, а новый император Павел как раз принялся искоренять добрую память о Потёмкине. Вышло, что Державин своей смелой, дерзновенной одой «подпевал» императору. Даже к убийцам отца Павел относился снисходительнее, чем к тайному супругу матери. Державину был хорошо известен Василий Степанович Попов — ближайший

соратник Потёмкина, знаменитый правитель его канцелярии. Однажды Павел решил подвергнуть Попова изощрённой экзекуции: вызвал его и принялся бранить Потёмкина. Когда император патетически воскликнул: «О, как нам поправить неисчислимое зло, которое Потёмкин причинил России?» — Попов не удержался, ответил скороговоркой: «Есть одна мера. Отдайте туркам Крым, Новороссию и берег Чёрного моря».

Император потревожил даже могилу великого екатерининского администратора.

Державина это смущало, но он надеялся, что вдумчивый читатель поймёт: ода — не пасквиль на Потёмкина, таких временщиков после смерти Екатерины меньше не стало.

Война с вельможами спасла честь Державина в советское время. Кто ещё в XVIII веке так яростно обличал самодержавную политическую элиту? Тут и Пушкина можно припомнить:

> Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры
> Их горделивые разоблачал кумиры.

Бич вельмож — уважаемая фигура в советском литературном пантеоне, ему можно простить и гимны Екатерине. Певца империи признали классиком во времена ожесточённой борьбы с пережитками царизма…

Возможно, Державин не стал бы развивать давнюю оду «На знатность», если бы не исследовал хорошенько «обратную сторону Луны», будучи секретарём императрицы. Поверхностно он узнал двор ещё смолоду, когда служил в гвардии. Потом, к своему несчастью, изучил пёстрое сообщество картёжников.

Потом окунулся в тихую (только с виду!) заводь провинции, которую тогда не называли гоголевской, потому что Гоголь ещё не родился. Наконец, угодил в ближайшее окружение императрицы и убедился, что «украшение одежд» не более чем суета сует, а подчас и прикрытие разврата.

ЛАСТОЧКА И ОРЛИЦА

Нам мало известно о романтических похождениях Державина, хотя его неутомимость на этом фронте бесспорна. В те годы не принято было распространяться об амурных подвигах напрямую, без аллегорий. Ходасевич, следуя моде XX века, приписал Державину немало романов, целый батальон дам сердца. Биографу приходилось фантазировать: точными свидетельствами он не располагал. Гаврила Романович не был чрезмерно чувствительным: забавлялся, но не сгорал. А вот с Пленирой вышла загвоздка: прилепился к ней всерьёз и надолго. Лёгкие развлечения, конечно, продолжались и в годы их совместной жизни. Но… Когда кабинет-секретарская жизнь опротивела Державину, когда он чувствовал себя изгоем и одураченным правдолюбом, случилась размолвка с Катериной. Державин жил тогда в Царском, подле императрицы, хотя она редко желала его видеть. Он ждал, что Пленира сделает первый шаг навстречу, приедет в Царское… И написал ей такое письмо:

> «Мне очень скучно, очень скучно, друг мой Катинька, вчерась было; а особливо как была гроза и тебя подле меня не было. Ты прежде хотела в таковых случаях со мною умереть; но ныне, я думаю, рада, ежели б меня убило и ты бы осталась без меня. Нет между нами основательной причины, которая бы должна была нас разделить: то что такое, что ты ко мне не едешь?.. Стало, ты любишь, или любила меня не для меня, но только для себя, когда малейшая неприятность выводит тебя из себя и рождает в голове твоей химеры, которые (боже избави!) меня и тебя могут сделать несчастливыми. Итак, забудь, душа моя, прошедшую ссору; вспомни, что я уже целую неделю тебя не видел и что в середу твой Ганюшка именинник. Приезжай в объятия верного твоего друга».

Таких покаянных посланий Державин не писал никому, кроме Катерины.

В Тамбове, после нервных потрясений, она подхватила тяжёлую лихорадку. За считаные недели состарилась — и все надежды Державина на лекарей пошли прахом. Увядание 33-летней красавицы продолжалось в Москве и Петербурге. Всё реже Катерина Яковлевна вставала с постели. На прощание, ослабев от смертельной болезни, она дала Державину два мудрых совета.

Когда Гаврила Романович, не отходя от постели больной, несмотря на важные государственные дела, хотел отменить поездку в Царское Село, она молвила слабым голосом: «Ты не имеешь фавору, но есть к тебе уважение. Поезжай, мой друг. Бог милостив, может, я проживу столько, что смогу с тобой проститься».

Как это мудро!

Катерина Яковлевна знала, что Державину в последнее время стало трудно радовать императрицу новыми «забавными» стихами, — и решила собрать и переплести старые. Она вручила мужу тетрадь, в которую переписывала все его сочинения, — в этой книге императрица найдёт немало стихов, которые её обрадуют. Эта книга станет основой всех главных изданий поэзии Державина.

Похоронили её неподалёку от могилы Ломоносова.

Где добродетель, где краса?
Кто мне следы ея приметит?
Увы! Здесь дверь на небеса…
Сокрылась в ней — да солнце встретит!

Это четверостишие было помещено на мраморном памятнике с рельефным изображением женской фигуры, держащей в руках овальный медальон с профилем Плениры. Он не просто страдал — он переменился. «На другой день смерти первой жены его, лёжа на диване, проснувшись поутру, видел, что из дверей буфета течёт к нему белый туман и ложится на него, потом как будто чувствовал ласкание около его сердца неизвестного какого-то духа».

Он хотел было воспеть любимую в стихах, но в письме И. И. Дмитриеву признался: «Я… или чувствуя чрезмерно мою горесть, не могу привесть в порядок моих мыслей, или, как окаменелый, ничего и мыслить не в состоянии бываю». Получилось сбивчивое, нервное стихотворение — плач:

О домовитая ласточка!
О милосизая птичка!
Грудь красно-бела, косаточка,
Летняя гостья, певичка!
Ты часто по кровлям щебечешь,
Над гнёздышком сидя, поёшь;
Крылышками движешь, трепещешь,
Колокольчиком в горлышке бьёшь.

Через два года Державин снова вернулся к этому стихотворению и к последней строфе прибавил заключительные строчки:

Душа моя! Гостья ты мира!
Не ты ли перната сия? —
Воспой же бессмертие, лира!
Восстану, восстану и я;
Восстану — и в бездне эфира
Увижу ль тебя я, Пленира?

Друг Капнист тоже оплакивал Плениру. Но к стихотворению «Ласточка» у него нашлось немало претензий. Он посоветовал Державину превратить стихотворение в привычный четырёхстопный ямб и даже набросал «правильный» вариант «Ласточки». Но Державин на этот раз проявил непреклонность, предпочтя разболтанный стих.

Вместе с Пленирой умерла половина души поэта… Но недолго Державин метался в одиночестве, чем вызвал кривотолки и осуждение некоторых старинных знакомых. Строгие друзья в своём кругу журили Державина за быструю повторную женитьбу: «Ты утешаешь его стихами о потере Катер<ины> Яков<левны>, несравненной сея жены: потому что он говорит, я не хочу учиться… и для того Дарья Алексеевна хочет иттить за него замуж. Ну-ка, кто скажи, что действительнее?» — писал Львов Капнисту. Те, кто глубоко понимал Державина, ощущали, что это не предательство, что в одиночестве поэт просто не выживет, а память о Катерине Яковлевне осталась с ним навсегда.

Вроде бы это выглядит и впрямь некрасиво: через год после смерти любимой Плениры он — 52-летний вдовец — женился на давней своей знакомой Дарье Алексеевне Дьяковой, двадцати восьми лет от роду.

Державин давно приметил, что Дарья Алексеевна поглядывает на него с особым интересом. Она ещё при жизни Плениры простодушно признавалась, что лучшего жениха себе бы и не желала. Покойная Катерина Яковлевна к Дарье Дьяковой относилась дружески — и это тоже повлияло на выбор Державина. Опытный сердцеед сразу почувствовал, что с Дашей они уживутся. Но в декабре 1794 года, когда Державин сделал ей предложение, будущая муза продемонстрировала суховатую практичность: в первую очередь попросила у жениха расходные книги и две недели их изучала. Только убедившись в том, что Державин далеко не банкрот, ответила согласием. Вот такая любовь в доромантическую эпоху.

Сам поэт в «Записках» признался откровенно: «Не могши быть спокойным о домашних недостатках и по службе неприятностях, чтоб от скуки не уклониться в какой разврат, женился он генваря 31-го дня 1795 года на другой жене, девице Дарье Алексеевне Дьяковой». К тому же он породнился со Львовым и Капнистом — ведь Дарья была их свояченицей. Державин видел, что семейная жизнь его друзей сложилась счастливо, и потому испытывал доверие к семейству Дьяковых. Отныне они все трое были женаты на сёстрах.

Отец Дарьи Алексеевны, Алексей Афанасьевич Дьяков, сенатский прокурор и статский советник, был фигурой примечательной. Знал четыре языка, много читал по-русски и по-французски — особенно любил описания войн и путешествий. Женился не на ком-нибудь, а на княжне Авдотье Петровне Мышецкой, сестра которой была замужем за Бакуниным, братом известного дипломата. Словом, Державин, по примеру Львова и Капниста, приметил невесту из просвещённой семьи. Одно настораживало Державина: Даша писала по-русски хуже, чем по-французски… О времена, о нравы!

У Дьяковых было пять дочерей. Старшая, Александра Алексеевна, получила образование в Смольном. Она вышла замуж за Капниста, и жили они всё больше в Малороссии. Марья стала женой Николая Александровича Львова. Ну а Дарья досталась Державину. Четвёртая сестра, Екатерина, была за графом Стенбоком, а пятая — за Березиным. Она умерла в молодых летах и оставила дочь, вышедшую замуж за Фёдора Петровича Львова. У Львова и Березиной была большая семья, а один из сыновей — Алексей Фёдорович — прославился на музыкальной ниве и стал композитором, автором национального гимна Российской империи — «Боже, царя храни».

Все отмечали горделивую осанку, царственную стать Дарьи Алексеевны. Державин сравнивал её не с Венерой, но с Минервой. Она ни в чём не походила на Плениру. Почти не разбиралась в словесности, не отличалась остроумием и общительностью. Катерина Яковлевна была гостеприимна, каждого визитёра окружала вниманием. Подчас утомляла болтовнёй, но всё-таки была всеобщей любимицей. Для замкнутой, хмурой Дарьи Алексеевны публичная жизнь была тяжёлой повинностью. Радушие ей заменяла хозяйственность. И на Званке, и на Фонтанке мужики её боялись и под присмотром госпожи работали справно.

Державин старел, но второй жене давал больше поводов для ревности, чем первой. Частенько приходилось ему писать жене в таком духе: «Каково ты, милый и сердечный друг, почиваешь? Я

думаю, обезпокоена вчерашним вздором? плюнь, матушка: довольно, — я твой. Я иду к Арбеневу поутру сам хлопотать за твоего Поздеева и за Марью Алексеевну Беклемишеву. То-то ли вам не честь, что скажет по вашим комиссиям сенатор? Поеду в сенат. Не знаю, где обедаю, но только у вас буду. Будь, мой друг, спокойна».

По живости слога можно предположить, что подозрения не были напрасными.

Он придумал и ей ласковое поэтическое имя — Милена. В поэзии она останется как «Хозяйка статная, младая». Но рядом неизменно витает и образ незабвенной Плениры. Ему казалось, что Пленира завещает его Милене — об этом Державин рассказал и в стихах:

Я вижу, ты в тумане
Течёшь ко мне рекой!
Пленира на диване
Простёрлась надо мной,
И лёгким осязаньем
Уст сладостных твоих,
Как ветерок дыханьем,
В объятиях своих
Меня ты утешаешь
И шепчешь нежно в слух:
«Почто так сокрушаешь
Себя, мой милый друг?
Нельзя смягчить судьбину,
Ты сколько слёз ни лей;
Миленой половину
Займи души твоей».

Впрочем, иногда он в стихах окликал жену и реальным именем:

К богам земным сближаться
Ничуть я не ищу…
Душе моей покою
Желаю только я.
Лишь будь всегда со мною
Ты, Дашенька моя.

Но забыть Катерину Яковлевну не умел. «Часто за приятельскими обедами он (Державин) вдруг задумается и

зачертит вилкою по тарелке вензель покойной, — драгоценные ему буквы К. Д. Вторая супруга, заметив это несвоевременное рисование, всегда выводит его из мечтания строгим вопросом: „Ганюшка, Ганюшка, что это ты делаешь?“—„Так, ничего, матушка“, — обыкновенно с торопливостью отвечает он, потирая себе глаза и лоб, как будто спросонья». Всё-таки Жихарев был отменным мемуаристом, Державин здесь как живой.

В новгородском имении Званка вокруг Державина неизменно крутился его личный секретарь Абрамов, самый способный человек в деревне. Он выучился не только читать и писать, но показал себя одарённым рисовальщиком и архитектором. Он устраивал фейерверки, был своего рода режиссером народных празднеств. Державин нарадоваться на него не мог, даже обедать любил в обществе Абрамова. За господским столом секретарь вёл себя раскрепощённо. Трудно было не заметить, что всё чаще от него пахло водкой. Каждый в деревне рад был угостить барского любимца — как тут устоять? Однажды Дарья Алексеевна попросила супруга избавить её от общества деревенского пьянчуги. Но Державин был неумолим: «Ничего, душенька, делай, как будто ничего не замечаешь». Отказываться от дружбы с Абрамовым он не желал даже по просьбе жены… Мрачная, молчаливая Дарья Алексеевна воротила нос от весёленького секретаря, но мужу не перечила. Случались у неё приступы дурного настроения, благо поводы для ревности Анакреон давал ей частенько. Милена пыталась ограничить гастрономическую удаль Державина: его трудно было оторвать от понравившегося кушанья, это сказывалось на здоровье, хотя толстяком Державин так и не стал.

«Покрытый сединами, он был чрезвычайно приятной наружности: в хорошем расположении духа он обыкновенно припевал или присвистывал что-нибудь, или обращался стишками то к птичкам, которых было так много в комнатах, то к собачке своей Тайке, которую обыкновенно носил он за пазухой», — вспоминала Софья Васильевна Капнист-Скалон, дочь друга и племянница. Того же мнения придерживались и любимые племянницы — сёстры Львовы, да и молодые дочки соседей-помещиков. Державин превращался в образцового Анакреона!

ТРИУМФ И СТЫД ИЗМАИЛЬСКИЙ

«От судьбы не уйдёшь, и часто смертный удел настигает в дому человека, который бежал с поля брани. Труса никто не жалеет, никто не чтит; героя, напротив, оплакивает весь народ, а при жизни чествуют его, как божество», — писал спартанский поэт Каллин.

Вести с Дуная Державин получал ежедневно. Фантастические слухи чередовались с точными сведениями о бедах и победах русского воинства. Побед насчитывалось больше…

Разговоры о «национальной идее» нередко возникают от суеты и праздности. Россия — воинская цивилизация. Армия для нашей страны — сокровенная часть народной культуры, уж так распорядилась История. Национальная идея не может появиться как гомункулус, её невозможно вывести лабораторным путём. Она проявляется органично, в характере народа, в его судьбе. А всенародная сплачивающая идея в России давно есть. Она зашифрована в одном слове, которое мы пишем с большой буквы, — Победа. Она звенела мечами Дмитрия Донского на Куликовом поле, она высекала искры копытами кавалерии Меншикова под Полтавой. Её имя шептал рядовой Александр Матросов и во весь голос произносили орудия московских салютов.

Банальные любители «обратных общих мест» в России (как и везде) не переводились никогда. Некоторые из них с чаадаевских времён умело изливали на бумагу свои рефлексии, в которых пульсирует напряжение духовной жизни. В самобичевании, в огульном низвержении святынь, наверное, есть притягательность, сладкая отрава. Мы не раз увидим и новых ненавистников Петра Великого, для которых Полтава — не слава, а колыбель ненавистной империи. Им не по душе победы, они хотели бы видеть Россию маленькой озлобленной страной. Вот и пыжатся, чтобы победы в народном восприятии истории оказались в тени поражений. Медный всадник империи пугает их: ведь он окорачивает распри индивидуальностей во имя народного большинства. Он уничтожает очаги распада, декаданса.

Стоит только произнести: «Куликовская битва», «Полтава», «Измаил» — и сразу становится ясно, что объединяющая идея у русского народа давно уже есть — и она появилась на свет не в кабинете политтехнолога. В кабинете врут, а во поле — бьют! Державин никогда не увлекался идеологическими химерами чужестранного происхождения.

Что такое — самодержавие, прославленное Державиным? Ещё

во времена Московского царства русские если не понимали, то чувствовали, что политика греховна. Самодержец принимает на себя грех — и мы отвечаем ему почтением, немыслимым для Европы. Он — хозяин земли Русской, помазанник Божий. Это не ритуальная проформа, но скрепа, к которой следует относиться всерьёз. Цеховая культура в русских городах развивалась робко. Куда важнее оказались монастыри — вот очаги культуры и ремёсел Древней Руси. И тут важно, что монастыри — это пространство, в котором нет и не может быть частной собственности и римского права.

Во времена Державина уже различали самодержавие и самовластье. Это очень удобно: если власть перегибает палку, если государь обезумел — сие не самодержавие, а самовластье. И все довольны.

Иногда мне кажется: а может быть, Россия действительно отстала от просвещённых европейцев? Быть может, прихоти индивидуальности нужно ставить выше интересов государства и монарха, а мы заигрались в языческое обожествление державы? Но потом я вспоминаю Париж, Берлин или Мадрид, и сомнений не остаётся: там ничуть не лучше. При желании в любом городе можно найти тысячу поводов для восхищения и разочарования, но в преферансе цивилизаций у каждой из них свои козыри, а победителей не бывает.

Державин воспевал победное шествие империи. Потёмкин прислал в Петербург с вестью об измаильской победе Валериана Зубова — брата фаворита, в чьих комнатах в тот день случилось быть Державину… На радостях поэт тут же пообещал вестнику победы написать оду о взятии Измаила! Платон Зубов прямо объявил Державину: можно сколько угодно писать во славу Потёмкина. Не следует только принимать от князя Таврического дары: ты и без него всё иметь будешь… Императрица намеревалась произвести Державина в личные секретари «по военной части». Значит, надобны военные оды!

И получилось широкое батальное полотно, посвящённое победительному Россу и императрице. Суворова Державин не упомянул. Друзья (в том числе новый «редактор» Державина — молодой Иван Дмитриев) предложили ему немало поправок, большую их часть поэт отверг. Это самая удачная воинская ода Державина — а последняя строфа годится для самого величественного монумента:

А слава тех не умирает,
Кто за отечество умрет;
Она так в вечности сияет,

Как в море ночью лунный свет.
Времен в глубоком отдаленьи
Потомство тех увидит тени,
Которых мужествен был дух.
С гробов их в души огнь польется,
Когда по рощам разнесется
Бессмертной лирой дел их звук.

После «Фелицы» и «Бога» в глазах читателей именно измаильская ода стала третьей вершиной Державина. Она разошлась колоссальным по тем временам тиражом (к сожалению, и по нашим тоже, если говорить о поэзии) — аж три тысячи экземпляров. Императрица откликнулась подарком — табакерка, усыпанная алмазами, стоила две тысячи рублей. Но главной наградой были её слова, которые повторяла придворная молва: «Не знала по сие время, что труба ваша столь же громка, сколь и лира приятна!»

Суворов изнывал: он разгромил отборные турецкие войска при Фокшанах и Рымнике, стал графом двух империй — Российской и Священной Римской. А Державин молчал, не уделил ему ни строки. Ода «На взятие Измаила» стала удачной во всех отношениях. Главное — Державину удалось написать хорошие стихи. Но Суворова державинская героика оскорбила. Он как будто получил удар в спину: ведь Державин не соизволил даже походя упомянуть его в многословной оде! Державин в прежние времена высокопарно писал о Потёмкине, о Румянцеве — а Суворова даже не упомянул! И хотя Суворова в стихах об Измаиле воспел Ермил Костров, полководец ощутил страшное чувство «измаильского стыда». В этом суворовском определении — разочарование победителя, ужас обманутых надежд.

В Таврическом дворце состоялся невиданный праздник. Чествовали победителей — в первую очередь Потёмкина. В честь императрицы Екатерины и князя Таврического Потёмкина звучали новые стихи Державина, сопровождавшиеся музыкой Бортнянского и Козловского — лучших композиторов того времени: «Гром победы, раздавайся! Веселися, храбрый Росс!» Суворов на празднике не появился: его отослали в Финляндию строить укрепления на случай войны со Швецией. Он всё-таки прочитал державинские «Хоры», исполненные в Таврическом дворце. Суворов не пропускал новинок Державина.

Разочарованный Суворов писал в Финляндии меланхолические письма Хвостову и даже набросал пародию на «Хоры» Державина:

Одной рукой он в шахматы играет,
Другой рукою он народы покоряет.
Одной ногой разит он друга и врага,
Другою топчет он вселенны берега.

Разумеется, это про Потёмкина, который много лет был покровителем Суворова. Без потёмкинской проницательности вряд ли полководческий гений Суворова развернулся бы должным образом.

Тем временем Державин, очевидно, ощущая щекотливость ситуации, посылает Суворову из Царского Села в Роченсальм два стихотворения. Прочитаем их повнимательнее: это первые стихи Державина, в которых был напрямую выражен образ Суворова:

Не всякий день мы зрим Перун небес,
Которым Божий гнев разит злодеев,
Но часто тучки лишь. — Почий, наш Геркулес,
И ты теперь среди твоих трофеев.

В письме Д. И. Хвостову Суворов настороженно пишет: «Гавриила Романовича постигайте Геркулесов стих; усыпляет покоем, ведёт в ничтожество, соучастник сему Платон Александрович».

«Стыд измаильский» сделал Суворова несколько мнительным — и он уже готов видеть происки враждебных придворных группировок даже в дружеских посланиях Державина. Конечно, поэт не хотел сказать, что все победы Суворова в прошлом, а в настоящем пожилому генерал-аншефу остаётся лишь почивать на лаврах. Но Суворов с тревогой вчитывался в строки сановитого поэта. Двусмысленные строки обидели Суворова: казалось, Державин намекает на бренность его побед. Становиться бессмысленным «трофеем» Суворову не хотелось. Во втором четверостишии, посвящённом памятной измаильской медали, на которой Суворов, как Геркулес, был изображён в шкуре Немейского Льва, Державин словно старался сгладить впечатление от вырвавшейся колкости, исправить впечатление:

Се Росский Геркулес:
Где сколько ни сражался —
Всегда непобедим остался,
И жизнь его полна чудес!

Сам Суворов, словно вступив с Державиным в поэтическое соревнование, пишет невесёлые строки о своём пребывании в Финляндии. Он был разочарован. Тем временем Потёмкин впервые стал заказчиком Державина. Князь пригласил поэта на обед, восхищался «Хорами» и предложил составить описание праздника.

Получилось «Описание торжества бывшего по случаю взятия города Измаила в доме генерал-фельдмаршала князя Потёмкина-Таврического, близ конной Гвардии, в присутствии императрицы Екатерины II, 1791 года 28 апреля». Этот прозаический (с вкраплением стихов) панегирик действует на воображение с чрезвычайной силой. Впечатлительный Константин Батюшков едва не потерял голову, зачитавшись праздничной хроникой Державина:

«Тишина, безмолвие ночи, сильное устремление мыслей, поражённое воображение — всё это произвело чудесное действие. Я вдруг увидел перед собою людей, толпу людей, свечи, апельсины, бриллианты, царицу, Потёмкина, рыб и бог знает чего не увидел: так был поражён мною прочитанным. Вне себя побежал к сестре. „Что с тобой?“ —„Оно, они!“ — „Перекрестись, голубчик!..“ Тут-то я насилу опомнился».

Что же так взволновало Батюшкова? Отзвуки победного века Екатерины, который сравнивали с золотым веком древней Эллады. Торжественные картины, высокопарные риторические вопросы:

«Сто тысяч лампад внутри дома: карнизы, окна, простенки, всё усыпано чистым кристаллом, наполненным возжжённого белого благовонного воску. Гранёные паникадила и фонари, висящие с высоты, а со сторон позлащённые светильники, одни как жар горят, а другие как воды переливаются и, совокупляя лучи свои в весёлое торжественное сияние, всё покрывали светозарностию. Какой блеск! Волшебные замки Шехеразады! сравнитесь ли вы с сим храмом, унизанным звёздами, или лучше с целою поднебесностию, увешанною солнцами? Бессмертные певцы храмов вкуса и славы! почто вы не видали сего великолепия? — Что я вижу? тут играет яркий и живый луч, и как бы зноем африканского лета притупляются взоры. Там, как бы в пасмурный день, разливается блеск тонкий и умеренный: я весь в зарях. Окна окружены звёздами. Горящие полосы звёзд по высоте стен простираются. Рубины, изумруды, яхонты, топазы блещут».

На это описание можно взглянуть беспощадно, в духе Руссо. Слишком много условностей, роскошное эпикурейство граничит с пошлостью — не так ли? Но как не поддаться обаянию сильной державы, которая стремилась вперёд и ввысь? Как не восхититься

духом триумфа?

Державин самолично отвёз Потёмкину выполненную работу. Князь пригласил его было остаться обедать, но, пробежав текст, осерчал и без прощания удалился, оставив Державина в канцелярии, наедине с Поповым. То ли светлейшему не понравилось, что в панегирике поэт почтительно упомянул Орлова и Румянцева, то ли неуместными показались легкомысленные мотивы, связанные с образом «сына неги» и «нежного воздыхателя». Не таким желал видеть себя в стихах победитель!

Болезнь сделала Потёмкина раздражительным, торопливым, нетерпимым. Князь надеялся, что Державин увековечит его как великий, но послушный живописец — во всём великолепии. А Державин позволил себе иронию, не побоялся упомянуть и других влиятельных вельмож, а также полководцев… Но главное — в другом. Потёмкин разгадал истинную причину манёвров Державина: да-да, поэт боялся не угодить Зубову! Это взбесило светлейшего. Неужели Державин — этот просвещённый патриот, истинный росс, прошедший путь от солдата до статского генерала, не видит разницы между Зубовым и Потёмкиным? Неужели не понимает, что Зубовы не способны ни на покорение Крыма, ни на победу над Османской империей? Державин много лет вращается среди сановников, сам занимал и занимает ответственные посты — ему ли не понимать, что каждая дипломатическая победа требует циклопических усилий, для которых Платон Зубов попросту жидковат. Он всё понимает, этот певец Фелицы! Но страшится нового временщика, а великого Потёмкина — не страшится! Почему Державин ни разу не высмеял Зубова? Да просто он стал карманным стихотворцем Зубовых, они пригрели его, любимца муз! Позолотили лиру — он и запел.

Соперникам Потёмкина, напротив, показалось, что Державин льстит могущественному правителю. Так считал и Александр Васильевич Суворов, которого Державин не упомянул ни в «Хорах», ни в описании. Полководец попал в воронку придворной интриги, рассорившей его с Потёмкиным…

Державину (и не ему одному!) приходилось метаться между двумя партиями: зубовской и потёмкинской. Платон Зубов не надеялся искоренить влияние Потёмкина, он вынужден был мириться с существованием этого могущественного соправителя Екатерины, который побывал и фаворитом, и мужем императрицы. Но Державин понимал, что Зубов обрадуется, увидев, что он относится к Потёмкину не без иронии. Державину хотелось заслужить благосклонную улыбку Зубова.

Поэту минуло пятьдесят. Умирали старые друзья и недруги. Бывший генерал-прокурор Вяземский — властный, насмешливый вельможа — давно увядал. После отставки он был безопасен для Державина — и, надо думать, их взаимная ненависть утихла. Державина и Вяземского многое объединяло — не только десятилетие совместной службы. В конце концов, оба они боролись со мздоимством, оба заслужили имидж неподкупных… Узнав о смерти Александра Алексеевича Вяземского, Державин взялся за перо:

В усердии его к отечеству отверстом
Не спорит враг и друг, ни истина, ни лесть,
И слов над гробом сим не стыдно произнесть:
Он мог быть Сюллием при Генрихе четвертом.

Вяземский хорошо знал Державина дофелицианского периода — Гаврила Романович слыл тогда второстепенным стихотворцем, был беден и пытался выслужиться перед генерал-прокурором. Державин так и остался для Вяземского маленьким человечком, который прославился по глупости, на несерьёзном поприще. Вяземский не сомневался: если государыня станет опираться на стихотворцев и златоустов — империя погибнет. Но эпитафия у Державина вышла вполне почтительная.

Герцог Сюлли — французский управленец XVI–XVII веков, чиновник со стальной крепкой хваткой. История запомнила его как противника роскоши, сурового правдолюба. Запомнила его поразительную бережливость. Если бы Вяземский увлекался историей — его бы, несомненно, порадовало сравнение с «Сюллием». Он и впрямь ничем не уступал знаменитому французу! Почти 30 лет князь, по существу, возглавлял судебную систему империи, прибирая к рукам всё больше полномочий. Бантыш-Каменский писал про него: «Чрезвычайно трудолюбив, враг роскоши, но скуп и завистлив» — исчерпывающая аттестация!

Но следовало примириться с Потёмкиным. Державин посетил его в Царском Селе. Попов предложил поэту выбрать для себя любую награду. Державин от просьб воздержался. Князь не выказывал обиды, пригласил Державина «к себе в спальню, посадил наедине с собою на софу и, уверив в своём к нему благорасположении, с ним простился». Простился. Он уже собирался в дорогу — на юг. То была последняя дорога Потёмкина.

ПОЖАР В ЕВРОПЕ

Потёмкин создал недурственную шпионскую сеть, которая шустро переигрывала противника в Османской империи. Приходили доклады и из Франции, там назревали невиданные события. Кто взбунтовался? То ли аристократы, то ли буржуа. Когда пришли известия о падении Бастилии, Петербург почему-то возликовал. А Екатерина заявила Храповицкому не без высокомерия: «Зачем нужен король? Он всякий вечер пьян, и им управляет кто хочет, сперва Бретейль, партии королевиной, потом принц Конде и граф д'Артуа и, наконец, Лафайет; уговаривали его идти в собрание депутатов».

Императрица и её орлы-соратники надеялись, что Франция ослабнет и откажется от имперских амбиций. Мощный конкурент выбывал из большой политической игры — как тут не порадоваться?

На публику Екатерина выносила совсем иные суждения: Россия не останется равнодушной к судьбе добродетельного короля. Варвары разрушают престолы и храмы. Под личиной свободы — сего обманчивого призрака народов — приходят безначалие и варварство…

Русские подданные, согласно повелению Екатерины, покинули бурлящий Париж.

На казнь Людовика XVI Екатерина — для приличия, для молвы — откликнулась суровым высказыванием: «Нужно истребить всех французов — так, чтобы и семени этого народа не сохранилось!»

В феврале 1794 года она писала Гримму: «Если Франция справится со своими бедами, она будет сильнее, чем когда-либо, будет послушна и кротка как овечка; но для этого нужен человек недюжинный, ловкий, храбрый, опередивший своих современников и даже, может быть, свой век. Родился он или ещё не родился? Придёт ли он? Всё зависит от того. Если найдётся такой человек, он стопою своею остановит дальнейшее падение, которое прекратится там, где он станет, во Франции или в ином месте».

О новоиспечённом бригадном генерале Бонапарте тогда ещё мало кто знал… Это не чутьё, это предвидение, основанное на политическом опыте и рациональном анализе событий.

Бонапарт набирал силу, невольно следуя предписаниям Екатерины, а Державина в то время мало занимала Франция. Он писал «Вельможу» и «Приглашение к обеду», пробовал себя в анакреонтике. А главным геополитическим событием 1794 года

для него, как и для всей Восточной Европы, стало падение Польши.

Державин давно готовился стать певцом агрессивного геополитического рывка империи. Как и Петров, он мечтал о православном Константинополе, который станет форпостом и святыней невиданной державы. И хотя греческие планы пришлось отложить, Россия сумела крепко взять в свои руки Крым, Причерноморье, Кубань, Новороссию. Империя обрела новый масштаб. Жуковский, следуя урокам Державина, выразит этот рывок одной строкой: «Наше всё и всё поёт!» Двухвековое противостояние с Османской империей завершалось, Россия побеждала. Уже никто не мог оспорить, что на восток от Карпат, на север от Чёрного моря и Кавказских гор простирается Россия. Казалось бы, империя достигла своих естественных границ: от южных морей до Северного Ледовитого океана, от Польши до Аляски включительно. Но истинным империалистам этого было мало. Нужно было вгрызаться в Европу, подминая под себя слабых, угрожая сильным. Слабым к тому времени оказалось государство, с которым соперничал ещё Грозный царь Иоанн Васильевич.

Речь Посполитую раздирали конфедерации. В неразберихе конкуренции политических группировок страна потеряла единство управления. Этот самоубийственный угар шляхты, перекинувшийся и в массовый обиход, продолжался несколько десятилетий, а французская революция дала польским бунтарям новый сильный импульс.

Позволю себе отступление: на взгляд из XXI века, эпоха распада Речи Посполитой чем-то напоминает современную ситуацию на Украине. Да, это была оранжевая Польша. Славянские страны с противоречивым отношением к могучей соседке-России. Калейдоскоп политических витий, использующих народные волнения для борьбы друг с другом, непримиримые противоречия между регионами и много громких, пьянящих слов — свобода! Родина! Европа! И буйное опьянение демократией, которое три века назад привело страну к катастрофе. Конечно, различий здесь не меньше, чем сходства, но историческая аналогия просматривается. Впрочем, примеров подобного государственного суицида мы в истории находим немало.

Революция вызревала втайне, а наружу прорвалась, когда русский генерал Игельстрём, командовавший войсками империи, пребывавшими в Польше, начал роспуск польских войск. Игельстрёму не хватало дипломатических дарований, но польское свободолюбие и без внешних раздражителей рвалось из теснин государственного кризиса. Генерал Антоний Мадалинский не

подчинился, выступил из Пултуска со своими кавалеристами. К нему присоединялись другие отряды. Мятежный корпус напал на русский полк, затем — на прусский эскадрон, разбил их и с триумфом отошёл к Кракову. Тут же в Польшу, а именно в Краков явился Тадеуш Костюшко, признанный вождь революции. На рыночной площади Кракова он произнёс свою клятву и был избран главным начальником восстания: это событие навсегда останется культовым в истории Польши. Военный инженер по образованию и революционер по призванию, он уже воевал против русских в рядах барских конфедератов, после чего сражался за океаном, в армии Джорджа Вашингтона, от которого получил генеральское звание. В 1794-м, на волне революции, он примет звание генералиссимуса — за пять лет до Суворова!

Чтобы разобраться в природе тогдашнего русского отношения к Костюшко, достаточно процитировать екатерининский рескрипт Суворову от 24 апреля: «Граф Александр Васильевич! Известный вам, конечно, бунтовщик Костюшко, взбунтовавший Польшу, в отношениях своих ко извергам Франциею управляющим и к нам из верных рук доставленных, являет злейшее намерение повсюду разсевать бунт во зло России». Не в первый раз возникала слаженная международная кампания против России: кроме Польши, удар могли нанести турки и шведы. Очередная война с турками месяц за месяцем назревала. Надо думать, решительность Костюшко была подкреплена этими обстоятельствами (как и золотом Парижской конвенции).

Конечно, Польское королевство мало чем напоминало Францию, но Державин был уверен, что поляки подхватили французскую болезнь — хотя и на свой лад. В продвижении к Варшаве Державин видел две цели: империя должна была взять всё, что слабый отдаёт сильному, и империя должна была пресечь распространение революционной крамолы.

Державин был рад, что его друзья — Дмитриев, Львов, Капнист — не поколебались во дни испытаний империи. Каждый из них воспел польскую кампанию, как умел.

Слава, слава русской груди,
Слава русскому уму!
Исполать вам русски люди,
Что послушны вы ему! —

это Николай Львов. Песня, прямо скажем, несовершенная. Но Львов, как это часто бывало, подсказал Державину ход, открыл азы заманчивого жанра… Державин познает его секреты, напишет несколько отменных солдатских песен — и передаст жанр в

наследство Жуковскому. Но всё это — позже. Получив вести из Варшавы, Державин замыслил оду сложную, полифоническую, в которой сольются боевые трубы Пиндара, гусельки переливчатые из русских сказок и патриотическая публицистика — газетная хроника кампании.

Но сначала, узнав, что Иван Иванович Дмитриев размышляет о Польском походе Суворова, Державин взял на себя роль режиссёра новой оды молодого приятеля. Дмитриев присылал ему письма — из Астрахани, из Сызрани. В письмах — новые стихи: «На разбитие Костюшки. Глас патриота».

Публике подавай интригу: стихи Дмитриева принялись приписывать Державину. И впрямь Иван Иванович в те дни гремел по-державински:

Куда лететь? кто днесь восстанет,
Сарматов зря ужасну часть?
Твой гром вотще нигде не грянет:
Страшна твоя, царица, власть!
Страшна твоя и прозорливость
Врагу, злодею твоему!
Везде найдёт его строптивость
Препон неодолимых тьму…

Как это не похоже на привычные Дмитриевские «безделки»!

Любопытно, что Дмитриев воспел победу русского оружия несколько раньше падения Праги и пленения Костюшко. Он поверил преждевременным слухам. Но из-за легковерия ему удалось всех опередить, ода Дмитриева стала первым откликом на победу. Державин подготовил оду к публикации — и тут, на счастье, пришли долгожданные вести из Польши! «Словом, стихи ваши были очень кстати, и вот вы видите их напечатанными и в публику по воле ея величества выданными. Государынею и всеми с великою похвалою приняты. Я было приказал 50 экземпляров напечатать, но должно было впятеро ещё прибавлять, и со всем тем всех требователей удовольствовать не можно. Невероятно показалось, как в Астрахани сочинённые стихи могли так скоро сюда перелететь и почти в одно время показались напечатанными, как последнее от Ферзена получено известие. И для того все думали, что я написал; но я, чтобы доставить вам честь принадлежащую, должен был показать ваше письмо», — писал Гаврила Романович Дмитриеву.

Державин жадно набрасывался на все донесения из поверженной Польши — и предчувствовал успех Дмитриевской оды: «получено известие, что идол Польши, Костюшко, не токмо

Ферзеном разбит и ранен, но и сделан пленником; и недавно также сильное поражение сделано г. Суворовым, так что в обоих потеряли на месте неприятели около 22 т. войск своих. Суворов чудеса сделал: в то время, как прусские войска, оставивши Варшаву и соединение с нами, пошли восвояси, то он сделал в три дня более 700 вёрст, увидел, напал и победил. Сей ужас помог в победе и Ферзену».

В те же дни Державин начинает слагать и свою варшавскую оду. Работа начиналась неординарно: сперва он послал Суворову четверостишие, афористически броское:

Пошёл — и где тристаты злобы?
Чему коснулся, всё сразил!
Поля и грады стали гробы;
Шагнул — и царство покорил!

Суворов получил эти стихи в Варшаве — и пришёл в восторг. Ему захотелось немедленно ответить Державину — ответить любезностями, стихами и остротами. И Суворов, схватив перо, поспешил на приступ:

«Милостивый Государь Гаврила Романович. Простите мне, что я на сей раз чувствуя себя утомленным, не буду вам ответствовать так, как громкий лирик; но в простоте солдатского сердца моего излию чувства души своей:

Царица, севером владея,
Предписывает всем закон;
В деснице жезл судьбы имея,
Вращает сферу без препон,
Она светилы возжигает,
Она и меркнуть им велит;
Чрез громы гнев свой возвещает,
Чрез тихость благость всем явит.
Героев Росских мощны длани
Ея веленья лишь творят;
Речет — вселенная заплатит дани,
Глагол Ея могуществен и свят!
О вы, Варшавские калифы!
Какую смерть должны приять!
Пред кем дерзнули быть строптивы?
Не должно ль мстить вам и карать?
Ах, сродно ль той прибегнуть к мщенью,

Кто век свой милости творит?
Карать оставит Провиденью;
Сама как солнце возблестит,
Согрея всех лучом щедрот —
Се царь иль Бог… исполненный доброт!

Счастлив вития, могущий воспеть деяния толико мудрого, кроткого, человеколюбивого, сидящего на троне Божества! Вы, имея талант, не косните вступить в сие поприще: слава ожидает вас. Гомеры, Мароны, Оссианы и все доселе славящиеся витии умолкнут пред вами. Песни ваши как важностию предмета, равно и красотою искусства возгремят в наипозднейших временах, пленяя сердце… душу… разум».

Казалось бы, ответ блистательный и исчерпывающий. И для поэта найдены лестные слова, и про императрицу победитель Варшавы не забыл. Правда, стихотворение несколько путаное, хотя и, несомненно, лестное для Державина. Но Суворову этого мало. Он сочиняет ещё одно четверостишие во славу Державина:

Парнасский юноша на лире здесь играет:
Имянник князя муж достойно стих сплетает.
Как Майков возрастет, он усыпит сирен:
Попрет он злобы ков… прав им ты, Демосфен!

Венчаю себя милостьми Вашего Превосходительства; в триумфе моей к Вам, Милостивому Государю моему, преданности, чистейшая моя к особе Вашей дружба не исчезнет, и пребуду до гроба моего с совершеннейшим почтением *Государь мой Вашего Превосходительства покорнейший слуга Граф Александр Суворов-Рымникский.*

Четыре строки, которые Державин послал Суворову, стали зачином пространного и на редкость высокопарного произведения, у которого было несколько названий. Сперва — «Песнь Ея императорскому величеству Екатерине II на победы графа Суворова-Рымникского», а уж потом, при посмертных переизданиях, — «На взятие Варшавы».

О Росс! о подвиг исполина!
О всемогущая жена!
Бессмертная Екатерина!

Куда? и что ещё? — Уже полна
Великих ваших дел вселенна.
Как ночью звезд стезя, по небу протяженна,
Деяний ваших цепь в потомстве возблестит
И мудрых удивит. — Уж ваши имена,
Триумф, победы, труд не скроют времена…

Эти строки втянули Державина в неожиданную конфузию. Как известно, сам поэт не был одарённым чтецом. Вяземский от его декламации засыпал, а императрице подчас не спалось! Победный штурм Праги — восточного предместья Варшавы, уничтожение повстанческих армий, пленение Костюшки, торжество русских в польской столице — всё это большая политика. И Екатерина приказала вездесущему Попову вслух, с артистическим выражением продекламировать ей новый шедевр певца Фелицы. Но Попов не был актёром Божьей милостью — и не справился со сложным (скажем прямо: переусложнённым) синтаксисом варшавской оды. Не заметив прихотливой рифмовки, вместо «уже полна» он прочитал: «Уж полно» — и получилась форменная грубость:

Бессмертная Екатерина!
Куда? и что ещё? — Уж полно!

Императрица знала неукротимый нрав Державина. Ему почести, а он всё норовит брякнуть какую-нибудь солдатскую дерзость. Кто его знает, может быть, он недоволен завоевательной политикой империи? Может быть, считает, что нам не следует подминать под себя Польшу — «Уж полно!». После этого «Уж полно!» она слушала оду с предубеждением: нелепая оговорка Попова напрочь испортила впечатление от поэзии.

Твой ли, Суворов, се образ побед?
Трупы врагов и лавры — твой след!
Кем ты когда бывал побеждаем?
Всё ты всегда везде превозмог!
Новый трофей твой днесь созерцаем:
Трон под тобой, корона у ног, —
Царь в полону! — Ужас ты злобным,
Кто был царице твоей непокорным.

Это уж точно какое-то якобинство: «трон под тобой, корона у

ног»! Не стихи, а бунт. Екатерина гневалась. Конечно, она не считала Державина идейным якобинцем и врагом трона. Да и в новой оде было немало монархических лозунгов. Поэтому под запрет попал не Державин, а всего лишь одно его произведение. А с певцом Фелицы Екатерина никогда так и не поссорится окончательно.

Оду напечатали трёхтысячным тиражом. Курировал публикацию человек, который в те времена курировал многое, хотя сверхъестественными способностями не обладал, — Платон Зубов, уже не граф, а князь. И — тираж не вышел за пределы покоев императрицы. Канул где-то во дворце. Запрет!

Ни Державин, ни тем более Зубов не рассчитывали на прибыль от распространения варшавской оды (хотя Гаврила Романович, наверное, ожидал от императрицы щедрого подарка). Это было благотворительное предприятие — в пользу «благородных вдов». Книга в продажу не поступила — и вдовы остались без вспомоществования. После смерти Екатерины, когда слава Платона Зубова померкла, одна из вдов подала прошение государю о взыскании с Зубова семи тысяч рублей. За что? В возмещение убытков от нераспродажи опальной державинской книги! Семь тысяч — сумма крупная, дворянская семья средней руки на эти деньги могла благополучно существовать год-полтора. Император, который никогда не упускал случая материально ущемить екатерининских любимцев, приказал Зубову раскошелиться. Князь Платон с годами всё сильнее впадал в патологическую скупость и от такого удара приболел. Отставного фаворита спас Державин. Он не побоялся подать голос и разъяснил Павлу, что никаких денежных обязательств перед вдовами не было, речь шла только о добром намерении помочь им после распродажи издания. А книга в продажу не поступала. Император смилостивился и отменил несправедливый приказ. Тут-то Зубов и понял, что Державин умеет дружить не только с сильными и удачливыми.

Прошло больше двадцати лет, Державин не раз был обласкан и, наконец, удалился на покой. Но и тогда он не забыл обиды. Когда Алексей Фёдорович Мерзляков опубликовал свой восторженный разбор оды «На взятие Варшавы», Державин ответил ему несколько ворчливо — он в ту пору сводил счёты с прошлым:

> «Самая та же ода, которую вы столь превозносите теперь, в своё время была причиною многих мне неприятностей. Покойная государыня императрица разгневалась, и потому, хотя уже была напечатана, но не

выпущена в свет до самой ея кончины. — Какие же бы были к тому причины? — Вот оне: 1) Некто из ея приближённых читал оную пред нею и вместо *полна* прочел *полно*. 2) *Трон под тобой, корона у ног* показались ей якобинизмом тогдашних французских крамольников. 3) *Труд наш, имена* не столь сильны, как бы думал я, ея восхитили душу, и тому подобное».

Засев за мемуары, Державин глубоко погрузился в давние неприятности и победы, потому и Мерзлякову ответил обстоятельно.

Алексей Мерзляков — поэт, начавший с оды «На заключение мира со Швецией», которая получила некоторое признание, когда автору не было и четырнадцати лет, — превратился в маститого исследователя литературы и профессора. Студенты его любили, несмотря на страстный консерватизм. Как поэт, он пребывал под влиянием «певца Фелицы», хотя прославился лирическими песнями в народном духе, которых в наследии Державина было немного. Несколько песен Мерзлякова известны и сегодня: «Среди долины ровныя», «Чернобровый, черноглазый».

Мерзляков нёс Державина в немногочисленные, но резвые студенческие массы. Утончённая молодежь в те времена требовала пересмотра литературных авторитетов, восхищалась элегической нежностью Жуковского, а Мерзляков открывал им красоту державинской оды. Но не во всём Мерзляков был восторженным поклонником старого поэта. К таланту Державина-драматурга он, вопреки ожиданиям, отнёсся, мягко говоря, скептически. А ведь стареющий поэт так надеялся стать признанным трагиком, царём русской сцены. Приговор Мерзлякова после «Ирода и Мариамны» оказался жестоким и хлёстким, потому и запомнился: «Развалины Державина».

АВТОПОРТРЕТ

На наших глазах постоянно меняются стилевые декорации житья-бытья, мы ощущаем и знаем, что пятидесятые годы не похожи на семидесятые и даже десятые годы XXI века отличаются от нулевых. Меняется мода не только на шляпы, но и на воззрения. Со старых фотографий на нас смотрят неповторимые люди, их трудно представить себе в новом времени. Тут дело не в революциях и войнах, даже в самые штилевые (у нас любят говорить: застойные) времена правило Гераклита действует. В державинские времена люди вели себя степеннее, не тараторили с такой скоростью, как мы сегодня. И всё равно каждые 10–15 лет всё менялось… Невозможно представить себе Пушкина в парике! Ещё сложнее представить себе питомцев Царскосельского лицея в Казанской гимназии времён Державина и Верёвкина. Герцен говорил не без ханжеского высокомерия: «Историю Екатерины II нельзя читать при дамах». Независимый, страстный мыслитель, он жил во времена массовой прессы и буржуазной морали — презирал их, но дышал воздухом своего времени. И он (сам вовсе не аскет!) не мог назвать образцом добродетели императрицу, которая завела во дворце чертог для фаворитов… А Державин хорошо понимал, что существует правда для будуара, но бывает и правда для торжественной оды.

«Из тяжёлой золотой рамы кованых державинских строф перед нами с необычайной и яркой жизненностью выступает уже известный нам облик — один из замечательных русских характеров, человек исключительно горячей крови, живущий всей полнотой бытия, кипуче-деятельный, пылкий, порывистый, увлекающийся, честный, прямой, умеющий страстно любить и столь же страстно презирать и ненавидеть, владеющий даром беспощадно-бьющего слова, острой насмешки, зачастую переходящей в тонкую иронию… В стихах Державина перед нами развёртывается почти вся его красочная биография, во всей конкретности отдельных её эпизодов, со всем многообразием личных, семейных, дружеских и служебно-общественных связей и отношений», — писал Д. Д. Благой, кое-что понимавший в поэзии Державина.

Естество никогда не переходит в поэзию напрямую. Тут — метаморфозы прихотливее, чем у Овидия. Личность поэта, излом его мысли, искренний порыв — всё это баранья туша. Сырое мясо! Чтобы приготовить из него оду — приходится варить и жарить, умасливать и добавлять специи. А потом добавить свежей зелени, а ещё — наварить каши для гарнира. Только когда приспеет

обеденное время, баранина не должна пахнуть железом или пластмассой, которой во времена Державина ещё не существовало. Читатели приметили: Державин во многих одах показал собственное естество. У Ломоносова, у Хераскова можно рассмотреть отдельные фрагменты автопортрета. А Державин, кажется, весь перед нами — в красках, в звуках. Но это только кажется! Державин не подавал к столу сырое мясо. Поэтическая откровенность не равнозначна житейской. В прозе Державин скромно писал о себе в третьем лице, а в стихах сломал препоны, выстроенные классицистами, — и выразил всего себя, с ошибками и слабостями, себя своенравного, подчас тщеславного, а то болтливого и не умеющего отредактировать сучковатый стих. Как важно в поэзии утвердить своенравие и остаться живым, но не заиграться в культ собственного «эго». Державину первому это удалось — ещё в «Фелице»:

Не ходим света мы путями,
Бежим разврата за мечтами.
Между лентяем и брюзгой,
Между тщеславья и пороком
Нашёл кто разве ненароком
Путь добродетели прямой…

Никто! Так почему же поэты рядятся в белоснежные тоги? Державина мы видим то принаряженного по моде, то расхристанного. И в мыслях — такое разнообразие мотивов, какого не встретишь и на портретах кисти Боровиковского.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ КНЯЗЬ ТАВРИДЫ

Обмолвились о смерти Потёмкина? Но это событие вселенского масштаба, тут двумя словами не обойтись.

Храповицкий в телеграфном стиле зафиксировал реакцию Екатерины на смерть князя Таврического: «Слёзы и отчаяние. В 8 часов пустили кровь». После нескольких бессонных ночей императрица писала Гримму: «Снова страшный удар разразился над моей головой. После обеда, часов в шесть, курьер привёз горестное известие, что мой воспитанник, мой друг, можно сказать, мой идол князь Потёмкин-Таврический скончался в Молдавии от болезни, продолжавшейся целый месяц. Вы не можете себе представить, как я огорчена. С прекрасным сердцем он соединял необыкновенно верное понимание вещей и редкое развитие ума. Виды его были всегда широки и возвышенны. Он был чрезвычайно человеколюбив, очень сведущ, удивительно любезен, а в голове его непрерывно возникали новые мысли. Никогда человек не обладал в такой степени, как он, даром остроумия и умения сказать словцо кстати». Эти слова стали бы наилучшим некрологом величайшему управленцу в истории нашей страны. Стали бы, но Державин превзошёл Фелицу.

Он начал издалека — повёл речь с основательного и долгого описания водопада:

Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьёт вверх буграми…

Первая строка, первый ошеломительный образ — «Алмазна сыплется гора» — возможно, возник ещё в Карелии, десяток лет назад, да так и остался в запасе, ждал своего часа. Первая строка очень важна: если с самого начала не получилась картина — пиши пропало, ода выйдет скучная. Не только для просвещённой публики, но и для самого автора, а уж Державин скуки не терпел. Там, как всегда у Державина, имеются и детали, вырванные из реальности. Прогуливаясь возле гремящего водопада, губернатор услыхал странные звуки — они отличались от шума речной стихии. Что это? Да просто мощный ветер доносил скрежет станков с чугуноплавильного завода. А ведь завод стоит вовсе не поблизости! «Стук слышен млатов по ветрам», — напишет памятливый Державин в «Водопаде». А в «Объяснениях» расставит

все точки над «і»: «Хотя Кончезерский завод лежит от сего водопада около 40 вёрст, но в сильную погоду по ветру слышно иногда бывает действие заводских машин, которые, смешавшись с шумом вод, дикую некую составляли гармонию». Индустрия и натура — загадочные стихии, Державина восхищало их переплетение. Симфония природы и рукотворных заводских мотивов. Губернатор и поэт склонял голову перед прогрессом, перед скрежещущими машинами. В русской поэзии именно он оказался первым певцом промышленных чудес — Маяковский, для которого завод стал ключевым поэтическим образом, перекликался с вельможным поэтом, гордо носившим старомодный парик.

Возле Кивача Державин приметил и другие чудеса. Водопад не замерзал в зимнюю стужу, но солнечные лучи в морозную погоду высвечивали водяные искры, которые на лету превращались в лёд.

«Весьма удивительное зрелище!» — запишет Державин, сдерживая эмоции, и в «Водопаде» появится «пыль стекляна». Течение «Водопада» уносит и перемалывает всё, что попадает под его власть. Как это похоже на бренные, земные дела людей!

Ода вышла под стать Потёмкину — грандиозная, самая пространная в репертуаре Державина. Семьдесят четыре строфы индивидуального чекана, в каждой строфе — по шесть строк. Эта ода восхищала и литераторов пушкинского времени… Восторженнее других оказался Гоголь: «Кажется целая эпопея как бы слилась в одну стремящуюся оду… В „Водопаде“ перед Державиным пигмеи другие поэты. Природа там как бы высшая нами зримой природы, люди могучее нами знаемых людей, а наша обыкновенная жизнь, перед величественною жизнию, там изображённою, точно муравейник, который где-то далеко колышется внизу».

Эту эпическую оду трудно продекламировать залпом, надобна передышка. Мы не знаем достоверно, когда Державин задумал её. Вполне возможно, что наброски стихотворения о водопаде появились до смерти Потёмкина и не были связаны с образом великого администратора.

Получив известие о смерти князя Таврического, Державин закипел. Снова его поразило соседство земного величия и внезапной смерти. Да и умер Потёмкин не в дворцовой зале и не на поле боя, а под открытым небом в степи — совсем как бродяга. Он давно болел, но, не считаясь с недугом, дни и ночи отдавал трудам — как одержимый. Шла война с Османской империей — Потёмкин готовился к главному свершению в жизни, не до госпиталей ему было. Он ослабел, почувствовал приближение

смерти — и приказал остановить карету. Его положили на траву, великий правитель умер среди степей… «Гусар, бывший за ним, положил на глаза его две денежки, чтобы они закрылись», — сообщает Державин.

Сперва он написал 15 строф в память о Потёмкине, но не мог расстаться с этой темой. Два года время от времени возвращался к «Водопаду», и в конце 1794 года труд был завершён. Такая ода — поступок. Державин приближен к Зубову, в таком положении вряд ли стоит воспевать Потёмкина.

Но Державин ухватился за свою тему: в который раз задумался о мирской славе. Кого и за что можно назвать великим человеком? Кто они — разрушители или истинные благодетели, эти титаны нашего времени? Они прекрасны, как величественное явление природы…

«Водопады, или сильные люди мира тогда только заслуживают истинной похвалы, когда споспешествовали благоденствию смертных», — комментировал Державин.

Единый час, одно мгновенье
Удобны царствы поразить,
Одно стихиев дуновенье
Гигантов в прах преобразить:
Их ищут места — и не знают:
В пыли героев попирают!

Героев? — Нет! — но их дела
Из мрака и веков блистают;
Нетленна память, похвала
И из развалин вылетают;
Как холмы, гробы их цветут;
Напишется Потёмкин труд.

Державин никогда не был панегиристом Потёмкина, не стал таковым и после смерти героя. В «Водопаде» Державин не забыл и о Румянцеве, которого, как считал поэт, Потёмкин несправедливо задвинул во второй ряд героев турецкой войны… Снова, как и в «Вельможе», Державин ставит в пример Потёмкину мудрого русского Нестора. Для эпитафического стихотворения — несколько бестактный поворот, объяснимый только горячим нравом Державина. Итак, Румянцев идеален! Попробуем в это поверить. А кто же — Потёмкин?

Князь Тавриды с его безграничными амбициями, с его имперским размахом в каждом движении души — это загадка природы, перед которой поэт застыл оторопело, как перед

Кивачом. Трудно представить себе этот водопад иссякшим. Быть может, он обретёт земное бессмертие в свершениях, память о которых не выветрится с годами? Державин не дал утвердительного ответа.

Чей труп, как на распутьи мгла,
Лежит на тёмном лоне нощи?
Простое рубище чресла,
Две лепте покрывают очи,
Прижаты к хладной груди персты,
Уста безмолвствуют отверсты!
Чей одр — земля; кров — воздух синь;
Чертоги — вкруг пустынны виды?
Не ты ли, счастья, славы сын,
Великолепный князь Тавриды?
Не ты ли с высоты честей
Незапно пал среди степей?

Державин нашёл единственно точный образ; вспоминая об исполинах русского XVIII века, мы так и видим искрящийся и могучий водопад.

Некоторые читатели увидели в этом метафору бессмысленного величия. Эффектного, но бесплодного — ведь водопад не мельница, он только мешает сплаву леса, хотя и поражает воображение путешественника, наводя, по словам Державина, «приятный ужас».

А матерью водопадов окрестил Державин свою Фелицу — разве мог он про неё забыть? Разные комплименты она слыхала, но «матерь водопадов» — это и впрямь диковинно. «Относится сие к императрице, которая делала водопады, то есть сильных людей, и блистала чрез них военными делами, или победами». Без глубокого реверанса в сторону императрицы ода не прошла бы самоцензуру.

В те годы Державин увлекался так называемой поэзией Оссиана — слепого древнего кельтского певца. Так называемой — потому что поэмы Оссиана оказались мистификацией, их сочинил Джеймс Макферсон (1736–1796) — современник Державина, шотландский поэт. В 1760-х годах в Лондоне вышел в свет «Фингал», «древняя эпическая поэма в шести книгах, вместе с несколькими другими поэмами Оссиана, сына Фингала. Переведены с гэльского языка Джеймсом Макферсоном». За «Фингалом» последовала «Темора». Мало кто сомневался, что это истинная кельтская Илиада… «Оссиан вытеснил из моего сердца Гомера», — говорит Вертер у Гёте. Это как если бы Жуковский

написал стихи под личиной Бояна, выдав их за перевод со старославянского.

Державин узнал об Оссиане, по обыкновению, из немецкой поэзии. Но в конце 1780-х о подвигах кельтов можно было прочитать и по-русски — в пересказах А. И. Дмитриева, а в 1792-м вышел перевод Ермила Кострова — «Галльские стихотворения», с посвящением Суворову. Фантастическая героика Оссиана увлекла всех, не исключая генерала Бонапарта. Своя «фингалиана» проявилась и во Франции, и в Германии, и в России.

Рискну предположить: влияние Макферсона не пошло на пользу державинской героике: поэт принялся перенасыщать оды тарабарской символикой, а лучшие строки, посвящённые славным победам, возникали, когда Державин забывал об Оссиане. Только в «Водопаде» оссиановские мотивы пришлись ко двору.

ВО СЛАВУ ЗУБОВЫМ

Прославление Зубовых в пору их взлёта — пожалуй, не самая достойная страница державинского наследия. Да, поэт изменил себе. В прежние времена он с трудом выдавливал из себя даже похвалы императрице, если не чувствовал искреннего восторга. «Автор несколько раз был прошен самой императрицей, чтоб он писал стихи, подобные „Фелице“, но он, будучи, с одной стороны, занят важнейшими делами, а с другой видя несправедливости, неохотно к тому приступал, так что во время бытности при ней, как из примечаний видно будет, весьма немногие написал, и те с примесью нравоучения», — вспоминал поэт в «Объяснениях…».

Но, когда речь заходила о Платоне или Валериане Александровиче, «мурза» становился сговорчивым. Трудно представить, что Державин всерьёз увлёкся Зубовым, это был классический брак по расчёту. У Зубова именины? Извольте принять стихи:

Души все льда холоднея.
В ком же я вижу Орфея?
Кто Аристон сей младой?
Нежен лицом и душой,
Нравов благих преисполнен?
Кто сей любитель согласья?
Скрытый зиждитель ли счастья?
Скромный смиритель ли злых?
Дней гражданин золотых,
Истый любимец Астреи!

«Он был чрезвычайно скромного нрава и вёл себя, казалось, по-философически: то сравнен здесь потому с Аристоном или с Аристотелем, а с Орфеем — по склонности к музыке», — пояснял Державин. Валериана он сравнит ни много ни мало с Александром Македонским. Ну а Астрея, богиня справедливости, — это, конечно, императрица. Тут Державин почти не погрешил против истины: Платон Зубов действительно стал её «истым любимцем». А насчёт скромного нрава… Сам Державин писал в примечании про другого Зубова, Валериана: «Сей граф Зубов был человек снисходительный: говорил и выслушивал всякого с откровенным сердцем, не так, как брат его, любимец императрицы, несравненно старших, почтеннейших себя людей принимал весьма гордо, не удостоивая иногда и

преклонением головы». Значит, Платон всё-таки был скорее гордецом, чем скромником?

Серьёзные монументальные оды про Платона Зубова не выходили. Да и засмеяли бы Державина.

А вот Валериан Александрович был деятельнее и честнее брата. Конечно, не будь Валериан братом всесильного Платона, он вряд ли в 25 лет получил бы в командование 30-тысячную армию… Но с армией этой Зубов не танцевал на балах, а направился покорять Персию. Первая виктория Валериана — взятие Дербента. Гарнизон Дербента состоял всего лишь из пятисот солдат, и всё-таки это была победа. Державин рассыпался в комплиментах:

Екатеринины лучи
Умножил ты победой новой;
Славнее тем венец лавровой,
Что взял Петровы ты ключи.
В столетнем старце Дарий зрится,
А юный Александр — в тебе!

На покорение Дербента, 1796

По легенде, старцу, который передал Зубову ключи от города, было не 100, а все 120 лет — хотя кто их проверял, этих персиян? Отсутствие паспортной системы лучше способствует долгожительству, чем свежий воздух, фрукты и лёгкое вино. Считалось, что в 1722 году (74 года назад!) этот же персиянин вручил ключи от Дербента Петру Великому.

Платон Зубов не совершал громких подвигов — воспевать его было непросто. Выручала мифология. Державин не превратился в податливого шёлкового панегириста, подчас между ним и Зубовым пробегала кошка. И всё-таки с последним фаворитом он вёл себя осторожнее, чем с кем-либо. Искал его благосклонности, нередко забывая о правдолюбии. Приходилось закрывать глаза и на злоупотребления, связанные с Платоном и его родственниками и сподвижниками. Благополучие Державина зависело от Зубова — тут уж в три погибели согнёшься.

Вокруг Зубова крутилось немало врагов Державина. Но, зная о благосклонном отношении князя к поэту, они обыкновенно воздерживались от клевет. Другое дело — бывшие друзья. Эти любят бросаться на абордаж. Вот и Николай Фёдорович Эмин нашёптывал Зубову, что талант Державина поистрепался с годами и расхваленная ода «На взятие Измаила» не выдерживает истинно просвещённой критики! Зубов был равнодушен к

литературоведческим спорам, но мог скуки ради посмеяться и над Эминым, и над Державиным. О ворчании Эмина стало известно Державину — и он предложил бывшему своему помощнику выступить в печати с открытой критикой. Эмин уклонился: ораторствовать по углам легче, чем анализировать стихи в настоящей статье, которую прочитают ценители литературы. Вот так и рождаются крылатые строки: «Враги нам лучшие друзья».

Не ошибёмся, если заключим: Державин старался не замечать неприглядных сторон зубовского всевластия. Между тем другие современники оценивали князя Платона чрезвычайно строго. Например, острослов Ростопчин сравнит Зубова с «мальчишкой, осмеливающимся представлять из себя Нерона, которому трепещущий сенат воскуряет фимиам». В глазах скорых на расправу ценителей литературы доброе имя Державина-правдолюба пошатнулось.

Но недолгая эпоха Зубова завершилась рыданиями князя Платона над телом императрицы. Эти слёзы впечатлили даже Павла! Он не решился наказать князя, столь искренне страдавшего… Но, конечно, Зубов потерял политическое влияние, лишился привилегий, даже собственность у него отгрызли. Отныне никому из поэтов и златоустов не приходило в голову слагать панегирики в честь Зубова. Кому нужны вчерашние властители? От Державина ждали изящных и своевременных намёков на глупости Зубовых. Самое время обрушить шквал сатиры на недавнего диктатора, на его скупость, легкомыслие, солдафонство. Но тут-то и проявилось достославное упрямство «мурзы»:

Ах, нет! Не те и не другие
Любимцы прямо суть небес,
Которых мучат страхи злые,
Прельщают сны приятных грез;
Но тот блажен, кто не боится
Фортуны потерять своей,
За ней на высоту не мчится,
Идёт середнею стезей
И след во всяком состояньи
Цветами усыпает свой…

«К сочинению сей оды повод был следующий: по восшествии на престол императора Павла, когда у гр. Зубова отобрана команда, то будучи при дворе, кн. С. Ф. Голицын упрекнул автора той одой, которая <…> на взятие Дербента Зубову сочинена,

сказав: что уже теперь герой его не есть Александр и что он уже льстить теперь не найдёт за выгодное себе; оному ответствовал, что в рассуждении достоинства он никогда не переменяет мыслей и никому не льстит, а пишет истину, что его сердце чувствует. „Это не правда, — ответствовал Голицын, — нынче ему не напишешь“. — „Вы увидите“. Поехав домой, сочинил сию оду в то время, когда Зубов был в совершенном гонении, которая хотя и не была напечатана, но в списке у многих была, несмотря на неблагорасположение императора к Зубову». Не без гордости вспоминает Державин эту историю: на вызов Голицына он ответил достойно. В те времена независимость уже ценили и её приметы носили как ордена.

В новой зубовской оде нам дороги блёстки интеллекта: Державин умело пророчествовал. Получились напевные, гармоничные стихи, согретые напряжением мысли:

Учиться никогда не поздно:
Исправь поступки юных лет;
То сердце прямо благородно,
Что ищет над собой побед.
Смотри, как в ясный день, как в буре
Суворов твёрд, велик всегда!
Ступай за ним! — Небес в лазуре
Ещё горит его звезда.

Это, несомненно, самые известные строки «валериановой» оды. И ещё один повод для гордости: Державин предсказал новое возвышение Суворова.

ПАСХАЛЬНАЯ СКАЗКА

Россия — страна зимняя. Цветущим летом нам не превзойти красот Италии, а с русской зимой ничто не сравнится, кроме русской весны.

И вот однажды весной — а именно, в последний день марта, когда солнце уже воевало со льдами, «императрица, окончив обыкновенные свои государственные упражнения, вышла в Эрмитаж попользоваться вешним воздухом и посмотреть Неву, которая вскоре открыться долженствовала, увидела вдали потонувшего человека, тотчас приказала лакеям помочь ему, и вытащили девицу, которую насилу привели в чувства».

Екатерина прямо с балкона принялась расспрашивать «бедную охтянку» и прознала о её горькой судьбине. Девчонка осталась сиротой, в наследство получила только образ Спаса, который пришлось заложить после похорон отца.

«Императрица, похваля её за усердие к вере и за благодарность к родителям, тот же час приказала принесть ей всю одежду на приданое, которое называется вено, сыскать из служащих при дворе жениха, и тут же её помолвила, дав награждение деньгами и всё нужное для свадьбы и для заведения дома», — приметил Державин.

Всё это напоминало сказку: чудесное спасение, неожиданная награда, красавец-жених и свадьба в финале. Императрица, верно, ощущала себя доброй феей. История умалчивает о том, как сложилась семейная жизнь спасённой девушки. Это дело десятое. Для легенды главное — чудесное вмешательство императрицы в жизнь подданной. Екатерина знала: из таких сюжетов рождаются легенды, которые живут веками. И Державин поспешил встать у истоков легенды.

Стихотворение называлось «Провидение»:

Возвысила свой глас царица
И бросила свой светлый взор.
Уже хитон, белейший снега,
И ферязи драгие ей
Несут, и на челе высоком
Златая лента возблистала,
Монистом грудь, — и в дар ещё
Готовят ей богато вено;
В дверях жених, и Смерть где злилась,
Там торжествует днесь Любовь.

Строгий Львов посчитал безрифменные стихи напрасной затеей: «Если ты намерен представить, так уж потрудись, завостри их рифмами». Намёк прозрачный: Державин так торопится угодить монархине, что даже не утруждает себя подбором рифм… Лишь бы поскорее подольститься! Но Державину нетрудно было найти более пышный повод для лести и за рифмами дело бы не стало. А он искал материал для непринуждённой песни об императрице — и ухватился за трогательный эпизод, в котором и весенний снег, и монаршая милость к простой девушке.

А НЫНЧЕ ПЯТЬДЕСЯТ МНЕ БИЛО…

Во дни болезни Катерины Яковлевны и в первые месяцы после смерти любимой Плениры Державин с невиданным пылом слагал стихи. Раньше у него случались кратковременные приступы вдохновения, а теперь — целый год его утешали рифмы. После пятидесяти вдохновение обыкновенно покидает поэтов, а Державин всё сильнее ощущал себя поэтом, всё острее чувствовал природу русского языка… В излюбленном ироническом тоне он сложил оду «Мой истукан». Знаменитый Рашет изваял два бюста: самого Державина и Катерины Яковлевны, они стояли рядом, возле дивана — там и родились размышления о славе, о власти:

Без славных дел, гремящих в мире,
Ничто и царь в своём кумире.
Ничто! и не живёт тот смертный,
О ком ни малой нет молвы,
Ни злом, ни благом не приметный,
Во гробе погребён живый.
Но ты, о зверских душ забава,
Убийство! я не льщусь тобой:
Батыев и Маратов слава
Во ужас дух приводит мой;
Не лучше ли мне быть забвенну,
Чем узами сковать вселенну?

В «Истукане» Державин припомнил и дни пугачёвщины, когда ходил на киргизцев и освобождал пленных. Тем сражением Державин гордился по сию пору. Здесь рождается немало литературных ассоциаций: вспоминаются и «Борис Годунов», и «Моцарт и Сальери», и «Красное и чёрное», и «Преступление и наказание». Всё это так далеко от Державина, но проклятый вопрос — «Тварь ли я дрожащая или право имею?» — у Державина предчувствуется. Проговорился он и о главном противоречии государства Российского: к власти мы относимся как к святыне и в то же время осознаём, что политика греховна. Быть может, смысл всеобщего преклонения перед монархом в том, что он, взяв на себя грех власти, избавил от него других? Придёт время — и об этом напишет Хомяков. А в 1794 году Державин, знавший о бремени власти не понаслышке, пропоёт:

Злодейства малого мне мало,
Большого делать не хочу;
Мне скиптра небо не вручало,
И я на небо не ропчу…

«Истукан» — из тех стихотворений, в которых голос Державина звучит чисто, а мысль обретает ясные формулировки, так и просящиеся в книгу афоризмов. Чего стоит финал оды:

Что слава, счастье нам прямое —
Жить с нашей совестью в покое.

Эти строки мог бы процитировать Достоевский в эпилоге к раскаянию Раскольникова. «Истукан» — это, несомненно, атрибут язычества. Не случайно на Руси православной почти не было скульптурных памятников! Но разве можно огульно вычёркивать из жизни всё, что создано в языческие времена и связано с дохристианскими представлениями о назначении человека? Державин и не думал отказываться от вечных «древнеримских» доблестей. Он ведь не отказывался от своего истукана, поглядывал на него не без наслаждения и в будущем не сопротивлялся, когда скульпторы хотели его увековечить. Но не отмахивался и от конфликта между славой и смирением…

Пиршества Державина сегодня кажутся изысканными, эпикурейскими. Но сам Гаврила Романович считал себя приверженцем обильного, но простого стола. Никакой утончённой кулинарии, всё просто, как былина. На кухне и за обеденным столом Державин появлялся не в камзоле и даже не в халате, а в мужицком армяке.

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-жёлт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером
Там щука пёстрая: прекрасны!

Прекрасны потому, что взор манят мой, вкус;
Но не обилием иль чуждых стран приправой,
А что опрятно всё и представляет Русь:
Припас домашний, свежий, здравый.

Да это же манифест квасного патриотизма! Правда, такого термина в те годы вроде бы ещё не существовало. А ведь в

екатерининские времена в Петербурге да и в Москве правили балом французские повара и их отечественные эпигоны. Посконные щи с желтком — это вам не котлета, рождённая на берегах Сены! Это в пушкинские времена Россия усыновит котлету, а для Державина сие было экзотикой. А щука пёстрая — разве сравнишь её с прихотливыми соусами, в которых — чеснок, рокамболь, эшалот. Такие же щи с квашеной капустой хлебал Державин солдатом. «Щи да каша — пища наша».

В более раннем гастрономическом стихотворении Державин начал с картины, весьма соблазнительной для нас, грешных:

> Шекснинска стерлядь золотая,
> Каймак и борщ уже стоят (в *одном из вариантов было* — «Говядина и щи стоят», *но Державин в этом случае отдал предпочтение малороссийской кухне);*
> В графинах вина, пунш, блистая То льдом, то искрами, манят…

Красота! Но красота нашенская, трактирное роскошество — ну что куртуазного можно найти в борще? Во времена, когда вся светская литература, живопись, музыка нянчились с античной и французской фактурой, Державин насаждал патриотическую гордость, которая начинается со шей. Насаждал без надрыва, с любезной улыбкой приятного собеседника. К этому стихотворению прилагался рисунок: «муж в русском платье приглашает к обеду; вкруг него сухие ветви, обвитые повиликою, означают дружество». Между прочим шекснинская стерлядь действительно отличается золотым цветом… И не только в живописных деталях Державин был точен. Это не фантазия, а настоящее приглашение к обеду высокопоставленных друзей кабинетного секретаря императрицы. Среди приглашённых — Платон Зубов, Иван Шувалов…

Адресатом «Приглашения к обеду» был и граф Безбородко. Ради него Державин переделал одну строку — чтобы могущественный администратор принял поэтическое хлебосольство на свой счёт. В изначальном варианте говорилось о тридцатилетием общении с «благодетелем давним». Это, несомненно, указывает на Шувалова и только на него. В окончательном варианте «тридцать лет» испарились, и в «благодетеле» многие узнали Безбородко, который и впрямь бывал в хлебосольном доме Державиных.

А Зубов не почтил хозяина — правда, по самой уважительной причине: «он и обещал приехать, но перед обедом прислал сказать, что его государыня удержала». Дело молодое. Но

Державин обратился к нему в нравоучительной финальной строфе:

А если ты иль кто другие
Из званых, милых мне гостей,
Чертоги предпочтя златые
И яства сахарны царей,
Ко мне не срядитесь откушать;
Извольте мой вы толк прослушать:
Блаженство не в лучах порфир,
Не в вкусе яств, не в неге слуха,
Но в здравьи и спокойстве духа.
Умеренность есть лучший пир.

Последняя строка относится, конечно, не только к обеденным страстям. Это одно из неразменных правил в поэзии. Правда, Державин лучше всех знал, что и против правил можно достичь высот. Иногда он бушевал, становился необузданным, неумеренным — и это шло на пользу стихам. В литературе вообще не бывает арифметически точных правил. Для живописца «школа» важнее.

Державин ценил и понимал живопись, сам неплохо рисовал забавы ради, а в гимназические годы видел себя скорее художником, нежели стихотворцем.

Он дружил с Боровиковским — тот создал, по меньшей мере, три портрета Державина. Но дело не во взаимоприятном сотрудничестве, они были единомышленниками, вместе они очеловечивали русское искусство. Боровиковский, как и Державин, — это не просто персонаж из истории, его полотна не умирают. В своём жанре и стиле он не превзойдён. Я встречал искусствоведов и художников, которые в «первой тройке» лучших русских живописцев всех времён первым называли именно Боровиковского. А уж в жанре портрета он — несомненный классик переднего рада. В кружке Державина нашлось место и для других талантливых живописцев. Кроме старого друга Оленина это Тончи, Егоров, Иванов.

Искусство поэзии Державина сродни живописи. Художник оперирует цветами, оттенками, ракурсами, знает толк в прихотливой игре света. Державин чувствовал, что всё это можно перенести в стихи. Его и в жизни более всего поражало сочетание несочетаемого.

«Где стол был яств, там гроб стоит» — незабываемый образ, построенный на ощущении контраста. Щуплый, невзрачный на вид старик — и непобедимый полководец, преодолевший Альпы.

Всё это — Суворов, любимый герой Державина. Снова — впечатляющий контраст внутреннего и внешнего.

Остроумие Державин превратил в поэтический дар. В лучших его стихах непременно найдутся две-три строки, ставшие крылатым афоризмом. «Осёл останется ослом, хотя осыпь его звездами», «Умеренность есть лучший пир», «Отечества и дым нам сладок и приятен», «Учиться никогда не поздно», «Чрезмерна похвала — насмешка!» или — вслушаемся! — «Жизнь есть небес мгновенный дар». И прочее, прочее, прочее. Эти фразы нас выручают каждый день. Державин не уступит в афористическом остроумии ни Крылову, ни Грибоедову — умел сказануть на века. А ведь в лиро-эпическом жанре блистать остроумием сложнее, чем в басне или комедии.

На поэтических высотах он не терял практической сметки — пожалуй, такое возможно было только в XVIII веке. Крупным крепостником Державин так и не стал, но был патриархальным барином, который не забывал, что именно от крестьян зависит его благополучие… Хозяйничал он умело. В 1800 году в ответ на жалобы крестьян — Державин писал управляющему: «Вы от меня поставлены управлять деревнями; то и просить должно было прежде у вас милости, буде работы и поборы тягостны, и я надеюсь на вашу справедливость и хорошее устройство, что вы с одной стороны не отяготите их и приведёте в разорение, а с другой не оставите пещися о приращении моих доходов, держася умеренности по пословице, чтоб волки были сыты и овцы целы, о чём вас прошу усерднейше». Это слова умудрённого политика со сложившимися принципами, которые подчас переходят в окаменелые предрассудки — но без предрассудков нам и сахар не сладок.

Державин всегда испытывал недостаток в деньгах — даже в благополучные годы. Не был скопителен, тратил всегда чуть больше, чем следовало. Был щедрым благотворителем, легко прощал долги.

При этом не выжимал из крестьян все соки. Например, в 1793 году в родные казанские поместья Державина прибыл важный человек — управляющий оренбургскими владениями поэта Онисим Иванович Перфильев (простонародный однофамилец родовитого генерала). Строгий, энергичный, готовый землю грызть, чтобы отличиться перед хозяином.

Он доложил Державину, что крестьяне Бутырей, Кармачей, Сокуров ленивы и казанские имения почти не приносят дохода. Крестьяне ссылаются на неурожаи, но это ложь! Они скрывают урожаи! Перфильев предлагал и для острастки, и для экономической пользы переселить половину крестьян под

Оренбург. Державин нисколько не прогневался на «казанцев», не стал увеличивать их повинности и разрешил Перфильеву переселить лишь несколько самых бедных семей.

Обыкновенная история: пока герой был молод и беден, его персона не интересовала художников. Нам почти неизвестен молодой облик Державина (как и — Потёмкина, Суворова). На одном из портретов мы видим сравнительно молодого человека — и это изображение резко отличается от канонических работ Боровиковского. Эту картину художник Иван Смирновский создал в 1780-е годы. Перед нами сорокалетний поэт — полный сил, вдохновенный, открытый. В его лице можно прочесть даже ребячливую наивность — хотя Державин в то время был тёртым калачом и уже успел написать, например, такие стихи:

Утешь поклоном горделивца,
Уйми пощёчиной сварливца,
Засаль подмазкой скрып ворот,
Заткни собаке хлебом рот, —
Я бьюся об заклад,
Что все четыре замолчат.

Это «Правило жить» Державин сформулировал ещё до 1777 года. Неискушённый, восторженный, моложавый человек до такого бы не додумался.

Эффектный портрет Державина создал знаменитый Сальваторе Тончи. Пожилой господин с умным, цепким взглядом вольготно развалился перед нами в барской шубе. Гравюра с этого портрета украсила «Анакреонтические песни» — книгу, которой Державин гордился. У Тончи и впрямь получился анакреонтический дедушка: «седина в голову — бес в ребро». В подтексте — усталость от суетливой политики, от славы… Жихарев, будучи у Державина, пока поэт дремал, принялся рассматривать этот портрет. «Какая идея, как написан и какое до сих пор сходство!» «Портрет Тончи походил на оригинал как две капли воды», — вторит ему С. Т. Аксаков. Сам Тончи добавил к портрету изречение — подражание латинской мудрости: «Дельфийская душа и вера представлены справедливостью скалы, золотисто-красным рассветом и белым снегом».

Иван Дмитриев, увидев на картине Державина в пышной шубе, в раскрепощённой позе, сострил: «Тебя, верно, писали на станции». А Гаврила Романович в глубине души гордился столь непривычным, эксцентричным изображением, хотя и отдавал должное парадным портретам, на которых его изображали при всех регалиях. К своим орденам и чинам старик относился с

почтением: чай, не по счастливому случаю, не по фаворитству получены! За каждым — искренние порывы, нервы и польза государству.

Он любил русскую зиму, а южных зим не знал вовсе. Предшественники Державина почти не писали о зиме. Все классицисты преклонялись перед Античностью, а греческие зимы — это вам не «с белыми Борей власами». Державинская зима торжествует бурно, весело:

В убранстве козырбацком,
Со ямщиком-нахалом,
На иноходце хватском,
Под белым покрывалом —
Бореева кума,
Катит в санях Зима.

Это из того самого «Желания зимы», которое посвятил Державин бесприютному бродяге Захарьину. Не от морозов ли русская бодрость, позволяющая побеждать врагов на поле брани?

Разве можно представить себе без зимнего убранства «Евгения Онегина»?

Опрятней модного паркета
Блистает речка, льдом одета.
Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет лёд —

это сказано с державинской непосредственностью.

Нет, зима у Державина далеко не всегда весела и благодатна. Всё-таки это суровое время года, когда умирают цветы и хлеба, когда крестьяне едва не голодают. Но как опрятны заснеженные улицы, как тепло у огня в скромном дворце отставного министра:

И под арфой тихогласной,
Наливая алый сок,
Воспоём наш хлад прекрасный:
Дай зиме здоровье Бог!

Державин обратился к «бессмертному Тончию» с прихотливым стихотворным посланием, в котором, как в лучших его стихах, мы найдём несколько откровенных признаний.

«Придворным стихотворцем Державин никогда не был и не

мог быть», — категорически уверяет Я. К. Грот. Это утверждение можно оспорить, но лучше уточнить. Да, Державин не желал становиться удобным для сильных мира сего одописцем. Он энергично и смело боролся за власть, за влияние. Но, безусловно, после «Фелицы», а тем более — после оды «На взятие Измаила» Державин приблизился к императрице и регулярно преподносил ей свои сочинения. Не раз он исполнял «заказы» Екатерины, Зубова, Потёмкина — и воспевал в стихах актуальные политические свершения и события из жизни царской семьи. В этом смысле Державин был придворным поэтом. Но он держался как влиятельный политик, а не «карманный поэт» — и общество воспринимало его как относительно независимую инстанцию. Как своенравного барина!

ПРЕЗИДЕНТ КОММЕРЦ-КОЛЛЕГИИ

1 января 1794 года Державина назначили президентом Коммерц-коллегии. Он в это кресло не рвался, видел себя преемником Вяземского, генерал-прокурором.

Как и его друг-приятель Львов, Державин и впрямь был не чужд коммерции. Презренный металл в его карманах не задерживался, но добывать золото он умел, как ловкий и предприимчивый старатель. В почтении к сибирским сокровищам Державин был последователем Ломоносова. Хотя северные и восточные окраины России Гаврила Романович знал, по большей части, понаслышке. Только к Званке привык под старость лет — но это не Сибирь и не суровый север, а славянский край, давным-давно обжитый русскими.

Екатерина в те времена пустых и случайных назначений не допускала. Исключение из этого правила составляли только фавориты, к которым Державин отношения не имел. Попытаемся разгадать умысел императрицы — чего она ожидала от Державина во главе Коммерц-коллегии. Сам Державин назвал Коммерц-коллегию «постом, для многих завидным и, кто хотел, зажиточным». То есть достаточно было пожелать — и обогащения не минуешь. Как правило, чиновники воруют по одной причине: у них *есть возможность* воровать. Державина финансовые искушения не одолевали.

Войны и амбициозные проекты — геополитические, просветительские — истощали казну. Могущество и международное влияние России росло, бюджет вроде бы тоже рос, но и опасных прорех в нём насчитывалось немало. Державин не мог не знать об этом — и амбиции его разгорались. С новых высот он намеревался спасать Отечество от повального мошенничества, от глупой расточительности. На любом посту Державин мгновенно наживал врагов. Новыми опасными противниками президента Коммерц-коллегии стали генерал-прокурор Самойлов, управляющий казённой палатой Алексеев и директор таможни Даев.

Тяжко заболел казавшийся престарелым (было ему за шестьдесят!) Александр Вяземский. Его кресло уже считалось вакантным, и Державин, как уже было сказано, метил в генерал-прокуроры. Императрица и Зубов в личных беседах намекали ему, что такое назначение не за горами. По существу, Державин уже целый год исполнял обязанности, схожие с генерал-прокурорскими, он досконально изучил работу Сената… Когда Зубов стал советоваться с ним — кого бы назначить генерал-

прокурором? — Державин насторожился.

Он подробно рассказал об этом в «Записках»:

> «Императрица автору, когда он был при ней статс-секретарем, приказала делать на все сенатские мемории примечания, и ежели что усмотрит несправедливое или несогласное с законами, то докладывать ей по причине, что тогда генерал-прокурор кн. Вяземский, будучи тяжко болен параличом, не мог отправлять своей должности. Но когда частые примечания ей наскучили, тогда она приказала только прочитывать их сенатским обер-прокурорам, чтоб они, ежели найдут их правильными, новые бы от сенаторов испрашивали резолюции и ошибки поправляли; но когда они не согласятся и останутся при своих мнениях, тогда бы оставлял их по их воле, но только бы у себя имел им записку. Таким образом, продолжались сии примечания почти целый год; но когда в один день автор ей читал дела, то она сказала: „Нет, надобен мне новый генерал-прокурор, старый ослабел“; поглядев на автора лицом примечательным, пресекла разговор. На другой день поутру, часу в 9-ом, любимец ее гр. Зубов прислал к автору лакея с записочкой, чтоб он поскорее ехал во дворец; но как автор тогда занемог и принимал лекарство, то и не мог сего сделать, а приехал уже на вечер. Гр. Зубов, отведши его на сторону, сказал, глядя на него пристально, что императрица намерена уволить старого генерал-прокурора от службы и сделать на место его нового; то кого бы он думал? Автор, не показав нимало своего желания к тому, хотя отправлял уж почти год должность генерал-прокурора, делав замечания на мемории Сената, которые по большой части уважались обер-прокурорами и сенаторами, ответствовал, что это состоит в ея величества воле, кого ей угодно. Граф сказал: „Хорошо, поезжайте домой и приезжайте завтра ранее“. По приезде граф сказал: „Выбран, братец, генерал-прокурор“. — „Кто?“ — „Граф Самойлов“. И тотчас после сего позван был автор к императрице; она спросила его: „Что, записывал ли ты свои примечания о сенатских ошибках, как я тебе приказывала?“ — „Записывал“. — „Принеси же завтра ко мне их“. Записки представлены; она, их приняв, оставила несколько дней у себя; потом, призвав его, отдала оные ему обратно с апробациею, ея рукою написанною, сказав: „Отдай их

> новому генерал-прокурору и объяви от меня, чтоб он поступал по оным и во всех бы делах советовался с тобою“. Вскоре после того позван был к ней гр. Самойлов, то есть новый генерал-прокурор; возвратясь от нея, подошёл к автору и сказал, что ея величеству угодно, чтоб он по своей должности с ним обо всем советовался; то он и надеется от него дружеского пособия. Автор откланялся и вследствие того был несколько раз приглашён на совет генерал-прокурора; но как в некоторых мнениях не соглашались, а генерал-прокурор отдался руководству подьячих, или, лучше сказать, правителю своей канцелярии, человеку не великого разума и сведений, но упрямому, то и произвёл он между графом и автором ссору. По сей причине, сколько императрица ни желала, чтоб под лицом генерал-прокурора отправлял генерал-прокурорскую должность автор, но сие не имело своего действия и истина должна была открыться, показав слабость руля государственного правления, т. е. генерал-прокурора».

Вот и новая обида: у Державина спрашивали совета, многозначительно кивали — а на следующий день пришло известие о назначении А. Н. Самойлова. Новый генерал-прокурор был племянником Потёмкина. Недавно — после Ясского мира — его осыпали наградами: Самойлову тогда выпала честь стать «вестником богов». К тому же императрица хотела поддержать его, отвлечь от траурных мыслей: за один год Самойлов потерял любимого отца и великого дядю. Но Самойлов привык сражаться с оружием в руках, а не вникать в чьи-то жалобы. Он умел солидно представительствовать на переговорах, которые Россия вела с позиций силы, но презирал волокитную юриспруденцию и ничего не понимал в индустриальной и хозяйственной рутине.

Императрица удостоила Державина очередной аудиенции. Она захотела ознакомиться с его работой, с его записями по поводу сенатских ошибок. Рапорты Державина обрадовали Екатерину: дельно, логично… «Отдай их новому генерал-прокурору и объяви от меня, чтоб он поступал по оным и во всех бы делах советовался с тобою». Это, безусловно, знак недоверия к Самойлову. Можно подумать, что его назначили генерал-прокурором из уважения к памяти великого Потёмкина. Но Александр Николаевич Самойлов отнюдь не был неоперившимся птенцом. Почти ровесник Державина (на год младше), ставший графом в годы потёмкинского фавора, он прошёл с боями обе екатерининские Русско-турецкие войны. Под командованием

дяди штурмовал Очаков, под командованием Суворова — Измаил. Боевой генерал с честными орденами на груди, горделивый и неуступчивый.

А Державин, окрылённый после беседы с императрицей, счёл себя эдаким теневым генерал-прокурором. Самойлов поначалу был вынужден следовать советам недавнего кабинет-секретаря императрицы. В такой ситуации им нелегко было сохранить добрые отношения. Тем более что Самойлова по уши затянуло в тяжбы, связанные с наследством князя Таврического.

Когда Державин чувствовал свою правоту — переубедить его было невозможно. Он впадал в буйную неуступчивость. Вот, например, капитан Шемякин купил в Саратовской губернии земли, некогда принадлежавшие блистательному Потёмкину. Давным-давно туда переселились три тысячи малороссов. Возник спор: считать ли их крепостными? Шемякин утверждал, что после бунта, когда этих малороссов усмирили, они дали подписку повиноваться Потёмкину. Выходит, крепостные!

С Шемякиным согласился Завадовский. Но Державин возглавил сенатское меньшинство. Он убеждён: малороссы подписали бумагу не по доброй воле, но «чрез многие побои и истязания». А значит, эти земли принадлежали князю Таврическому незаконно. Крестьян надлежит вернуть казне, они — не собственность Шемякина. Державин намеревался спорить по этому поводу с обер-прокурором и требовал, чтобы последний передал ему свою речь для основательной подготовки критических замечаний. Обер-прокурор Башилов не соглашался, разгорелся жёсткий спор. Державин ночами не спал — и всё из-за саратовских малороссов, которых он в глаза не видал, а пуще — из упрямства. «По обыкновенной моей участи ожидаю неприятностей. Прежде всего, скажут: какой вздорный и неспокойный человек! вот опять новую завёл историю!» И впрямь, второго такого неспокойного сенатора поискать.

Самойлов, конечно, встал на сторону Башилова. Но Державин снова и снова требовал, чтобы его протесты письменно фиксировались, чтобы ему дали возможность посоревноваться с Башиловым в красноречии. Державин даже рискнул расположением Зубова, решился и ему досаждать этой тяжбой.

Екатерину вполне устраивал Самойлов — она ставила его куда выше покойного Вяземского. А тут ещё очень некстати объявился граф Мочениго со своей благодарностью…

В «Записках» Державин вспоминал: «Словом, вступив в президенты Коммерц-коллегии, начал он сбирать сведения и законы, к исправному отправлению должности его относящиеся. Вследствие чего хотел осмотреть складочные на бирже анбары

льняные, пеньковые и прочие, а по осмотре вещей, петербургский и кронштадтский порты; но ему то воспрещено было, и таможенные директоры и прочие чиновники явное стали делать неуважение и непослушание; а когда прибыл в С.-Петербург из Неаполя корабль, на коем от вышеупомянутого графа Моцениго прислан был в гостинцы кусок атласу жене Державина, то директор Даев, донеся ему о том, спрашивал, показывать ли тот атлас в коносаментах и как с ним поступить; ибо таковые ценовные товары ввозом в то время запрещены были, хотя корабль отплыл из Италии прежде того запрещения и об оном знать не мог. Но со всем тем Державин не велел тот атлас от сведения таможни утаивать, а приказал с ним поступить по тому указу, коим запрещение сделано, то есть отослать его обратно к Моцениго. Директор, видя, что президент не поддался на соблазн, чем бы заслепил он себе глаза и дал таможенным служителям волю плутовать, как и при прежних начальниках, то и вымыслили Алексеев с тем директором клевету на Державина, которой бы замарать его в глазах императрицы, дабы он доверенности никакой у ней не имел». Потянулись нити очередной интриги… Вот уж клевета, так клевета. Он сроду не принимал подарков, которые можно счесть за взятки. Он тут же приказал отослать криминальный атлас назад в Италию — но кляузникам достаточно лишь повода. Заговор против Державина, по-видимому, возглавил петербургский вице-губернатор Иван Алексеевич Алексеев. Злополучный атлас задержался в России, а государыня, увы, поверила доносу.

За контрабанду полагалось суровое наказание. Державин в ужасе попытался воздействовать на императрицу, но оказался перед закрытыми дверями. Тогда он бросился к Зубову, но и у него не встретил понимания. Спастись от постыдной экзекуции не удалось, нужно было пройти и через этот позор. Проклятый атлас был сожжён публично, на площади перед Коммерц-коллегией, под барабанный бой! Правда, лично Державин при этом не присутствовал, но фамилия его произносилась.

Земля уходила из-под ног. Державин разочаровывался в той, кого воспевал горячо и умело. Эта рана никогда не затянется: после «атласного дела» любую похвалу Екатерине Державин станет снабжать оговорками, а в стихах воспевать нехотя, без прежнего жара.

Когда стало ясно, что борьба за власть над таможней проиграна, — Державин сник. Не вникнув в таможенные дела, невозможно заботиться о торговом балансе, о валютных курсах… В Коммерц-коллегии президент трудился без прежнего жара. Разрабатывал тарифы, погружался в следственные дела,

связанные с банками, но боевого настроя не демонстрировал. Не раз выпрашивал у императрицы отпуск — но находились неотложные дела: «Отставить немудрено, но пускай сначала завершит новый тариф». Награду за тариф — золотую табакерку с бриллиантами с грамотой, подписанной рукой императрицы, Державин получит уже после смерти Екатерины. Для Державина это была третья столь заметная награда: сначала — шкатулка за «Фелицу», позже — за измаильскую оду и вот, наконец, монархиня по достоинству оценила его управленческие способности.

Гаврила Романович несколько оживился, когда началось расследование махинаций в Заёмном банке — председателем комиссии назначили Завадовского, который в том банке директорствовал. Состоял в комиссии и Державин — он-то и взялся за дело. Откуда вместо растраченных ассигнаций в банковских закромах взялась резаная бумага? Оказывается, главным мошенником был не стрелочник и не кассир, который во всём признался, а… граф Завадовский! По его распоряжениям в особых сундуках — вне кладовой! — в банке держали колоссальные суммы. Узнав, что Державину удалось докопаться до этой истины, граф то ли сказался больным, то ли впрямь тяжело занемог — и решительно не намеревался отвечать за каверзы кассиров… А перед этим из банка в дом графа спешно перенесли какие-то сундуки… Императрица назвала Державина «следователем жестокосердым». Он таковым и был. А Фелица относилась к чиновничьему воровству снисходительно. Главное — чтобы дело всё-таки двигалось. И не сказал бы, что в эпохи, когда в России с коррупцией боролись жёстко, политические и социальные результаты оказывались на порядок лучше екатерининских.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАНФАРОНАДЫ

Но мы ещё дойдём до Ганга,
Но мы ещё умрём в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.

Павел Коган

Мне так уже надоели эти географические фанфаронады наши: от Перми до Тавриды и проч. Что же тут хорошего, что мы лежим в растяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч вёрст, что физическая Россия — Федора, а нравственная — дура.

П. А. Вяземский

Невозможно представить себе (а тем более — понять) политику России екатерининского времени без идеи освобождения Константинополя. Купола Царьграда были мечтой, которая придавала смысл войнам, интригам, дрязгам. Ради мечты можно терпеть лишения, идти на жертвы.

Вот лишь один исторический анекдот, увековеченный Фуксом.

Случились у Суворова: Дерфелвден, австрийский генерал Карачай и ещё некоторые, служившие с ним в турецкую войну. Граф начал с Карачаем говорить по-турецки; тот отвечал ему с великим трудом, извиняясь, что позабыл. Наконец, после многих разговоров, спросил он: «Зачем не взяли мы тогда Константинополя?» Карачай отвечал, смеючись, что это было не так-то легко. «Нет, — возразил Суворов, — безделица! Несколько переходов при унынии турков — и мы в Константинополе; а флот наш — в Дарданеллах». Тут остановили его Карачай и Дерфельден напоминанием о трудностях пройти их. «Пустяки, — отвечал он, — наш Елфинстон в 1770 году с одним кораблём вошёл туда; не удостоил их и выстрела; посмеялся этой неприступности музыкою на корабле и возвратился, не потеряв ни одного человека. Знаю, что после барон Тот укрепил Дарданеллы. Но турецкая беспечность давно привела их в

первобытное бездействие. Прочитайте описание о сих Дарданеллах Еттона, бывшего долгое время английским резидентом при Порте Оттоманской, и вы разуверитесь. Наш флот там был бы. Но миролюбивая политика, остановившая его паруса и руль, велела ветрам дуть назад».

Державин стал певцом российской экспансии, которую подчас связывали с амбициями Потёмкина. Хотя неутомимый князь Таврический был великим реалистом и грандиозную программу раздробил на несколько более скромных и достижимых задач. До сих пор нет-нет да и вспомнят политики о «Завещании Петра Великого». Это — мистификация, поддельный документ, с помощью которого французы и англичане могли обосновать приступы русофобии. Но в хорошей фальшивке ложь следует перемешивать с истиной с фармацевтической точностью. Под некоторыми тезисами «Завещания Петра Великого» подписались бы и Державин, и Екатерина, и Суворов, и Потёмкин: «Вместе с Австрией теснить турок. Провозгласить себя защитником православных в Речи Посполитой, Венгрии и Оттоманской империи с целью дальнейшего подчинения этих держав». Всё так и было.

Наследие Западной и Восточной Римских империй и империи Карла Великого сказалось на имперском мышлении Средневековья, когда за каждым королевским троном виделся реальный или воображаемый трон более высокого сюзерена, императора. Пережитком тех представлений о геополитике стала символическая «Священная Римская империя Германской нации», которую разрушит Наполеон — яростный строитель нового, постреволюционного имперского порядка. К этому времени европоцентризм уже сформировался как националистическая идеология, доказывавшая превосходство европейцев над иными народами, которые пригодны только для обслуги белых господ. Английская колонизаторская политика (а её история богата на кровавые расправы) в этом смысле аналогична агрессивным движениям революционной Франции и Наполеона. Запоздалым — и наиболее агрессивным — проводником европейского расизма был Гитлер, фанатично веривший в превосходство немецкого солдата над «недочеловеками». Как верили воины Дария во всесильного Ахурамазду. Блестящую пародию на экспансионистские фантазии монархов оставил Франсуа Рабле: вспомним один из ключевых эпизодов истории про Гаргантюа — войну с королём Пикрохолом, мечтавшим завоевать весь мир.

Наполеон открыто культивировал гордость, болезненное самолюбие и честолюбие — и подавал тем самым весьма заразительный пример тысячам эпигонов «великого человека».

«Тебе, Боже, небо, а мне — вся земля» — эти горделивые слова Наполеона многое объясняют в природе тех, кто стремится к мировому господству.

И всё-таки не будем демонизировать грёзу о мировом господстве. Как часто именно она вытягивала народы из гибельной трясины гнилого прозябания. Влекла к открытиям, вдохновляла — и не только на кровопролитие. Полномощная власть сильной руки в истории куда чаще прекращала смуту и убийства, чем провоцировала их.

В чём же секрет впечатляющей победительности самых отчаянных и заносчивых завоевателей? Ведь в послужном списке каждого из них триумфов больше, чем поражений. Каждого встречали цветами в захваченных странах, каждому вручали ключи от городов и бухались в ноги целыми государствами… В анализе этого феномена не обойтись без гипотез Л. Н. Гумилёва, без учения о пассионарности. Но хотелось бы обратить внимание на роковую слабость, заложенную в грешной природе человека, которой сполна умели пользоваться неистовые завоеватели. Известно, что подниматься по лестнице куда труднее, чем спускаться по ступенькам. И заставить себя сопротивляться агрессору, принимать смерть «за други своя» — это усилие, на которое способны не все люди и не все народы. Поэтому, как правило, народы и царства уступают инициативе агрессора — как Франция в 1940-м. Именно этим объясняются фантастические успехи завоевателей — от Кира Великого до Гитлера. Если бы Франция сопротивлялась отчаянно, если бы её армия была готова умереть за родину, а народ поднял бы «дубину партизанской войны» — немецкая военная машина надолго бы застряла на родине генерала Бонапарта. Но всегда легче сдаться на милость победителю, выторговывая более удобное положение под властью новой империи. Случаи отчаянного, всенародного сопротивления сильному агрессору в истории нечасты — именно потому у самых успешных завоевателей создаётся впечатление собственной всесильности. Им кажется, что они крепко и властно держат под уздцы судьбы мира. Они, как Александр Македонский, уже готовы вознестись на небо и сравняться с богами. Особенность русской культуры в том, что свободолюбие народа в нас развилось сильнее, чем личное эгоистическое свободолюбие. В России с захватчиками борются до последней капли крови. А те, кто под различными предлогами идёт на компромисс с агрессором или вступает с ним в тактические союзы, — в народной памяти остаются предателями. Поэтому и Карл Шведский, и Наполеон, и Гитлер похоронили свою удачу и надежду на мировую гегемонию именно в русских снегах. Самопожертвование во имя государства

в критический момент — вот высшая доблесть русского народа. Но в российской национальной мифологии почему-то не нашлось места завоевательным порывам, без которых не бывает великих держав.

Державин не сомневался: Россия усиливается. Кто способен потягаться с ней? Франция? Но это государство, каких-нибудь 100–200 лет назад грозно нависавшее над Европой, растрачивает силы в революционных метаниях. Англия? Британцам удалось создать огромную колониальную империю, это серьёзный соперник на долгие годы. Но нет в них русской бодрости, да и армия слабее нашей! Приструнить Китай, Индию или североамериканские колонии — дело техники. На сие способны и британцы, и русские.

Державин видел преимущества самодержавной системы, которую взнуздал великий Пётр. Воля государя, воля полководцев — эта сила сокрушит любую преграду. Верил в русского солдата — самого терпеливого на свете. Непобедимого. Куда там пруссакам или османам! И безбожные французишки пошумят — да и угомонятся, поплатившись за кровавые шалости.

России суждено властвовать над миром. Сказывают, что в пророчествах Святых Отцов сказано и про Босфор с Дарданеллами, и про Иран с Индией. Всюду будет править Русь православная. Державин не был одержимым фанатиком этих идей, но время от времени они его вдохновляли.

Любая война в чьём-то представлении является священной.

Претенденты на мировую гегемонию всегда объясняют свою экспансию «благовидными предлогами». С древнейших времён самыми популярными объяснениями вторжения были религиозные мотивы (противника обвиняли в святотатстве) или обвинения намеченной жертвы в клятвопреступлении или тайном коварстве… Именно так начинались войны между двумя гегемонами классической Эллады — Афинами и Спартой. Они обвиняли друг друга в преступлениях перед богами — в том числе давних, мифических. Но основная стратегическая задача для всех очевидна: влияние, ресурсы, политический и торговый приоритет. А мистический флёр полезен не только для самооправдания. Мотивы «священной войны» вдохновляют, сплачивают массы, пробуждают фанатизм, без которого невозможно вести затяжную войну, полную тягот и перенапряжения сил. Державин не боялся подчёркивать мотив религиозной борьбы: ведь это, в представлении солдат, — едва ли не основной нерв экспансии. «Магомета ты потрёс!» — восклицает он после победы над Блистательной Портой. Царьград пока ещё не освобождён — но разве это свершение кажется невероятным?

Даже после буйного Петра сохранился в России дух потомков Даниила Александровича — князей Московских, которые наращивали могущество медленно и неуклонно. Вот и Екатерина не любила авантюрную штурмовщину. Сначала — Дунай и Кубань, потом — Кавказ, потом — Иран и освобождение славянских народов, а уж после всего — столица империи, Константинополь. Кстати, Державин нечасто упоминал Царьград в одах. Но всегда имел в виду эту стратегическую цель.

Воинская держава готова была вступить во всеевропейскую войну. Суворов предлагал императрице идти походом на «безбожных французов». Начиналась большая игра — поопаснее трактирного фараона. В этой игре мечты Державина о Царьграде обретали реальные очертания…

ПОЖАРСКИЙ

У великой державы имеются герои не только в настоящем, но и в далёком прошлом. В те времена всё, что было до Петра Великого, воспринималось как нечто былинное, сказочное. Победу над Смутой (не столько над поляками, сколько над всенародной и государственной деградацией) не забыли: как-никак то было начало правящей династии. Но о вождях сопротивления Россия вспоминала нечасто. Гермоген, Пожарский, Минин — патриарх, князь и мещанин, почти мужик.

Державина с гимназических лет восхищал подвиг князя Пожарского. Родовитый аристократ, Рюрикович, прямой потомок Всеволода Большое Гнездо… Его отец и дед воевали за царя и Отечество, но каменных палат не нажили, пребывали в бедности. Разве это не напоминает судьбу потомков мурзы Багрима? В роковой час именно Пожарский возглавил ополчение, разбил врага, организовал выборы нового государя (по существу — выборы династии) и — отошёл в сторону. Державин нашёл в судьбе Пожарского образ идеального героя:

Который бы в боях сражался
Лишь спасть народ, царя от бед;
Перунами не возвышался,
Отнёс к другим весь звук побед;
Красой и златом не был пленным,
Простил убийцам обличенным,
Сокрыту зависть наградил;
Не вняв к себе народа клику,
Избрал достойного владыку
И над собою воцарил…

На коварство французского возмущения и в честь князя Пожарского, 1789, 1790

Таков был первый отклик Державина на французскую революцию. Перед угрозой хмельного хаоса, пожиравшего народы (Державин именно так воспринимал французские события), он вспомнил о Пожарском. После Державина эта ассоциация станет общим местом.

Опыт политической борьбы помог Державину увидеть главное в судьбе князя. Увидеть, чем он отличается от героев, спасавших Францию, Британию, Испанию… Пожарский —

признанный военный вождь, политический лидер, после победы не стал претендовать ни на престол, ни на первое место рядом с престолом. Не боролся за власть, не боролся даже за влияние на молодого государя… Истинно русское воинское смирение, секреты которого хорошо знал и Суворов. В 1796 году он писал А. И. Горчакову: «О, как шагает этот юный Бонапарт! Он герой, он чудо-богатырь, он колдун! Он побеждает и природу, и людей. Он обошёл Альпы, как будто их и не было вовсе. Он спрятал в карман грозные их вершины, а войско своё затаил в правом рукаве своего мундира. Казалось, что неприятель тогда только замечал его солдат, когда он их устремлял, словно Юпитер свою молнию, сея всюду страх и поражая рассеянные толпы австрийцев и пиемонтцев. О, как он шагает! Лишь только вступил на путь военачальства, как уж он разрубил Гордиев узел тактики. Не заботясь о числе, он везде нападает на неприятеля и разбивает его начисто. Ему ведома неодолимая сила натиска — более не надобно. Сопротивники его будут упорствовать в вялой своей тактике, подчинённой перьям кабинетным, а у него военный совет в голове. В действиях свободен он как воздух, которым дышит. Он движет полки свои, бьётся и побеждает по воле своей! Вот моё заключение: пока генерал Бонапарт будет сохранять присутствие духа, он будет победителем. Великие таланты военные достались ему в удел. Но ежели, на несчастье своё, бросится он в вихрь политический, ежели изменит единству мысли, — он погибнет». Это пророчество исполнилось не только в судьбе Бонапарта. Истинно русский герой, Пожарский не изменил единству мысли. Спас Отечество — и «избрал законного владыку и над собою вацарил». Тут и воинский подвиг, и подвиг смирения. Не случайно Россия вспомнила о Пожарском во дни побед Наполеона. Пропагандисты и поэты (в те годы все пропагандисты, начиная с Шишкова, были и поэтами) клялись именем Пожарского, не забывая и про Минина-Сухорука.

Историки устраивали над Пожарским неправедный суд. Оказывается, он был бездарным воеводой и слабым политиком. Действовал медлительно и не мог железной рукой установить воинскую дисциплину. Но почему же именно второе ополчение, возглавленное Пожарским, изгнало интервентов из Москвы? Да, не всегда Пожарскому удавалось держать в повиновении казаков Трубецкого — это проявилось, когда они нарушили обещание князя и расправились над измождённым польским отрядом полковника Струся, покинувшим Московский Кремль.

Ещё до фелицианского взлёта, до французской революции, в конце 1770-х годов, Державин задумал поэму о Пожарском. В этом жанре пробовал себя Ломоносов, в этом жанре ярко проявил

себя Херасков. Честолюбие требовало от поэта эпических подвигов.

Державин намеревался противопоставить просвещённому Пожарскому своенравного Трубецкого — приверженца губительной вольницы. Он — исчадие смуты, раб собственных амбиций. В поэме о Пожарском Державин проявил бы себя осмысленным монархистом. Дворянин должен смирить самовластные амбиции, подчиниться идее объединения государства под властью царя.

Пожарский не был сторонником Романовых. Он опасался, что из юного Михаила Романова получится очередной боярский царь — наподобие Василия Шуйского. Пожарский верно служил Василию Шуйскому, проливал за него кровь, но история показала, что крепкого царя из хитроумного боярина не получилось. Вот если бы шведский королевич принял православие да обязался во всём советоваться с Земским собором… Но когда избрали Михаила Фёдоровича — Пожарский не обернулся фрондёром. Строил храмы, воевал, удовлетворяясь сравнительно скромным положением.

После смерти Скопина-Шуйского из всех русских полководцев только Пожарский был способен к самопожертвованию без авантюризма. Славу спасителя Руси он разделил с патриархом Гермогеном и мещанином Мининым. Но Державин сконцентрировал внимание на судьбе воина, аристократа. Во времена Пожарского Русь воевала с могущественным Польским государством. Польская тема и при Екатерине была политически актуальной.

Противостояние с Польшей продолжалось несколько веков. Во времена Державина Россия неторопливо и основательно пережёвывала ошмётки Речи Посполитой. Почему нельзя было воздержаться от экспансии на Запад? Да просто самодержавная империя не могла потерпеть, что в соседней стране притесняют православных. С другой стороны, Польша ослабла — а это, несомненно, достаточное основание для политического давления на неё… Державин напоминал самому себе и всей просвещённой России, что всего лишь полтора-два века назад поляки хозяйничали в русских городах и бороться с ними приходилось всем миром.

> «Когда Пожарской, пренебрегши своё спокойствие и несмотря на раны свои, в смутное время принял на себя главное предводительство собранного войска; не поступил по тогдашним обычаям жестоко со злодеями, на убивство его покушавшимися; не прельстился

богатством бояр, из осаждённой Москвы им выпущенных; не обходился с пленниками сурово, как другие, которые их имение ограбили, а самих лишили жизни; не принял короны, от народа ему поднесённой, как некоторые иностранные писатели и все обстоятельства утверждают, а возложил её на наследника по крови царской, учредя монархическое правление, — то не был ли он Герой высшей степени, человек самый добродетельный, великий, каковых мало история представляет и каковым я его представляю, придав ему слабости, не победя которых, никто великим почитаться не может?»

Пожарский мог стать русским Кромвелем или Бонапартом, но предпочёл роль умиротворителя и быстро удалился на второй план — Державина увлекал этот смиренный героизм.

Державин урывками размышлял о будущей поэме, наметил характеры героев.

Пожарского: образ совершенного героя, любителя отечества; великодушен, терпелив, бескорыстен, милосерд, щедр, скромен, богочтителен.

Трубецкого: властолюбив, хитр, корыстолюбив, завистлив и горд.

Минина: пристрастный любитель отечества, простосерд, горяч, мечтателен, жертвующий всё отечеству.

Заруцкого: злодей, коварен, подл, корыстолюбив, трус.

Струся: надмен, твёрд, жесток, неумолим.

Клеонисы: добродетельна, великодушна, нежна, послушлива и постоянна.

Малые осколки остались от того замысла, немногое излилось на бумагу:

Пою усердных войск российских воеводу,
Который, усмирив крамолы непогоду,
От внешних супостат Москву освободил,
Наследный Россов скиптр наследнику вручил,
А сам, — отрекшись быть державным властелином, —
Подпорою царю, отечеству был сыном.

О ты, которая средь людств, наедине,
Во всех его делах, в советах, на войне
Была его душа, наставник и свидетель,
Приди, внуши меня, святая Добродетель!
Скажи мне подвиги и все его дела,
И все пути его, и как его вела

Любовь к отечеству, а ты сопровождала,
Когда его рука Россию избавляла.
Одни лишь вы могли его вождями быть:
Героев истинных удобны вы творить.

Печальная Москва, Поляками плененна,
Казалась узницей, в оковы заключенна;
Чертог царей ея и трон ея был сир;
Ни в мыслях, ни в сердцах не водворялся мир;
По стогнам кровь текла, в домах лилися слезы,
Звучали на граждан возложенны железы.

Благородный жанр эпической поэмы Державину не давался. Как будто повествовательный стиль отбивал у него ощущение полёта. Ломоносову тоже не удалось завершить «Петра Великого», но всё-таки он создал две песни, заставившие любителей поэзии пуститься в споры. А Державин сложил оружие: его подхватил и понёс за собой ураган служебных забот. Правда, во дни отставки он написал (на этот раз — от и до) «героическое представление» «Пожарский, или Освобождение Москвы», так и не увидевшее профессиональной сцены. Но в этом произведении любви к герою гораздо больше, чем литературного или театрального изящества. В монологах Пожарского есть строки, которые могли бы украсить поэму, но в контексте трагедии они выглядят выспренно, фальшиво:

Когда б я только мог отечество спасти,
Природного царя увидеть на престоле,
И веру и закон и Россов вознести…

Зато двустишие «На гроб князя Пожарского» получилось на славу — ни одного лишнего слова:

Пленитель чуждых царств и вождь мятежной злости!
Не смей попрать сей прах: — Пожарского тут кости.

Выбить бы эти строки на могиле князя!

А ведь у последнего пристанища князя Пожарского (в Суздале, в Спасо-Евфимиевом монастыре) сложилась непростая судьба. Во времена Державина гробница Пожарского пребывала в запустении: могильные камни пошли на укрепление монастырских стен. Только при Николае I с миру по нитке начнут

собирать деньги на склеп и часовню над ним. А потом, в 1932 году, неистовые ревнители пролетарской классовой чистоты дадут последний бой царизму: разнесут мавзолей Пожарского. Последний бой — потому что во второй половине 1930-х князь окажется в пантеоне всенародных героев. Но только в 1950-е годы в Суздале появится первый памятник спасителю Отечества. Увы, «сей прах» попирали неоднократно. Державин снова не просто славословил, но кольнул в нерв…

Но не только великое прошлое вдохновляло Державина: новых Пожарских он разглядел и в современниках.

КТО БЫЛ СУВОРОВ?

Со времён пугачёвской войны Суворов запомнил энергичного великовозрастного поручика, остроумного, незакостеневшего. Первые суворовские стихи Державина оказались пробными, разведывательными. На подступах к суворовскому образу Державин понял, что чудачества полководца — это больше, чем эксцентрика.

После «Фелицы» о Державине заговорило всё благородное общество. Суворов увлекался поэзией и сразу узнал в знаменитом стихотворце своего боевого соратника. Державин стал значительной фигурой, его стихи влияли на идеологический климат в стране. Суворова уже прославляли в стихах Ермил Костров и Дмитрий Хвостов. Но первому Суворов оказывал меценатскую поддержку, а второй слыл беспомощным стихотворцем, к тому же был родственником и близким другом Суворова. А Державин как будто гнушался им…

В Финляндии, чувствуя себя в незаслуженной опале, Суворов с горечью складывал строки, пародировавшие Державина и ставшие эпиграммой на Потёмкина: «Одной рукой он в шахматы играет, другой рукою он народы покоряет. Одной ногой разит он друга и врага, другою топчет он вселенны берега». Но о послеизмаильской размолвке Суворова с Державиным мы уже вспоминали.

Поход 1794 года создал Суворову репутацию первого ястреба империи. Его имя наводило ужас не только на соседей, но и на далёких британцев, которым есть дело до всего на свете. Создатели польского антироссийского мифа демонизировали Суворова. Разнообразные жестокие выходки русских, австрийских, прусских генералов, орудовавших в Польше в XVIII–XIX веках, молва приписала самому известному полководцу — Суворову. Забыты были реалии похода. Забыто, что Суворов строго наказывал за мародёрство. Забыто, что в Праге — предместье Варшавы — в пылу боя Суворов приказал уничтожить мост через Вислу, чтобы предотвратить погром в польской столице. С величайшим почтением он общался со Станиславом Августом — королём, который потерял Польшу. На Западе, конечно, говорили о беспрецедентно кровавом штурме пражских укреплений. В Европе уже тогда действовало золотое правило: что позволено Британии (Франции, Пруссии и т. д.), то не позволено России. А Суворов после переговоров с королём отпустил на все четыре стороны пленных.

Каких-нибудь 120 лет назад Московская Русь сражалась с

Польшей на равных, и непонятно было, какое славянское государство станет гегемоном Восточной Европы. Польша ничем не уступала Руси, а во многом и превосходила её. Но… поляки заигрались в шляхетскую демократию, заплутали в трёх соснах политических дискуссий и ослабли. Демократия — это чертовски подходящий курс, если вы поставили задачу загубить дело. Польша сама себя сварила, полила соусом и украсила веткой укропа. Соседние государства просто не могли не съесть это блюдо. «Слабых бьют… за слабость» — примерно так говорил Сталин перед Второй мировой войной.

Россия принялась активно вмешиваться в польские дела, защищая «диссидентов» — православное меньшинство Речи Посполитой. Превратила Польшу в зависимое государство — и, конечно, нажила себе врагов в патриотически настроенной шляхте.

Польская кампания 1794 года стала самым громким триумфом Суворова. Европейские добры молодцы с ужасом пересказывали друг дружке были и небылицы о штурме Праги, о вступлении в Варшаву, о пленении Костюшко.

«Очень трудно исполнять свой долг; меня считали за варвара, при штурме Праги убито было 7000 человек. Европа говорит, что я чудовище; я сам читал это в печати, но я хотел бы поговорить об этом с людьми и узнать от них: не лучше ли кончить войну гибелью 7000 человек, чем тянуть дело и погубить 100 тысяч? Столько людей, которые гораздо умнее меня; очень бы желал, чтобы кто-нибудь потрудился объяснить мне это!» — втолковывал Суворов. Сработал всегдашний тактический принцип русского полководца: единовременное кровопролитие лучше продолжительного, даже если оно кажется на первый взгляд излишним. Что же касается вражеской пропаганды — с ней Суворов умел разбираться, как повар с картошкой. Когда в Швейцарском походе Суворову покажут пасквиль с карикатурой на русского фельдмаршала — он прикажет размножить эту бумажку, чтобы каждый мог прочитать и убедиться в подлости хулителей. Убеждённый монархист, Суворов питал особый пиетет к королям — даже таким горемычным, как Станислав Август. И король остался доволен эксцентричным полководцем: тот как рыба в воде чувствовал себя среди ужасов войны, но к королевскому ореолу отнёсся с восторгом, от которого их поблекшее величество успел поотвыкнуть.

Поляки изумлялись: Суворов отпускал пленных под честное слово. Отпустил на все четыре стороны больше, чем просил король… Нужно было только подписать «реверс» — обещание не поднимать оружия против России. Только последний польский

главнокомандующий, гордец Вавржецкий, поборов колебания, сохранил лицо для будущей борьбы за Польшу, реверса не дал и был под конвоем отправлен в Киев, откуда Румянцев направил его на берега Невы. Заметим, что все польские пленники, подписавшие реверс, получили паспорта и были отпущены с правом свободного проживания где угодно. Но далеко не все исполнили обязательства реверса не поднимать оружия против России. Генерал-лейтенант Ян Генрик Домбровский, прибывший вместе с Вавржецким, реверс выдал, но потом воевал против Суворова в Италии, во французской армии.

15 декабря 1795 года Суворов наконец-то прибыл в Петербург. Императрице не терпелось наградить своего героя — к тому же в Варшаве Суворов проводил слишком гуманную и самостоятельную политику.

В Петербурге Суворова встречали как триумфатора. Поселился фельдмаршал в Таврическом дворце — там, где полтора года назад проходил Измаильский праздник, на котором для него не нашлось места… Каждый стремился засвидетельствовать своё почтение покорителю Варшавы. И тут начался спектакль, в котором Державин сыграл не последнюю роль.

> «Во второй день граф не желал никого принимать, кроме избранных лиц; первого он дружески принял Г. Р. Державина в своей спальне; будучи едва прикрыт одеждою, долго с ним беседовал и даже удерживал, казалось, для того, чтоб он был свидетелем различия приёмов посетителям; многие знатные особы, принадлежащие двору, поспешили до его обеда (в Петербурге назначен был для обеда 12-й час) с визитом, но не были принимаемы: велено было принять одного кн. П. А. Зубова. Зубов приехал в 10 часов; Суворов принял его в дверях своей спальни, так же точно одетый, как бывал в лагерной своей палатке в жаркое время; после недолгой беседы он проводил князя до дверей своей спальни и, сказав Державину „vice-versa“[2], оставил последнего у себя обедать.
>
> Чрез полчаса явился камер-фурьер: императрица изволила его прислать узнать о здоровье фельдмаршала и с ним же прислала богатую соболью шубу, покрытую зелёным бархатом с золотым прибором, с строжайшим милостивым приказанием не приезжать к ней без шубы и беречь себя от простуды при настоящих сильных морозах. Граф попросил камер-фурьера стать на диван,

показать ему развёрнутую шубу; он пред нею низко три раза поклонился, сам её принял, поцеловал и отдал своему Прошке на сохранение, поруча присланному повергнуть его всеподданнейшую благодарность к стопам августейшей государыни.

Во время обеда докладывают графу о приезде вице-канцлера графа И. А. Остермана; граф тотчас встал из-за стола, выбежал в белом своём кителе на подъезд; гайдуки отворяют для Остермана карету; тот не успел привстать, чтоб выйти из кареты, как Суворов сел подле него, поменялись приветствиями и, поблагодарив за посещение, выпрыгнул, возвратился к обеду со смехом и сказал Державину: этот контр-визит самый скорый, лучший — и взаимно не отяготительный».

В те дни они сдружились, и Суворов открывался перед Державиным как эксцентрик, как мыслитель. Разговаривая с поэтом, он снимал маску чудака — и Державин рассмотрел в нём загадочного, непостижимого мудреца. Тогда-то и появились первые настоящие стихи Державина о Суворове:

Когда увидит кто, что в царском пышном доме
По звучном громе Марс почиет на соломе,
Что шлем его и меч хоть в лаврах зеленеют,
Но гордость с роскошью повержены у ног,
И доблести затмить лучи богатств не смеют, —
Не всяк ли скажет тут, что браней страшный бог,
Плоть Епиктетову прияв, преобразился,
Чтоб мужества пример, воздержности подать,
Как внешних супостат, как внутренних сражать.
Суворов! страсти кто смирить свои решился,
Легко тому страны и царства покорить,
Друзей и недругов себя заставить чтить.

Это стихи «с портретным сходством» и «с психологией». Наконец-то он увидел Суворова не в латах, не в львиной шкуре, не в античной тоге. В стихах блеснули горящие глаза Суворова! Державин первым понял, что главная победа Суворова — над самим собой, над искушениями, над «внутренними супостатами». Отныне Суворов стал любимым героем Державина. Отныне поэт воспринимал полководца не как символ победы, не как величественную функцию — он пытался найти слова, которые раскрыли бы сложный образ воина-подвижника, неожиданного, необыкновенного в каждом жесте.

СОПЕРНИК

Мы не раз упоминали его имя, пришла пора объясниться. В 1766 году в Москве по случаю коронации императрицы устроили чудесную карусель. Потеха состояла из четырёх костюмированных «кадрилий: славянской, римской, индийской и турецкой». Вот как описывали это торжество в «Московских ведомостях» по горячим следам: «Кавалеры старались показать искусство и доспех свой ристанием на коне, метанием жавелотов и действием прочих кавалерских в набегах военных орудий с необычайными адресами». При раздаче «прейсов» за грацию «все зрители вошли нечувствительно в разбор подробный прямых действий, а потому и находили истинную пользу, которую сим нечувствительным образом премудрые государи вводят в народах своих чрез посредство приятности и увеселения».

Рядовой Преображенского полка Гаврила Державин, «маравший стихи», тогда мог только робко мечтать о признании. Между тем стихи прочно вошли в светскую моду. Князь Николай Васильевич Репнин уронил благодатную мысль: недурно было бы воспеть эту карусель в стихах! Прозрение высокопоставленного вельможи донесли до Василия Петрова — и учёный поэт вскоре издал оду «На великолепный карусель», которая открыла ему прямоезжую дорогу к славе. Его нашла царская милость: 200 червонцев в золотой табакерке. Слухи о щедром вознаграждении стихотворца быстро достигли Преображенского полка, но Державину оставалось только локти кусать.

По московской Славяно-греко-латинской академии Петров коротко знал Григория Потёмкина. Потёмкину понравились стихи приятеля, он вознамерился его возвысить, превратить в государственного поэта. Главным событием 1767 года был проект «Нового уложения». Потёмкин заказал Петрову оду по этому случаю. Петров не упустил случая — и вскоре на стол императрицы угодила «Ода всепресветлейшей, державнейшей, великой государыне Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской, премудрой законодательнице, истинной отечества матери, которую во изъявление чувствительнейший сынов российских радости и искреннейшаго благодарения возбужденнаго в сердцах их всевожделенным манифестом, в пятое лето благополучнаго ея величества государствования изданным, о избрании депутатов к сочинению проекта Новаго Уложения, приносит всенижайший и всеподданнейший раб В. П.». Вот такое заглавие. Даже по меркам XVIII века велеречивое до оторопи.

Екатерина испытывала потребность в своём Пиндаре, потому и сказала после первого знакомства со стихами нового пиита: «Я не забуду Петрова». Так было заведено. У Алексея Михайловича — Симеон Полоцкий. У Петра Великого — Фёдор Журавский и Феофан Прокопович. У Анны Иоанновны — Василий Тредиаковский. У Елизаветы Петровны — Михайло Ломоносов. Ломоносов ежегодно приветствовал одой и день восшествия на престол Екатерины; правда, прожил при новой императрице недолго — меньше трёх лет. И остался в истории человеком елизаветинской эпохи. Императрицу впечатлила ода Петрова: вот оно, новое имя! Громогласные восторги Петрова вроде бы не уступали ломоносовским. И Екатерина, и Потёмкин говаривали о нём: «Не хуже Ломоносова». Была в его строках и какая-то особая замысловатость — собственный стиль! Хорошо организованное и звучное косноязычие. Екатерина расслышала новую торжественную интонацию. Вызывало уважение и усердие поэта: 28 десятистиший, это целая эпопея восхвалений!

Как и Державин, Петров знавал нужду, только был он поповичем, а не дворянским сыном. Он вырвался из безвестности и нужды. В армии не служил (хотя в стихах батальные картины создавал мастерски!), со студенческих лет проявил талант ритора, который оценила и императрица.

Возвышению Петрова способствовали его артистические способности. Он был хорош собой, обладал приятным голосом, навострился эффектно декламировать стихи и произносить речи. Державину этих умений всегда недоставало. Он-то слегка шепелявил, а когда приходилось читать свои стихи, тушевался, нервничал, поминутно сбивался. На литературных собраниях Державин, как правило, просил более одарённых чтецов почитать что-нибудь из себя… При дворе это было затруднительно. Ораторский задор овладевал Державиным только в политических спорах. Вот тогда он становился монархическим Дантоном! А на чтецком поприще робел.

Чем выше взлетал Потёмкин — тем крепче он дружил с Петровым, доверял ему, как никому другому. Через Петрова будущий князь Таврический вёл переписку с Екатериной с театра военных действий. Потёмкин осыпал Петрова наградами: быть доверенным лицом всесильного фаворита, а позже и мужа императрицы — завидная доля. С Петровым Потёмкин делился сомнениями, дерзкими остротами и ещё более дерзкими геополитическими планами.

Когда Державин приблизился к императрице, достиг всеобщего признания — Потёмкин наладил с ним приятельские отношения, но не более: держал ухо востро и беседовал с

величайшей осторожностью. А с Петровым — душа нараспашку. И Василий воспел дружбу с неутомимым властелином:

Ты пренья вёл со мной о промысле и роке,
О смерти, бытии и целом мира токе!

Когда церемонный Петров писал о дружбе с Потёмкиным, слог его становился человечнее. Петров стал переводчиком и чтецом её величества. Сам он гордился честью быть «карманным стихотворцем» императрицы. Словом, стихотворчество вознесло его, принесло счастье и достаток. У него был счастливый талант хвалить. В наше время от Петрова осталось две строчки, которые нет-нет да и произнесут в тосте, в поздравительном спиче или запишут в праздничную открытку:

Три грации считалось в древнем мире.
Родились Вы — и стало их четыре!

Приятно получить такую открытку? Особенно — если вы — первая и единственная, кому посвящаются эти строки. Вот и Екатерине было приятно получать от Петрова бурно комплиментарные оды. Это и называется — талант хвалить.

Конечно, случались у Петрова проблески истинной поэзии. Всё-таки он был даровитым стихотворцем. Облечь в стихи политическую программу всегда непросто — Петрову это иногда удавалось блистательно. Вот, например, поэтическое рассуждение о коварной роли Франции в подоплёке Русско-турецких войн:

Цветущие под солнцем россы
Давно в очах его колоссы;
Их должно сжати в общий рост.
Падут без дружния заступы;
Чужи в полях кровавых трупы,
Прекрасен галлу в рай помост.

Петров превратился в политического мыслителя. Общаясь с Потёмкиным, он разрабатывал государственную идеологию, комментировал стратегию и тактику империи. По мнению знатоков, по части международной политики он был искушённее Державина.

Литераторы же Петрова не приняли, покалывали пародиями и насмешками. Извечная рифма Петрова «Екатерины — крины»

стараниями острословов превратилась в запрещённый приём. Когда сложится литературный кружок Державина, Львова, Хемницера, Капниста — Петров станет мишенью для их дружеского сарказма. В известной степени, они дружили «против Петрова». Правда, Державин, в отличие от друзей, воздержится от резких слов по адресу собрата.

Державин вообще избегал литературной вражды — и виртуозно от неё уклонялся. Он преклонялся перед Ломоносовым, но находил полезное и в разножанровом наследии Сумарокова. У Петрова учился громогласной баталистике, у Львова — лёгкости слога. Вчитывался в Карамзина — и благодушно внимал Шишкову. Восхищался Жуковским и Пушкиным — и приветствовал Боброва. Потому что служил не какой-либо литературной партии, а русской словесности, Просвещению, для которого сгодится всё лучшее, независимо от партийной принадлежности. Впитывая это лучшее, Державин не терял своеобразия. Он никому не позволял поработительно влиять на себя. В собственном кабинете всегда глядел патриархально полновластным хозяином. Да, Державин был эклектичен — и в то же время самобытен.

Тогда никто не мог предсказать, что лучшее стихотворение о Потёмкине напишет не его душевный друг, а несносный «мурза», который был великовозрастным капралом, когда Петров уже блистал при дворе. Державин пережил своего парнасского соперника. Последнее опубликованное крупное сочинение Державина — «Гимн лиро-эпический на прогнание французов из Отечества» — стихами перевёл на английский язык сын Василия Петрова…

Знатное происхождение всё-таки помогло Державину! Не зря он не забывал про мурзу Багрима. До Державина придворные пииты не могли похвастать такими предками! Русская поэзия рождалась в монастырских стенах. Наши первые поэты происходили из духовенства. Поповичами были и два Василия — Тредиаковский и Петров. Сыном черносошного крестьянина был Ломоносов, но по материнской линии и он был внуком священнослужителя. Таких предков, как мурза Багрим, он же Ибрагим, он же Илья, у него не было.

Думается, Петрову для того, чтобы надолго утвердить себя в важной придворной роли, не хватило именно аристократического происхождения. Он не чувствовал себя равным с вельможами. А Державина даже нищенская молодость не сломила. Он умел повелевать судьбами Отечества — и «истину царям с улыбкой говорить». С улыбкой — значит, кроме прочего, с прямой спиной.

ПАМЯТНИК

В длинном ряду русских переложений программной оды Горация (от Ломоносова до Бродского и, наверное, далее) Державин не затерялся. Эти горделивые строки он отчеканил в 1795 году, тогда же и опубликовал в «Приятном и полезном препровождении времени» под скромным заголовком «К Музе. Подражание Горацию». Чуть позже утвердится привычное для современного русского читателя название — «Памятник».

Время показало, что в 1795-м рановато было подводить итоги и писать завещание. Ему ещё предстояло написать и «Жизнь Званскую», и «Снигиря», и «Реку времён». Но Державин давно задумывался о земном бессмертии, которое обеспечивает литературная слава. Ведь сколько веков прошло после Горация! Державин уже проговаривался: «Моих врагов червь кости сгложет, / А я пиит — я не умру», «В могиле буду я, но буду говорить». Державин опубликовал эти стихи вскоре после написания — в том же 1795-м, в «Приятном и полезном препровождении времени» — и снова продемонстрировал ценителям поэзии редкую смелость замысла и воплощения. Посыл этого напористого стихотворения воспринимался как нечто странное, из ряда вон выходящее.

В тогдашней России не было монументов писателям. Православная традиция вообще не предполагала скульптурных памятников, лучшим памятником выдающемуся человеку или славному событию считалось возведение храма. Только после Петра Великого, который прививал России светские европейские замашки, мало-помалу на площадях Санкт-Петербурга стали появляться скульптуры на постаментах.

В державинском кругу Горацию поклонялись. Сначала Василий Капнист — утончённый знаток классической латыни — перевёл оду «К Мельпомене» (Exegi monumentum — «Я воздвиг памятник»), уже знакомую любителям русской поэзии по переложению М. В. Ломоносова. У Капниста получился зарифмованный Гораций:

> Я памятник себе воздвигнул долговечной;
> Превыше пирамид и крепче меди он.
> Ни едкие дожди, ни бурный Аквилон,
> Ни цепь несметных лет, ни время быстротечно
> Не сокрушат его. — Не весь умру я; нет: —
> Большая часть меня от вечных Парк уйдет.

Державин последовал за Капнистом, но не стал вживаться в образ римского пиита. Отбросив скромность (уж не знаю, ложную или какую), он написал о себе лично. От первого лица!

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов твёрже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полёт его не сокрушит.

Так! — весь я не умру, но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастёт моя, не увядая,
Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Рисунок Оленина, иллюстрировавшего «Памятник», «представляет поэта, взирающего с благоговением на божественное сияние». Что же давало поэту повод для гордости? Державин указал не на абстрактные заслуги, он вспомнил о двух главных своих одах:

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.

И благодарность «народов неисчётных» Державин напророчил себе задолго до Пушкина.

Чернышевский пояснит: «В своей поэзии что ценил он? Служение на пользу общую. То же думал и Пушкин. Любопытно в этом отношении сравнить, как они видоизменяют существенную мысль Горациевой оды „Памятник“, выставляя свои права на бессмертие. Гораций говорит: „я считаю себя достойным славы за то, что хорошо писал стихи“; Державин заменяет это другим: „я считаю себя достойным славы за то, что говорил правду и народу и царям“; Пушкин — „за то, что я благодетельно действовал на общество и защищал страдальцев“».

Современники не сомневались, что Пушкин в «Памятнике» следовал не столько Горацию, сколько Державину. Не только число строк и строф у них совпадает, Пушкин явно соглашался с основной идеей Державина, но подчеркнул и собственное отличие от программы действительного тайного советника и министра… Державин воспевал императрицу — и считает это залогом собственного бессмертия:

О Муза! возгордись заслугой справедливой,
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринуждённою рукой неторопливой
Чело твоё зарёй бессмертия венчай.

Пушкин о монархах не упоминает, для него важнее «милость к падшим». Существенная разница! И всё-таки традиция «русского „Памятника“» идёт не от Ломоносова, не от Капниста, а от Державина.

Сразу после смерти Державина, 24 сентября 1816 года, на чрезвычайном публичном собрании Казанского общества любителей отечественной словесности профессор Яковкин в порыве траурного красноречия высказал пожелание создать памятник поэту в его родном городе. Но сбор средств начался только в 1830-е годы. После долгих споров утвердили проект скульптора Гальберга и архитектора Тона — скульптор изобразил Державина в римской тоге, но черты лица перенёс с известных портретов поэта. «В 1843-м в Казань прибыла баржа с каменными деталями памятника. Приказчик судна обратился к прохожим с такой речью: „Народ прославленный! Вот приехала Держава и перевезти её надо, а как это сделать, если ты не поможешь? Народ православный! Помоги перевезти Державу!“». На салазках тяжёлые глыбы перевезли к университету. А открыли памятник 23 августа 1847 года. Такой монумент в тогдашней Казани воспринимался как чудо. Да и верно — первый в России публичный, не могильный памятник поэту! Через 20 лет казанцы порешили перенести достопримечательность от университета на главную площадь города. Журналисты откликнулись на это затратное мероприятие возмущёнными фельетонами. А горожане, если верить графу Салиасу, говаривали примерно так: «Это монамент генералу Державину. Он… при нашествии французов… Наполеона побил шибко».

А в 1930 году, в раже пролетарского гнева, памятник не пощадили. «Советское правительство низложило Державина с литературного трона и швырнуло последнего дворянина Казани с пьедестала на мостовую. Первым борцом за пролетарскую Казань был Емельян Пугачёв. На месте памятника Державину нужно поставить памятник Пугачёву, первому борцу за пролетарскую Казань», — ликовала «Красная Татария». Неистовые ревнители мировой революции давали последний бой патриотически настроенным коммунистам-реалистам… В 2003 году памятник восстановили — и слава богу.

ПРОЩАНИЕ

В пору руководства Коммерц-коллегией Державин совсем утратил расположение государыни. Правдолюбие его поднадоело, а новых забавных и лестных од почти не было. Не мог Гаврила Романович «воспламенить своего духа, чтоб поддерживать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями». Оставалось повторять удавшиеся ему жалобные стихи — невежливые по отношению к высочайшим заказчикам:

Поймали птичку голосисту
И ну сжимать её рукой.
Пищит бедняжка вместо свисту,
А ей твердят: Пой, птичка, пой!

Его уже не допускали к императрице! А генерал-прокурор Самойлов, торжествуя, «объявил ему, что ея величеству угодно, дабы он не занимался и не отправлял должности коммерц-коллегии президента, а считался бы оным так, ни во что не мешаясь». Разъярённый Державин написал прошение об отставке в таких выражениях, что Храповицкий побоялся зачитать его государыне. В тот же день Державин написал Платону Зубову одно из самых неистовых своих писем…

«Зная моё вспыльчивое сложение, хотят, я думаю, вывесть меня совсем из пристойности… я не запустил нигде рук ни в частный карман, ни в казённый. Не зальют мне глотки ни вином, не закормят фруктами, не задарят драгоценностями и никакими алтынами не купят моей верности монархине… Что делать? Ежели я выдался урод такой, дурак, который, ни на что не смотря, жертвовал жизнью, временем, здоровьем, имуществом службе и… государыне… Пусть меня уволят в уединении оплакивать мою глупость и ту суетную мечту, что будто какого-либо государя слово твердо…» — так писал президент Коммерц-коллегии. Почти крамольные мысли! В постскриптуме Державин извинялся, что посылает черновик письма, «ибо я никому не могу поверить сего письма переписывать, а сам перебеливать за расстройкою не могу, сколько ни принимался». Он отдавал себе отчёт, что это бунт!

Горячность Державина была всем известна, не раз (не без доли кокетства) воспета им самим. Но никто не даст ответа, насколько бесхитростен был поэт, когда отпускал вожжи. Никогда

нельзя забывать, что Державин — опытный картёжник, что он разработал собственную систему игры, основанную на психологическом давлении… Он научился рисковать — но рисковать умеренно, хитро. Вот и в дерзостях Державина можно разглядеть тонкий замысел: игрок иногда позволял себе дать волю ярости и демонстрировал эти проявления сильным мира сего. Он знал, что под таким натиском всесильные вельможи иногда пасуют. Строптивого, но верного слугу Отечества выгоднее держать рядом, чем превращать его в серьёзного врага. А врагов у императрицы хватало. Разве можно забыть о придворной партии Павла Петровича — гатчинского затворника? Да, Панины низвергнуты, но угли гатчинские тлеют — придёт время, могут и вспыхнуть. Гатчина всегда представляла для великой императрицы потенциальную опасность. А Державин считался другом «русского Гамлета». Гаврила Романович предусмотрительно сохранял почтительные отношения с вечным наследником престола.

Ходасевич, пожалуй, преувеличивает силу разочарования певца Фелицы в своей героине. Скорее — после тяжких обид случались временные приступы ярости. Державин привык к падениям и взлётам, но после первого серьёзного успеха уже не считал себя неудачником — по-видимому, даже в глубине души. Он всегда помнил, что ещё недавно был нищим солдатом, которому оставалось скромно доживать свой век в казанской безвестности. А тут — пришли чины и ордена, выправилось финансовое положение, он стал собеседником государыни. Наконец, имя его было известно каждому просвещённому человеку в России. Так, что не вырубишь топором! Поэтому царскую немилость Державин воспринимал с горечью, подчас — взрывался, но в отчаяние не впадал. Разве автора оды «Бог» можно смутить переменой придворного ветра? Борьба с собственной гордыней для Державина была важнее карьеры. Если он и увлекался борьбой партий, то всегда осознавал греховность этой суеты. Греховность неизбежную.

Гаврила Романович старался следовать принципам, которые сам же провозглашал в стихах и трактатах. Елизавета Львова вспоминала один эпизод — трудно определить, к какому сенатскому расследованию он имеет отношение, это сюжет, весьма характерный для Державина:

> «…Его упросили не ехать в Сенат и сказаться больным, потому что боялись правды его; долго он не мог на это согласиться, но наконец желчь его разлилась, он точно был не в состоянии ехать, лёг на диван в своём

кабинете и в тоске, не зная, что делать, не будучи в состоянии ничем заняться, велел позвать к себе Прасковью Михайловну Бакунину, которая в девушках у дяди жила, и просил её, чтобы успокоить его тоску, почитать ему вслух что-нибудь из его сочинений. Она взяла первую оду, что попалась ей в руки, „Вельможа“ и стала читать, но как выговорила стихи:

Змеёй пред троном не сгибаться,
Стоять и правду говорить, —

Державин вдруг вскочил с дивана, схватил себя за последние свои волосы, закричав: „Что написал я и что делаю сегодня? Подлец!“ Не выдержал больше, оделся и, к удивлению всего Сената, явился — не знаю наверное, как говорил, но поручиться можно, что душою не покривил».

И такой оригинал сделал завидную административную карьеру! Факт удивительный, делающий честь и Екатерине, и Павлу.

Без колебаний Державин сочинял стихи на рождения и крещения внуков императрицы. Благословить младенца — святое дело. Краткую оду «На крещение великого князя Николая Павловича» (1796) считали одним из пророчеств Державина:

…Родителям по крови,
По сану — исполин;
По благости, любови,
Полсвета властелин:
Он будет, будет славен,
Душой Екатерине равен.

Во времена Павла эта аттестация воспринималась как дерзость: у императора сложилось нелестное мнение о душе покойной императрицы. Когда «умолк рёв Норда сиповатый», отпали запреты на восхваления Екатерины, но об этих стихах никто не вспоминал. Потом не стало Державина, а ещё спустя десятилетие скончался в Таганроге царь Александр Павлович. Вот уж тогда, после коронации Николая Павловича, многим вспомнилось, что Державин обещал ему высокую будущность, когда мало кто видел в очередном (не старшем!) внуке императрицы будущего государя… Даже Белинский скрепя сердце

отдал должное этому «пророчеству Державина»: все 30 лет правления Николая I это стихотворение считалось одним из главных в наследии Державина.

Державин преподнёс эти стихи миру и правящей династии в июле — и даже не назвал по имени счастливого отца, Павла Петровича… А осенью мир перевернулся.

Это случилось 6 ноября 1796 года. Скончалась пожилая женщина, пришёл конец эпохе, которую назовут блистательной, героической. «…Встала поутру в 7-м часу здорова, занималась писанием продолжения „Записок касательно российской истории“, напилась кофею, обмакнула перо в чернильницу и, не дописав начатого речения, встала, пошла по позыву естественной нужды в отдалённую камеру и там от эпилептического удара скончалась», — напишет Державин в воспоминаниях.

Он явился поклониться ей на следующий день после смерти, со слезами облобызал тело.

Впрочем, Державин получил известие о смерти Фелицы, когда его влюблённость в «богоподобную» поугасла. Державин к тому времени, конечно, не превратился в противника императрицы, но прежняя пылкая любовь испарилась, это бесспорно. В «Записках» он с кисловатой интонацией подведёт итоги царствования Екатерины: «…отправляя беспорочно и бескорыстно все возложенные на него должности, удостоился быть при ней лично, принимать и исполнять ея повеления с довольною доверенностию; но никогда не носил отличной милости и не получал за верную свою службу какого-либо особливого награждения».

На закате дней Державин стал обидчивее, всё благое признавал с едкими оговорками: «Но должно по всей справедливости признать за бесценнейшее всех награждений, что она, при всех гонениях сильных и многих неприятелей, не лишала его своего покровительства и не давала, так сказать, задушить его; однако же и не давала торжествовать явно над ним огласкою его справедливости и верной службы или особливою какою-либо доверенностию, которую она к прочим оказывала».

О ужас! — Державин отказывает Фелице в статусе Великой: «Коротко сказать, сия мудрая и сильная государыня, ежели в суждении строгого потомства не удержит на вечность имя великой, то потому только, что не всегда держалась священной справедливости, но угождала своим окружающим, а паче своим любимцам, как бы боясь раздражить их; и потому добродетель не могла, так сказать, сквозь сей чесночняк пробиться и вознестись до надлежащего величия. Но если рассуждать, что она была человек, что первый шаг ея восшествия на престол был не

непорочен, то и должно было окружить себя людьми несправедливыми и угодниками ея страстей, против которых явно восставать, может быть, и опасалась, ибо они ея поддерживали. Когда же привыкла к изгибам по своим прихотям с любимцами, а особливо в последние годы князем Потёмкиным упоена была славою своих побед, то уже ни о чём другом и не думала, как только о покорении скиптру своему новых царств. Поелику же дух Державина склонен был всегда к морали, то если он и писал в похвалу торжеств ея стихи, всегда, однако, обращался аллегориею, или каким другим тонким образом к истине, а потому и не мог быть в сердце ея вовсе приятным. Но как бы то ни было, да благословенна будет память такой государыни, при которой Россия благоденствовала и которую долго не забудет». Финал этого рассуждения противоречит началу: если Россия при Екатерине благоденствовала — почему же не назвать её Великой? Одно ясно: к великим опасно приближаться.

Слишком близко Державин узнал ту, которую почитал идеалом. И даже надгробная песнь вышла так себе:

Россия! се Екатерина,
Владычица твоя и мать!
Ея вселенной половина
Души не возмогла вмещать.
Се в гробе образец царей!
Рыдай… рыдай… рыдай о ней.

Через два десятилетия куда более популярными стали шаловливые стихи Пушкина о смерти Екатерины. Правда, ходили они в переделанном виде: неведомые острословы усовершенствовали поэта:

Насильно Зубову мила,
Старушка дряхлая жила
Приятно, понаслышке — блудно,
Писала прозой, флоты жгла,
С Вольтером лучший друг была
И умерла, садясь на судно.
И с той поры в России мгла…
Россия — бедная держава:
С Екатериной умерла
Екатерининская слава!

Да, Пушкин рассуждал о Екатерине легкомысленно — в этих

стихах он демонстрировал остроумие, а не аналитические способности. Но и он признавал, что вместе с Екатериной умерла и слава империи.

А вот Суворов отозвался на смерть императрицы с искренней скорбью. В письме Хвостову он писал: «Сей день печальный. Я отправлял… после заутрени без собрания один в алтаре на коленях со слезами». Державин прольёт слёзы по Екатерине позже, когда страсти улягутся и станет ясно, что́ это была за императрица.

Сами похороны обернулись жутковатым спектаклем в духе русского Гамлета. Ведь Павел вместе с матерью решил похоронить и отца, скончавшегося 34 года назад…

Прошло два года, Державин иногда бывал в Царском Селе — опустелом, осиротевшем после смерти государыни. Дворцы и монументы приходили в упадок: мирская слава дряхлеет быстро! Вот тогда в его сердце шевельнулось настоящее чувство утраты — и он вспомнил о Екатерине в стихах истинно проникновенных:

Но здесь ея уж ныне нет:
Померк красот волшебных свет;
Всё тмой покрылось, запустело;
Всё в прах упало, помертвело.
От ужаса вся стынет кровь,
Лишь плачет сирая Любовь.

«Развалины», 1797

А вообще — воспевать *предыдущего* монарха у нас не принято, это считалось бестактностью. Исключение делалось только для Петра Великого — как для Ленина в советской традиции. К счастью, для Державина железных правил не существовало.

РЁВ НОРДА

После воцарения Павла Петровича все ожидали возвышения Державина. Его видели одним из тех, на кого новый император может опереться. Многих это страшило: у Державина сложилось реноме человека, умеющего преследовать и карать. Сам Державин, пожалуй, видел себя первым среди равных в ареопаге советников государя — новым Вяземским, пожалуй, только более влиятельным, потому что власть екатерининского генерал-прокурора заметно сужали фавориты. Правда, Катерина Яковлевна уж несколько лет лежала в могиле. Павел относился к ней почти как к родственнице, и будь она жива, в милости императора не стоило бы и сомневаться.

И Павел поначалу оправдывал ожидания. В первый же день нового царствования Державина вызвали на высочайшую аудиенцию. Входивший в силу камердинер императора — Иван Павлович Кутайсов — оценивающе взглянул на Гаврилу Романовича: этот господин нам пригодится! Император принял Державина со взвинченным радушием, наговорил комплиментов: он ценит честность Державина, его ум и деловые качества, он предлагает ему стать правителем царского Верховного совета с дозволением являться к государю во всякое время. Державин вернулся от государя в невиданном воодушевлении: в прежние времена и должности такой не было — правитель Верховного совета. Главный советник императора! Державин возвысится над всеми вельможами — будет руководить ими, как генерал-прокурор — сенаторами. Но на следующий день вышел указ, в котором должность Державина трактовалась иначе: правитель *канцелярии* совета. На заседании Державин демонстративно не занял кресла правителя канцелярии, выслушивал доклады стоя. А потом напросился к государю на аудиенцию.

— Был в совете, но не знаю, что мне там делать.

— Делай то, что делал Самойлов (правитель канцелярии в екатерининские времена).

Державин помрачнел. Самойлов ничего не делал, только носил императрице протоколы заседаний… Павел вымолвил нечто неопределённое: мол, о полномочиях Державина будет особо объявлено.

Тут бы Гавриле Романовичу откланяться. Но он продолжал ворчливо разглагольствовать: «Я не знаю, сидеть ли мне в совете или стоять, кто я — присутствующий или начальник канцелярии?»

Император увидел в таком поведении признаки ненавистной

дворянской вольницы. Он решил напугать старика и закричал с возмущением: «Слушайте, он почитает себя лишним в совете!» При это «глаза его, как молнии, засверкали». Крик этот предназначался вельможам, стоявшим в предбаннике кабинета, среди них выделялся Архаров, тогдашний царский любимец. А Державину император заявил в грубоватой манере: «Поди назад в сенат и сиди у меня там смирно, а не то я тебя проучу!» Выскочив из залы, Державин в забытьи выпалил достаточно громко, чтобы многие услыхали: «Ждите, будет от этого царя толк».

А Павел Петрович просто преподал урок всем екатерининским старикам… В указе говорилось прямо: «Тайный советник Гаврила Державин, определённый правителем канцелярии совета нашего, за непристойный ответ, им пред нами учинённый, отсылается к прежнему его месту».

Общество питалось преувеличенными слухами о размолвке императора с Державиным. Поговаривали, что поэт, отвечая на замечание государя, заявил запальчиво: «Переделать себя я не могу». Болотов в своих записках назвал этот сюжет красноречиво: «Государь наказывает одного из ближних своих вельмож за необузданность языка».

Тут-то Гаврила Романович и вспомнил добрым словом покойную императрицу, которая не устраивала сцен из-за пустяковых противоречий и чётче распределяла обязанности.

Какое политическое будущее ожидать после такой оплеухи? Пришлось заседать в Сенате в скромнейшем межевом департаменте. Державин попросил было заступничества у князя Репнина — тот уклонился. Гаврила Романович затаил обиду — ведь он воспевал князя в «Памятнике герою», но Репнин знал, что не стоит испытывать терпение императора доводами о невиновности Державина. Тогда пиит решил «возвратить себе благоволение монарха посредством своего таланта». Что может быть проще? Раз, два, три — и перед вами ода «На новый 1797 год»:

Кто сей, щедрей Екатерины
И ревностней ещё Петра?
Садить в сердца блаженства крины,
Потоки злата и сребра
Воздержностью пролить желает,
Собою роскошь истребляет?

Ох уж эта извечная рифма: «Екатерины — крины». Да и вообще ода вышла натужная, хотя Державин, не кривя душой, перечислял некоторые достижения первых месяцев нового

правления. Но простодушный адресат ликовал.

Государь тут же пригласил Державина к аудиенции и снял опалу. Отныне его снова пускали в «кавалерскую» залу дворца…

Никто не верил, что он искренне воспевал императора. В «Объяснениях» пришлось оправдываться: «Удивительная щедрота, неутомимая заботливость в отправлении дел, в первые дни оказанные, ежели бы соображены были с благоразумием, то бы государь сей по справедливости был наивеличайший; но последующее время доказало, что это было движение какого-нибудь первого внушения или осыпать благодеяниями, или повергнуть в несчастие. Он имел весьма острый и просвещённый ум и сердце чувствительное и склонное к добру (ср. строфу 7-ю); но недостаток благоразумия или чрезвычайно вспыльчивый нрав всё то в ничто обратили».

После возвращения «царской милости» на радостях Державин порадовал лихим экспромтом старого приятеля — Петра Гасвицкого — хотя в те дни изводила поэта зубная боль:

Что с тобой сталось, Пётр богатырь,
Или ты принял ревень, нашатырь?
Иль некая дура,
Гранку меркура
Принудив принять,
Дома велела лежать?
Давно тебя, друже, давно уж не видно:
Право, обидно, —
Право, и стыдно
И скучно уж мне
Жить без тебя, словно в пустыне.
Иль ты сердит за что-либо стал,
Иль прочь что тебя намнясь я прогнал?
Право, не в пору, в самый задор
Бряк ты на двор,
Как у меня был лепых собор,
И с ними молол всякий я вздор.
Ну же, ты плюнь на них, не сердися:
Как прежде, ко мне поутру явися…

И так далее. После таких припевок, без предисловий перейдя к прозе, Державин очень откровенно (в дружеском насмешливом стиле) поведал Гасвицкому о политическом стиле нового императора: «Был Государем сначала изо всех избран и в милости; но одно слово не показалось, то прогневал, однако по малу сходимся мировою, и уже был у него несколько перед

очами. Крутовато, братец, очень дело-то идёт; ну, да как быть?.. Я слышу, ты получа о мне вести, что мне не очень хорошо, перепугался; но не опасайся, братец: ты знаешь, как я эти вещи принимаю — и слава Богу, всё-таки тот же. Верный твой всегда».

Это не бахвальство. Державин действительно успел привыкнуть к переменчивой придворной погоде и даже на крушение надежд поглядывал философски. Павел не разбирался в поэзии, но придирчиво вчитывался в стихи, выискивая крамолу. В 1798 году готовилось издание стихов Державина — включая давнее «Изображение Фелицы», то самое, за которое корил поэта Капнист. Две строки, на которые в прежние годы никто не обратил внимания, цензура вычеркнула:

> Самодержавства скиптр железный
> Моей щедротой позлащу.

Пожалуй, углядели унижение царской власти и бахвальство поэта. Державин считал, что он таким образом прославляет «снисходительное правление». Но Павел и не стремился показаться снисходительным. «Автор чрез генерал-прокурора князя Куракина просил доложить императору, объясняя, что ежели императрица, тоже самодержавная государыня, с удовольствием приняла сию мысль, то не может быть противно оное и государю, рассыпавшему в то время великое множество своих благодеяний и щедрот», — вспоминал Державин. Но Павел дал Куракину ясную резолюцию: «Государь император приказать соизволил внушить господину Державину, что по искусству его в сочинении стихов подчёркнутые бы переменил, чтоб получить дозволение сочинении его напечатать». Державин не стал изобретать новых строк, оду напечатали с пробелами. Державин от руки вписывал в свои экземпляры книги опальные строки…

Державин приветствовал стихами рождение великого князя Михаила Павловича — и стихи эти стали неожиданно популярны среди аристократов, недовольных императором. Их воспринимали как фронду:

> Престола хищнику, тирану
> Прилично устрашать рабов,
> Но Богом на престол воззвану
> Любить их должно как сынов.

В екатерининские годы Державин привык критиковать — чаще всего безрезультатно, но почти всегда — безнаказанно.

Читатели и почитатели Державина ненавидели императора. Поэт (неминуемая слабость!) всегда зависит от читательского мнения, и Державин разбрасывал в одах прозрачные фрондёрские намёки, искринки. Что может быть приятнее, чем участь фрондёра в золочёном камзоле?

Царедворцы стали сторониться Державина, пророчили ему ссылку. Даже старый приятель Козодавлев, завидев его в Сенате, отшатнулся, как от язвы. Но Павел мудро разрешил противоречие, наградив поэта золотой табакеркой с бриллиантами — как раз за эту оду. Державин тут же нашёл способ продемонстрировать награду Козодавлеву. Тот, весело улыбаясь, попытался броситься на шею Державину, поздравляя с царской милостью, но Гаврила Романович отпрянул: «Поди прочь от меня, трус. Зачем ты намедни от меня бегал, а теперь целуешь?» А император щедро наградит поэта ещё и за оду «На мальтийский орден»: при богоподобной Фелице ему дольше приходилось ждать награждений…

Наделало шуму и стихотворение «К самому себе». «Когда люди сильные при императоре Павле пользовались возможностью обогащаться казёнными землями и потом, для вознаграждения обедневших крестьян, притесняли помещиков, то Державин, присутствуя в межевом департаменте, восставал против генерал-прокуроров, князей Куракина и Лопухина, также и против государственного казначея Васильева за злоупотребление государевой милости. Видя, что они на эти упрёки не обращали никакого внимания, он написал песню К самому себе и распустил её по городу, желая, чтоб она дошла до государя и чтоб его спросили, кого он в ней разумел. Боясь этого, они старались скрыть её и втайне раздражали императора Павла против Державина». С этими стихами Державин не выиграл: Павлу они показались не по чину колкими и легкомысленными:

Пусть другие работают, —
Много мудрых есть господ:
И себя не забывают,
И царям сулят доход.
Но я тем коль бесполезен,
Что горяч и в правде чорт, —
Музам, женщинам любезен
Может пылкий быть Эрот.

Впрочем, Державин был уверен, что император благоволит к нему — и только козни недоброжелателей мутят воду. Накануне награждения Державина аннинской лентой генерал-прокурор

Лопухин доверительно ему сообщил: «Государь давеча было хотел надеть на вас ленту с прочими, но поусумнился, что вы всё колкие какие-то пишете стихи, но я уже его упросил». Державин только усмехнулся. Когда государь набросил на него ленту — начал лепетать слова оправдания, но Павел отмахнулся и зарыдал. Державин трактовал то рыдание как знак истинного благоволения к себе…

Иногда ему казалось, что титулованные вельможи считают его выскочкой. Но в годы правления Павла Державин стал самым популярным третейским судьёй, он уладил несколько десятков семейных споров и несколько десятков недоразумений, возникших между соседями и дальними родственниками. Наследство, земельные вопросы — тут чёрт голову сломит, а у Державина выходило ловко и справедливо. Представители самых громких аристократических фамилий обращались именно к нему — таков был его авторитет. Он становился не то чтобы лидером старшего поколения, но идеологом разнопёрой партии сторонников Просвещения без кардинальных перемен, но с установлением строгого антикоррупционного порядка.

После командировки в Белоруссию (об этом — речь впереди) Павел назначает Державина президентом Коммерц-коллегии, только что возобновившей свою работу. У Державина сложились приятельские отношения с очередным генерал-прокурором (Павел успел сменить уже троих) — Петром Обольяниновым. Павел уклонился от встречи с новым президентом Коммерц-коллегии, рассудив мудро: «Он горяч, да и я тоже. Мы, пожалуй, поссоримся». Доклады от Державина, к общему удовольствию, представлял государю Обольянинов. Сгущались тучи над головой государственного казначея барона Васильева — давнего нашего знакомца. В ноябре 1800-го Державин занял и его кресло. Было ему пожаловано шесть тысяч столовых ежегодно… Кутайсов и Обольянинов хотели окончательно «свалить» Васильева и намекали Державину, что хорошо бы вскрыть злоупотребления прежнего казначея… Державин снова повёл себя неуправляемо: он обнаружил в работе Васильева недочёты, но ничего преступного не нашёл — даже под давлением.

Ещё в 1798 году Державин написал «На характеру императора Павла»:

В нём воли доброй, мудрой много;
Остёр в решениях, легок,
За всё берётся круто, строго;
Всё б сделал вдруг, коль был бы бог.

Здесь и уважение к искренним порывам царя, и скептическое отношение к его политическому будущему, и сочувствие. Державин был прозорливым политическим авгуром! После гибели императора он перепишет эти стихи:

В решеньях краток, быстр, щедроты лил, где мог,
Суд правый водворить брался он живо, строго,
И всё бы сделал вдруг; но, ах! он не был бог.

Павел был скор на расправу, и всё-таки с Державиным он сработался. Но однажды царь продемонстрировал ему яростную обидчивость: накануне Крещения Державин обедал с Платоном Зубовым, после чего они вместе явились во дворец поздравить государя. Павел прогневался, приметив, что Державин сдружился с Платоном, пригласил Гаврилу Романовича в кабинет, усадил напротив себя, грозно на него уставился. Так начинался 1801 год.

НЕ СМЕРТЬ СУВОРОВА СРАЗИЛА

…

Император был скорым и щедрым не только на расправу, но и на милость. Вельможи, избалованные почестями, за годы правления мудрой Фелицы привыкли к неуязвимости. Екатерина всё же избегала жестоких мер по отношению к опальным царедворцам. Отставка, удаление от двора — вот и всё наказание. Павел не чурался и грубой травли. На опального вельможу с посвистом спускали всех собак. Нельзя было зарекаться ни от тюремных казематов, ни от ссылки. Самым несправедливым деянием императора была ссылка Суворова — полководца, к которому Павел не мог не питать уважения. Суворов сам избегал соблазнов растленного екатерининского двора, который был ненавистен Павлу. Как и Павел, он был эксцентриком, общепризнанным чудаком и, в известной степени, изгоем. Но Павел не позволял не только вольномыслия, но и самостоятельного мышления. Суворову — старому солдату, истинному профессионалу — нельзя было критиковать прусскую военную систему, которая восхищала императора.

Смерть в преклонном возрасте редко воспринимается как трагедия. Но Суворова Россия оплакивала истово. Ведь он умер через несколько месяцев после высшего взлёта. Умер генералиссимусом, князем, кузеном короля и прочее… Но Павел не преминул по ничтожному поводу вновь ввергнуть Суворова в опалу — незадолго до самой его смерти. Только недавно на всю Россию звучали стихи Державина «На победы в Италии» — и вся просвещённая Россия прославляла Суворова. И вдруг… Император не изволил встретить триумфатора, вернувшегося в Петербург. Умирающего триумфатора. Новая ода Державина — «На переход Альпийских гор» — тоже угодила в опалу. Державин придумал для неё мудрёный эпиграф: «Великий дух чтит похвалы достоинствам, ревнуя к подобным; малая душа, не видя их в себе, помрачается завистию. Ты, Павел! равняешься солнцу в Суворове; уделяя ему свой блеск, великолепнее сияешь». Этот эпиграф, по признанию Державина, написан «с намерением, дабы Павел познал, что примечено публикою его недоброжелательство к Суворову из зависти, для чего сия ода холодно и была принята». Император никому не позволял себя поучать. Он ожидал не советов, не сомнений, а подчинения и славословий. Зная об этом, Державин вычеркнул из оды весьма удачную строфу:

Великая душа лишь знает,

О Павел! дать хвалу другим;
Душ малых зависть помрачает
И солнце не блистает им.
Монарха блеск, светила мира,
Чрез отлияние порфира
Прекрасней нам своим лучом.
Он от морей, от капль сверкает,
Сияньем взоры восхищает:
Так ты — в Суворове твоём.

Почувствовал поэт, что Павла эти рассуждения оскорбят.

Суворов возвращался из последнего похода, раздираемый сомнениями. Целеустремлённый максималист, он не считал свою миссию выполненной: Французская республика устояла, поход на Париж не состоялся. Более того — проиграв кампанию в Италии, французы перехватили инициативу, разбили армию Римского-Корсакова. Это было первое крупное поражение русской армии за долгие годы. Да, Суворов с армией прорвался сквозь Альпы, в каждом сражении одолевая французов. Ему удалось выйти из ловушки, приведя с собой пленных. Но в Цюрихе он выговорил Римскому-Корсакову: «Вы кланялись не по-русски. Помилуй Бог, не по-русски!» С другой стороны, Суворова повсюду встречали как героя. Никогда ещё русский полководец не пользовался такой славой в Европе! Монархи осыпали Суворова наградами. Преодолевая усталость после походов, семидесятилетний герой был как никогда любезен на светских приёмах. В Праге он даже потанцевал на балу. Но триумфальный путь из Цюриха в Петербург прервала смертельная болезнь, которую Суворов именовал загадочным словом «фликтена».

Его окрыляла надежда: в Петербурге героев Италии и Швейцарии встретит государь! После каждой виктории Суворов получал восторженные письма Павла. Иногда император умел придумывать замысловатые комплименты: «Вам быть ангелом». Суворов перечитывал эти слова — и надеялся на истинно царский приём. Возможно, он хотел умереть рядом с престолом, в блеске славы. Но жизнь приготовила полководцу очередной урок смирения.

Державин не понимал причин новой опалы Суворова. Поговаривали, что императора вывело из себя, что Суворов, вопреки новым правилам, держал при себе дежурного генерала. Но ведь перед походом император сказал ему: «Воюй по-своему, как умеешь». Неужели из-за пустякового самоуправства великого старика посмеют обидеть? В Петербурге его не встретили как

генералиссимуса — как будто приказ о производстве в это высочайшее звание был мистификацией…

В то время Державин пребывал в гуще придворных и правительственных интриг, предприятий и прожектов. Он лучше многих знал о переменах в настроении императора. Зимой 1800 года Державин надеялся, что Суворову в Петербурге устроят достойный триумф, что «ещё горит его звезда».

Император принял молодого героя суворовских походов — генерала Багратиона. Пётр Иванович Багратион всегда сражался там, где горячо, где тяжело. То в авангарде, то в арьергарде — в зависимости от того, наступает армия или отступает. Грузинского князя любили при дворе, этот солдат находил общий язык с царями. И после беседы с Багратионом государь смягчился, послал к Суворову придворного лекаря Вейкарта.

Они были по одну сторону линии фронта — Державин, Суворов, Багратион. Ещё — Ермолов, Милорадович, атаман Платов. Русская партия в стране, в которой в моду входили то Мальтийский орден, то генерал Моро, то немцы… Вскоре Суворов уйдёт, но останется символом этого патриотического движения.

Умирал Суворов в петербургском доме Хвостова: своим домом в столице генералиссимус не обзавёлся.

В письме оренбургскому губернатору Ивану Онуфриевичу Курису, верному соратнику Суворова, Державин излил душу:

> «К крайнему скорблению всех, вчерась пополудни в 3 часа героя нашего не стало. Он с тою же твёрдостию встретил смерть, как и много раз встречал в сражениях. Кажется, под оружием она его коснуться не смела. Нашла время, когда уже он столь изнемог, что потерял все силы, не говорил и не глядел несколько часов. Что делать? Хищнице сей никто противостоять не может. Только бессильна истребить она славы дел великих, которые навеки останутся в сердцах истинных россиян».
> В тот же день Гаврила Романович написал Львову: «Герой нынешнего, а может быть, и многих веков, князь Италийский с такою же твёрдостию духа, как во многих сражениях, встречал смерть, вчерась в 3 часа пополудни скончался. Говорят, что хорошо это с ним случилось. Подлинно, хорошо в такой славе вне и в таком неуважении внутрь окончить век! Это истинная картина древнего великого мужа. Вот урок, что есть человек».

О похоронах Суворова лучше других рассказал отец Евгений Болховитинов — священник, в скором будущем епископ и ближайший друг Державина:

«Князь лежал в маршальском мундире, в Андреевской ленте. Около гроба стояли табуреты числом восемнадцать, на них разложены были кавалерии, бриллиантовый бант, пожалованный Екатериной II за взятие Рымника, бриллиантовая шпага, фельдмаршальский жезл и прочее. Лицо покойного было спокойно и без морщин. Борода отросла на полдюйма и вся белая. В физиономии что-то благоговейное и спокойное… Улицы, все окна в домах, балконы и кровли преисполнены были народу. День был прекрасный. Народ отовсюду бежал за нами. Наконец мы дошли и ввели церемонию в верхнюю монастырскую церковь… В церковь пускали только больших, а народу и в монастырь не допускали. Проповеди не было. Но зато лучше всякого панегирика пропели придворные певчие 90-й псалом „Живый в помощи“, концерт сочинения Бортнянского. Войска расположены были за монастырём. Отпето погребение, и тут-то раз десять едва я мог удержать слёзы. При последнем целовании никто не подходил без слёз ко гробу. Тут явился и Державин. Его предуниженный поклон гробу тронул до основания моё сердце. Он закрыл лицо платком и отошёл, и, верно, из сих слёз выльется бессмертная ода…» — эта запись доказывает, что отец Евгений был тонким писателем.

Державин возвратился на Фонтанку, думы о Суворове не оставляли его. «У автора в клетке был снигирь, выученный петь одно колено военного марша; когда автор по преставлении сего героя возвратился в дом, то, услыша, что сия птичка поёт военную песнь, написал сию оду в память столь славного мужа». Только через пять лет в «Друге просвещения» выйдет стихотворение «К снигирю. По кончине князя Суворова», с примечанием: «Сия пьеса прислана от неизвестного». Многим уже было знакомо это сочинение Державина — и всё-таки «от неизвестного»:

Что ты заводишь песню военну,
Флейте подобно, милый снигирь?
С кем мы пойдём войной на Гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат.

Достойное начало — трагические аккорды. Но дальше — главное:

Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;

В стуже и в зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов;
С горстью россиян всё побеждать?

Император ещё при жизни полководца приказал установить ему памятник в Петербурге. Павел был хозяином своему слову: захотел — дал, захотел — забрал обратно. И всё-таки скульптор Михаил Козловский, к тому времени уже смертельно больной, работал над монументом герою. Он изобразил Суворова в виде римского бога войны — Марса. Сходство находили только в стремительной позе. 5 мая 1801 года на Марсовом поле — через год после смерти Суворова, через два месяца после гибели Павла — военные и штатские с ликованием встретили открытие памятника. Римский бог на поле своего имени! А у Державина получился не Марс со щитом и мечом, а подлинный чудак и полководец времён Екатерины и Павла, современник, начальник и приятель поэта.

Другое стихотворение надолго осталось потаённым, его даже от имени неизвестного опасно было публиковать:

Восторжествовал — и усмехнулся
Внутри души своей тиран,
Что гром его не промахнулся,
Что им удар последний дал
Непобедимому герою,
Который в тысящи боях
Боролся твёрдой с ним душою
И презирал угрозы страх.

И дальше — главное:

Нет, не тиран, не лютый рок,
Не смерть сразила:
Венцедаятель, славы бог
Архистратига Михаила
Послал, небесных вождя сил,
Да приведёт к нему вождя земного,
Приять возмездия венец,
Как луч от свода голубого…

Тайну десятой строки этого стихотворения разгадать

несложно. Конечно же: «Не смерть Суворова сразила». Державин побоялся напрямую вписать эту фамилию в тетрадь: тогда бы прояснилась антипавловская направленность незавершённой оды… В нашем представлении император Павел превратился в жертву — да он и был жертвой заговора. Но современники (в особенности — дворяне) считали его «деспотом и капралом на плац-параде», не более.

Суворов не отпускал Державина. Снова и снова он писал о нём:

> Окончи, вечность,
> Тех споров бесконечность,
> Кто больше из твоих героев был.
> Окончи бесконечность споров.
> В твоё святилище вступил
> От нас Суворов.

Нет, этот вариант показался недостаточно ёмким и трагичным. Державин исправился:

> О вечность! прекрати твоих шум вечных споров
> Кто превосходней всех героев в свете был.
> В святилище твоё от нас в сей день вступил
> Суворов.

За любовь к полуопальному полководцу Державина не наказали. Император Павел одних необоснованно возвышал, на других беспричинно обрушивал гнев… Державин, несмотря на свою несусветную прямоту, по большому счёту, прошёл между потоками этого водопада. Важной фигурой в государстве стал Кутайсов — граф и вершитель судеб, а ещё недавно — брадобрей. Социальный лифт при Павле работал бойко. Кутайсов сыграет заметную роль и в судьбе Державина. По тактическим соображениям он сделается покровителем «певца Фелицы». Здесь нужно иметь в виду, что Державин (как и Кутайсов) вряд ли предвидел скорую гибель Павла. Они готовились к долгому правлению эксцентричного императора. Служить Павлу, приноравливаться к его нравам — это казалось многолетней перспективой. Между тем смертный приговор императору был уже подписан.

СИОНСКИЕ МУДРЕЦЫ

Еврейский вопрос ещё долго будет возбуждать эмоциональные пересуды. Редкий русский спор на эту тему обходится без упоминания Державина. В энциклопедии «Иудаика» Державин значится по разряду «Знаменитые антисемиты», и это закономерно — хотя антисемитизм державинских времён нельзя уподоблять «измам» и фобиям XX века или нашего времени. В те годы евреи представлялись русскому дворянину загадочными и опасными чужаками.

Казанская молодость Державина пришлась на годы правления «весёлой царицы Елисавет», которая, между прочим, сказывала: «От врагов христовых не желаю интересной прибыли». Но император Павел не был сторонником ущемления нехристианских религий. В годы его правления вышел на свободу глава хасидов Залман Шнеерсон (1747–1812).

Словом, новый император щеголял веротерпимостью — и, получив жалобу от белорусских евреев, повелел разобраться в бесчинствах, которые позволял себе землевладелец Зорич — отставной генерал и не менее отставной фаворит Екатерины. Павел призвал было Зорича на воинскую службу, даже произвёл в генерал-лейтенанты, но этот игрок и задира не мог ужиться с новым императором и вернулся к помещичьей жизни.

Получить задание и немедленно вникнуть в ситуацию, проанализировав поведение сторон, — это стиль работы лучших екатерининских орлов, присущий Державину. Можно предположить, что Павел жаждал расправы над Зоричем, по крайней мере не прочь был увидеть этого вельможу опозоренным. А Кутайсов намекал Державину, что хорошо бы принудить Зорича к продаже имения… Державин пропустил мимо ушей это пожелание. Он понимал, к чему клонит временщик: Державин — всем известный «жестокосердый следователь», уж он осудит авантюриста Зорича, а уж тогда Кутайсов по дешёвке выкупит его белорусское имение, приносящее больше восьми тысяч ежегодного дохода. Ради быстрой наживы Кутайсов был готов возлюбить не только евреев…

Тем временем в Сенате шелестели грозные бумаги, там рассматривалось дело купца Бородина. Дело, начатое по жалобе Державина много лет назад. С тамбовского бедокура государство должно было взыскать 300 тысяч рублей. Это привело бы к разорению всю купеческую династию Бородиных. Завадовскому давно наскучила эта интрига, всерьёз сочувствовать вороватому Бородину он не мог, и всё-таки высокопросвещённый граф

продолжал пакостить Державину — вяло, но неотступно. Старый коллега Васильев был более деятельным недругом Державина. Они-то и решили отослать Державина из столицы на время рассмотрения бородинского дела. Куда? Да хоть в Белоруссию, пускай копается в делишках Зорича. Эта миссия не сулила славы. Другой бы в Белоруссии разгулялся по части взяток, но даже Васильев знал, что Державин и мздоимство несовместимы. Вероятно, недруги надеялись, что на беспокойном западе империи Державина ждёт череда склок. И расчёт оправдался.

Пока Державин орудовал в Белоруссии, Суворов воевал с революционными армиями. Возвышение Суворова для Державина было сказкой наяву. Ведь он предсказывал это ещё в ту пору, когда никто не мог предположить, что старый екатерининский фельдмаршал выпутается из опалы, вернётся в столицу. Во дни опалы Суворова Державин писал о полководце с ещё большим почтением, чем прежде. Не скрывал Державин, что его печалит униженное положение Суворова:

Петь Румянцева сбирался,
Петь Суворова хотел;
Гром от лиры раздавался,
И со струн огонь летел.
Но завистливой судьбою
Задунайский кончил век;
А Рымникский скрылся тьмою,
Как неславный человек.
Что ж? Приятна ли им будет,
Лира! днесь твоя хвала?
Мир без нас не позабудет
Их бессмертные дела.

Такие стихи пишутся без расчёта на царскую милость, для государя они — против шерсти.

Никогда Державин так смело не выступал против царского решения, а ведь знал, что у Павла тяжёлая рука… И вот Суворов не просто вернул расположение государя, он оседлал мировую славу. «Уж я был за дьячка, пел басом, а теперь я стану петь Марсом!»

Державин объезжал белорусские местечки, побывал у Зорича. В польские времена евреи считались крепостными, в России их положение оказалось двусмысленным. Вроде бы они не принадлежали Зоричу, подчинялись исключительно государственным органам, но помещик обходился с ними как с крепостными. Зорич тоже жаловался: евреи неуправляемы, они

обещают, а потом не исполняют обязанностей…

В Витебской губернии тем временем начинался один из первых в империи уголовных процессов, на котором прозвучала тема иудейских ритуальных убийств. В Сенненском уезде незадолго до еврейской Пасхи неподалёку от еврейской же корчмы был найден труп женщины с колотыми ранами по всему телу. Четырёх евреев арестовали; по деревням ходили слухи, леденящие кровь: иудеи, оказывается, окропляют христианской кровью пасхальную мацу. Следователь Стуков подробно рассказал Гавриле Романовичу о ходе дела. Впечатлённый Державин аккуратно доносил эти предположения до государя. Он предлагал не рассматривать жалобы иудеев на Зорича, «доколь еврейский народ не оправдится пред Вашим императорским величеством в помянутом ясно показываемом на них общем противу христиан злодействе». Государь отверг предложение Державина, повелев ему исполнить прежнее поручение, оставив в стороне сенненский процесс.

Подчас пишут, что именно тогда в Шклове, в 1799 году, Державин впервые увидел живого еврея. Думаю, это всё-таки преувеличение. Несколько раз Державин писал государю о ходе следствия, пока император, которому наскучило дело Зорича, не затребовал его в Петербург.

Но этот рейд Державина по еврейским местечкам оказался не последним. Не прошло и года, как император снова послал его в те края. Державин получил царский рескрипт: «Господин тайный советник Державин! По дошедшему до нас сведению, что в Белорусской губернии недостаток в хлебе и некоторые помещики из безмерного корыстолюбия оставляют крестьян своих без помощи к прокормлению, поручаем вам изыскать о таковых помещиках, где нуждающиеся в пропитании крестьяне остаются без помощи от них, и оных, имения отобрав, отдать под опеку и распоряжением оной снабжать крестьян из господского хлеба, а в случае недостатка заимствовать оный для них на счёт помещиков из сельских магазейнов». Борьба со злонравием помещиков была для Павла делом принципа: он видел себя Прометеем, который дарует права крестьянам, спасает их от голода… Предприимчивые соратники государя во главе с Кутайсовым и в голоде увидели повод к конфискации земель у нерадивых владельцев. После огосударствления эти земли можно будет приобрести по бросовой цене или получить в награду от императора. Державин получил на дорогу две тысячи рублей — и снова направился к Шклову.

Он увидел, как во многих деревнях вместо хлеба едят лебеду и коренья. Увидел истощённых, больных крестьян. Тем временем

повозки с хлебом шли в Витебск, откуда рекой их должны были направить в Минск и Ригу и далее за границу, на экспорт. Державин тут же остановил это безобразие, приказал пустить хлеб в голодающие районы, причём продавать по минимальной цене. Кто же скупал на корню по дешёвке этот хлеб для вывоза в Европу? Кто собрал немало хлеба на складах при корчмах? Всё те же господа иноверцы.

Державин велел распечатать запасные магазейны — и раздать хлеб голодным. Нет, не задаром, а в долг. В будущем они должны были отработать этот хлеб. Но без вмешательства столичного ревизора даже на такие меры никто бы не решился. О каждом шаге Державин сообщал генерал-прокурору и государю. Павел счёл необходимым приободрить своего посланца благосклонным письмом.

Державин вспоминал, как поручиком он боролся с крамолой в окрестностях Малыковки, — и принялся наводить ужас на нерадивых белорусских помещиков и коварных торговцев. В Лёзне Державин выявил преступное гнездо: виноторговцы попойками выманивали у крестьян зерно, гнали из него пойло и торговали им, превращая в босяков всех местных крестьян. Под суд отправили и винокуров, и чиновников, которые им потворствовали, не забывая о собственном кармане.

Державин взял в опеку имения Огинского и недавно умершего Зорича — и на свой счёт закупил для тамошних крестьян вдоволь хлеба — в долг. Причём следил за качеством хлеба! А попутно уничтожил несколько винокурен. Он пресекал самоуправство помещиков, которые выжимали масло из нищих белорусов. Ему удалось даже устроить кое-где лечебницы — разумеется, лечили там с горем пополам, но всё-таки выхаживали оголодавших. Державин строго проверял контракты на отдачу в аренду казённых земель и вскрыл немало злоупотреблений. Повешенных не оказалось — всё же белорусская миссия отличалась от борьбы с Пугачёвым, но въедливый ревизор многих ушиб своим гневом.

Решительные меры оказались спасительными: голод удалось пресечь. Местная же шляхта Державина возненавидела, его обвиняли в «потворстве простому народу».

Возглавил это движение председатель Могилевского магистрата, статский советник Иосиф Заранек, которого Державин упрямо называл Зарянкой. Он и его единомышленники направили в Петербург несколько доносов на Державина, составленных не без искусства. Но император в те дни восхищался энергией и честностью старика Державина: на Гаврилу Романовича посыпались награды. Чин действительного

статского советника, командорский крест Святого Иоанна Иерусалимского… Павел ненавидел волокиту — а Державин действовал быстро и результативно, это было видно даже из Петербурга. Доносчиков схватили и привезли на берега Невы для расправы. Заранека сослали в Тобольск, в ссылку, откуда его вызволят только при Александре I — кстати говоря, по ходатайству Державина. Павел в те дни готов был потворствовать «черни», лишь бы взять в кулак разболтавшуюся шляхту.

Заметим, что Гаврила Романович и здесь не оправдал надежды Кутайсова, не дал ему возможность за бесценок прикупить земель… Влиятельный камердинер государя уже прибегал к помощи еврейского капитала, чтобы, в обход Державина, получить имения покойного Зорича…

Державин присматривался к еврейским промыслам. Евреев он называл жидами, тогда это не звучало уничижительно. Его пугала отчуждённость этого народа от Российской империи — на уровне быта, культуры, наконец, религии. Пугали спаенность евреев, их неизбежное презрение по отношению к русским, белорусам, полякам… В Витебске Державин набросал капитальный труд — аналитическую записку «Мнение об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных промыслов евреев, об их преобразовании и прочем». Записку эту чаще всего называют «Мнением о евреях».

Между прочим, Державин всерьёз задумался о психологии еврейского народа, в котором осознание собственной избранности переплелось с комплексами вечно гонимых изгоев. Эту прозорливость Державина, а также его идеи по уравнению еврейского народа с остальными народами империи высоко оценил историк литературы Ефим Эткинд[3]. Ведь Державин намеревался уничтожить диаспорные организации — кагалы, но не забывал и о просвещении евреев.

Россия была крестьянской страной, хлебопашество оставалось единственным массовым занятием в империи. Державин считал необходимым насильственное приобщение евреев к крестьянскому труду. При этом нужно было сломать уже сложившуюся еврейскую круговую поруку в винокурении и ростовщичестве. В Белоруссии Державин насчитал несколько тысяч сельских питейных шалманов. И все — в иудейских руках.

Державин знал, что такое пьянство. Понимал, чем чревата ситуация, когда винокуры «выманивают у крестьян хлеб попойками». Государственно мыслящий управленец не может наживаться на пороках, не имеет права равнодушно относиться к водочной торговле.

…Убедившись, что окрестьянить кагалы непросто, Державин

пришёл к суровым выводам: «Словом, ежели вообще их нравы и поступки одобрить не можно, то нельзя правильного сделать заключения, чтоб Евреи в нынешнем их положении были добрые люди, а потому и добрыми подданными почтенны быть не могут, ибо известно, что единственно благонравный образ мыслей производит гражданские добродетели. А притом, как большая часть из них не имеют даже своих домов и могут переходить, при всяком случае, с места на место и в другие государства, нося всё своё имущество с собою, то и не можно признать их собственно принадлежащими Российскому государству. Многочисленность же их в Белоруссии, кроме вышеописанных вредных их качеств, по единой только уже несоразмерности с хлебопашцами, совершенно для страны сей тягостна. Между многими вышеописанными в первой части причинами, она есть единственно из главнейших, которая производит в сем краю недостаток в хлебе и в прочих съестных припасах».

Державин предложил уничтожить кагалы (по примеру Пруссии) во всех губерниях Российской империи, где таковые имеются.

> «Кагалы — опасный status in statu (государство в государстве. — *А. З.),* которых благоустроенное политическое тело терпеть не долженствует: в Пруссии они уничтожены. Денежные сборы более к угнетению их народа, нежели к пользе служат, и по собственному их хвастовству, вино у корчмарей для простого народа, а деньги у кагальных для прочих, суть такие мечи, против которых редко кто устоит. Хазаки, коварный вымысел для содержания в единых их руках всех откупов и аренд, есть род самой вернейшей монополии. Херимы — непроницаемый, святотатственный покров самых ужаснейших злодеяний, ко вреду общему и частному свершаемых. Коледы — искусный грабёж, под видом приязни и дружеского посещения. Аренды, корчмы, факторства, торговля и все прочие вышеописанные их установления и деяния не что иное суть, как тонкие вымыслы, под видом прибылей и услуг ближним, истощать их имущество».

То есть, уничтожив диаспоры, нужно расселить евреев по разным областям империи или выдворить за кордон. Только так и можно уничтожить агрессивную спайку, приобщить их к труду. Ждал ли император Павел подобных советов? Едва ли. А как относились к державинским прожектам сами евреи? Конечно, они бросили все силы на борьбу со строптивым сенатором — даже

специальный налог собирали в синагогах. Партия перешла в миттельшпиль, а остросюжетная развязка случится уже при императоре Александре.

РОДИНА

Гаврила Романович Державин первым произнёс слово «Родина» в значении «Отчизна». Не первым из поэтов, а вообще — первым. Это одна из его заслуг перед русским языком, да и перед народным самосознанием. Правда, у Державина речь идёт, как мы привыкли говорить, о малой родине.

Произошло это открытие не в торжественной оде, не в патриотическом гимне. Стихотворение «Арфа» скорее можно назвать элегией в духе Карамзина. Для Державина — на удивление печальные стихи, с почти унылым настроением. Звучит арфа, напоминает поэту о родных краях, туда стремится душа… В утраченные дни, в далёкую Казань. Эти строки он записал, отдыхая на Званке, в беспокойные павловские времена, в 1798 году:

Как весело внимать, когда с тобой она
Поет про родину, отечество драгое,
И возвещает мне, как там цветет весна,
Как время катится в Казани золотое!

О колыбель моих первоначальных дней,
Невинности моей и юности обитель!
Когда я освещусь опять твоей зарей
И твой по прежнему всегдашний буду житель?

Когда наследственны стада я буду зреть,
Вас, дубы камские, от времени почтенны,
По Волге между сел на парусах лететь
И гробы обнимать родителей священны?

Звучи, о арфа, ты все о Казани мне!
Звучи, как Павел в ней явился благодатен!
Мила нам добра весть о нашей стороне:
Отечества и дым нам сладок и приятен.

Мы знаем, кто играл ему на арфе в званских краях — Пелагея Михайловна Бакунина, родственница настолько дальняя, что Державин не мог не замечать её очарования. Михаил Васильевич Бакунин, её отец, был женат на княжне Любови Петровне Мишецкой, сестра которой, Авдотья Петровна Дьякова, была матерью Дарьи Алексеевны Державиной. Четыре дочери Михаила

Бакунина вдохновляли Державина то на шаловливые, то на возвышенные стихи.

Милая заря весення,
Адым блеском покровенна,
Как встает с кристальных вод
И в небесный идет свод,
Мешет яхонтные взоры;
Тихий свет и огнь живой
Проницает тверды горы:
Так, Варюша, образ твой, —

писал Державин Варваре, сестрице Пелагеи. Как это ни банально, сестрицы Бакунины стали для поэта олицетворением родной стороны. «Родина» — слово женского рода, в XX веке утвердится понятие «Родина-мать». В державинские времена существовало фольклорное понятие «мать сыра земля». Всё это рядом.

Завершается «Арфа» более привычным для тех времён словом «Отечество» и одним из лучших афоризмов Державина, который потомки всё чаще будут приписывать Грибоедову: «Отечества и дым нам сладок и приятен». В «Горе от ума» Чацкий просто цитирует Державина. Как цитировал его (с указанием фамилии автора) П. А. Вяземский в стихотворении «Самовар»:

Отечества и дым нам сладок и приятен!
Не самоваром ли — сомненья в этом нет —
Был вдохновен тогда великий наш поэт?
И тень Державина, здесь сетуя со мною,
К вам обращается с упрёком и мольбою
И просит, в честь ему и православью в честь:
Канфорку бросить прочь и — самовар завесть…

Слово «Родина» было канонизировано в советскую эпоху. Его писали с большой буквы — мы усваивали это правило в первом классе, в первых прописях. Именно у нас, в России, возникло понятие — измена Родине. Не просто государственная измена, а нечто более святотатственное, за что никакая кара не станет чрезмерной.

Преклонение перед родной страной, культ патриотизма — всё это вошло в наше сознание в XX веке. Как водится, на некоторых прививка патриотизма не действовала, а пропаганда вызывала отторжение. Родину воспевали и в XIX веке, достаточно

вспомнить замечательную песню:

Это русская сторонка,
Это Родина моя…

Но более возвышенным считалось в те годы слово «Отечество».

В державинские времена в ходу были другие слова, обозначавшие это священное понятие: Отчизна, Отчина. Василий Кириллович Тредиаковский написал «Стихи похвальные России» — патриотический гимн первой половины XVIII века. Слова «Родина» там, конечно, нет:

Начну на флейте стихи печальны,
Зря на Россию чрез страны дальны…
Россия мати! Свет мой безмерный!
Позволь то, чадо прошу твой верный…
Чада достойны таковой мати,
Везде готовы за тебя стати…

В окружении Державина к Тредиаковскому относились критически, его считали курьёзно бесталанным, неудачливым стихотворцем. Не случайно же заучивание наизусть длинных гекзаметрообразных строк «Тилемахиды» считалось экзекуцией, наказанием за провинности. Мало кто вчитывался в наследие несчастного Василия Кирилловича — а ведь у него были блистательно яркие отрывки, да и стихи такие, как «Похвальные России», заслуживают внимания. Но и современники Тредиаковского, и поэты державинского поколения были беспощадны к первопроходцу русского силлабо-тонического стихосложения.

Державин, по обыкновению, держался более взвешенного мнения и кое-чему у Тредиаковского научился. Начать «Стихи похвальные России» с определения «печальны» — это смелость. Поэтическая смелость!

Тредиаковский — по общему признанию, литератор уникального трудолюбия — успел проявить себя во многих жанрах поэзии. Правда, немногие его опыты всерьёз привлекли внимание читателей и последователей. Вердикт просвещённой публики был неумолим: Ломоносов превзошёл Тредиаковского и в жанре торжественной оды, и в анакреонтике, и в духовной поэзии. К Ломоносову и у Сумарокова, и у Львова тоже было немало претензий, но никто не оспаривал его первостепенной

роли в истории русской литературы.

Тредиаковскому воздадут должное только Радищев и Пушкин — и даже с перехлёстом. «Тредиаковского выроют из поросшей мхом могилы», — скажет Радищев. «Изучение Тредиаковского приносит более пользы, нежели изучение прочих наших старых писателей. Сумароков и Херасков верно не стоят Тредиаковского» — а это Пушкин. Тогда ещё мир не заболел спортивными соревнованиями, но поэты уже сталкивали друг друга с пьедестала. Поколение Державина дружно потешалось над Тредиаковским, Пушкин же «сбрасывал с парохода» Сумарокова и Хераскова.

Державин рачительно относился к истории русской поэзии. Предшественников у него было немного: по существу, всего лишь одно поколение… Поэзия петровского времени казалась к тому времени безнадёжно архаичной и попросту скучной. О более ранней силлабике вообще вспоминали редко. Мало кто читал вирши Симеона Полоцкого, и уж точно никто из поэтов не подпадал под его влияние.

Прошло два века — и оказалось, что «прекрасной и вечной» поэзии в додержавинские времена и впрямь было немного. Симеон Полоцкий интересен историкам и филологам, просвещённый читатель может почерпнуть у него несколько интересных мыслей, несколько подлинно торжественных или суровых интонаций. Но получать наслаждение от поэзии Симеона Полоцкого непросто.

А вот Тредиаковский впечатляет и поныне. Любителям поэзии хорошо известен такой его отрывок:

Вонми, о! небо, и реку,
Земля да слышит уст глаголы:
Как дождь я словом потеку;
И снидут, как роса к цветку,
Мои вещания на долы.

Парафразис Вторыя песни Моисеевы, 1752 г.

А разве лишены обаяния такие простодушные строки — из песенки «На мой выезд в чужие края»:

Канат рвётся,
Якорь бьётся,
Знать, кораблик понесётся…

Очаровательное простодушие! У Тредиаковского оно редко пробивалось сквозь мудрёную риторику. Державин научился демонстрировать в стихах подлинную бесхитростность, не впадая в примитивизм. Вот Тредиаковский показывает товар лицом в торжественной оде. Прославляет императрицу Анну Иоанновну — не шутка! Читаем:

О императрице велика!
Падающего века Атлас!
Священны вознесшися крилы
Над всем светом простираешься.
Тебе поют гусли, кимвалы,
Тебе славят трубы громогласны.
Воспой самодержицу, воспой, муза, Анну.

Эти и другие строфы пространной оды Тредиаковский прочитал перед императрицей 3 февраля 1732 года — и был в знак особой милости «допущен к руке» государыни Всероссийской. Кстати, царские милости не принесли Тредиаковскому ни твёрдого положения при дворе, ни денежного достатка. Но всё-таки — «допущен к руке». Но это вопросы судьбы и придворных обстоятельств, а стихи — стихами.

По первому прочтению — нагромождение слов — наверное, эффектное по тем временам, но не более. Тредиаковский был первым русским профессором элоквенции — и бросал к ногам императрицы образцы элоквенции в стихах, но всё-таки не поэзию. Конечно, он открывал новые тропы. До Тредиаковского поэзия была однообразной, негибкой. Василию Кирилловичу не повезло с Ломоносовым. Неистовый помор быстро превзошёл Тредиаковского, научился писать яснее, логичнее. Он победил — и в глазах следующей русской императрицы Елизаветы Петровны, и в глазах всесильного мецената Шувалова. Слава Ломоносова-поэта уничтожила, испепелила неудачливого конкурента. Но вспомним, как важны были для просветителей XVIII века античные вершины. Казалось, оттуда нисходит олимпийский свет истинного знания, истинного искусства. До открытия Античности над учёными умами безраздельно властвовали христианские ценности. Московское царство есть Русь православная, и здесь нет преувеличения. Всё, выходящее за пределы церковности, считалось второстепенным, малозначительным, по большому счёту — постыдным. Не случайно во времена Московской Руси у нас практически не было каменной светской архитектуры. При этом — великолепие монастырских ансамблей, возвещавших миру о Третьем Риме. Мы разучились ощущать, что Москва

считала себя Третьим Римом не в качестве города, а в качестве страны, «всея Руси». Тут и с Римом аналогия полнее. Волоколамск, Ростов Великий, Троице-Сергиева лавра — всё это входило в понятие «Москва — Третий Рим».

И вдруг — золотое сечение языческой Эллады.

Перед литераторами XVIII века открылся новый мир Марафона и Парфенона, Гомера и Фидия, Эсхила и Пиндара. А ведь панегирик Анне Иоанновне напоминает русские переводы Пиндара — пожалуй, даже современные. Тредиаковский ощущал себя продолжателем почтенной традиции, настоящим пиитом.

До поры до времени мало кто ощущал противоречия между языческим искусством и православием. В мире Тредиаковского и Державина Пиндар легко уживался с Сергием Радонежским. Причём светская поэзия всецело принадлежала Пиндару! А преподобного Сергия русские поэты упоминали нечасто.

В одах Державина встречаются герои. Родина для Державина — это слияние всех героических эпох в истории Руси, от древних славян, которых называли варягами (именно такой точки зрения придерживался поэт), до Суворова и Багратиона. Всех прославлял новейший Боян.

Только одного великого воина Екатерининского и павловского века Державин не воспел и даже не упомянул в стихах. У этого героя, не знавшего поражений, даже не было первых степеней орденов империи. Не было у него и титула, рядовой дворянин и только. Только в XX веке он стал всенародным героем, ровней Суворову, Кутузову, Багратиону в народном восприятии. Это величайший русский флотоводец, адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков. В стихотворении 1788 года «Осень во время осады Очакова» Державин упоминал о морских победах русского оружия:

Огонь, в волнах не угасимый,
Очаковские стены жрёт;
Пред ними росс непобедимый
И в мраз зелены лавры жнёт;
Седые бури презирает,
На льды, на рвы, на гром летит,
В водах и в пламе помышляет:
Или умрёт, иль победит.

То было время первых громких побед Ушакова. Неподалёку от устья Дуная, возле острова Фидониси, Ушаков во главе авангарда русской эскадры выдержал атаку превосходящих турецких сил и перешёл в наступление. Чуть позже Ушаков

атаковал турецкие батареи в анапской крепости и суда, стоявшие в Анапе. Он смело нарушал каноны морского боя — и побеждал. Согласованные действия сухопутных войск и флота предрешили взятие Очакова — с минимальными потерями при штурме. Жаль, что Державин лишь намекал на победы Ушакова, не упоминая ни имён, ни сражений…

Однажды Гаврила Романович всё-таки заговорил о великом адмирале, назвал его по фамилии. Но — не в стихах, а в «Объяснениях» к стихам. Речь шла о «Водопаде» — оде, написанной после смерти Г. А. Потёмкина. Там есть строки:

Не ты ль, который взвесить смел
Мощь росса, дух Екатерины,
И, опершись на них, хотел
Вознесть твой гром на те стремнины,
На коих древний Рим стоял
И всей вселенной колебал?

Державин комментирует: «им (Потёмкиным) населены губернии Екатеринославской и Таврической области; он пространные тамошние степи населил нивами и покрыл городами, он на Чёрном море основал флот, чего и Пётр В<еликий> своим усилием, заводя в Воронеже и в Таганроге флотилии, не мог прочно основать; он потрясал среду земли, т. е. Константинополь, флотом, которым командовал под его ордером адмирал Ушаков». И больше ни слова.

В 1798–1799 годах славный адмирал возглавил поход, который не с чем сравнить. В истории русского флота не было столь блистательных свершений. Державин откликнулся на эти победы энергичной одой «На Мальтийский орден». Там немало искренних контрреволюционных рассуждений:

Безверья гидра проявилась:
Родил её, взлелеял Галл;
В груди его, в душе вселилась,
И весь чудовищем он стал!
Растёт — и тысячью главами
С несчётных жал струит реками
Обманчивый по свету яд:
Народы, царства заразились,
Развратом, буйством помрачились
И Бога быть уже не мнят.

Державинская труба пела славу русскому императору — мальтийскому рыцарю, который искоренял (до поры до времени) в Европе революцию. Но фигура Ушакова, этого русского медведя, осталась за кадром:

Властитель душ, любимый царь
Речет — и флот сквозь волн несется!

Царь повелел — и всё. И никаких адмиралов.

Вот ведь несправедливость: Нельсона Державин прославлял персонально, а Ушакова — нет. Он просто мало знал о нём — слыхал, конечно, но лично они так и не познакомились. Не было у адмирала полновесной прижизненной славы. Быть может, если бы Державин в своё время приблизился к Потёмкину — князь Таврический поведал бы ему об одном из самых способных своих выдвиженцев. Мог бы рассказать Державину об адмирале и Суворов: уж он-то разглядел полководческий гений своего морского собрата.

В истории они все встали вровень — исполины XVIII века. И те, кто добился прижизненного признания, и недооценённые герои. Век каждому давал возможность показать себя, проявить таланты. Россия побеждала, постигала науки и искусства, пробовала силы в международной дипломатии, упражнялась в политических интригах, строила заводы и корабли. Россия стала страной великих возможностей: имперский резонанс помогает честолюбцам и профессионалам.

В XVII веке у России не было военно-морского флота. А поколение Ушакова уже восхищало лучших моряков мира. Они вернули Чёрному морю титул Русского, обретённый в тьмутараканские времена. Увы, это был недолгий взлёт: император Александр, понимавший, что с Бонапартом придётся тягаться на суше, пренебрегал флотом. А после трагической Крымской войны Россия потеряла статус черноморской военно-морской державы… Преемники Державина — русские поэты — немало строк посвятили роковому противостоянию России и Европы, предательству Австрии, подвигам севастопольцев… Тютчев, Майков, Бенедиктов, Ростопчина, Павлова… Это был последний всплеск русской патриотической героики, которой служил Державин. Прошло несколько лет после Крымской катастрофы, начались Великие реформы — и оказалось, что никто в России не способен искренне и талантливо воспевать империю в стихах. Искренняя героика и в те годы создавалась — но в оппозиционном ключе, о тех, кто «жертвою пал в борьбе роковой любви беззаветной к народу». Многих восхищали эстетические

находки Державина, смелость и звучность его прозрений о жизни и смерти, но идеология охранителя империи казалась мёртвым анахронизмом. Интеллигенция не могла найти себя «заодно с правопорядком». Только в советское время — ненадолго! — вернётся в поэзию державинский восторг перед молодым, набирающим силу государством: «Пою моё Отечество, республику мою!» Про Российскую империю в последние полвека её существования никто так бы не написал… Неудивительно, что Маяковского сравнивали с Державиным, хотя они были приверженцами противоположных идеологий, да и внешне ультрасовременный во всех проявлениях Маяковский не походил на екатерининского вельможу. Тынянов писал: «Маяковский возобновил грандиозный образ, где-то утерянный со времён Державина. Как и Державин, он знал, что секрет грандиозного образа не в „высокости“, а только в крайности связываемых планов — высокого и низкого, в том, что в XVIII веке называли „близостью слов неравно высоких“, а также „сопряжением далековатых идей“». Поэт снова стал трибуном и собеседником власти. И тут, конечно, неизбежны упрёки в искательстве и карьеризме…

ЛЬСТИТЬ ИЛИ НЕ ЛЬСТИТЬ?

Характер Державина — поэта и царедворца — проницательно уловил Иван Дмитриев, который сам благополучно бывал и поэтом, и царедворцем: «Голова его была хранилищем запаса сравнений, уподоблений, сентенций и картин для будущих его поэтических произведений. Он охотник был до чтения, но читал без разборчивости. Говорил отрывисто и не красно. Кажется, будто заботился только о том, чтоб высказать скорее. Часто посреди гостей, особенно же у себя, задумывался и склонялся к дремоте; но я всегда подозревал, что он притворялся, чтоб не мешали ему заниматься чем-нибудь своим, важнейшим обыкновенных пустых разговоров. Но тот же самый человек говорил долго, резко и с жаром, когда пересказывал о каком-либо споре по важному делу в Сенате, или о дворских интригах, и просиживал до полуночи за бумагой, когда писал голос, заключение или проект какого-нибудь государственного постановления. Державин как поэт и как государственная особа имел только в предмете нравственность, любовь к правде, честь и потомство». Поэтическая кухня и нрав здесь неразделимы.

Державин гордился репутацией правдолюба, не раз её демонстративно подтверждал. Потому-то он и встрепенулся, когда к нему со стихотворным посланием обратился Храповицкий, требовавший от поэта безрассудной смелости, по которой сам тосковал, десятилетиями подчиняясь придворным законам. В послании к Державину Храповицкий — признаем! — встал вровень с лучшими поэтами того времени. Замечательный лёгкий слог, осмысленные остроты:

Люблю твои я стихотворства:
В них мало лести и притворства,
Но иногда — полы лощишь…
Я твой же стих напоминаю
И сам поистине не знаю,
Зачем ты так, мой друг, грешишь.

Достойны громкой славы звуков
Пожарский, Минин, Долгоруков
И за Дунаем храбрый Петр;
Но Зубовых дела не громки
И спрячь Потёмкиных в потёмки:
Как пузырей, их смоет ветр…

И Зубов, ставши размундирен,
Для всех россиян только смех.

Твоею творческой рукою
И пылкою стихов красою
Достойных должно прославлять,
Великих, мудрых, справедливых,
Но случаем слепым счастливых
В забвеньи вечном оставлять.

Храповицкий оказался способным стихотворцем, а уж ритором он был первоклассным. Послание блистательное, но тут со многим можно поспорить. Так, Храповицкий несправедлив не только к Державину, но и к Потёмкину. Этот великий управленец преобразил Россию, превратил нашу страну в самую могущественную империю на континенте. Освоение Новороссии и Кубани, присоединение Крыма — всё это великие свершения. Россия до Потёмкина и Россия после него — несравнимые величины. Нет, не должен Державин раскаиваться в своих (не столь уж обильных) похвалах Потёмкину. К тому же Храповицкий писал эти строки во времена императора Павла, когда на покойного князя Таврического сыпались проклятия. Пожалуй, «подлостью» было высокомерие по отношению к Потёмкину в такие дни. Высмеивание Зубова в те годы тоже стоило недорого.

А «лощить полы» гораздо чаще приходилось самому Храповицкому. Достоинства его остроумно определил С. Н. Шубинский: статс-секретарь умел сказку рассказывать, как государственное дело, а о делах докладывал — как рассказывал сказку.

Державин поднял перчатку и ответил старому другу пространно и печально, хотя звучала в его послании и самоироническая нота:

Храповицкой! дружбы знаки
Вижу я к себе твои:
Ты ошибки, лесть и враки
Кажешь праведно мои;
Но с тобой не соглашуся
Я лишь в том, что я орел.

А по-твоему коль станет,
Ты мне путы развяжи;
Где свободно гром мой грянет,
Ты мне небо покажи;

Где я в поприще пущуся
И препон бы не имел?

Где чертог найду я правды?
Где увижу солнце в тьме?
Покажи мне то ограды,
Хоть близ трона в вышине,
Чтоб где правду допущали
И любили бы ее.

Страха связанным цепями
И рожденным под ярмом
Можно ль орлими крылами
К солнцу нам парить умом?
А хотя б и возлетали —
Чувствуем ярмо свое…

Державин здесь напяливает маску осторожного благоразумия. Нечасто он выступал в таком амплуа! Но есть в этом послании и намёки на судьбу самого Храповицкого. Разве он когда-нибудь «резал» правду в лицо государю или государыне? Державин всю жизнь уважительно вспоминал князя Долгорукова за то, что тот говаривал Петру Великому нелицеприятную правду. А Храповицкий, по существу, предлагал двуличную программу: воздерживаться от похвал сильным мира сего, критиковать их втихомолку и раскланиваться при встрече. Да ещё — посмеиваться над героями, вышедшими в тираж, впавшими в немилость или просто умершими. Они безопасны, их можно призвать к ответу за всё!

А теперь — самое поучительное, на все времена. Ведь это не первый ответ Державина Храповицкому. Когда-то — во времена не столь отдалённые — приятели уже схлестнулись в литературном споре. Только в те благословенные дни Храповицкий играл роль ловкого царедворца и требовал от Державина новых посвящений Фелице — лестных для Екатерины. А Державин… Державин отвечал:

Товарищ давний, вновь сосед,
Приятный, острый Храповицкой!
Ты умный мне даёшь совет,
Чтобы владычице киргизской
Я песни пел
И лирой ей хвалы гремел.
Так, так, — за средственны стишки

Монисты, гривны, ожерелья,
Бесценны перстни, камешки
Я брал с неё бы за безделья,
И был — гудком —
Давно мурза с большим усом…
Богов певец
Не будет никогда подлец.

Подлец — то бишь льстец или, если обратиться к языку XX века, — подхалим. Что же стряслось? Неужели Храповицкий с годами стал вольнолюбивее? Скорее всего, просто Державин остался всё тем же строптивцем. Писал сообразно собственной стратегии, почти не оглядываясь на придворный этикет и элитарную моду. Этикет (и требования цензуры) ему приходилось учитывать при публикации сочинений, а писал Державин всё больше горячим сердцем. Исключения были, но на то они и исключения…

Политические воззрения Державина определить непросто, хотя в его «моральном кодексе» было немало постоянных величин. Существует социологический канон, который сформировался в 1920-е годы и отцвёл к 1970-м. Приверженцами (отчасти — вынужденными) этого канона были лучшие тогдашние исследователи Державина — например А. В. Западов. Державина объявляли выразителем чаяний широких слоёв дворянства. Не аристократической элиты, а всего многотысячного дворянства, и в особенности его лучшей части, стремившейся к Просвещению. Считалось, что Державин не дорос до радищевского понимания исторических процессов. Александра Николаевича Радищева почитали как предтечу революционного движения и первого русского либерального интеллигента. В этих постулатах есть зерно истины, но реальная идеология Державина, разумеется, была противоречивее и сложнее.

Идеологический фундамент Державина — миф о Петре Великом. Понятие «миф» — это не ругательство. Вспомним определение А. Ф. Лосева: «Миф есть наиболее реальное и наиболее полное осознание действительности, а не наименее реальное, или фантастическое, и не наименее полное, или пустое». Осмысление мифа расширяет наши представления о любом легендарном явлении. Мифологизация нередко искажает реальный исторический образ, но нигилистическое правдоискательство искажает его ещё разительнее.

Государствообразующий миф необходим каждой стране, а особенно — молодой империи. Ломоносов восклицал, прославляя

Петра: «Он Бог был твой, Россия!» — а Михайло Васильевич был самым взвешенным и логичным из русских поэтов того времени.

К Петру в XVIII–XIX веках относились примерно так же, как к Ленину в советское время. Создатели культа Ленина во многом равнялись на образ Петра в дореволюционной пропаганде. Каждый новый монарх или генсек явно или подспудно критиковал предшественников. Но — не Петра и не Ленина. Они оставались постоянными величинами. Державин не так много написал о Петре: он считал, что не может превзойти Ломоносова в жанре героической поэмы о великом императоре.

Идея Петра — преобразование России, мощный рывок. При этом Петру приписывались заслуги его предшественников — отца и старшего брата, царей Алексея Михайловича и Фёдора Алексеевича… За кадром оставались поражения великого императора. В истории не обойтись без фигур умолчания — так же, как в большой семье. Если, конечно, мы не стремимся к большой ссоре.

Историческое значение Петра (и без того весомое) всячески преувеличивали — и здесь тоже можно увидеть аналогию с советской оценкой 1917 года как начала новой эры. В великих державах возникает потребность в идеализацию «отца-основателя».

Ходила легенда, что Пётр был отцом Ломоносова. Кто же ещё мог бы породить русского исполина, великого просветителя? Только Пётр! Для Державина Пётр был отцом Отечества, земным вседержителем.

В то же самое время Державин не порывал связей с Московской Русью, с православным Третьим Римом. Державин гордился петровской империей, но это не мешало ему любить и знать Древнюю Русь, слышать её колокольный звон и даже плеск варяжских вёсел.

Возможно, Державин преувеличивал значение Фемиды. Ведь, как известно, «закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло». Это ехидное правило неумолимо, его невозможно отменить. Правовое государство, исправляющее нравы, — это, увы, утопия. Державин хорошо понимал, что бесконечные реформы и пересуды о справедливом обществе делу не помогают. Нужны усилия энергичных профессионалов, которые пройдут по острию ножа и сметут рутину общепризнанных правил — как Суворов и Потёмкин. Державина восхищало, что Суворов воюет не по правилам. А как много ярких неправильностей в поэзии Державина! Он разбивает все каноны…

В своём «Рассуждении о достоинствах государственного человека» Державин прямо пишет: «Я хочу изобразить, для

созерцания юношества, достойного государственного человека. Не того любимца монарха, который близок к его сердцу, обладает его склонностями, имеет редкий и завидный случай разливать его благодеяния, приобретая себе друзей, ежели их тем приобрести можно. Не того расторопного царедворца, который по званию своему лично обязан угождать государю, изыскивать для облегчения его тяжкого сана приятное препровождение времени, увеселения, забавы, поддерживая порядок и великолепие двора его. Не того царского письмоводца, трудящегося таинственно во внутренних его чертогах, изливающего в красивом слоге мысли его на бумагу. Нет; но того открытого, обнародованного деловца, который удостоен заседать с ним в советах, иметь право непосредственно предлагать ему свои умозрения, того облеченного великою силою действовать его именем и отличенного блистательным, но вкупе и опасным преимуществом свидетельствовать, скреплять или утверждать его высочайшие указы своею подписью, отвечая за пользу их честью и жизнию… Я хочу описать посредника между троном и народом, изъяснить достоинство государственного человека, министра или правителя, того, который бы был вседействующею душою царя Феодора Иоанновича, или надёжным орудием Петра Великого. Вот его качества: он благочестив, из-детства напоён страхом Божиим, яко началом всякой премудрости». Внимание! Кроме Петра Великого, Державин упоминает здесь и царя Фёдора Иоанновича, которого традиционно считали слабоумным. Пётр олицетворял Российскую империю, её мощь, её железную поступь. Царь Феодор — Святую Русь, её кротость и молитву. Державин видел оба лика нашего государства и обоим воздавал должное. И это тоже — прозорливость истинно государственного человека.

Державин не был историком, не исследовал летописи, не изучал ни архитектуру Древней Руси, ни иконопись. Но он понимал, что нельзя относиться к многовековой допетровской истории Руси как к «тёмному царству». Откуда бы взялась империя, если бы Русь слова доброго не стоила? Пётр — не просто «Бог твой, Россия», но и сын Московской Руси, сын выдающегося царя Алексея Михайловича. Сын, отвергнувший многое из отцовского наследия, но во многом — продолживший политику отца и брата.

Не только Державин мечтал воссоздать единое историческое пространство — от Новгорода и Киева до Санкт-Петербурга. Какому событию посвятил свою эпическую поэму М. М. Херасков? Не победам Петра Великого, а покорению Казани во времена Иоанна Грозного. До публикации девятого тома карамзинской «Истории государства Российского» ещё можно было восхищаться

подвигами первого русского царя. «Иностранные писатели, сложившие нелепые басни о его суровости, при всём том по многим знаменитым его делам великим мужем нарицают. Сам Пётр Великий за честь поставлял в мудрых предприятиях сему государю последовать. История затмевает сияние его славы некоторыми ужасными повествованиями, до пылкого нрава его относящимися, — верить ли толь не свойственным великому духу повествованиям, оставляю историкам на размышление», — писал Херасков. «Итак, не должно ли царствование Иоанна Васильевича второго поставлять среднею чертою, до которой Россия, бедственного состояния достигнув, паки начала оживотворяться, возрастать и возвращать прежнюю славу, близ трёх веков ею утраченную?» В рассуждения Хераскова Державин вчитывался внимательно. Тогда, в 1779-м, слава ещё не пришла к Гавриле Романовичу, хотя он уже знал себе цену и в кругу друзей считался первым стихотворцем.

Прав Державин — суетен человек в помышлениях своих… Но Гаврила Романович и в придворной суете не забывал, что каждая льгота должна подкрепляться долгом, обязанностью перед государством. И дворянство, и государь становятся вне закона, если начинают почивать на лаврах, не исполняя долга: воинского, управленческого, учительского.

Соберём осколки воззрений Державина в одну колбу — и у нас не останется сомнений, что идеолог, следующий своим принципам, может подольщаться к сильным мира сего из тактических соображений, но никогда не станет льстецом.

СЕ ОБРАЗ АНГЕЛЬСКИ

Юный Александр вращался и в окружении Екатерины, и в малом дворе — в Гатчине, у отца, и всюду показывал себя грациозным и милым. В Зимнем дворце презирали гатчинцев. А Павел считал себя законным наследником Петра Третьего и собственную мать воспринимал как узурпаторшу. Александр научился ладить с обеими враждующими группировками. Всем он улыбался, всех кротко выслушивал. Аккуратно менял маски и никогда не отступал от роли. Актёр Актёрыч!

Церковные обряды в те годы он посещал для проформы, как и воинские учения. Ни к молитве, ни к службе душа не лежала. Главным воспитателем цесаревича был швейцарец Лагарп. Россию он знал примерно так же хорошо, как Кению или Зимбабве, которых тогда не существовало на политической карте мира. Цесаревич почитывал (не слишком внимательно!) Вольтера и Руссо, а над Евангелием засыпал. Он писал Лагарпу, что мечтает «поселиться с женою на берегах Рейна и жить спокойно частным человеком, полагая своё счастие в обществе друзей и в изучении природы». Такой вот руссоистский идеал. Всю жизнь время от времени он будет повторять эту мысль. Что это — кокетство? Или — невыносимый крест, который был не по силам самодержцу?

Александр оказался прирождённым политиком.

Знал ли он о заговоре? Павел относился к сыну мнительно, прекрасному принцу угрожала суровая опала — возможно, ссылка в какой-нибудь отдалённый монастырь. Любимцем царя стал тринадцатилетний племянник, герцог Евгений Вюртембергский. Павел намеревался его усыновить. И тут граф Пален посвятил Александра в планы заговорщиков. Конечно, будущий царь взял с Палена слово, что Павлу сохранят жизнь. Но он не мог не помнить о судьбе Петра Третьего… Пален ухватил суть манёвров Александра: «Он знал — и не хотел знать». Мечтал остаться в стороне, умыть руки. В ту ночь Александр тревожился и ждал, а погромщики смело действовали от его имени.

Вспоминает Михаил Фонвизин, будущий декабрист, свидетель тех событий: «Несколько угроз, вырвавшихся у несчастного Павла, вызвали Николая Зубова, который был силы атлетической. Он держал в руке золотую табакерку и с размаху ударил ею Павла в висок, это было сигналом, по которому князь Яшвиль, Татаринов, Гордонов и Скарятин яростно бросились на него, вырвали из его рук шпагу: началась с ним отчаянная борьба. Павел был крепок и силён; его повалили на пол, топтали ногами,

шпажным эфесом проломили ему голову и, наконец, задавили шарфом Скарятина».

Потом Александр упадёт в обморок, увидев обезображенное тело отца. Но там же, возле трупа, его поздравляли как нового императора. Хорошо написал в мемуарах фон Беннигсен — один из предводителей заговора: «Император Александр предавался отчаянию довольно натуральному, но неуместному». А графу Палену приписывают слова: «Полно ребячиться, ступайте править!» Пален держал в руках паутину заговора, приобрёл большую силу. Александру хватит ума незамедлительно отдалить его от трона…

Но в ту ночь молодой император произнёс известные слова: «Батюшка скончался апоплексическим ударом. При мне всё будет, как при бабушке». Эту фразу запомнили все. Мы знаем: запомнили на века. Можно ли представить себе более унизительную клятву для нового самодержца? Державин воспринял эти слова всерьёз — по крайней мере, время от времени опирался на этот царский лозунг в политических баталиях. И самому государю напоминал о екатерининских идеалах!

Но в душе новый император не был сторонником Екатерины: он считал её политику беспорядочной, варварской. Например, он никогда не вернётся к принципам потёмкинской военной реформы, которая превратила нашу армию в бесспорно сильнейшую на континенте. Но в ту роковую ночь балом правили екатерининские орлы…

Державин (уж он-то точно не имел к заговору никакого отношения) сочинил оду, в которой как ни в чём не бывало воспевал нового государя.

Век новый! Царь младый, прекрасный
Пришёл днесь к нам весны стезёй!
Мои предвестья велегласны
Уже сбылись, сбылись судьбой.
Умолк рёв Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный взгляд;
Зефиры вспорхнули крылаты,
На воздух веют аромат…

Вдовствующая императрица возмутилась, но не сумела добиться опалы Державина. Государь прислал поэту перстень в пять тысяч рублей, но решил воздержаться от публикации этих двусмысленных стихов. Вслед за Державиным о новом царе запели Мерзляков, Озеров, Карамзин, Херасков… Александр не

увлекался поэзией, но, судя по перстню, предпочтение оказал Державину. Карамзин тоже за свои поэтические старания получил бриллиант — но куда более скромный, стоимостью в две тысячи целковых. Поговаривали, что новый император в кругу друзей скептически прокомментировал оду Державина: «Пускай вспомнит, что он писал после восшествия на престол моего отца». Но новые строки Державина ходили в списках и заучивались наизусть…

Поэт уловил ожидания своих читателей: они весёлыми пирушками отмечали убийство императора. Для них именно «закрылся страшный взгляд» и началась весна среди зимы. Читатели Державина — по большей части знать.

Александру Павловичу вряд ли пришлось по душе другое приветствие Державина — вроде бы лестное, но слишком крепко связанное с екатерининским временем:

Прекрасный Хлор! Фелицын внук,
Сын матери премилосердной,
Сестёр и братьев нежный друг,
Супруг супруге милый, верный —
О ты! чей рост, и взор, и стан
Есть витязя породы царской,
Который больше друг, чем хан
Орды, страны своей татарской!

К власти пришёл царевич Хлор — давний герой Державина. Снова — Хлор, персонаж из сказки, которую Екатерина сочинила для внука. А внучек повзрослел и больше не хотел, чтобы его считали царевичем. Державин, как встарь, пытался преувеличенными похвалами настроить императора на благородный лад. Прослышав о скромности молодого императора — прославлял его умеренность. Видел в нём продолжателя лучших черт Фелицы — им же, Державиным, сформулированных и воспетых. Снова замелькали в стихах мурзы и паши — а благородный Хлор возвышался над всеми — потому что ему противен дух тиранства:

Что ты живёшь лишь для народов,
А не народы для тебя,
И что не свыше ты законов;
А тех пашей, эмиров, мурз
Не любишь и не терпишь точно,
Что, сами ползая средь уз,
Мух давят в лапах полномочно

И бить себе велят челом;
Что ты не кажешься им богом,
Не ездя на царях верхом;
Сидишь и ходишь в ряд с народом;
Что, не стирая с туфлей прах
У муфтьев, дервишей, иманов,
В седых считаешь бородах
Их глас за глас ты алкоранов…

Державин по-прежнему любил игры в восточную экзотику — и эти стихи опубликовал отдельным изданием под заголовком «Послание индийского брамина и Гимн солнцу».

Верноподданнический энтузиазм поэта огорчал тех, кто видел в нём несгибаемого благородного правдолюба. Поклонник и знаток поэзии Державина, в скором будущем его ближайший друг Евгений Болховитинов, недавно принявший монашество и возглавивший Александро-Невскую академию, увидел в торжественных стихах циническое воспевание цареубийства. Пастырь не удержался от резкостей:

О ты! Прелютой зверь! Державин!
Сей слог твой явен вечных ржавин.
Ты злой исторгнул дух твой тут…

Евгений открыто порицает убийство, клеймит убийц:

Язвишь уязвленна стрелой,
Растленной злобною рукой.
Но знай, что сей бессмертный Павел
Всем Каинам отмстит, как Авель…

За считаные годы отец Евгений потерял двух сыновей, дочь и жену — из депрессии его выведет не только вера, но и любовь к литературе. Неудивительно, что священник остро чувствовал злодейскую сущность убийства императора Павла.

А что же новый император? Баловень бабушки, он был зависим от общественного мнения — в особенности в первые годы правления. Хотел быть милым для всех! Эта слабость делает политика уязвимым. Александр раздавал направо-налево обещания, потому что не умел быть жёстким и нелицеприятным. Какое-то время он оставался всеобщим любимцем, но… долг платежом красен. Быстро стёрлась позолота несбыточных

обещаний. А что осталось? Оскомина от благих пожеланий. Он умел обольщать людей. Но ненадолго.

«На устах любовь и человечество, а в сердце ложь», — говорит о нём архиепископ Игнатий.

«Я обольщался надеждой, что воспитал Марка Аврелия для пятидесятимиллионного населения, но бездонная пропасть поглотила плоды моих трудов», — скажет Лагарп, воспитатель царя.

Нечто подобное ощущал и Державин. Он витал над помолодевшим Петербургом как дух прошлого победного века. Примечал новейшие пороки, читал нравоучения царю, которого знавал юным ребёнком…

Многим известен броский афоризм Томаса Карлейля: «Революции пожирают своих детей». С этим трудно спорить. Разве что можно добавить: «А монархии подчас пожирают и отцов…» Нас восхищают благородные нравы аристократии, стремление к Просвещению, свойственное лучшим сынам Отечества того времени, восхищает победный боевой дух… Но золотой век оставил нам и блистательные примеры коварства, жестокости, двуличия… Каждый дворянин присягал императору. Ежедневно вся Россия молилась за помазанника Божьего. У кого поднимется рука на самодержца? Оказывается, когда речь идёт о честолюбии и выгоде, убийство православного монарха — сущий пустяк. Во главе заговора стоял граф Пален. Павел едва ли не каждого дворянина подозревал в измене, а Палену доверился. Державин знавал этого хладнокровного, умного генерала, которого новый император поспешил отдалить от двора. Мудрое решение! Но Державин не мог не заметить, что молодой император приближает и людей недостойных, суетливых, не знающих Россию.

Державин не входил в окружение Александра Павловича. Но в первые недели правления молодого императора он не позволил одолеть себя в придворном фехтовании. Ему удалось укротить горячность — и в дискуссиях он выступал как умелый тактик. Опыт есть опыт.

Новая метла всегда метёт по-новому, а уж воцарение Александра во всех смыслах было антитезой предыдущему правлению. Так его и воспринимали. Державин при Павле «впал в немилость», потом снова вошёл в силу — и, конечно, недругам было несложно повернуть этот факт против него. Граф Васильев пребывал в ореоле жертвы павловского самовластия, он получил от государя «всемилостивейший рескрипт, в котором, несмотря на то, что не мог дать вернаго отчёта казне, расхвалялся он чрезвычайно за исправное управление государственными

доходами». Потрясая рескриптом, Васильев не преминул публично укорить Державина за критику. Гаврила Романович не остался в долгу, ответствовал незамедлительно: «На что вам, граф, грешить на других? А я вам говорю в глаза, что вы в таком болоте безотчётностию вашею, из коего вам вовек не выдраться».

Так или иначе, государственным казначеем снова стал Васильев, а Державин остался сенатором и только. Никаких предложений от императора не поступало, Александр как будто игнорировал Державина. В великую силу вошёл Дмитрий Прокофьевич Трощинский — опытный статс-секретарь, приятель Васильева, в недавнем прошлом доверенное лицо князя Безбородко. Политик ушлый, немолодой, опытный — и отнюдь не друг Державина. Именно он составил манифест о восшествии на престол нового государя. Державин считал, что император в те дни глядел на всех глазами Трощинского.

Царедворцы спорили — и по частностям, и в плане стратегии. Как это обыкновенно бывает в первые недели нового правления, заявила о себе партия шляхетской вольницы, желавшая ограничить власть государя.

Державин так определял расстановку сил и намерений:

> «Графы Воронцов и Завадовский весьма в тёмных выражениях или так сказать тонких жалобах на прежнее (разумеется, Павлово) правление словами Тацита, что „говорить было опасно, а молчать бедственно“, хотели ослабить самодержавную власть и присвоить больше могущества Сенату, как то: чтоб доходами располагать и свершать смертную казнь без конфирмации Государя и прочее. Господин Захаров толковал грамматический смысл некоторых слов в должности Сената. Державин, хотя разделял обязанность правления, согласно учреждению о губерниях, на 4 власти, то есть на законодательную, судную, исполнительную и сберегательную, но соединял их, яко в центре, в единственной воле Монарха. Но как по словам Петра Великаго, государь не ангел, не может один везде и всё управить, то и распорядил на 4 должности, возложив их на лица министров, как то: просвещения или законодательного, судного или юстиции, внутреннего или исполнительного, сберегательного или генерал-прокурора».

Элегантный манёвр: в наследии Петра Великого можно было найти одобрение любой тактики… Споры вокруг самодержавной системы не прекращались со времён Московской Руси. Каждому

новому государю нужно было утвердить полномочную власть, одёрнув честолюбивых феодалов. Ещё Тредиаковский воспевал решительность Анны Иоанновны, не допустившей правления аристократической олигархии. Державин считал, что Воронцов, Завадовский и некоторые другие царедворцы покушаются на самодержавную систему. Возможно, он сгущал краски, чтобы заручиться поддержкой царя против своих соперников. В длинной, запуганной интриге вокруг судеб Сената Державин заработал несколько вистов, выдвинулся.

Сенат следовало реформировать — это понимали все. Слишком расплывчатым оказался статус этого непутёвого детища Петра Великого. Проект «Начертания прав и обязанностей Сената» составил Завадовский, возвращённый молодым императором из небытия. Несколько сенаторов, включая Державина, выступили с критикой и с дополнениями к проекту. Записка Державина оказалась наиболее обстоятельной: он предлагал разделить орган на четыре отрасли — законодательную, судебную, исполнительную и прокурорскую — по образцу устройства в губерниях. Императору показались здравыми рассуждения Державина о том, что функции Сената не должны исчерпываться «доступом к престолу», что нужно рационально организовать работу громоздкого института. Наконец, Платон Зубов — растерянный, но, к удивлению многих, не сломленный после смерти императрицы — передал Державину волю государя: нужно написать проект о реорганизации Сената. Это задание окрылило Державина.

Гаврила Романович оживился, услышав глас боевой трубы, но встрепенулись и его противники — Строганов, Трощинский, Чарторыйский… То ли их принципиально не устраивало «разделение властей» в Сенате, то ли они опасались усиления непредсказуемого Державина (который к тому же был непримиримым противником крестьянской реформы), но им удалось убедить государя поручить сенатскую реформу Трощинскому, а Державин пусть пишет свой проект в качестве приложения.

Гаврила Романович, как в былые годы, работал сутки напролёт — и выдал документ, который окрестили «Конституцией Державина». Ему виделся Сенат, состоящий из двух частей. В каждой части — по несколько департаментов. Каждый департамент возглавлял министр, в спорных случаях вопрос рассматривался на общих собраниях. Подумал Державин и о «четвёртой власти»: он считал необходимым регулярную публикацию сенатских материалов в прессе.

Свои проекты «конституций» извлекли из рукавов Платон

Зубов и большой поклонник британских порядков Никита Панин. В итоге был принят первоначальный вариант с незначительными поправками из державинского проекта…

Но старания Державина не пропали: «царь младой» присмотрелся к нему и увидел, что этот пожилой человек ещё годится для службы. Да и «молодых друзей» нужно было уравновешивать реакционным пугалом. На коронации Державин получит орден Александра Невского, и в ближайших начинаниях императора он сыграет заметную роль. Державин был правдолюбом, его дерзкая горячность, которую он не умел усмирять даже в беседах с царями, вошла в легенды. Но с годами он превратился и в опытного царедворца, лидера придворной партии, искушённого в подковёрной борьбе.

Мы уже убедились, что иногда Державину удавались «малые формы», афористичные четверостишия, двустишия, хотя сам он невысоко ставил свои способности к этому жанру. Размышляя о новом царе, Державин блеснул экспромтом:

Се образ ангельски любезныя души.
Ах, если б вкруг него все были хороши!

И без объяснений всем было ясно: это он про императора и его молодых друзей… Из стана реформаторов (правильнее было бы назвать их прожектёрами) Державин получил не слишком складный, но колкий ответ:

Тебя в совете нам не надо:
Паршивая овца всё перепортит стадо.

Иногда эти строки приписывают Платону Зубову — всё-таки безосновательно. Между тем в чистеньком стаде нового правительства не обошлось без «паршивого» ретрограда Державина.

Молодые друзья государя, образовавшие Негласный комитет, подменяли Сенат. Их советы и интриги удесятеряли непредсказуемость политики. В басне «Жмурки» Державин найдёт образ: «Друзья-ребяточки вокруг его обстали». Это и про царя, и про Россию.

Александр гордился правительственной реформой. В России появились министерства — разве это не прогресс? Державина мудрено было пронять новыми вывесками, он ворчливо раскритиковал реформу (и было за что), но сразу согласился

возглавить Министерство юстиции. Ведь Гаврила Романович не без оснований считал себя преданным слугой Фемиды! В те дни он написал басню «Выбор министров», в которой скромно представил себя в виде трудолюбивой пчелы, которой только мешают Сперанские и Кочубеи.

Державин вообще не «подыгрывал» новому поколению, не льстил молодёжи. Вообще-то и политики, и писатели страсть как любят молодых да ранних перекармливать конфетами. Ведь молодёжь — это наилучшая клака, создающая моду, да и юношеская энергия — полезный союзник. Но Державин не умел дальновидно лицемерить. Он не боялся прослыть брюзгой и ретроградом, воспевал опыт и мудрость. Никому не советовал «без стариков вождей, да не узнав и броду — соваться в воду…».

Восстань со кресел куриальных,
Неопытный боярский сын,
И пышным древом предков дальных
Не дмись, случайный властелин!
Но слушай старика седого,
Что с детства, с нижних степеней
Шёл без подпор и без покрова,
Лишь правды, мужества стезей.
Был щит отчизны, руль законов,
Стоял пред троном трёх царей.

Безусловно, это личный манифест — почти без аллегорий.

Поэт оказался лидером придворной партии консерваторов, последовательных екатерининцев. Нет, он не превратился в безоглядного апологета великой императрицы. Но за долгие годы пребывания на Олимпе Державин научился ценить не идеальных, но оптимальных политических лидеров. Екатерининская система нуждалась в осторожных преобразованиях, а не в разрушении. Тем более что мир уже сотрясали революционные войны, которые позже назовут Наполеоновскими. В 1799 году Державин, как и Суворов, верил, что «гиену» революции можно уничтожить в её логове, вернуть храмы христианам, престолы — монархам, Европу — мирным народам.

Ненависть Павла к «проклятому екатерининскому прошлому» порождала сумасбродные политические решения. Особенно яростно он ненавидел даже не убийц отца Орловых, а Потёмкина. Грандиозная фигура князя Таврического олицетворяла екатерининский стиль. Возможно, следовало отказаться от потёмкинского авантюризма. Великий администратор подчас готов был всё поставить на карту ради будущего крупного

выигрыша. В таком режиме можно существовать десятилетие, но постоянный аврал ослабляет государство. А порывистый Павел Петрович сдал в утиль потёмкинскую военную реформу, благодаря которой русская армия стала сильнейшей в мире. Суворов в штыки встретил опруссачивание армии — и даже ощетинился колкими стихами: «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, сам я не немец, природный русак». Раньше Державин снисходительно относился к версификаторским упражнениям Суворова: ну, любит генерал поэзию — и слава богу. А тут Суворов перещеголял всех поэтов: он создал лучшую эпиграмму на несчастного императора. О военной реформе Державин мог судить с высоты многолетнего солдатского опыта. И он всецело оказался на стороне Румянцева, Потёмкина, Суворова — и против апологетов утомительной муштры и прихотливого прусского армейского макияжа.

Очень скоро Державин понял, что пересмотра павловского отношения к армии не предвидится. Новый император смягчил гатчинские нравы, но к потёмкинской военной реформе не вернулся… Проявились и новые злоупотребления, порождённые пылом молодых друзей императора. «Державину злобная глупость сия хотя сперва показалась досадною, но снёс равнодушно и после утешился в том, когда избранными в Совете членами, после его отставки, доведено стало государство до близкой в 1812 году погибели. Началось неуважение законов и самые беспорядки в Сенате: охуждая правление Императора Павла, зачали без разбора, так сказать, всё коверкать, что им ни сделано», — язвил Державин в 1812-м.

«Дней Александровых прекрасное начало…» Это строка не из Державина, это Пушкин, который в те дни ещё не умел говорить. Вообще-то оба поэта относились к императору неприязненно, что не мешало им искренне восхищаться лучшими свершениями Александровых времён.

Молодой царь с детства лавировал между двумя враждующими партиями — между Зимним и Гатчиной. Он и на троне считал натренированное двуличие главным качеством политика, особенно — в международных делах. А Державин был сторонником прямодушия, открытого натиска в политике и, на правах старого вельможи, давал императору советы в этом духе. То есть продолжал «истину царям с улыбкой говорить». Александр, как и бабушка, нуждался в непринуждённом общении, но для этого у него существовал свой круг, в котором Державин не стал желанным гостем. Всё-таки они были людьми разных поколений. Молодому начальнику всегда непросто терпеть рядом с собой опытного и самолюбивого подчинённого. А тут ещё и

литература превратилась в гуманитарную индустрию, с которой приходилось считаться — а Державина считали литературным патриархом. Император был, что называется, блистательным молодым аристократом. Умел покорять сердца, умел обласкать и охладить. Лагарп воспитал его на республиканских идеалах, но по духу Александр не был революционером и предпочитал осторожную политику. В отличие от бабушки он не был книгочеем и литератором. Для систематического чтения не хватало усидчивости. Достаточно сказать, что православный самодержец, по собственному признанию, впервые прочитал Библию в 1812 году. Правда, с тех пор с этой книгой не расставался. Пробелы в образовании помогали ему презрительно относиться к старомодному одописцу. Державин казался ему невежественным: его рассуждения были так далеки от уроков Лагарпа… Александр не был убеждённым сторонником республиканских идей Лагарпа. Он вообще не обременял себя оковами убеждений. Республиканство императора оставалось декларативным, он не намеревался взаправду, а не понарошку делиться самодержавной властью с гражданским обществом. Но эталоном хорошего тона интеллектуальной беседы для него был не Державин.

ДЕЛО ЛОПУХИНА

Император Александр I в раздражении отбросил в сторону жалобу заводчика Демидова на калужского губернатора Лопухина.

Дмитрий Ардалионович Лопухин — почтенный статский генерал в летах. Ровесник Суворова, старше Державина на 13 лет! По нраву — взбесившийся Анакреон. Император Павел направил его губернатором в Калугу — город, где незадолго до этого затеялось большое строительство. При Екатерине был принят план превращения Калуги в образцовый имперский город — в петербургском стиле. Большое строительство — это подрядчики, купцы, снабженцы, тяжбы. Это верная возможность поживиться. Лопухин в Калуге почувствовал себя то ли царём, то ли полководцем, который после победного похода получил город на разграбление.

Лиха беда начало! В первую очередь он вытянул у владельца Полотняного Завода Ивана Гончарова взаймы под вексель 20 тысяч рублей серебром. Затем не погнушался открытым шантажом: губернатор обнаружил в доме братьев Гончаровых (о ужас!) незаконный карточный стол. Да за такие проделки можно описать имущество, а держателей игорного дома — под арест и в Сибирь! Но в Сибирь Иван Николаевич не отправился, просто уничтожил вексель. Ну и для верности ещё переложил несколько тысяч целковых из своего кармана в карман губернатора. С помещика Хитрово Лопухин взял пять тысяч за молчание по делу братоубийства…

Под Рождество 1802 года Державин получил особое поручение: «По секрету. Господину действительному тайному советнику Державину. Вы отправляетесь под видом отпуска вашего в Калужскую губернию; но в самом деле поручаются вам от меня изветы, частью от безымянного известителя, а частью от таких людей, которые открытыми быть не желают; вы усмотрите из них весьма важные злоупотребления, чинимые той губернии губернатором Лопухиным и его соучастниками…»

Оказалось, что Лопухин замешан не только в преступлениях, но и в бесчинствах. Хищения можно скрыть. Если не удалось скрыть — можно оправдаться. Друзей и родственников у губернатора хватало. А вот бесчинства бросаются в глаза, их не заретушируешь. Особенно — в миниатюрной уютной Калуге. Несмотря на преклонные лета, Лопухин пил горькую, как молодой офицер. Навеселе начинал куролесить — с размахом. С компанией развесёлых удальцов он фланировал по ночной

Калуге, орал, а ещё любил швыряться камнями по окнам. Меткие попадания удавались ему частенько. Местный прокурор, даже архиерей только подпевали Лопухину и покрывали его произвол. Лопухин демонстративно являлся в присутственные места в обнимку с девкой зазорного поведения. А в пьяном раже однажды прокатился верхом на дьяконе, с посвистом и гиганьем… Эти рассказы, подтверждённые свидетелями, произвели на сенаторов и на государя куда более сильное впечатление, чем сведения о беззастенчивом мздоимстве Лопухина. Кого удивишь воровством? А вот лица терять нельзя, образ власти не должен терять степенной монументальности.

Всё это Державин вскрыл в два счёта. Прибыл в Калугу сперва инкогнито, обо всём разузнал. Лопухин жаловался на Державина: петербургский следователь-де под пытками добывает показания. Державин в присутствии чиновников вторично допросил каждого свидетеля и обвиняемого — и они подтвердили прежние показания, а россказни о пытках отвергли.

Лопухин сдал дела, но на каторгу не отправился. Возвратившись в Петербург, Державин обнаружил государя в сомнениях: он готов был поверить жалобам Лопухина. Но Державин с жаром указал на противоречия в письмах буяна — и ему удалось убедить Александра.

Державин в Калуге нажил новых врагов. «За обедом у Ростислава Евграфовича Татищева видел я Дмитрия Ардальоновича Лопухина, бывшего калужского губернатора, непримиримого врага Державину за то, что этот, в качестве ревизующего сенатора, сменил его за разные злоупотребления. Лопухин не может слышать о Державине равнодушно, а бывший секретарь его, великий говорун Николай Иванович Кондратьев, разделивший участь своего начальника и до сих пор верный его наперсник, приходит даже в бешенство, когда заговорят о Державине и особенно если его хвалят». Это из записок Жихарева, мемуариста наблюдательного и незавирального. Лопухин жил в столице весело, по-видимому, и умер как истинный эпикуреец — с сытой улыбкой на устах.

В «Записках» Державин с обидой вспоминал о лопухинском деле: «При Императоре Александре, за калужскую трудную экспедицию не токмо ничем не пожалован, но претерпел великие неприятности, и будучи генерал-прокурором, хотя оказал отлично усердные подвиги к благоденствию Империи, но ничто прямого уважения не имело».

И здесь не обойтись без нелицеприятного пояснения. Державин набрасывал «Записки», страдая от приступов мизантропии. Ещё не утихла обида на государя. Временами он

надеялся, что его ещё призовут на службу, но надежда таяла. Он был уверен, что молодые друзья царя приведут империю к катастрофе. В Аустерлице и Смоленске худшие предчувствия подтвердились. Личная трагедия Державина дополняла трагедию Отечества.

Иногда вся жизнь казалась ему чередой незаслуженных обид. В православной традиции уныние — тягчайший грех, приводящий к отчаянию. Уныние рождается там, где угасает вера в Бога, надежда на Него и любовь к Нему и к людям. Порок особенно опасен, когда мы находим ему оправдание, а спасает нас раскаяние. Державин писал «Записки» торопливо, без черновиков. Если бы он готовил их к публикации — кто знает, возможно, смягчил бы тон, кое-где и воздержался бы от несправедливых однозначных оценок. Кто без греха — пусть бросит в Державина камень, как Лопухин, этот неистовый Ардалионыч, швырял камни по калужским окнам.

Ворчание разочарованного человека, который видит всё в тёмном свете, — ненадёжный источник. Старческое брюзжание не лучше любого другого брюзжания: оно столь же постыдно и неизбежно.

ЕВРЕЙСКИЙ КОМИТЕТ

Ещё при Павле Первом Державин увяз в непривычном для него еврейском вопросе.

После второй командировки в Белоруссию Державин (здесь не обошлось без игр бескорыстного честолюбия) видел себя куратором еврейского меньшинства в империи.

Тут-то государь и получил жалобу от некой еврейки из Лёзны (Лиознова). Составлял жалобу её грамотный соплеменник. Перед нами фальшивая криминальная хроника рубежа XVIII–XIX веков: в Лиознове на винокуренном заводе Гаврила Романович Державин будто бы «смертельно бил палкою» несчастную женщину, «от чего она, будучи чревата, выкинула мёртвого младенца». Кутайсов, который безуспешно пытался приобрести имение Зорича, постарался, чтобы эту кляузу рассматривал Сенат. К тому же император любил, когда высокопоставленных чиновников проверяют по сигналам снизу.

В Сенате началось расследование. «Быв на том заводе с четверть часа, не токмо никакой жидовки не бил, но ниже в глаза не видал», — гневно парировал Державин и требовал подробного рассмотрения всех обстоятельств дела, если уж Сенат серьёзно относится к столь диким наветам. Но сам факт оглашения в Сенате по высочайшему указу чудовищной напраслины возмутил Державина. Неужели до такой степени дошло недоверие к нему государя — сразу после наград?! Он наделал шуму в благородном собрании, закричал, что немедленно поедет к императору… Друзья — во главе с Олениным — силой удержали его. Тогда Державин решил ехать к генерал-прокурору Обольянинову, с которым у него сложились тёплые отношения. Но Державин чувствовал, что кипятится сверх меры, и боялся вспылить при Обольянинове. В дверях Сената он встретил Ивана Захарова — этот литератор и политик согласился прокатиться с Державиным по городу, чтобы за дружеской беседой оскорблённый Гаврила Романович пришёл в себя. Но и после этого Державин произвёл на Обольянинова ужасающее впечатление: старик гневился, бушевал. Державин припоминал, что генерал-прокурор целовал ему руки, уверяя во всеобщем уважении и в доверии государя. Державин снова и снова порывался ехать к государю — уже вместе с Обольяниновым. Генерал-прокурор благоразумно воздержался от такого шага, но после обмена мнениями решил зачитать в Сенате благосклонный отзыв императора на труды Державина в Белоруссии. Это почти успокоило Гаврилу Романовича. Человека, который писал лживую жалобу, заключили

под стражу. Отпустят его по просьбе Державина уже в следующее царствование.

Павел повелел дать сенатский ход державинскому «Мнению о евреях». По существу это означало обсуждение еврейского вопроса на высшем уровне. Но форсировать это дело не стали. Только после смерти Павла и коронации Александра, после сенатской реформы и учреждения министерств, 9 ноября 1802 года начал работу Еврейский комитет, в который вошли Кочубей, Чарторыйский, Потоцкий, Валериан Зубов и сам инициатор — Державин. Всего пять человек — и они решали судьбу предприимчивого народа.

Царь-просветитель повелел привлечь к работе представителей кагалов (еврейских общин). Это были именитые купцы из белорусских и малороссийских губерний. Привлекли к работе и «просвещённых иудеев» (в те годы таковых в России было немного). Купец Нота Ноткин был для Державина, пожалуй, самым уважаемым евреем. Как-никак, он занимался снабжением армии Потёмкина — и даже Зорич говорил про него: «Хоть и еврей, а преблагородный человек». В Петербурге его принимали в лучших домах — вплоть до императорского дворца. Ноткин оказался наиболее красноречивым и разумным докладчиком из евреев — он, скажем, требовал освободить евреев от удвоенной подати. Державин был готов на это пойти при условии запрета на ростовщичество и винную торговлю. Они встречались не раз. Гаврила Романович пытался вникнуть в аргументы Ноткина, но не мог с ними согласиться. Вскоре он изменит к худшему своё мнение о нём.

Еврейским вопросом в Российской империи традиционно усердно занимались поляки: они, как считалось, глубже знали эту тему. Поляки и малороссы составили большинство в комитете: Потоцкий, Чарторыйский, Кочубей… Но Державин надеялся на Валериана Зубова — старого приятеля, некогда представителя могущественного клана, ныне просто состоятельного генерала, который многим Державину обязан. Мы-то помним Валериана исключительно по державинским стихам! Зубов владел обширными поместьями в Польском крае — этими землями награждали фаворитов в последние годы царствования Екатерины. Там вовсю орудовали винокуры. Это положение могло потянуть Зубова в любую сторону, но Державин, при всех его способностях к пророчествам, не мог предсказать, что вскоре Валериан женится на полячке. Да и с влиятельным в те времена Сперанским (оппонентом Державина по всем вопросам, который, как считал поэт, «совсем был предан жидам, через известного откупщика Перетца») у него установились дружеские отношения.

В еврейском мире весть об учреждении комитета вызвала паническую реакцию. В кагалах все понимали: угроза исходит от Державина, который, как смерч, промчался по винокуренным заводам. Было ясно: Державин постарается лишить евреев права на винную торговлю. Как противодействовать такому угнетению? Есть один верный способ: собирать деньги. Главное — сколотить бюджет, а далее дело пойдёт. Тех, кто уклонялся от платежей, кагалы наказывали строго. Со всеми участниками комитета, кроме Державина, у еврейских общин были налажены связи, деловые или родственные. Державин держался непреклонно.

Для императора Александра интересы еврейского капитала представлялись фактором, который необходимо учитывать и использовать по возможности к своей выгоде. Державин готов был смириться с ассимиляцией евреев, но с иудейскими порядками в Российской империи мириться не желал. Это же форменная крамола, предательское гнездо! Нужно, чтобы они крестились и обрусевали (Гаврила Романович, кроме прочего, предлагал иудеям брать славянообразные фамилии), а если не желают — вот Бог, вот порог. Державин эмоционально излагал эти планы «государственным людям», и в первую очередь коллегам по сенатской комиссии. Но понимания у них не нашёл. Державин негодовал: у этих людей корыстные интересы в Белоруссии — там, где особенно влиятельны евреи.

Он воспринимал Российскую империю как государство идеологическое — и потому непобедимое. Идеологию гораздо позже (и, пожалуй, поздновато!) сформулирует Уваров: «Православие, самодержавие, народность». Евреи в этой системе воспринимались как чужаки — пообщавшись с Ноткиным, Державин в этом только укрепился.

«Мнение об отвращении в Белоруссии голода и устройстве быта евреев» либералы считают образцом оголтелого антисемитизма. Евреев Державин воспринимал как чужаков, разъедающих единство православной империи. Конечно, он имел в виду не «этнических евреев», а приверженцев иудаизма. До советской власти строгого отношения к понятию «национальность» вообще не было. Считается, что исследование Державина надолго определило направление жёсткой имперской политики в отношении евреев: ограничения в правах, черта оседлости…

В комитете Державин сражался с польской тройкой. Почему-то их устраивала еврейская виноторговля… Да попросту они давно сотрудничали с купцами, разбогатевшими на пьяных рубликах.

Державин почувствовал противодействие от некой

загадочной, тайной силы. «Тут пошли с их стороны, чтоб оставить их по прежнему, разные происки. Между прочим, г. Гурко, белорусский помещик, доставил Державину перехваченное им от кого-то в Белоруссии письмо, писанное от одного еврея к поверенному их в Петербурге, в котором сказано, что они на Державина, яко на гонителя, по всем кагалам в свете наложили херем или проклятие, что они на подарки по сему делу собрали 1 000 000 и послали в Петербург, и просят приложить всевозможное старание о смене генерал-прокурора Державина, а ежели того не можно, то хотя покуситься на его жизнь», — вспоминал Державин. Насчёт планов убийства, пожалуй, молва сгущала краски, но факты финансового давления подтверждаются…

Державинские вердикты и впрямь сулили купцам-евреям опалу. «Ни в ремесленном деле, ни в рукоделии они не поднимались высоко и не несли основной тяготы работы, ибо всевозможно избегали трудолюбия, будучи по своим Талмудам уверены, что они должны господствовать, а другие раболепствовать им должны. И всегда находили они изобильное себе продовольствие и содержание с многочисленными своими семействами» — подобными рассуждениями «Мнение» Державина изобилует.

Интересно трактовал эту историю Олег Михайлов в 1975 году: «Для трудовой еврейской бедноты — ремесленников, портных, ямщиков-балагул — проект этот не сулил никаких неприятностей и неудобств. Их гроши оставались при них. Зато пришла в ярость местная буржуазия, наживавшаяся на бедах белорусского народа».

Михайлов вроде бы осторожен, советский политес соблюдён, но ему тогда крепко досталось от западнической литературной критики. Ярлык «антисемита» Михайлову, как и Державину, был обеспечен.

Державина обвиняли в неумолимо «ястребиных» идеях, в ненависти к полякам и евреям. Забыто, что во времена Павла Гаврила Романович противился репрессиям против борцов за независимость Польши и даже разразился по этому поводу филиппикой, вызвавшей неудовольствие государя:

«Виноваты ли были Пожарский, Минин и Палицын, что они, желая избавить Россию от рабства польского, учинили между собою союз и свергли с себя иностранное иго? Почему же так строго обвиняются сии несчастные, что они имели некоторые между собою разговоры о спасении от нашего владения своего отечества? Чтоб сделать истинно верноподданным завоеванный народ, надобно его прежде привлечь сердце правосудием и

благодеяниями, а тогда уже и наказывать его за преступления, как и коренных подданных, по национальным законам. Нельзя казнить и посылать всех в ссылку, ибо всей Польши ни переказнить, ни заслать в заточение не можно».

Просто в Еврейском комитете Державин потревожил финансовые связи магнатов — а такое не прощается. Однажды к Державину явился Нота Ноткин и с доброжелательной улыбкой предложил присоединиться к большинству в комитете. В одиночку вы всё равно ничего не добьётесь, растолковывал Ноткин, а мы предлагаем вам 100, а то и 200 тысяч рублей. Жалованье министра считалось тогда беспрецедентно высоким, но 200 тысяч — это министерский доход почти за 13 лет. С докладом об этой взятке Державин поспешил к государю, захватив с собой и письмо, перехваченное белорусским помещиком Гурко. Александр взял письмо и обещал решение в скором времени. Державин помчался к своему единственному союзнику в комитете — Зубову. Валериан выслушал его почтительно, но ничего не обещал. На следующее заседание комитета он попросту не явился — видимо, побоявшись напрямую выступить против Державина. Решался вопрос: запретить ли евреям винную продажу? Чарторыйский, Потоцкий и Кочубей выступили против запрета. Так и постановили. Державинская жалоба на кагалы последствий не возымела. Расселение евреев, замысленное Державиным, также отвергли: пагубное, по мнению Гаврилы Романовича, «государство в государстве» сохранилось. Крестьяне по-прежнему запутывались в долгах и ростовщических процентах. Двойная удавка — водка и кредит — истребляла белорусско-польскую бедноту. «Итак, вместо того, чтобы выйти от Государя новому строгому против пронырства евреев приказанию, на первом Собрании Еврейского Комитета открылось мнение всех чинов, чтобы оставить винную продажу у евреев», — заключил Державин.

Скорую царскую немилость и свою отставку Гаврила Романович связывал в том числе и с кознями влиятельных иудеев. Державин включил еврейский вопрос в идеологическую повестку дня. В последний раз эта тема громко звучала в нашей стране в годы расцвета и разгрома «ереси жидовствующих». Рассуждения Державина чем-то напоминают пламенные выступления Иосифа Волоцкого против еретиков. Есть ли противоречия в резко очерченной позиции Державина? Можно припомнить, что пьянство поражало и те губернии России, в которых еврейских винокуров не было. Но Державин был прав в главном: права в империи должны увязываться с обязанностями и «особый статус» того или иного народа вредит государству.

Дальнейшая политика империи в отношении евреев отчасти опиралась на державинское «Мнение», но лишь отчасти. Цель комитета — составление положения о евреях — удалось выполнить уже после отставки Державина.

ДЕЛО ПОТОЦКОГО

Пожалуй, никогда общественное мнение такие ополчалось на Державина. «Общественное мнение» — звучит внушительно. Но мы-то знаем, что во все времена так называли блажь самых крикливых и легкомысленных «активистов». Чем короче мысли — тем громче их выкрикивают. Проходит год-другой — и те же самые рьяные «активисты» начинают не менее эффектно отстаивать противоположную точку зрения. Разумеется, из самых благородных побуждений.

Указ Петра Третьего «О вольности дворянства» и Жалованная грамота императрицы Екатерины облегчили жизнь привилегированного сословия. Больше прав, меньше обязанностей — как изменилось благородное сословие от новых поблажек… Но и по новым законам дворяне, поступившие на военную службу, должны были отдать армии 12 лет. Допускалась преждевременная отставка офицеров — считалось, что, заслужив офицерское звание, дворянин уже выполнил свой долг перед Отечеством и государем. Разумеется, никто не удерживал в армии раненых и тяжелобольных. Но появилась многочисленная и крикливая прослойка более или менее родовитых унтер-офицеров, не желавших служить. Особенно быстро покидали службу представители польской шляхты. И, в нарушение закона, их легко отпускали домой через год-другой формальной службы. Эти год-другой они нередко проводили дома, в учебном отпуску.

Военный министр Вязмитинов взялся за искоренение незаконных вольностей — по долгу службы и зову сердца. Сергей Кузьмич Вязмитинов, шестидесятилетний генерал от инфантерии, немало лет командовавший Астраханским гренадерским полком, сам был выходцем из польского дворянства. Но он всю жизнь служил с оружием в руках и, смолоду не имея связей, честно достиг высокого положения. Он предложил государю особым указом закрепить служебные обязательства дворян — и молодой император подмахнул бумагу.

«О сём состоялся указ, помнится в декабре месяце, который в Сенате без всякаго сумнения или замечания прочтён и записан», — вспоминал Державин.

Ропот возмущения так и потонул бы в деловой круговерти, если бы против указа шумно не выступил граф Северин Осипович Потоцкий, соратник, а точнее — противник Державина по Еврейскому комитету. Он доказывал, что при Петре Третьем речь шла о невозможности отставки в течение двенадцати лет только в военное время. Правда, Потоцкий не разъяснил, когда в России

было время мирное.

Державин получил записку Потоцкого, с негодованием её изучил и принялся недоумевать: милейший граф Северин Потоцкий (он был известен как попечитель Харьковского университета, щедрый меценат просвещения) изъяснялся по-русски с горем пополам, а тут вдруг принялся писать, как Цицерон. Оказалось, что ему помогал Василий Каразин — один из идеологов радикальных реформ, разумеется, так и оставшихся мечтами. Конечно, его сиятельство — человек просвещённый: сын высокопоставленного польского политика, брат известного писателя и археолога, учился в Швейцарии. С Александром он познакомился, когда тот пребывал ещё в статусе любимого внука императрицы, царевича Хлора. Державин не сомневался, что Потоцкий выдвинут кругами, имеющими влияние на государя, но это не останавливало его. Гаврила Романович пошёл в атаку с открытым забралом. Он знал, что император не любит, когда его втягивают в сенатские распри, но не мог смолчать. Нельзя выносить записку Потоцкого на обсуждение в Сенате! Это ослабление армии и развращение дворянства! Александр не принял доводов Державина: «Мне не запретить мыслить, как кто хочет. Пусть его подаёт, а Сенат пусть рассуждает». Что делать? Поэт бросился в штыки. Закон есть закон. Две недели назад государь на весь мир подтвердил непреложность этой установки: всем рядовым и унтерам служить не менее двенадцати лет! Зачем же вторично выносить на обсуждение решение министра и государя?

— Сенат это рассудит, я не мешаюсь. Прикажите доложить!.. — Александр твёрдо решил поиграть в парламентаризм.

Россия — страна воинская, сам государь по роду занятий был военным человеком — не юристом же, право слово… А тут какие-то шельмецы плюют на офицерский мундир.

В Сенате мнение Потоцкого нашло рьяных сторонников не только из числа поляков. Самые влиятельные вельможи разных поколений не побоялись поддержать вроде бы оппозиционное мнение. Все недруги Державина ратовали за Потоцкого: Трощинский, Васильев, Строганов. Государь вроде бы поддерживал Вязмитинова и Державина, но его молодые друзья и пожилые любимцы оказались сторонниками Потоцкого… А ведь то было время наполеоновского передела Европы — и Потоцкий в 1810 году станет приветствовать появление Бонапарта в Польше. Соответствовали такие настроения интересам России?

«Государь, как видно, знал о сем мнении, и едва ли не с позволения его оно написано, ибо тогда все окружающие его

были набиты конституционным французским и польским духом, как то граф Черторижский, Новосильцов, Кочубей, Строганов, а паче всех и как атаман их, граф Воронцов, который, как уже выше сказано, в Сенате при рассуждении о правах оного, вводил мнения аристократические или ослабляющие единодержавную власть Государя», — с возмущением вспоминал Державин.

Вельможи почувствовали: есть возможность расшатать царскую власть, усилить роль Сената. Они надеялись, что Александр испугается прослыть деспотом и пойдёт на поводу у совещательного органа. Но тут уж император вспомнил уроки французской революции. Возможно, он и был республиканцем в душе, но судьбы несчастного Людовика для себя не желал.

В «Записках» Державин жаловался: «Между тем в продолжение сего времени мнение графа Потоцкого дошло в Москву, которое там знатное и, можно сказать, глупое дворянство приняло с восхищением, так что в многолюдных собраниях клали его на голову и пили за здоровье графа Потоцкого, почитая его покровителем российского дворянства и защитником от угнетения; а глупейшие или подлейшие души не устыдились бюсты Державина и Вязмитинова, яко злодеев, выставить на перекрёстках, замарав их дермом для поругания, не проникая в то, что попущением молодого дворянства в праздность, негу и своевольство без службы, подкапывались враги отечества под главную защиту государства». С такой обструкцией Державин, при всём его многолетнем опыте государственной службы, не сталкивался никогда. Даже пьяные пугачёвцы до подобных художеств не додумывались…

Уже ходила в списках ода графу Потоцкому. Автор так и остался неизвестным — а ведь стихи вышли бойкие, в версификаторских способностях анонимному стихотворцу не откажешь:

А вы, что против нас восстали,
Приказный род, в корню гнилой?
Не вы Россию защищали,
Не ваша кровь текла рекой:
Не ваше мужество и сила
Низвергли стены Измаила,
Стамбул надменный потрясли;
Не вы прямые россияне;
Но, жизнью жертвуя, дворяне
России славу вознесли.

И дальше — обращение к ненавистному ретрограду,

напрямик:

Тебе ль, из праха извлеченну,
Тебе ль, писец, чернильный вран,
Забыв породу униженну,
Судить о жребии дворян, —
Дворян, отечеству подпоры!
Страшись теперь возвесть к нам взоры!
Падешь с наружной высоты,
Презреньем общим наградишься,
С толпою подлою смесишься
И будешь червь ползущий ты!

«Ты» — это кто? Державин? Вязмитинов? Другие адресаты вроде бы не напрашиваются…

Нельзя, нельзя не восхищаться,
Что делом ты умел явить:
Змеёй пред троном не сгибаться,
Стоять — и правду говорить.
Слова великие, священны,
Бессмертным бардом изреченны,
Твоим водили днесь пером,
И ты, стремяся быть полезным,
Как брат дворянам всем любезный,
Дышал и правдой, и добром.

Во все времена неистовые ревнители либеральных реформ умеют устраивать травлю оппонентов. Определение «либеральный», наверное, многим поднадоело, слишком часто мы этим словом бравируем, но здесь вопрос принципиальный: кто предпочитает личное государственному, частное — общественному, красивую блажь — традиции, тот и есть либерал.

Грот считал, что анонимный стихотворец не знал, что автором оды «Вельможа» был не кто иной, как гонитель Потоцкого Державин — «бессмертный бард». Путаницы в этих стихах действительно немало, можно предположить и такой конфуз. Но не исключено, что перед нами — тонкая колкость, вполне в духе великосветских пикировок того времени. Автор показывает, что Державин оказался недостойным собственных стихов. А Потоцкий якобы стал истинным олицетворением того идеала, который Державин набросал в стихах.

Между прочим, такой поворот согласуется с мнением

Завадовского, который не мог не замечать красоты державинских стихов, но считал поэта прескверным государственным деятелем, который в реальности не соответствует собственным идеалам.

Свободолюбивая ватага охмелела. Ну а потом государь вызвал к себе сторонников и противников записки Потоцкого. Впрочем, из противников присутствовал один Державин. Стиль императора в тот день проявился особенно наглядно: не обижать либералов, не обижать западников, но, по возможности, ничего не предпринимать. Воздержаться от непоправимого! Враги Державина вышли от государя в воодушевлении.

21 марта вышел царский указ. Смысл его прост: Сенату не следует вмешиваться не в своё дело!

Что ж, выходит Державин одержал победу? Да, но вышла классическая пиррова победа. Многие сочувствовали Державину, но никто не поддерживал его открыто. Даже Вязмитинов, по большому счёту, отмалчивался. Он вообще умел использовать в политической борьбе фигуры умолчания и выворачивался, как умелый борец, — потому и задержался в престижных кабинетах надолго, хотя несколько раз пребывал на волоске от опалы. Вышло, что Державин бескорыстно помог Вязмитинову.

Такова скандальная публичная политика «дней Александровых прекрасного начала». Шумная толпа борцов за собственные права и привилегии обливает дерьмом бюст Гаврилы Державина. В это время по стихам Державина учились русскому языку в университетах и гимназиях. По его стихам, переведённым на французский, немецкий, английский, европейцы судили о русской мысли. Но как только речь заходит о политических правах — доброхоты забывают о пиетете перед славными просветителями. Забывают и о почтении к старикам. Освистать, облить грязью, оклеветать — в борьбе все средства хороши. Другой бы на месте Державина сложил оружие, удалился бы из этого балагана. Поэт ведь частенько воспевал покой деревенской жизни и говорил о бессмысленности политической суеты.

Но нет. У Державина ещё хватало сил на борьбу, он пытался противоборствовать неосмотрительным реформам.

«Не только в крестьянском вопросе, но и во всех замыслах Александра Державин являлся тормозом, вечно видел кругом, в лучших людях, его окружавших, какие-то польско-еврейские интриги, всех министров также подозревал в интригах то против Александра, то против себя как единственного правдолюбивого охранителя. Эту роль он брал на себя до такой степени назойливо, что государю очень трудно было сохранить хладнокровие и не обидеть старика», — рассуждал один из первых биографов Державина, Семён Моисеевич Бриллиант

(1858–1931). Именно он написал очерк о Державине для биографической библиотеки Флорентия Павленкова. Скажем прямо: отделаться от обид на «антисемита» Державина Бриллиант не мог. Опытный, эрудированный литератор, он создал бы вполне добротную популярную биографию Державина, но национальный вопрос помешал. По сути, всё у Бриллианта верно, но почему он всецело становится на сторону «реформаторов», почему напрочь отказывает «консерваторам» в здравом смысле? История рассудила спорщиков — и Державин был убеждён, что в 1812 году она подтвердила его правоту.

МИНИСТР

Это ведь именно Державин написал вольнодумные строки, бичующие лощёного столоначальника, воплощение волокиты и халатности. По тем временам — запредельно гневные:

А там израненный герой,
Как лунь во бранях поседевший,
Начальник прежде бывший твой,
В переднюю к тебе пришедший
Принять по службе твой приказ, —
Меж челядью твоей златою,
Поникнув лавровой главою,
Сидит и ждёт тебя уж час!

А там, где жирный пёс лежит,
Гордится вратник галунами,
Заимодавцев полк стоит,
К тебе пришедших за долгами.
Проснися, сибарит!

Вечный недуг. И среди наших современников найдётся немало виртуозов бюрократического футбола. Сколько благородных начинаний погибло в бесплодных попытках пробиться сквозь секретарские заслоны… В отличие от своего вельможного героя Державин принимает заботы ведомства близко к сердцу.

Державин соглашался с Трощинским, с которым вообще-то не ладил, что министерская реформа чревата серьёзными конфузиями. Падает значение Сената, пропадает коллегиальность в принятии решений. Министры станут отчитываться перед государем с глазу на глаз — и никто не урезонит лгунов, невольных хвастунов, мошенников. Начнут растаскивать казну. Державин и сам предлагал ввести посты министров, но — в связке с сенатскими департаментами и совещаниями. А тут вышло, что они, обсуждая перспективы Сената, тратили силы на ремонт бутафорского, декоративного органа. Между тем если бы «конституционные» раздумья Державина не впечатлили Александра — не стал бы поэт министром.

8 сентября 1802 года вечером к Державину, который пировал с друзьями, приехал статс-секретарь Новосильцев и от имени государя предложил ему принять Министерство юстиции. Не

прошло и двух дней, как министры уже совещались в доме правительственного дуайена — канцлера Воронцова.

Началась правительственная рутина. Министры дважды в неделю — по вторникам и пятницам — собирались в личных покоях императора, в высочайшем присутствии. Возможно, государь считал Державина усталым заслуженным вельможей, который своими сединами придаст правительству лоск классицизма. Но Державин и вообразить не мог себя в роли свадебного генерала. Ему ещё хотелось флиртовать с властью, повелевать — во имя справедливости, о которой (уж так представлялось Державину) только он, лично он имел верное представление.

Заглянем в ежедневник первого российского министра юстиции — и, пожалуй, поразимся деловитости шестидесятилетнего Державина, его энергии и дисциплине:

> «Воскр. Поутру в 10 часов во дворец к императору с мемориями и докладом сената.
>
> Понед. Поутру в 11 часов во дворец в совет.
>
> Вторн. Поутру в 9 часов во дворец к императору с разными докладами, а после обеда в 6 часов в комитет министерства.
>
> Среда. Поутру в 7 часов до 10-ти говорить с гг. обер-прокурорами и объясняться по важнейшим мемориям, а с 10-ти часов ездить в сенат по разным департаментам по случаю каких-либо надобностей.
>
> Четв. Поутру в 8 часов и до 12-ти дома принимать, выслушивать просителей и делать им отзывы.
>
> Пятн. Поутру с 7-ми до 10-ти часов другой раз в неделю заниматься с обер-прокурорами объяснением по мемориям, а с 10-ти часов ездить в сенат в общее собрание и в тот же день после обеда в 6 часов во дворец в комитет министерства.
>
> Суббота. Поутру от 8-ми до 12-ти часов принимать, выслушивать и отзывы делать просителям.
>
> Затем, после обеда в воскресенье, понедельник, среду, четверг и субботу с 6-ти до 10-го часа вечера заниматься с гг. секретарями прочтением почты, выслушанием и подписанием заготовленных ими бумаг для внесения в комитет и иногда в сенат, а также и прочитыванием откуда-либо полученных посторонних бумаг, кроме почты.
>
> Наконец, каждый день поутру с 5-ти до 7-ми часов заниматься домашними и опекунскими делами и ввечеру

с 10-ти до 11-ти часов беседою приятелей, и в сей последний час запирать вороты и никого уже не принимать, разве по экстренной какой нужде или по присылке от императора, для чего в какое бы то ни было время камердинер должен меня разбудить».

Ни минуты праздности, ни малейшей скидки на возраст Державин себе не позволял — и здесь, конечно, неоценима забота камердинера. Министр отлаживал работу аппарата, стремясь создать прочные связи с обществом, с потенциальными и явными участниками судебных процессов. Он на собственном опыте знал, чем чревата бюрократическая неповоротливость.

По вечерам он ухитрялся уделять время изящной словесности, изредка наслаждался вечерней беседой с приятелями о политике и литературе, играл в поддавки с музой, кое-что сочинял.

Не забывал министр и старинных друзей — тем более что их осталось немного.

1803-й — чёрный год в жизни Державина. В этом году умер Николай Александрович Львов. Он осматривал Кавказские Минеральные Воды, на обратном пути тяжко заболел и 23 декабря скончался. Эта утрата потрясла Державина:

Плакущие берёзы воют,
На чёрну наклоняся тень;
Унылы ветры воздух роют;
Встаёт туман по всякий день —
Над кем? — Кого сия могила,
Обросши повиликой вкруг,
Под медною доской сокрыла?
Кто тут? Не муз ли, вкуса друг?
Друг мой! — Увы! озлобясь, время
Его спешило в гроб сокрыть,
Что сея он познаний семя
Мнил веки пользой пережить.

Так откликнулся Державин на смерть друга. В 1807 году уйдёт из жизни и вдова Львова Мария Алексеевна. Державин станет опекуном их детей — не только потому, что после женитьбы на Милене он стал им дядькой. Это был порыв, последний знак горячей дружбы. По воспоминаниям племянниц мы видим, с какой нежностью относился к ним Державин. Имена этих одарённых русских женщин сохранились в истории. Достаточно упомянуть Веру Николаевну, которая в доме

Державина познакомилась со своим будущим мужем — генералом Алексеем Воейковым. Он рано оставит её вдовой, но их внук, Василий Поленов, станет выдающимся пейзажистом, академиком живописи. В Поленове, в музее художника, выставлены портрет «бабаши» — Веры Николаевны, а также личные вещи Державина, которые в семействе Поленовых хранили как реликвии: солонка, шкаф…

Возник Гасвицкий — он вёл жизнь скромного помещика в Курской губернии, при этом всё ещё поигрывал в карты. Отставного майора избрали губернским предводителем дворянства, у него выросли дети. Пришла пора определять их в кадетский корпус — и он просил старого друга посодействовать. Просьбу Державин выполнил. Но главное, что с Гасвицким можно было в шутливом тоне, без политеса, откровенно обсудить все дела — и политические, и личные. Побалагурить, немножко прихвастнуть — такие беседы возвращали Державина во дни молодости. «Милостивый государь мой, Петр Алексеевич. Дети ваши определены в корпус, а о племяннике постараюсь. За дружбу и вашу покорнейше вас благодарю, и могу уверить, что она взаимно сохранена будет и с моей стороны. О юстиции, кто как ни говори, — я в совести моей спокоен; а более сего и желать не хочу! Впрочем порицателям зла и добра можно сказать в ответ словами Христины королевы: „Папа будет папою, а подлец подлецом“».

В своём ведомстве министр не допускал корыстных побуждений, строго контролировал работу подчинённых ревизиями, вникал в тонкости бесчисленных документов… Один из первых докладов министра юстиции Державина был посвящён сокращению канцелярского делопроизводства. Император одобрил этот проект. Державин ввёл в обиход краткие записки, извлечения из дел, ускорявшие работу чиновников.

«Таковое сокращение производства и основательность решений приближает, конечно, к той священнейшей цели, чтобы сенат как верховное судилище был примером всему государству правого суда, деятельности и скорого удовлетворения тяжущимся», — уверял Державин в докладе. Он никогда не изучал юриспруденцию системно, но стал правоведом… Как и в Петрозаводске или Тамбове, Державин озадачился «кадровым вопросом»: нужно окружить себя специалистами. Но где их взять?

Одна из самых прилипчивых и вредных иллюзий — надежда на молодёжь, которая будет благороднее и умнее (ну, скажем, просвещённее) отцов. Державин на этот счёт не обольщался, но иногда ему попадались дельные молодые люди. Сотрудником и сподвижником Державина стал в министерстве Константин

Злобин — начитанный, талантливый юноша, к тому же родившийся в Малыковке. С такими Державин умел сходиться. Злобин писал недурственные стихи, мечтал о равенстве сословий. Державин и после отставки посвящал ему стихотворные послания и давал советы — не только деловые, но и литературные, вроде такого: «Я прошу вас не торопиться, а пересматривать в продолжении некоторого времени и, помалу исправляя, приводить в совершенство, следуя правилам Горация. И я вас уверяю, что ежели вы последуете сему дружескому совету, то вы будете из первых наших певцов».

По инициативе Державина создаётся обер-прокурорская консультация — император утвердил и это предложение, несмотря на скепсис министров Кочубея и Воронцова. Державин не только участвует в заседаниях консультации, но и внимательно изучает журналы заседаний, постигая юридические премудрости. На мнение консультантов министр ссылался в спорных вопросах — эта практика считалась новаторской.

Жихарев приметил: «Это не человек, а воплощенная доброта, но чуть только коснётся до его слуха какая несправедливость и оказанное кому притеснение или, напротив, какой-нибудь подвиг человеколюбия и доброе дело — тотчас оживится, глаза засверкают и поэт превращается в оратора, поборника правды…»

Резко возражал Державин против предложения министра внутренних дел Кочубея разрешить иезуитам миссионерскую деятельность среди языческих и мусульманских народов России. Только православная миссия — и точка.

Усилиями Державина родился толковый антикоррупционный указ «О судимых в уголовных палатах за преступление должностей чиновниках».

Он же составил проект правил третейского суда, который одновременно должен был являться судом совестным. Суд этот надлежало сделать обязательным. Таким способом Державин надеялся прекратить взятки и создать скорое и беспристрастное правосудие. Проект так и остался благим намерением…

Он скептически относился к проектам отмены крепостного права и стал ярым противником «прогрессивного» императорского указа «О вольных хлебопашцах». Помещики получали право отпускать крестьян на волю с земельным участком за выкуп.

Державин считал это новшество нереалистичным и вредным — и, как очень скоро показала жизнь, не ошибался. За время правления Александра 47 тысяч крестьян стали «вольными хлебопашцами», хотя император требовал от своих соратников — крупных землевладельцев — активно отпускать крестьян.

Указами дело не поправишь, куда важнее насаждать просвещённое отношение помещиков к крепостным. Вот ретроград адмирал Шишков много лет не обременял своих крестьян оброком. Это — дело, а не прогрессивная болтовня. Злонравие помещиков — не причина разрушать уклад. Во время обсуждения реформы Державин предложил Александру собрать предводителей дворянства со всей России, дабы они, под влиянием правительства, определили оптимальные размеры податей и повинностей и выявляли (для немедленного пресечения) проступки помещиков. Если при этом дворянство продолжит выполнять обязанности защитников и просветителей Отечества — это наиболее справедливая система. Император вроде бы согласился с Державиным и повелел совету пересмотреть указ «о хлебопашцах». Но на следующий день к Державину явился Новосильцев и объявил царскую волю — немедленно принимать указ. Державин не угомонился: он стал сколачивать оппозиционную группу в Сенате, чтобы обратиться к государю с протестом против либерального указа. Император возмутился: «Вы в Сенате критикуете мои указы!» Указ продавили. Но Державин не скрывал своего «особого мнения» и своих крестьян за выкуп не отпускал, несмотря на волю императора.

На заседании Комитета министров 16 сентября 1802 года Державин внёс предложение о необходимости представления министерских отчётов в общее собрание Сената и, в частности, отчётов министров по итогам первого года их работы. Император обрадовался этому предложению, и в скором времени министры закорпели над отчётами. Себя — министра справедливости — Державин скромно считал арбитром, надзирателем над другими министрами, первым среди равных. Ведь именно он был наследником генерал-прокурора — могущественного Вяземского (министр юстиции «купно» назывался и генерал-прокурором и управлял Сенатом). Но, конечно, так думал только Державин! Хотя конкуренты видели в нём, безусловно, сильного противника.

Разумеется, мало кого устраивало, что юстиц-министр позволяет себе поучать коллег. Ознакомившись с отчётами за 1802 год, Державин в специальной записке указывал, что министры постоянно нарушают законы, определявшие порядок распоряжения государственными суммами. Вот, например, морской министр Чичагов в прямое нарушение закона заключил контракт на поставку во флот провианта на несколько миллионов рублей не только без разрешения Сената, но и без торгов и объяснений… Державин бил во все колокола, не раз жаловался на такие злоупотребления — но государь всё пропускал мимо ушей.

То ли его уже раздражала неуёмная активность Державина, то ли недруги юстиц-министра подобрали ключи к сердцу и уму государя…

«В мае месяце в том году, то есть 1803-м, путешествовал Государь в Лифляндскую губернию, а с ним г. Новосильцов и граф Черторижский, и как они были враги Державина, то, будучи с Государем не малое время так сказать в уединении, и довершили они Державину своё недоброжелательство разными клеветами, какими именно — неизвестно; но только из того оное разуметь можно было, что Державин, будучи во время отсутствия Императора отпущен в новогородскую свою деревню Званку на месяц, не мог за болезнию к приезду Государя возвратиться, то писал к князю Голицыну, прося доложить, что замедление его происходит от болезни, но что он однако скоро будет. На что по приезде получил отзыв, что ему нет в нём нужды, хотя бы он и вовсе не приезжал. Державин хотя почувствовал сим отзывом неблаговоление себе Государя, но терпеливо снёс оное, стараясь, сколько сил его было, исполнять наилучшим образом свою должность». На этот раз он не намеревался заискивать перед императором, надеялся доказать свою правоту служебными заслугами.

Сначала из старческой мнительности время от времени Державин примечал, что государь относится к нему недоверчиво, даже сурово. Куда любезнее он с молодым Кочубеем или пожилым Трощинским. Но удержаться от препирательств Державин не мог…

Потом уже все убедились: Александр стал холоднее с Державиным. Он умел окатить равнодушием, поглядывая мимо нежелательных людей… Император редко показывал темперамент — но в беседе с Державиным однажды и он не сдержался. Сперва Александр упрекнул Державина: «У вас дела идут медленно». Упрекнул несправедливо, явно с чьих-то слов — указав на частное письмо государю, которое было получено ещё в прошлом месяце, но до сих пор не рассмотрено. Державин заметил, что доклады по частным письмам должны готовить статс-секретари. Он сам был статс-секретарём — и знает, о чём говорит.

Державин был оскорблён в лучших чувствах: в его министерстве работа с бумагами спорится, как нигде, а тут звучат придирки по поводу письма месячной (всего лишь!) давности, которым должен заниматься секретарь императора! Однако цари редко признают свою неправоту.

Император пожал плечами: «Но при родителе моём о письмах докладывали генерал-прокуроры». И тут стареющий певец

Фелицы разразился дидактической тирадой:

«Я знаю; но родитель Ваш поступал самовластно, с одним генерал-прокурором без всяких справок и соображения с законами делал, что Ему было только угодно; но Вы, Государь, в манифесте при вступлении на престол объявили, что Вы царствовать будете по законам и по сердцу Екатерины: то мне не можно иначе ни о чём докладывать Вам, как по собрании справок и по соображении с законами, а потому и не могу я и сенатские и частные дела вдруг и поспешно, как бы желалось, обработывать и Вам докладывать. Не угодно ли будет приказать частные письма раздать по статс-секретарям?»

В ответ император выпалил гневно: «Ты меня всегда хочешь учить. Я самодержавный Государь и *так хочу*».

Дело шло к роковому разрыву… В устах сдержанного Александра это серьёзное предупреждение. Вельможи, узнавшие о диалоге, стали относиться к Державину как к политическому трупу. Конечно, мы невольно рассматриваем этот эпизод глазами Державина: именно он оставил подробные воспоминания о своих спорах с императором.

Когда Державин набрасывал «Записки», эти обиды ещё не перемололись в памяти. Могущественная польская партия во главе с Чарторыйским уже вписала фамилию министра юстиции в чёрную книгу изгоев…

В начале октября 1803 года он приехал во дворец с докладом — и император его не принял. А на следующий день юстиц-министр получил рескрипт, в котором царь хвалил его за исправную работу, но просил сдать министерский пост из-за множества жалоб… При этом государь повелевал Державину продолжить работу в Сенате и Верховном совете. Возможно, император надеялся, что старик оставит министерство без боя. А Державин написал государю горячее, нервное письмо, «в котором напомянул с лишком 40-летнюю ревностную службу и то, что он при бабке его и при родителе всегда был недоброхотами за правду и истинную к ним приверженность притесняем и даже подвергаем под суд, но, по непорочности, оправдывай и получал большее возвышение и доверенность, так что удостоен был и приближением к их престолу; что и ему служа, шёл по той же стезе правды и законов, несмотря ни на какие сильные лица и противные против его партии». В придворной жизни он разочаровался, приговаривал, что добросовестной службой не заработаешь царскую милость. Но не хотел уходить, не завершив дел, без славы, без почёта.

Словом, Державин напросился на аудиенцию. В четверг в десять часов утра государь его принял. Надоевший министр начал

напористо, требовал обосновать отставку. А император, как вспоминал Державин, «ничего не мог сказать к обвинению его, как только: „Ты очень ревностно служишь“. — „А как так, государь, — отвечал Державин, — то я иначе служить не могу. Простите“. — „Оставайся в Совете и Сенате“. — „Мне нечего там делать“. — „Но подайте же просьбу, — подтвердил государь, — о увольнении вас от должности юстиц-министра“. — „Исполню повеление“».

Разговор исторический. Как-никак, мы стали свидетелями первой отставки министра в истории России!

Державин не просто отказался от сенатской синекуры. Оставаясь сенатором, он сохранил бы высокое министерское жалованье — 16 тысяч в год. А к отставке из министров получил бы в вознаграждение за труды андреевскую ленту. Но Державин гордо отказался от почестей, если уж впал в немилость к государю, если уж утратил влияние на судьбы государства… Остался он с ежегодным пансионом в десять тысяч рублей и без высшего ордена империи. Пройдёт без малого 170 лет — и другой поэт, приближенный к власть имущим, за вольнолюбивые выходки не получит к шестидесятилетию высшую награду Советского Союза — звезду Героя Социалистического Труда. Когда ему намекнут, что этот орден он не получит из-за слишком независимой позиции, — Твардовский ответит: «Не знал, что звезду Героя у нас дают за трусость». Державин тоже не хотел андреевской ленты за трусость и соглашательство…

Один год и один месяц служил Державин министром и генерал-прокурором — и, по его собственному выражению, «служба его была потоптана в грязи». Его преемником на посту министра юстиции стал П. В. Лопухин, который занимал этот пост до назначения его председателем Государственного совета. 1 января 1810 года пост министра юстиции занял Иван Иванович Дмитриев — друг Державина, к которому с этих пор наш герой стал относиться не без ревности.

Отставку столь пожилого министра публика могла бы воспринять как нечто само собой разумеющееся, но противники Державина оживились чрезвычайно. И вслед поверженному консерватору полетели проклятия. Особенно постарались рифмоплёты, которые надеялись, что Державин вступит с ними в поэтическую перепалку и осрамится. Как весело они слагали бранные куплеты:

Ну-ка, брат, певец Фелицы,
На свободе от трудов
И в отставке от юстицы

Наполняй бюро стихов.

Для поэзьи ты способен,
Мастер в ней играть умом,
Но за то стал неугоден
Ты министерским пером.

Иль в приказном деле хватка
Стихотворцам есть урок?
Иль, скажи, была нападка,
Иль ты изгнан за порок?

Не причиной ли доносы?
Ты протектор оным был
И чрез вредны их наносы
Тьму несчастных погубил.

Не затеи ли пустые
Быть счастливей в свете всех
Помрачили дни златые
Вместо чаемых утех.
Не коварство ль то лихое,
Коим жадно ты дышал,
Повернуло жало злое
И чтоб ты под ним упал?

Не стремленье ль твоё дерзко
Людей добрых затмевать
Укусило тебя едко
И заставило хромать?

Не жена ль ещё виною,
Ум которой с волосок,
К взяткам долгою рукою
Задала тебе щелчок?

Расскажи мне откровенно
Напасть съевшую тебя,
И тогда я совершенно
Дам узнать тебе себя.

Покажи и те примеры,
Как нам в свете надо жить,
На какой и вес, и меры

Нам рассудок положить;

Как с Фортуной обращаться,
Её благом управлять,
Прямо смертным называться.
Честь и совесть сберегать.

А коль плохо в неудаче,
То теперь ты испытал:
Из коня залез во клячи,
Не быв знатный Буцефал.

Стихи корявые (даже в представлениях того времени), но лучшие умы «дней Александровых прекрасного начала» их переписывали и цитировали с восторгом. Державин хотел ответить, но ему хватило мудрости не ронять себя. Жихарев уверяет, что эти стихи накропал Николай Кондратьев — секретарь отставного калужского губернатора, весельчака Лопухина. Уж конечно, у него нашлись основания ненавидеть «следователя жестокосердого».

Кто-то заступился за Державина, написал от его имени ответные стихи:

Не в моей, друзья, то воле,
Что свободен стал от дел.
Не министр теперь я боле,
Знать, такой мне в том удел,
Что мне нужды издеваться,
Дрязги, вздор пустой болтать?
Я умею сам смеяться,
Только стоит лишь начать…

Но побеждали недруги: они голосили громче. Молодость, взахлёб уверенная в своей правоте, всегда жестока по отношению к отжившему. Даже прозвание «певец Фелицы» — некогда почётное — теперь означало «старый царедворец и льстец», не более. Повержен неистовый консерватор! Значит, теперь он ответит за всё.

Ростопчин писал в те дни Цицианову: «Державин сочинил прекрасные философические стихи, уподобляя жизнь дежурству, и видно, что прямо из генерал-прокурорского дома влез опять на Парнас. Опасно, чтоб там не прибил Аполлона и не обругал Муз».

Из множества эпиграмм на постаревшего льва (басня Крылова

навеяна как раз «свержением» Державина) выделялась одна:

Когда тебе весы Фемида поручала,
Заплакала она, как будто предвещала,
Что верности вовек другим в них не видать:
Ты все их искривил, стараясь поправлять.

Этот упрёк не лишён здравого смысла, да и риторика изящна. Что и говорить, старания и благие намерения Державина в значительной степени оказались напрасными. Раздражение императора и быстрая отставка — вот неоспоримый результат его министерской карьеры. Обвинять в провалах недругов, кивать на неопытность и двуличие государя суть малодушие. Державин не сумел сработаться с хозяином земли Русской — а это самый настоящий провал. Но не забудем: многие его начинания закрепились в практике министерства и оказались благотворными.

ОТСТАВНОЙ ПОЭТ

Державин в отставке не чувствовал себя обессиленным стариком, он ещё способен трудиться от зари до зари. Но чем становиться третьестепенным политиком — уж лучше полностью посвятить себя литературе, просвещению, искусствам. И — ожидать реванша! В стихах у него получались убедительные «похвалы сельской жизни», но как нелегко примириться с крушением политических планов… Будучи министром, в минуты отдыха Державин вчитался в Макиавелли — и душа отторгла этого политического мыслителя:

Царей насмешник иль учитель
Великих иль постыдных дел!
Душ слабых, мелких обольститель,
Поди от нас, Махиавель!
Не надо нам твоих замашек,
Обманов тонких, хитростей…

В размышлениях Макиавелли Державин узрел идеологию своих гонителей — тех, кто не ценит в политике честность и верность… В отставке он дополнил стихи прозаическими набросками: «Не слушайте Махиавеля! Он бы вам сказал, что мнение честности может быть средством к достижению; но что самая честность есть препятство; что не можно удовлетвориться в людях иначе как наведши на них ужас. Да погибнет тысяча друзей, лишь бы только один враг умер. <…> Его политика не иное что как Злоба, приведённая в Систему». Своих неприятелей отставник считал и врагами добродетели. Да, он разочаровался в политике, и всё-таки она его манила. А о реванше Державин мечтал всё горячее.

Нередко Державин совершал попытки стихами вернуть доверие императора. К простой лести Александр привык, знал ей цену. Громоподобными одами его не растрогать. Екатерину в своё время пленила игривая, остроумная «Фелица». Державин решил «поиграть» с амурной темой:

Блещет Аттика женами,
Всех Аспазия милей:
Чёрными очей огнями,
Грудью пенною своей.
Удивляючи Афины,

Превосходит всех собой;
Взоры орли, души львины
Жжёт, как солнце, красотой.

Резвятся вокруг утехи,
Улыбается любовь,
Неги, радости и смехи
Плетеницы из цветов
На героев налагают
И влекут сердца к ней в плен;
Мудрецы по ней вздыхают,
И Перикл в неё влюблен.

Прозрачный намёк на открытый роман женатого императора с замужней дамой Марией Антоновной Нарышкиной.

Нарышкиной, пожалуй, могло не понравиться сравнение с древнегреческой гетерой. Но Александр в этой истории предстал в шлеме Перикла — и это не могло ему не польстить.

Нарышкина всех покоряла красотой и обаянием. «Разиня рот, стоял я перед её ложей и преглупым образом дивился её красоте, до того совершенной, что она казалась неестественною, невозможною; скажу только одно: в Петербурге, тогда изобиловавшем красавицами, она была гораздо лучше всех», — писал Вигель, эстет, решительно равнодушный к женскому полу. Что уж говорить о Державине! Он сразу разглядел и разгадал красавицу, с которой государь встречался демонстративно, не обращая внимания на богатое прошлое этой молодой женщины. Кто только не волочился за супругой покладистого и добродушного князя Дмитрия Львовича Нарышкина. Для юного великого князя Александра она сразу стала идеалом женственности. Но в те времена он не мог соперничать с Платоном Зубовым. В Петербурге царили свободные нравы, и фаворит императрицы имел право на любую фаворитку… Дмитрию Львовичу оставалось наслаждаться роговой музыкой, к которой он питал пристрастие. Рога можно было бы изобразить и на его гербе.

(В 1836 году друзья Пушкина получат пасквиль на поэта, в котором кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютером великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена.)

Для Державина Нарышкина стала очередным идеалом игривой женственности. Правда, в отличие от Перикла, Александр Павлович не порвал отношений с законной женой. Просто у царствующей четы перегорела юношеская любовь — и они перешли к свободным отношениям.

Любимые поэты Державина воспевали покой помещичьей сельской жизни. Теперь и он завершил суетное поприще политического деятеля.

Он мог поселиться в любой губернии Российской империи, но выбрал северный край, откуда «есть пошла русская земля», где правил когда-то князь Рюрик, где бунтовал Вадим Новгородский, где совсем ещё недавно горевал под надзором опальный Суворов. Суворова Державин не забывал, то и дело упоминал его в разговорах и стихах. Русь не с Петра Великого началась. И даже не с Ивана Великого. Славянские древности увлекали поэта: Державин воображал походы древних варягов во франкские края, писал о величии славянства, сетовал, что потомки забыли о подвигах далёких пращуров. И взял за правило каждое лето проводить на Новгородской земле, в гостях у Рюрика и Гостомысла. Когда Екатерина Великая соизволила написать историческую драму из жизни Рюрика — Державин оживился. В примечании к оде «На победы в Италии» (1799) он заявил: «По истории известно, что Рюрик завоевал Нант, Бурдо, Тур, Лимузен, Орлеан и по Сене был под Парижем…» Будоражили воображение и славянские корни германских земель…

Державин — человек не северный, волжанин. Но он полюбил Новгородскую землю, её прохладу и безлюдье. Это край успокоения, край сосредоточенной молитвы, «жёнино имение», как говаривал Гаврила Романович. Званку Державины купили в 1797-м, на приданое Дарьи Алексеевны. Одно досаждало: комары. Державин даже написал «Похвалу комару» — мудрёную и длинную ироническую оду, в которой есть строки, которые в наше время мало кто способен расшифровать. Например:

Попе — женских клок власов,
И Вольтер, я мню, в издевку
Величал простую девку,
Ломоносов — честь усов.

Если не знать, что Попе — это английский поэт Александр Поуп, многое может прийти в голову. А жену он потешал таким двустишием:

Здесь царство комарье,

Царица в нём Дарья.

Конечно, это про Званку.

Державин ушёл в отставку действительным тайным советником — то есть штатским генерал-аншефом. Штатских фельдмаршалов — действительных тайных советников первого класса — в истории Российской империи насчитывается всего лишь 13. Но титула он не получил — в отличие от многих царских фаворитов, некоторых полководцев и таких политиков, как Безбородко. Всю жизнь Державин, как акробат, ловил баланс между успешной карьерой и ощущением личной независимости. Министром финансов в их семье была Дарья Алексеевна — рачительная хозяйка, скуповатая, хотя не мелочная. Державин сбросил с плеч долой хозяйственные заботы и с наслаждением изображал легкомысленного мужа, подчиняющегося прихотям практичной супруги. Иногда они напоминали ещё не написанных «Старосветских помещиков». Так, право, удобнее. К тому же Державин — натура артистическая — любил домашние спектакли и, на потеху визитёрам, изображал то смиренного подкаблучника, то домашнего диктатора.

О праотцев моих и родших прах священный!
Я не принёс на гроб вам злата и сребра
И не размножил ваш собою род почтенный;
Винюсь: я жил, сколь мог, для общего добра.

Сегодня эти слова можно увидеть на могиле родителей поэта, в селе Егорьеве. Он обращался, конечно, к себе самому, но называется эта эпитафия «На гробы рода Державиных в Казанской губернии и уезде, в селе Егорьеве». Державин горько сожалел, что в семейном склепе никогда не будет его детей и внуков. И не склонятся они над могилами Державиных и сами не лягут сюда, когда придёт черёд…

В отставке Державин не раз пожалел о том, что Бог не наградил его потомством. Ни от Катерины Яковлевны, ни от Дарьи Алексеевны у него не было детей… Но Державин надеялся, что славная фамилия его сохранится! Выбор Державина пал на младшего племянника, Александра Николаевича Львова. Отставной министр предложил взаимовыгодный план: Александр Львов становится Львовым-Державиным, а после смерти Гаврилы Романовича и Дарьи Алексеевны получает в наследство все имения, все сокровища, накопленные знатным поэтом. Но Львов проявил то ли строптивость, то ли робость: «Я недостоин. Не

такие нужны плечи, чтобы вынести на себе славное имя Державина!» Зная настойчивость Гаврилы Романовича, Львов сбежал (к счастью, не навсегда!) за границу.

Державин рассматривал ещё несколько кандидатур на усыновление. Увлекался, загорался. Свои интриги прилежно плела и супруга поэта. Она «лоббировала» интересы своих родственников — Львовых. А ведь были ещё и родственники Державиных — например Блудовы!

Старика это устраивало, но решение должен был принять государь! В прошении Державин перечислял свои заслуги и особо подчёркивал свой вклад в разработку соляного устава. Об этом в своих «Записках современника» рассказал Жихарев, сопроводив историю восклицанием: «Державин — и соляной устав!» Этот анекдот вспоминают, когда хотят поведать, что Державин недооценивал свою поэзию и переоценивал чиновничью службу. По-видимому, речь шла о державинском прожекте устава о содержании крымских соляных озёр. Державин тогда вступил в очередную схватку с молодыми друзьями императора — и победил, чем весьма гордился.

Так или иначе, но император отказал Державину в пустячной милости. Усыновление не состоялось. Почему Александр не проявил снисходительность к хлопотам бездетного старика? Он не забыл, как Державин обставил свою отставку, как отказался от жалованья. Знал государь и о том, что Державин перегибал палку, критикуя тильзитскую политику. Павел за обиды подвергал жестокой опале, а Александр просто становился чёрствым и необщительным — непробиваемо!

В последние месяцы службы кто только не интриговал против Державина?! Он не мог разобраться в хитросплетениях этой интриги, не мог точно установить — кто же действует против него? Старые недруги вроде Завадовского, молодые друзья императора, дельцы-евреи? Или всему виной — лицемерный характер государя, который сторонится опытных и прямодушных.

Но вот, например, Фёдор Васильевич Ростопчин. Его не назовёшь ни молодым радикалом, ни старым противником певца Фелицы. Ростопчин — один из идеологов русской партии, по убеждениям — почти шишковист. Остроумен, ловок. Как и Державин, начинал службу в Преображенском полку, потом участвовал в Рымникском сражении под командованием Суворова. Но военная карьера его не сложилась. Зато, войдя в доверие к Безбородко (снова совпадение с судьбой Державина!), он стал влиятельным дипломатом. Сделался любимцем великого князя, а потом и императора Павла, хотя не сочувствовал его пруссофилии. Шутник Ростопчин, как никто другой, умел влиять

на Павла, смягчать его гнев. Но… ровно за три недели до гибели императора Ростопчин угодил в опалу. Навет на Ростопчина был частью заговора: императора изолировали от верных ему людей. Пожалуй, впервые Ростопчина обвели вокруг пальца — с тех пор он дул на воду, а для публики чередовал проявления осторожности с аттракционами дерзости. Ростопчин понимал, что репутация чудака и оригинала во многих отношениях удобна.

Но до чего же он двуличен, этот Ростопчин! Державину ведомо, что он заглазно высмеивал его министерскую политику.

Державина тянуло к старинным друзьям, он и с недругами не любил лицемерить, а уж перед друзьями являлся в домашнем халате. Жаль, что Капнист далече — но в письмах малороссийскому другу можно пооткровенничать:

«Благодарю, братец, за дружеское письмо. Не хотел было тебе писать, для того чтоб ты не подумал, что будучи генерал-прокурором не хотел из гордости, а теперь из подлости пишу. Но как хочешь, думай. Тогда при хлопотах надоел и досадил, как горькая редька; а теперь истинное усердие и забота твоя о мне требует, чтоб помирился и благодарил. Впрочем уведомление твоё о каверзах против меня мне не могло служить к пользе и отвратить интриги, возымевшие уже давно своё. Как бы я ни оправдался, всё должно было уступить домогательству и желанно самого Государя; но как уволен, слава Богу, без оскорбления, по моей просьбе и с милостью, то и дело тем кончилось, что я остаюсь здоров, спокоен и весел; а будучи в той должности, три болезни должен был перенесть и одну весьма опасную. Касательно обвинения меня, то оно неосновательно и неуспешно бы было, ежели бы и придраться захотели; ибо определение Сената подписано всемогущим Строгановым, вездесущим Козодавлевым и велемудрым Неплюевым, которые никаких более замечаний по делам не принимали; но как дело сие основано и на законах, то и опасаться мне нечего, тем паче что указ 1783 г. гласит только о переходе, разумеется, посполитых подданных, а не о казаках, которых права утверждены грамотами древних царей и новых императоров, а потому, кажется, и депутация ваша будет в дураках; но я это сужу по собственному своему уму, а как сделают, не знаю. Пребываю искренним и прежним другом».

В отставке Державин привычно утешался стихами:

Видел я себя стоящим
На высоком вдруг холму,
На плоды вдали глядящим,
На шумящу вблизь волну, —
И как будто в важном чине

Я носил на плечах холм.

Дальше: власти мне святые
Иго то велели несть,
Все венцы суля земные,
Титла, золото и честь.
«Нет! — восстал от сна глубока,
Я сказал им, — не хочу.

Не хочу моей свободы,
Совесть на мечты менять;
Гладки воды, коль погоды
Их не могут колебать.
Власть тогда моя высока,
Коль я власти не ищу».

В поэзии такие тезисы звучат убедительно, но как сложно самого себя научить радоваться отставной жизни.

Не то чтобы в оправдание, но в объяснение своему политическому краху Державин набросал очередную автоэпитафию:

Ареопагу был он громом многократно,
По смерти же его поставили кумир.
Вельможам вместе быть с ним было неприятно:
Не терпит правды мир.

Конечно, такие слова не пишут на надгробных плитах, но красноречие утешительно. Найдя удачную рифму, Державин приосанивался: ведь действительно Сенат не раз бросало в дрожь от его правдолюбия.

Тем временем герои басен Крылова азартно высмеивали суетливого самоуверенного старика — конечно, в их понимании непросвещённого, тёмного, сумасбродного. Чем больше ему припишешь пороков — тем легче клеймить.

ЮН ДУХОМ ПО ГРЕХАМ…

Имя этого древнегреческого поэта стало определением целого жанра. Что есть анакреонтика? Если в двух словах: седина в бороду — бес в ребро. Беззаботные шалости престарелого ловеласа. Как известно, из всех европейских языков Державин сносно знал немецкий. А немцы в середине XVIII века не на шутку увлеклись анакреонтикой.

Двуликий в своём прямодушии Державин ухитрялся чередовать стоицизм и эпикурейство. Отгремели пушки Екатерининского века. Недавним победителям казалось, что император Павел своим пруссачеством вытаптывает российскую славу. В политике задули новые ветры — и они не вдохновляли поэта… Именно так Державин шутливо объяснял свой поворот к анакреонтике.

Эту лёгкую фронду публика принимала с воодушевлением. Тут, конечно, скорее художественная правда, чем истина. Просто анакреонтика давно привлекала поэта и он искал повод, чтобы нырнуть в эту воду.

От «политической» поэзии Державин не отказался, но отныне и до последних дней он увлечённо писал анакреонтику.

Считается, что анакреонтический вирус Державин подхватил исключительно от немцев. Какое там! К тому времени в русской литературе возникла внятная анакреонтическая традиция, сложился канон лёгкой поэзии.

Вот едва ли не самые известные русские стихи времён молодости Державина:

Стремится дух воспеть картежного героя,
Который для игры лишил себя покоя;
Бессонницы, труда, и голоду, и слез,
И брани, и побой довольно перенес;
От самой младости в игре что обращался
И в знак достоинства венцом от карт венчался,
Сплетенным изо всех украшенных мастей,
Из вин и из жлудей, из бубен и червей.

Эти строки мог бы написать и Гаврила Романович — уж он знал о картёжных страстях лучше всех. Но сие — Василий Майков, поэт, который без лишнего смущения говорил о пустяках, о ходовых грешках… Правда, у Майкова в «низком жанре» невозможны были натурфилософские размышления.

В 1794 году Львов выпустил сборник «Стихотворения Анакреона Тийского» с предисловием и продуманными примечаниями. Кстати, и Василий Майков иногда принимался за комментарии к собственным стихам, хотя к началу XIX века его наследие подзабылось. Гаврила Романович Майкова читал внимательно и учился у него — в том числе и лёгкости слога, но свои упражнения в лёгком жанре до поры до времени скрывал от читательских глаз.

Львов, вживаясь в роль исследователя, по-новому интерпретировал образ Анакреона. Заслуга античного забавника, оказывается, не в том, что он ловко сочинял «любовные и пьянственные песни». Такого мнения об Анакреоне придерживался Сумароков, да и французские собратья не шли дальше подобных стереотипов. Львов же утверждал: Анакреон — философ, учитель жизни, в его стихах рассеяна «приятная философия, каждого человека состояние услаждающая». Он не только участвовал в оргиях при дворе тирана Поликрата, но и «смел советовать ему в делах государственных». Значит, Анакреон близок к просветительскому идеалу мудрого поэта, наставника правителей… А тут уж недалеко до сравнения с Вольтером или Дидро, да и до Державина рукой подать. Львов проповедовал убеждённо и потому убедительно, хотя в сохранившемся поэтическом наследии Анакреона (а тем более — его последователей) не сохранилось стихов нешаловливого содержания…

Львову пришлась по сердцу анакреонтическая философия жизни: он, на своё счастье, давно превратился в вышколенного лицемера. Бывал предприимчивым, бывал целеустремлённым, умело сотрудничал с Безбородко, делал карьеру, стал состоятельным человеком.

Державин всю жизнь мало-помалу писал анакреонтику. Но она стала для него главным жанром только, когда приблизилось его шестидесятилетие — по тем временам возраст мафусаилов. Конечно, и в те годы встречались почтенные старцы восьмидесяти лет — но Державин уже чувствовал приближение смерти, не мог отделаться от тревожных предчувствий. Вот тут-то и вспоминаются утраченные радости жизни… И хочется громче пропеть лебединую песню. Державин под старость лет бросался в жар любви не только в стихах. Он нуждался в женском внимании, в многозначительных улыбках и взглядах. Отныне ему мало было одной красавицы: подавай хоровод!

Плясок, ликов, звуков славы
Не услышу больше я, —

Стану ж жизнью наслаждаться,
Чаще с милой целоваться,
Слушать песни соловья.

Эти строки в известном смысле автобиографичны. А уж тем более — в «Анакреоновом удовольствии», когда речь пророчески зашла об отставке:

Почто витиев правил
Мне вьючить бремена?
Премудрость я оставил:
Не надо мне она.
Вы лучше поучите,
Как сок мне Вакхов пить;
С прекрасной помогите
Венерой пошутить.
Уж нет мне больше силы
С ней одному владеть;
Подай мне, мальчик милый!
Вина, хоть поглядеть;
Авось ещё немного
Мой разум усыплю:
Приходит время строго,
Покину, что люблю.

Шалости русской усадебной жизни, манящая интерпретация античной идиллии — вот воздух этой поэзии. А немцы шли факультативом. По чести говоря, не так уж глубоко знал Державин немецкую поэзию.

Анакреон жил в Элладе в VI–V веках до н. э. Витийствовал в Теосе, на Самосе, в Афинах. Судя по стихам и по легендам, сложившимся вокруг него, жил он мимолётными радостями, не проливая слёз по прошлому, не тревожась за будущее. Он прославился: в афинском Акрополе ему воздвигли статую в виде опьяневшего певца, а в Теосе его изображение отчеканили на монетах. Анакреона почитали, ему подражали. Но из наследия древнего поэта до нас дошло всего лишь несколько десятков строк.

В 1795 году вышел в свет сборник Николая Эмина «Подражания древним». Державин ревниво воспринимал успехи своего заклятого ученика — и намеревался его перещеголять. Это ему удалось вполне! «Анакреонтические песни» Державина стали, пожалуй, самой заметной русской поэтической книгой первого.

десятилетия XIX века, хотя распродать весь тираж не удалось. Снова Державин как в воду глядел, когда в ответ на сетования Дарьи Алексеевны по поводу расходов на обустройство парка во дворе их петербургской усадьбы произнёс: «Музы дадут нам денег». Гонорар за «Анакреонтические песни» обернулся прекрасным парком.

Державин совершил невозможное: заработал новую литературную репутацию, достигнув почтенного возраста. Теперь его считали русским собратом Анакреона.

«Сомневаюсь, чтоб Анакреон превзошёл нашего певца в прелести и простоте стихотворений, освящённых его именем; разве, может быть, по достоинству слога, о котором одни современники его могли судить безошибочно, но, конечно, не по прелести живописи, затейливой игривости и свежести воображения. Я забываю Анакреона, читая „Хариты“, „Русскую пляску“; вижу перед собою Державина, сего единственного певца, возлелеявшего среди печальных снегов Севера огненные розы поэзии, — розы, соперницы цветов, некогда благоухавших под счастливым небом Аттики. В самом подражании его нет ничего рабского, заимственного. Читая Державина и Анакреона, вы скажете, конечно: их души были сродны. Державин при дворе роскошного Иппарха говорил бы языком мудреца Феоского; если б Анакреон родился на берегах Невы, то употребил бы все краски Державина для составления сих малых, но бесценных картин, дышащих сладострастием и негою», — писал Вяземский. Слава богу, не Александр Алексеевич, но Пётр Андреевич — поэт, фрондёр, а в зрелые годы — охранитель, понимавший и любивший Державина.

Есть одна странность в литературной судьбе Державина: много лет он не мог похвастать большой книгой. Он мечтал о таком издании — но сперва не находил сил и времени, чтобы заняться его подготовкой, а позже обстоятельства не сложились… Капитальные издания возникли, когда популярность Державина среди молодых поклонников поэзии пошла на спад. А рукописное собрание од, преподнесённое императрице, увы, не обернулось книгой: сказалось подозрительное отношение к «якобинской» оде «Властителям и судиям». При Павле Державин замыслил двухтомное издание сочинений и поручил подготовку Карамзину. Но вышел только первый том, который огорчил Державина обилием ошибок и цензурными купюрами. Поэт даже хотел уничтожить издание, но ограничился извинительным предуведомлением, в котором обещал читателям подготовить новое, исправленное собрание сочинений. Вышло оно только в 1808–1809 годах, в четырёх томах, — но к тому времени, по

мнению литературной молодёжи, Державин превратился в памятник Екатерининской эпохе…

Словом, у поэта не было ни одного издания, которое бы радовало его и содержанием, и успехом на книжном рынке.

Державин (можно добавить банальное: как истинный поэт) боялся закостенеть. Он искал новых троп в поэзии, присматривался к «сентименталистам». Дружил с Иваном Дмитриевым, уважал Карамзина и Муравьёва — и их «новая поэзия» чем-то его привлекала. Тонким налётом легкомысленности? Смешением иронического и печального? Державин считал себя прародителем этого стиля — как-никак «Фелица» и «Видение мурзы» это шедевры и по канонам сентиментализма! Непринуждённый разговор с читателем-собеседником у Державина получался поядрёнее, чем у нашенских талантливых любителей Стерна. Державин создавал в стихах свой психологический автопортрет. Сентименталисты только стремились к этому. Державин похваливал Карамзина, но понимал, что тот не хватает звёзд с неба. Николай Михайлович — стихотворец своеобразный, обогативший поэтическую речь, но где там высокий полёт? Где силушка? Хотя и писал Карамзин про Илью Муромца, сам в поэзии не был богатырём. «Приятный» — вроде Храповицкого. Только Храповицкого Державин назвал: «Приятный, острый», а Карамзин скорее заслуживал определения «приятный, плавный».

Княжнин ещё давно писал:
Я ведаю, что дерзки оды,
Которы вышли уж из моды,
Весьма способны докучать.

Чем же заменить оду — главный жанр серьёзной поэзии? Ещё Ломоносов пробовал себя в анакреонтике — и не без блеска. Какие лёгкие, летучие ямбы получались у поэта-академика:

Ночною тишиною
Покрылись небеса.
Все люди для покою
Закрыли уж глаза…

Но Ломоносов демонстрировал анакреонтику «с последующим разоблачением». Есть у него «Разговор с Анакреоном» — оригинальный диалог в стихах. Анакреон (в переводах Ломоносова) прославляет любовные утехи, а от своего

собственного имени русский просветитель отвечает ему патриотической программой:

Хоть нежности сердечной
В душе я не лишён,
Героев славы вечной
Я больше предпочтён.

Он не «подыгрывал» себе в дуэли с легкомысленным греком: анакреонтические отрывки написаны вдохновенно. Но государственное для Ломоносова важнее личного — и он это не просто ощущает, но и декларирует. Для Ломоносова разделение высокого и низкого — это суть творческого метода.

Державин тоже ставил служение государству выше суматошной личной жизни. Но к любому жанру относился без пренебрежения и считал наилучшим служением Отечеству и словесности «забавный русский слог», с которым — и в пир, и в мир. Воссоздавая эпикурейский мир Анакреона, Державин работал с таким же ощущением полёта, как и при сочинении торжественной оды — скажем, на победы Суворова в Польше. Анакреонтика Державина пропитана политическими ассоциациями и намёками.

«Анакреонтические песни» стали одной из первых русских поэтических книг, без которых в начале XIX века нельзя было представить ни одну почтенную библиотеку. Зайдите в любой дом-музей, связанный с той эпохой, — и вы заметите этот том на книжной полке. Золотой век русской литературы вышел из «Анакреонтических песен» Державина. Если это и преувеличение, то умеренное. Русская проза ко времени воспитания Жуковского, а чуть позже — Пушкина, Баратынского, Дельвига пребывала в младенческом состоянии. А вот поэзия — от Ломоносова и Тредиаковского до Державина и Княжнина — была их школьным классом. Да, они увлекались и французской, и немецкой, и английской литературой. Как правило, с детских лет они владели европейскими языками и учились у Парни, Вольтера, Поупа, Мильтона… Всем известно лицейское прозвище Пушкина — «Француз». Жуковский всю жизнь переводил и немцев, и англичан… Иногда они и сами слагали стихи по-французски или по-немецки, но эти упражнения ни для кого не стали магистральной дорогой в литературе. То были времена наибольшего увлечения иностранными языками — для многих наших аристократов французский язык стал роднее русского. Но русские поэты всё-таки выбрали русский язык — в том числе и под впечатлением от «Анакреонтических песен».

Одно из анакреонтических стихотворений Державина известно многим, хотя автора назовут единицы:

Если б милые девицы
Так могли летать, как птицы…

Чайковский, «Пиковая дама», песенка Томского. Либретто Модеста Чайковского по повести Пушкина — и вдруг Державин, «Шуточное желание». Братья Чайковские пытались воссоздать атмосферу XVIII века — галантного, распущенного, припомаженного. Там ведь и императрица появляется — во всей красе, в окружении фаворитов.

Это безгранично игривое «Шуточное желание» Державин написал в 1802-м. Гаврила Романович тогда не пребывал в опале и забвении, никто не мешал ему «петь героев». Более того — он находился в гуще политической борьбы, был влиятелен, как никогда, хотя и противники у него водились влиятельные и опасные: «молодые друзья» и старинные враги. Это отступление — чтобы мы договорились: в анакреонтику Державин нырнул не со скуки, не из-за павловского диктата или отставки при Александре. Просто этот жанр его не отпускал. В нём всегда жил острослов и эксцентрик, озорник и жизнелюб. Этот шаловливый повеса никогда не руководил Державиным, но оставался его постоянным собеседником.

В поэзии Державин стремился к полноте палитры. Создавал новый жанр — «забавной» оды, работал над громогласными батальными одами, создавал духовную и философскую лирику, ну и — анакреонтику. Не все девизы державинской анакреонтики нужно воспринимать всерьёз: эти стихи он писал «в образе», в маске.

И в анакреонтике Державин демонстрировал привычную походку: неровную поступь. Вслед за удивительно гармоничными, спаянными строфами идут случайные (на первый взгляд!) отрывки, которые вроде бы не грех и вырезать рукой опытного редактора. Но Державин дорожил некоторой неряшливостью. Он любил принимать гостей в домашнем халате.

Державин облысел, но, вопреки моде, которая сложилась после французской революции, не любил появляться в обществе без парика. Анакреон и должен быть плешивым да седым. Он не переставал любоваться красавицами — и не только любоваться.

А теперь — для вас, дорогие максималисты и ханжи. Как можно после оды «Бог» увлечься воспеванием фаллических символов? «Я хотел бы быть сучочком, чтобы тысячам девóчкам» — что это, если не языческое поклонение Эросу? Шалости

простительны в юности, в резвой молодости, но со старика Державина иной спрос. И в то же самое время он слагал гимны Христу, не сомневаясь в своём праве на них! Здесь есть доля истины: Державин никогда (видимо, с казарменных лет) не гнушался «поэзией телесного низа» — правда, эта поэзия никогда не доминировала в его сознании.

Вот Иван Барков целиком и полностью подчинил этой страсти свою лиру — и, пожалуй, погубил себя. Державин помнил о трагедии своего старшего современника. О судьбе или о горькой судьбине? Пожалуй, посмертная судьба Баркова не столь уж плачевна: из поэтов XVIII века только Ломоносов и Державин снискали бóльшую популярность. Имя Баркова Россия не забыла и не забудет. Собрание его стихотворений не так давно вышло в академичной серии «Библиотека поэта». Полновесный том с комментариями и обстоятельным предисловием. Классик! И Пушкин ведь утверждал, что Баркова у нас первым издадут после отмены «слишком чопорной цензуры».

У Баркова было чему поучиться и поэтам державинского поколения, и Пушкину. Он владел игривым тоном в стихах, он ломал нормы классицизма, да и нормы приличий. Сумароков тоже немало писал в легкомысленном ключе — с не меньшим талантом и большим вкусом, чем Барков. Но в наследии Сумарокова прослеживается иерархия: на вершине — трагедии, потом — серьёзные оды, а у подножия — лирические песни в народном духе и, наконец, комедии и весёлые стишки, включая пародийные «вздорные оды».

А Барков в пародийном ключе смешивал жанры — и, возможно, Державин вспоминал о нём, слагая «Фелицу». В посмертной судьбе Баркова самое печальное, что имя его гремит по городам и весям как вершина русской скабрёзности, но стихи мало кому ведомы. Всем известна поэма «Лука Мудищев», её и приписывают Баркову. Но любой знаток поэзии XVIII века легко поставит диагноз: «Лука» написан после «Евгения Онегина», после Полежаева, в некрасовские времена, когда русский язык приспособили к повествовательной поэзии, к публицистике.

Карамзин сказал о Баркове: «Прославился собственными и шуточными стихотворениями, которые хотя и никогда не были напечатаны, но редкому неизвестны».

Пушкин и Батюшков частенько упоминали Баркова в стихах, обращались к нему, намекали на потаённые его стихи, хорошо известные избранной публике. Фривольная поэзия Баркова — эротическая, приапическая, за гранью приличий:

Согнув плеча и стан,

Спущу с себя кафтан
И брюхом потирая,
Ногами попирая,
Когда разинет пасть,
Свою впускаю снасть.

Это не из самого скабрёзного у Баркова. Но Державин, конечно, никогда бы не включил подобного в «Анакреонтические песни». Барков циничен, в его стихах — открытый вызов привычной морали. Оказывается, можно подробно и тщательно описывать половой акт в стихах — почти таких же звучных, как ежегодные оды Ломоносова «На день восшествия…».

Пушкина восхищало бунтарство Баркова, для Державина он был обыкновенным талантливым чудаком, у которого можно было поучиться, пожалуй, только свободе от литературных канонов. Но державинская анакреонтика зазвучала даже в гимназических классах и университетских аудиториях и стала истинной азбукой классической русской поэзии.

Среди «юношеских» грехов, свойственных Державину и в преклонном возрасте, назовём и вспыльчивость. Когда-то, ещё в 1799 году, лучшие ученики Московского университетского пансиона Василий Жуковский и Семён Родзянко прислали Державину свой перевод оды «Бог» с весьма лестным письмом: «Творения Ваши, может быть, столько ж делают чести России, сколько победы Румянцевых. Читая с восхищением „Фелицу“, „Памятник герою“, „Водопад“ и проч., сколь часто обращаемся мы в мыслях к бессмертному творцу их и говорим: „Он россиянин, он наш соотечественник“».

Державин ответил с лукавой застенчивостью:

Не мне, друзья! идите вслед;
Ищите лучшего примеру:
Пиндару русскому, Гомеру
Последуйте, — вот мой совет.

С тех пор Державин симпатизировал Жуковскому, хотя и не без ревности относился к его ранней славе. Подчас Державину хотелось поспорить с автором элегий — и тогда он сочинял «Жизнь Званскую». В 1810 году Жуковский начал издавать антологию «Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов». Александр Тургенев получил согласие Державина на участие в этом издании. Да и можно ли вообразить антологию

русской поэзии без автора «Фелицы»? Державину виделась эдакая хрестоматия с комментариями — дидактическими объяснениями и «разбором красот». Гаврила Романович мечтал увидеть научное толкование своих стихов. В первых двух томах антологии Жуковский опубликовал около тридцати произведений Державина — без примечаний и славословий. Между тем публика всё менее охотно покупала «Сочинения Державина». Один из книгопродавцев заявил Державину, что после издания Жуковского никто не купит отдельных изданий его сочинений… И отставной министр впал в ярость. Он написал Тургеневу сердитое письмо, в котором грозил «наказать того, кто, не хотя сам трудиться, вознамерился пользоваться чужими произведениями, которых собрать немудрено и несколько десятков томов без всякого таланта, труда и усердия». Тургенев ответил язвительно и пространно, с наслаждением разбивая обвинения по каждому из пунктов. Державин разразился эпиграммой «На издателя чужих стихотворений»:

О редкий, славный ум, изящный из умов,
Ум прямо Аполлонов,
Который в год один пять томов
Прекрасных написал, но лишь чужих стихов!

Но в том же году Державин в стихах изъявил желание «отдать ветху лиру» Жуковскому. Лично они познакомились только в 1816-м — и встреча получилась не самой тёплой и содержательной. Визит Жуковского и Вяземского к Державину устроил Карамзин, но сам Николай Михайлович явиться не сумел. Огорчившись отсутствием Карамзина, Гаврила Романович сник… Но вскоре Державин послал Жуковскому только что вышедший пятый том своих сочинений — и получил лестный почтительный ответ: «Ваши стихотворения — школа для поэта. Но, читая их, только скорее научишься узнать собственную слабость свою. Искусство бессильно; оно никогда не поспеет за гением».

ВСЁ ОБЪЯСНИТЬ…

В 1807 году Державин написал стихи, которые вы прочитали в эпиграфе к этой книге:

Не умел я притворяться,
На святого походить…

«Признание», «Объяснение на все свои сочинения» — так называл Державин эти стихи, в которых гениальным прозрениям не мешает небрежная рифмовка: «походить — вид»… То есть перед нами программное стихотворение. В те годы поэт истово принялся объяснять свои стихи, раскрывать их природу.

Вообще-то настоящие стихи объяснять не стоит, и Державин понимал это лучше нас. Но он был сыном века Просвещения — и пускай будет стыдно тому, кто скверно об этом подумает. «Человек просвещающий» стремился всё разъяснить, расставить по ранжиру, классифицировать по каталогам. Где бы мы были сегодня, если бы не этот педагогический порыв человечества? В «Энциклопедии» Дидро учёные и литераторы пытались разъяснить все важнейшие явления от «а» до «я». Ошибались, впадали в пристрастный тон, но всё-таки стремились к объективности! Мы можем легко убедиться в этом, перечитав всего одну близкую нам статью «Энциклопедии»: «Россия».

Конечно, автор этой статьи Де Жокур с трудом скрывает своё пренебрежительное отношение к православию (именно на церковь были нацелены критические стрелы энциклопедистов). Конечно, он слабо знал русскую литературу, живопись, архитектуру и не упомянул ни одного выдающегося писателя или архитектора. Не назвал (потому что не знал!), к примеру, ни Феофана Прокоповича, ни Ломоносова…

Нельзя осуждать за веру в Просвещение. Державин пытался вытащить на свет божий подоплёку поэзии, разложить на атомы каждое стихотворение, угадать импульс, который превращает случайное впечатление в оду. Известно, что Суриков «нашёл» свою «боярыню Морозову», увидев ворону на снегу. Стареющий Державин припомнил немало таких ворон. Державинские «Объяснения» — превосходный (но, увы, не слишком востребованный!) материал для исследователей психологии творчества.

Чем старше становился Державин — тем чаще размышлял о секретах поэзии, о тайной подоплёке поступков и стихов.

Знаменитые кокетливые строки Ахматовой — «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда» — к Державину применимы лучше, чем к кому-либо. Потому что у него была настоящая биография созидателя, авантюриста и министра.

Эстеты могут поморщиться: Державин снова и снова «огрубляет» поэзию слишком земными мотивами. Но на то он и Державин, чтобы утончённые снобы морщились!

Читать стихи с комментариями автора — подчас вдвойне интересно. Особенно если прошло не десять-двадцать лет, а все двести двадцать. Державин, конечно, «врёт, как очевидец»: память — барышня своенравная. Всегда нужно учитывать, сколько лет минуло после того или иного эпизода и сколько лет было мемуаристу, когда он пытался вернуться в прошлое хотя бы в воображении.

Державин вообще — феномен психологии творчества. Стихи его росли не просто из сора, а из исторических анекдотов. Прав Вяземский: вот, скажем, Державину по ошибке приносят корреспонденцию, предназначенную для однофамильца — обер-священника, отца Иоанна. И рождается из этого казуса масштабное послание «Привратнику» — настоящая державинская ода, ироническая и философская. Ода, в которой можно поразмышлять обо всём насущном. Ода с эффектным афористическим зачином: «Един есть Бог, един Державин». Здесь и заносчивость, и раскаяние — всё вместе.

Ода «Привратнику» быстро разошлась в списках по лучшим библиотекам Петербурга и Москвы. Стихи эти прочитал и отец Иоанн. Прочитал — и обиделся не на шутку. Вскоре любители словесности и скандалов уже пересказывали друг другу «Приказ моему секретарю» — ответ Гавриле Державину вроде бы от Державина Иоанна. Ответ умелый, длинный и резкий.

Опомнись, осмотрись, Державин,
Какой ты дичи намарал!
Одна ль тебе есть рифма Навин,
Кой солнца бег остановлял?

Един есть Бог и Вседержитель,
Державин есть — державы житель:
В державе житель не один,
А рифма есть ни род, ни чин.

Нет нужды спорить мне с пиитом,
Богатой рифмы мне не жаль;
Я должен толковать с левитом

Начало веры и скрижаль. «…»

Зоиловых держась ты правил,
Искал в чужой сорочке блох;
Но свой лишь вшивый плащ представил
В сатире сей, как Архилох…

Многие исследователи сомневались в авторстве отца Иоанна. Уж больно мастеровиты стихи. Скажем, Грот приписывает их куда более опытному поэту, чем обер-священник.

Стихотворная переписка двух Державиных будоражила умы. Пришлось Гавриле Романовичу написать ещё один пустячок: «Отзыв на пасквиль» или «Ответ попу Державину на ругательство»:

Ужель мне отвечать
На то, что так меня за шутку злобно колют?
Благоразумнее молчать:
Избытком лишь сердец уста у нас глаголют.

Ответ в духе театральной скороговорки: «О чём говорить, когда не о чем говорить?» Державину хватило самообладания не публиковать эту эпиграмму, не ввязываться в публичный спор.

Отставной поэт, он вдруг стал человеком из прошлого, величественной тенью. Его вернул к жизни новый друг… И тоже представитель духовенства.

Евгений Болховитинов был сыном Просвещения, а это вроде бы предполагало сдержанное отношение если не к вере, то к Церкви. Так уж было принято в начале XIX века. Он учился в Московском университете, с трепетом внимал Новикову. Потом всю жизнь преклонялся перед писателями, интересовался журнальной суетой и литературными новинками. Он стал замечательным историком литературы, нашёл общий язык с лучшими писателями того времени и о каждом имел самостоятельное суждение.

Трагедия привела его в монастырь. Отец Евгений постригся в монахи после смерти жены и детей. В Церкви не хватало образованных людей, его тут же назначили префектом столичной Духовной академии. Но вскоре от петербургской суеты он удалился на север, на Волхов. Стал епископом Старорусским, викарием Новгородской епархии, поселился в Хутынском монастыре. Сан не мешал ему заниматься светской литературой. Одним из главных трудов его жизни стал «Словарь русских

писателей», включавший в себя сведения о жизни и деятельности светских и духовных писателей от зарождения русской книжности до начала XIX века.

Приближалась буква «Д». И владыка Евгений рискнул подступить к биографии своего любимого поэта, к тому времени уже легендарного. Обратиться непосредственно к Державину он не рискнул — и написал Хвостову, который к тому времени, по милости Суворова, стал графом Сардинским: «Вам коротко знаком Г. Р. Державин. А у меня нет ни малейших черт его жизни. Буква же Д близко. Напишите, сделайте милость, к нему и попросите его именем всех литераторов, почитающих его, чтобы вам сообщил записки: 1) которого года, месяца и числа он родился и где, а также нечто хотя о родителях его, 2) где воспитывался и чему учился, 3) хотя самое краткое начертание его службы, 4) с которого года начал писать и издавать сочинения свои и которое из них было самое первое. 5) Не сообщит ли каких о себе и анекдотов, до литературы касающихся?»

Хвостов ответил запросто: «Заезжайте к барду». Евгений то ли не понял, что речь идёт о соседстве Хутынского монастыря со Званкой, то ли пошутил: «В наших лесах одни кукушки и филины, а барда нет».

Хвостов дождался случая написать Державину о замысле «Словаря…» — и Гаврила Романович отозвался незамедлительно: «Сейчас получил письмо вашего сиятельства от 15 текущего месяца. Усерднейше за оное благодарю. Из него я вижу, что преосвященный Евгений Новгородский требует моей биографии. Охотно желаю познакомиться с сим почтенным архипастырем. Буду к нему писать и попрошу его к себе. Через 30 вёрст, может быть, и удостоит посетить меня в моей хижине. Тогда переговорю с ним о сей материи лично; ибо не весьма ловко самому о себе класть на бумагу, а особливо некоторые анекдоты, в жизни моей случившиеся <…> а вам вот что скажу:

Кто вёл его на Геликон
И управлял его шаги?
Не школ витийственных содом:
Природа, нужда и враги.

Объяснение четырёх сих строк составит историю моего стихотворства, причины оного и необходимость…»

Ответить на все вопросы в четырёх строках — это, конечно, остроумно. И четверостишие получилось яркое, запоминающееся. Оно годится для многих эпизодов биографии поэта. Но идея молодого пастыря пробудила в Державине жажду воспоминаний.

Он вдруг осознал, что может остаться в памяти потомков каким-то безродным сиротой… Ему страстно захотелось рассказать о себе в автобиографической прозе — это напоминало всплески поэтического вдохновения.

Мемуарная эпопея Державина началась с кратких объяснений на стихи, которые он, после знакомства с отцом Евгением, принялся надиктовывать племяннице — Елизавете Николаевне Львовой.

Стихи с собственными комментариями, как известно, издавал Данте, а из друзей Державина — Николай Львов. Кто из поэтов не соотносил свой путь с судьбиной великого итальянца? Державин — натура чувствительная — со слезами на глазах вспоминал обстоятельства, связанные со стихами прошлых лет.

«Все примечатели и разбиратели моей поэзии, без особых замечаниев, оставленных мною на случай смерти моей, будут судить невпопад», — опасался Державин. Первый краткий комментарий он создал на Званке в 1805 году. Более подробные объяснения к стихам Державин надиктовал Львовой в 1808 году, и снова в званском кабинете. Он так и не стал заправским прозаиком: в «Объяснениях» мы не найдём стилистического изящества, продуманной композиции комментариев. Попадаются жемчужины — точные образы редкостной выразительности.

Тёмные места, иносказания, анекдоты, которыми Державин в 1809 году объяснял свои художественные открытия, — всё воспринимается как части единого целого, его творческой лаборатории. Нередко Державин садился писать стихи в служебном порядке — если нужно было написать оду на случай рождения или женитьбы какого-нибудь блистательного представителя царской семьи. Тут уж не до капризов: перо в руку — и вперёд. Но лучшие строки и образы приходили к нему незваными. В любое время суток, как неожиданное озарение. Многое забывалось: политическая, хозяйственная рутина отвлекала, уводила в сторону.

Само намерение Державина раскрыть природу собственных сочинений было сродни энциклопедическим мечтаниям Дидро и Д'Аламбера, философскому системному размаху Гегеля и многим другим памятникам исследовательского максимализма эпохи Просвещения и её предтеч. Нужно было непременно разложить единую науку, единую материю на детали и объяснить каждую её составную часть в строгом стройном порядке законченной структуры. Но — по счастью — у Державина не получилось стройной логичной системы, а вышел художественный беспорядок, и стихи он объяснял то лицезрением вороны на снегу, то пением настоящего учёного снегиря *(«снигиря»,* как

пишет Державин на беду современных корректоров).

В «Записках» Державин о многом умолчал, увлёкся острыми политическими вопросами, сводил счёты с обидчиками — а о замечательных современниках умолчал. Разве не интересно державинское отношение к Кулибину? В «Объяснениях» читаем:

«Кулибин, механик Академии Наук, выдумал фонарь, из зеркальных маленьких стёкол составленный, с кругловатой впадиною, в средине которого поставленная свеча, от всех кусочков стеклянных делая отражения, производит чрезвычайный свет вдали горизонтальною полосою; но чем ближе подходишь, свет уменьшается и напоследок у самого фонаря совсем темно».

Правда, Кулибин возник здесь не просто так: подтекст снова политический! Дело в том, что «автор сделал сим фонарём сравнение с знатным человеком или министром, отправляющим государственные дела, который вдали гремит своим умом и своими способностями, но коль скоро короче его узнаешь, то увидишь, что он ничего собственного не имеет, а ум его и таланты заимствуются от окружающих его людей, т. е. секретарей и проч. Отношение сего сравнения целит на бывшего тогда генерал-прокурором Самойлова, который по фавору употреблён был в многие должности, будучи совсем неспособен, что время доказало».

Иван Петрович Кулибин — современник Державина и Суворова. Он не был дворянином: его отец крестьянствовал и торговал… Диковинные машины, созданные Кулибиным, даже в наше время поражают воображение. Суворов с восхищением заключал его в свои объятия. А Державин, секретарь императрицы, покровительствовал великому изобретателю.

Вот, например, часы, устроенные Кулибиным. Каждый час в них распахивалась дверца и появлялись крошечные человечки из золота и серебра, разыгрывающие под музыку целое представление. Эти часы Кулибин преподнёс в 1769 году Екатерине Второй, которая, поражённая талантом мастера, назначила его заведующим механической мастерской Петербургской академии наук.

В эпистолярном наследии Державина сохранилось одно письмо Кулибину. С ним связана любопытная история. В 1783 году директором академии стала княгиня Екатерина Романовна Дашкова, в недавнем прошлом — Екатерина Малая, ближайшая соратница Екатерины Великой. Дружба двух незаурядных женщин к этому времени пожухла, но Дашкова оставалась самой влиятельной дамой империи — если не считать самодержицу, паривщую над всеми.

Дашкова Кулибина невзлюбила: однажды он не слишком

расторопно выполнил её просьбу. При каждом удобном случае она старалась досадить Кулибину: сила дамского каприза несгибаема. Ох, как раздражал её этот расхваленный доброхотами бородач в длиннополом кафтане. Когда у Кулибиных родился седьмой ребёнок, главный механик академии попросил Екатерину Романовну о прибавке жалованья. Жил он в бедности, все силы отдавал работе — на российскую науку и для потехи двора. «Более 40 лет времени занимался я во изыскивании самодвижущейся машины, упражнялся в делании опытов её секретно, потому что многие учёные почитают сие изобретение за невозможное, даже смеются и ругаются над теми, кто в том изыскании упражняются», — признается Кулибин через несколько лет. Работа над вечным двигателем — дело неблагодарное, каменных палат с неё не наживёшь. А детей кормить надо! Однако Дашкова мечтала уволить его из академии, а о повышении довольствия и слышать не хотела. Мелочные придирки княгини отравили жизнь Кулибина: Дашкова постоянно вмешивалась в работу мастерских, выражала неудовольствие по ничтожным поводам и в конце концов решила выселить мастера из казённой квартиры. Помните знаменитый портрет Кулибина, выставленный в Эрмитаже? В глазах мастера — разочарование и усталость.

Но Державин в обход Дашковой ходатайствовал за Кулибина перед императрицей. В письме от 30 марта 1792 года Гаврила Романович торжественно уведомлял Кулибина о решении императрицы выплачивать механику дополнительно по 90 рублей жалованья в год. Семья Кулибиных была спасена от нужды! В «Записках» Державин отметил, что пылкая княгиня «так рассердилась, что приехавшему ему в праздничный день с визитом… наговорила, по вспыльчивому ея или, лучше, сумасшедшему нраву, премножество грубостей…». В ярости она даже императрицу не щадила. Дашкова оказалась не только вспыльчивой дамой, но и злопамятной: вскоре она пожаловалась на Державина Безбородко. Поэт считал, что Дашковой удалось настроить против него и саму императрицу, но это маловероятно. Державин и Дашкова давненько присматривались друг к дружке с тревогой, но после этой размолвки примириться уже не могли.

Державин уже и не вспоминал, что достиг славы с лёгкой руки Екатерины Романовны, что именно «Собеседник» признал его первым поэтом империи. В рукописях Державина нашли двустишие «К портрету Гермафродита»: «Се лик. И баба, и мужик». Державину вторил французский дипломат Сегюр — наблюдательный и остроумный господин, утверждавший, что Дашкова родилась женщиной лишь по случайной прихотливой

ошибке природы.

Сегодня модно говорить о мужском шовинизме, о «гендерных» (словцо-то какое!) проблемах. Для православной Руси женское царство оказалось благодатным, но Екатерина понимала: на вершине нет места для двух дам. Достаточно одной — матушки-императрицы. Дашкова воображала себя фигурой, равной Орлову или Потёмкину, а такие амбиции порождают мнительность.

Ещё в 1788 году Державин неожиданно с укором обратился к Дашковой в стихах «На смерть графини Румянцевой»:

> Подобно и тебе крушиться
> Не должно, Дашкова, всегда,
> Готово ль солнце в бездну скрыться,
> Иль паки утру быть чреда;
> Ты жизнь свою в тоске проводишь,
> По английским твоим коврам,
> Уединясь, в смущеньи ходишь
> И волю течь даёшь слезам.

Поводом для упрёков стали семейные страдания княгини. Она готовила своего сына чуть ли не для будуара императрицы — а он, как в песенке, женился по любви. Державин не удержался, нанёс укол. Очень уж ему не по душе пришлось неуёмное честолюбие княгини.

В «Записках» Дашковой, которые создавались позже, во времена Александра, сквозит обида на императрицу. Несомненно, она и в 1790-е чувствовала себя недооценённой. Княгиня видела себя дамой-визирем при Фелице. Она была убеждена: это злосчастные фавориты, начиная с Орлова, настроили императрицу против верной и мудрой соратницы.

Герои слухов и газетные сюжеты обживались в одах Державина. Вот в «Вельможе» упоминается некий Чупятов. Кто таков? Державин разъясняет:

> «Чупятов, гжатский купец, торговавший при Санкт-Петербургском порте пенькою, имел несчастие чрез пожар в кладовых на бирже амбаров понесть великий убыток, от чего объявил себя банкротом, как иные сказывали, притворно, и, избегая от своих верителей всяких неприятностей, наложил на себя дурь, сказывая, что в него влюблённая мароккская принцесса выйдет скоро за него замуж, что прислала она к нему уже премножество сокровищей, чем бы он давно заплатил

свои долги, но неприятели его не допустили до рук его присланный подарок; однако же достоинства и ордена, к нему от нея присланные, он получил, которые он и носил на себе, как то разных цветов ленты и медали: к нему от некоторых насмешников из шутки чрез почту и чрез нарочных доставленные, которыми очень гордился и утешался, показывая свои грамоты, сочинённые разными людьми ему для насмешки».

Этот несчастный безумец казался Державину символом деляческой суеты. Он рассчитывал, что имя Чупятова не затеряется в веках, что он навсегда останется в народной памяти — возможно, как раз благодаря державинским стихам… Чупятов не менее важен для Державина, чем Пожарский или Долгоруков. Они показали, как должно жить, Чупятов — как не до́лжно.

А вот — умиротворительный финал «Вельможи» и многозначительная строка:

Румяна вечера заря.

Снова требуется разъяснение! Здесь Державин прозрачно намекает на «прозвище, преклонность лет и славу Румянцева».

В «Объяснениях» Державин с демонстративной щегольской лёгкостью указывает на реальные имена адресатов сатирических строф «Фелицы» — самой счастливой оды, которая стала для поэта входным билетом в высший свет и в историю литературы. Называются имена титулованных особ, князей и графов: Г. А. Потёмкина, П. И. Панина, С. К. Нарышкина, А. А. Вяземского, славного А. Г. Орлова… До сих пор школьники и студенты, изучающие оду «Богоподобной царевне Киргиз-кайсацкия орды», читают в учебниках об этом сатирическом подтексте и не удивительно: сам автор настаивал на такой трактовке! Но не было ли и классическое объяснение формой лукавого художественного артистизма?

Как известно, бытовая правда не всегда стоит выше правды поэтической — и прославленные строки «Фелицы» оказываются прежде всего монологом автора, его признанием, а вовсе не воспринимаются как изящный придворный юмор «для внутреннего светского употребления».

От «Объяснений» Державин легко перешёл к «Запискам», которые он не диктовал, а писал самолично — пером по бумаге, наедине с самим собой. В «Записках» было слишком много пристрастных откровений, чтобы доверять их чужим глазам или надеяться на публикацию. Державин писал «для истории»,

надеялся на далёких потомков.

И вот он начал: «Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине Второй, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом при императоре Павле член Верховного совета и государственный казначей, а при императоре Александре министр юстиции, действительный тайный советник и разных орденов кавалер, Гавриил Романович Державин родился в Казани от благородных родителей, в 1743 году июля 3 числа».

Стиль «Записок» Державина принадлежит, конечно, допушкинской и докарамзинской русской прозе. К тому же Державин не подготовил свой труд к печати, не отредактировал, не отшлифовал. Художественная проза в XVIII веке не развивалась так счастливо, как поэзия. Современному читателю непросто научиться получать от неё наслаждение. В стихах Державина — богатырский размах мыслей и образов. В прозе же — подчас бухгалтерски мелочный подход к реальности. И эта бюрократическая манера писать о себе в третьем лице… В стихах он своего «я» не стеснялся! В той прозе, которая была ведома Гавриле Романовичу, просто не было инструментов, которые могли бы отразить его личность. Державин ведь и в драматургии не был тем исполином, каким мы его знаем по лиро-эпической поэзии. Он не оттачивал «Записки», не готовил их к публикации — и потому в некоторых местах проговорился, перешёл (о ужас!) на речь от первого лица.

ФРАНЦУЗОВ РУССКИЕ ПОБИЛИ!

Поэзия стала упоительным занятием ещё во времена соперничества Ломоносова, Тредиаковского и Сумарокова. В памяти Державина остались отголоски той канувшей эпохи. Но в 10-е годы XIX века он чувствовал, что назревает новое отношение к поэзии — более исступлённое, взвинченное. В силу слова теперь верили сильнее, чем в Вольтерово Просвещение. Державин понимал, что подвиги русской армии в 1812 году лучше всех воспел молодой Василий Жуковский. Родилось четверостишие, которое Державин никому не показывал. Просто хранил среди бумаг.

Тебе в наследие, Жуковской,
Я ветху лиру отдаю.
А я над бездной гроба скользкой
Уж, преклоня чело, стою.

Здесь не только скорбное предчувствие смерти. В чём-то Жуковский его превзошёл. Для него поэзия — не «летом сладкий лимонад», он живёт ею, погружаясь то в английскую, то в немецкую стихию. Они недурно образованы, эти молодые литераторы. Правда, в «Певце во стане русских воинов», пожалуй, слишком много пряностей. Как-никак, песня ратников — а сентиментальных строф в избытке. Но за патриотический порыв, за звучные призывы к мщению можно простить любой срыв. Армия полюбила эти стихи, когда Бонапарт ещё хозяйничал в русских городах. Во дни роковые поэты должны торопиться: дорого яичко ко Христову дню. Вот и Державин свою оду «На парение орла» напишет торопливо, зато ко времени.

Державин и в 1812 году всё чаще чувствовал себя «поэтом великой Екатерины». Но разве это четверостишие, посвящённое Жуковскому, — не чудо? Одно словцо «скользкой» возле бездны гроба — это образ сильнейший. Державин частенько бывал многословен, а тут в четырёх строках — не набросок, а щемящая картина, в которой и восторг, и ужас. Восторг перед жизнью, ужас от приближения смерти — главная державинская тема со времён оды «На смерть князя Мещерского».

Но державинская ярость Жуковскому была недоступна.

Державин привязался к Званке; там он создавал не только стихи, но и политические прожекты. Он всё ещё надеялся вернуть влияние при дворе, взять реванш у «молодых друзей императора»,

которые привели Россию к катастрофе. Ведь это линия его судьбы — «Падал я, вставал в свой век». Должен же император отдать должное здравому смыслу?

В отставке он написал «Мечты о хозяйственном устройстве российской армии», послал их государю. Державин предлагал реформу рекрутской системы, писал о снабжении армии. Но мечты так и остались мечтами. Державин уже в 1806-м не сомневался, что вот-вот полчища Наполеона вторгнутся в пределы России. Двум медведям в одной берлоге не ужиться — как и двум великим армиям на одном тесном континенте.

Чуть позже Державин составил «Мнение о обороне империи на случай покушений Бонапарта». «Меня обещали призвать и выслушать мой план, но после пренебрегли и презрели, как стихотворческую горячую голову. Но теперь, к несчастию, всё, что я говорил, сбывается», — писал Державин В. С. Попову, старому соратнику Потёмкина, когда Наполеон казался владыкой мира. Да, прошли золотые времена!

Державин вспоминал: «Государь принял сие предложение с благосклонностию, хотел призвать его к себе; но, поехав в марте месяце к армии под Фридланд и возвратясь оттуда, переменил с ним прежнее милостивое обхождение, не кланялся уже и не говорил с ним; а напротив того чрез князя А. Н. Голицына, за псалом 101-й, переложенный им в стихи, в котором изображалось Давида стенание о бедствии Отечества, сделал выговор, отнеся смысл оного на Россию и говоря: „Россия не бедствует“».

Таков был стиль Александра: он лишь символически демонстрировал уважение к деятелям екатерининского времени, а в глубине души невысоко оценивал этих отживших своё динозавров.

Самая острая мысль державинского «Мнения о обороне…» — борьба, говоря современным языком, с «пятой колонной». Державин предлагал учредить при императоре Временный комитет из особ природных в государстве — то есть из коренных православных великороссов. В окружении царя было немало деятелей, ориентированных на Британию и даже на Францию. Сложился своеобразный дворянский интернационал в масонском духе — «поелику были подозрения в тайных сношениях французского кабинета с чужими министрами». Ведь по феодальной вольнице благородные аристократы в чрезвычайных обстоятельствах могут выбирать, кому служить — какому Отечеству, какому сюзерену… Державин мечтал (именно мечтал) пресечь эту тенденцию. Государь должен опираться на верных!

Знаменитого Сперанского Гаврила Романович (всегда приятельствовавший с легкомысленными масонами и

опасавшийся масонов самоотверженных) считал шпионом и взяточником. Ничего невероятного в этом предположении нет. Амбициозный политик на всякий случай вполне мог бы заручиться доверием врага. Не стоит забывать, что в Европе в те годы (после падения Вены) существовало три империи. Деловые люди налаживали связи со всеми тремя. Вспомним хотя бы Талейрана с его волшебным принципом: «Вовремя предать — значит, предвидеть». В те самые месяцы, когда Державин выискивал шпионов в окружении императора Александра, наполеоновский герцог (а в прошлом — французский епископ) вёл секретную переписку с Нессельроде. Он сам предложил свои услуги русскому царю — и стал платным агентом Александра. Александр Павлович не сомневался: в большой политике любой деятель в какой-то мере работает на каждого и против каждого. Большая политика космополитична — и вовсе не масоны первыми придали ей эту особенность. Но для убеждённого масона всегда есть ценности поважнее «родных осин». Он — не на привязи, не на цепи! Что Сперанский вольный каменщик — это бесспорно, это не секрет. Державин считал его масоном искренним, одержимым — и это страшило. Он виделся представителем враждебной силы — той, которая отняла у России славу непобедимой воинской державы.

Наконец Сперанского изгнали (шпионом его считал не один Державин), и государственным секретарём стал А. С. Шишков — добрый приятель и единомышленник Державина. Перед войной император возвышал тех, кто был ему неприятен, кто казался замшелым… Шишкова, Ростопчина, Кутузова.

Но никто не призывал на службу Гаврилу Романовича… Ему было под семьдесят — возраст для того времени более чем почтенный. Достаточно вспомнить, что никто из русских императоров не дожил до семидесяти. С Наполеоном героически сражалась гвардия. Державин много лет служил в Преображенском полку, претерпел все тяготы солдатства, долго шёл к офицерскому званию… В 1812-м он мечтал надеть мундир и ринуться в бой — уж он бы шибче показал себя в сражениях и походах, чем эти избалованные мальчишки, Вяземский и Батюшков… Но — нет, для армии он уже не годился. Хотя Суворов в 70 лет бил француза и в Италии, и в Швейцарских Альпах… И Кутузова (его Екатерина называла *моим генералом!)* всё ещё считают одним из столпов армии.

Нынче в русской армии не хватало Суворова, не те времена. Непрошеное «Мнение» Державина император принял с раздражением: не до Державина было перед войной! Император ускользнул от общения с назойливым ретроградом.

Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна и супруга государя императрица Елизавета Алексеевна ещё время от времени привечали знаменитого поэта, но Александр — рулевой Российской империи — списал Державина на берег.

22 июня император Наполеон обратился с воинственным воззванием к армии, которую по праву называли Великой. А на следующий день Великая армия вторглась в пределы России. Лучшие стихи о переходе через Неман захватчиков, обречённых на гибель, напишет Ф. И. Тютчев:

Победно шли его полки,
Знамёна весело шумели…

Война застала Державина в Званке. Получив царский манифест, составленный Шишковым, который призывал патриотов присоединяться к ополчению, Державин написал очередную записку «о некоторых к обороне служащих мерах». В Новгороде в торжественной обстановке Державин лично отдал записку принцу Ольденбургскому «для доставления его величеству». Сколько надежд связывал он с этой запиской!

Тогда Державин написал четверостишие «На меч Псковского князя Гавриила»:

Се страшный князя меч Псковскаго Гавриила.
С ним чести ни кому своей не отдал он.
Да снидет от него на АЛЕКСАНДРА сила,
И с срамом побежит от нас Наполеон.

Он хотел бы поверить в силу Александра, но не получалось. Император окружил себя шалунами, дал возможность Бонапарту приблизиться к границам России, превратив Германию в тыловой плацдарм Великой армии. К полководческим способностям Александра Державин (да и не он один) относился скептически. Он с наслаждением воспевал бы великих русских воинских вождей, но император всерьёз не выдвинул ни одного русского полководца — надеялся то на Моро, то на Бернадота.

Старый «отставной поэт» стал свидетелем эпопеи 1812 года. С юных лет он привык к бесспорным победам русского оружия. «Не знаю, как при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без соизволения нашего выстрелить не могла», — говорил Безбородко. Ощущение имперского превосходства жило и в Державине. И вдруг — захватчики на Русской земле. Наша армия оставляет город за городом. Иноземцы устраивают конюшни в

православных храмах. До сих пор не осмыслена трагедия Смоленска. Солдаты Раевского и Дохтурова защищали Смоленск, воистину не щадя живота своего. Выполняли приказ Багратиона, который планировал если не разгромить, то остановить Великую армию в Смоленске. Но Барклай — не только командующий Первой армией, но и военный министр — оставался неумолимым: отступать.

Державин получал отрывочные, смутные — и от этого ещё более тревожные сведения. Увы, сбывались худшие предчувствия: новые правители не прислушались к старикам — и получили катастрофу, непоправимую катастрофу. Державин умел предсказывать будущее — особенно если речь шла о политической жизни. Этой способностью он гордился, время от времени подчёркивал свою правоту: как в случае с Суворовым, который, в полном соответствии с прогнозами Державина, повторно возвысился после опалы. Но то был счастливый повод, не то что победы Наполеона.

Багратион был вынужден подчиняться Барклаю как военному министру. Пожалуй, никогда в истории русской армии подчинённый не относился к командующему с таким презрением. «Подлец, мерзавец, тварь Барклай» — так называл военного министра любимый ученик Суворова, которого Державин уже успел заслуженно воспеть.

Фортуна отвернулась от Багратиона: в то время император относился к нему с предубеждением, все спорные ситуации он трактовал не в пользу самого популярного генерала русской армии. Любимая сестра Александра — великая княгиня Екатерина Павловна — и до, и после замужества была влюблена в Багратиона (кстати, её муж — принц Ольденбургский — уйдёт из жизни почти одновременно с Багратионом). Государя это раздражало. Грузинского князя, у которого в Петербурге было немало поклонников, но не меньше и врагов, отдалили от двора. Но, конечно, одним этим всего не объяснишь… Император писал Екатерине Павловне: «Убеждение заставило меня назначить Барклая командующим 1-й армией на основании репутации, которую он себе составил во время прошлых войн против французов и против шведов. Это убеждение заставило меня думать, что он по своим познаниям выше Багратиона. Когда это убеждение ещё более увеличилось вследствие капитальных ошибок, которые этот последний сделал во время нынешней кампании и которые отчасти повлекли за собой наши неудачи, то я счёл его менее чем когда-либо способным командовать обеими армиями, соединившимися под Смоленском. Хотя и мало довольный тем, что мне пришлось усмотреть в действиях

Барклая, я считал его менее плохим, чем тот, в деле стратегии, о которой тот не имеет никакого понятия». Приговор строгий и несправедливый. Между тем в Европе мало кто сомневался, что лучшим русским полководцем является именно Багратион. После Прейсиш-Эйлау многие зауважали ещё и Беннигсена, но о Багратионе Европа помнила с 1799 года. Он сражался под командованием Суворова в непобедимой русской армии XVIII века. Он был героем неудачной для антинаполеоновской коалиции европейской кампании 1805 года: прикрывал отступление русской армии. «Лечь всем, но задержать Бонапарта!» — такой приказ исполнил Багратион при Шенграбене с шеститысячным корпусом храбрецов. Сражаться пришлось против почти 30-тысячной армии. Но Багратион продержался, а потом прорвал окружение и присоединился к армии Кутузова. Да не просто присоединился, а по-суворовски: привёл с собой пленных и трофеи. Блестящий триумф! И Державин тогда написал:

О, как велик, велик На-поле-он!
Он хитр, и быстр, и тверд во брани;
Но дрогнул, как к нему простёр в бой длани
С штыком Бог-рати-он.

Между прочим, ни одного случайного слова в этом четверостишии нет: Багратион был несокрушим именно в штыковом бою, а Наполеон и впрямь действовал на удивление быстро и твёрдо.

А ещё после шенграбенских известий Державин сочинил «Народную песню» «Пирушка англичан в Петербурге, по случаю полученных известий о победе русскими французов»:

Французов русские побили:
Здоровье храбрых воинов пьём!
Но не шампанским пьём, как пили:
Друзья! Мы русским пьём вином.
Подай нам добрый штоф сивухи,
Дай пива русского кулган.
Мы, братцы, не немецки шлюхи,
Без боя не покинем стан.
Ура! Здоровье русских пьём.

По сюжету эту застольную песенку затянули англичане, но бодрое восклицание «Мы, братцы, не немецки шлюхи» русские

солдаты воспринимали как высказывание от своего имени.

Ведь вожди русские не Маки,
Нигде не сделали измен;
Солдаты не ползут, как раки,
Как бабы, не сдаются в плен…

Наконец-то Державин вовсю воспользовался простонародной солдатской речью — без аллегорий, без символики и торжественных словес:

Обстал Бонпарт Багратиона:
Отдай, кричал, твои штыки!
«Возьми!» — отвесив три поклона,
Сказал — и расчесал в клочки…

Эти стихи повлияют на Лермонтова (вспомним «Бородино» и «Двух великанов») и Майкова (вспомним «Сказание о 1812 годе»), пожалуй, посильнее, чем ода «На взятие Измаила». «Расчесал в клочки» — столичных снобов, верно, покоробило это крепкое выражение, а Державину — в самый раз. В народном духе он выдержал и следующие строфы:

Хоть отступал назад Кутузов,
Против обычья Русаков, —
Велел так царь, — но он французов
Пужнул, как тьму тетеревов…

Кто русских войск царю вернее?
Где есть подобные полки?
На брань и дети пламенея,
Знамёна вражьи рвут в куски…

Последняя строфа подтверждает: эту песню поют англичане, союзники России.

Но и за наших красоуля
Пусть ходит воинов вокруг:
Хоть Нельсона сгубила пуля,
Герой с победой издал дух…

В один ряд с лордом Нельсоном в 1799 и 1805 годах встал

русский грузинский князь Пётр Иванович Багратион. За него не грех и осушить вместительную красоулю — монастырскую чашу.

Багратион олицетворял главное оружие русской армии — прорывную мощь смелого штыкового удара. Державин знал повадку чудо-богатырей, пробивающих штыками дорогу к победе. Они оба не могли привыкнуть к поражениям, не желали мириться с тем, что есть в мире сила, опасная для русского воинства. Подчас Багратион позволял себе шапкозакидательские настроения — возможно, в педагогических целях, чтобы офицеры не боялись французов, чтобы не действовал тот самый удавий гипноз завоевателей.

Сила Барклая — в умении осторожно и смиренно нести крест оборонительной войны против превосходящих сил противника. Слабость — в том, что он не верил в то, что русская армия способна биться с полчищами Наполеона на равных. Барклай не сомневался: в генеральном сражении Наполеон оставит Россию без армии, а это позорный финал войны. Слабость Багратиона была в том, что он упрямо отвергал план оборонительной войны, противился ему, не подчинялся дисциплине. А сила — в той победоносной уверенности, которую князь вселял и в солдат.

Столицы содрогались: враг приближается неумолимо. Державин из тихой Званки отдавал распоряжения по эвакуации ценностей из петербургского дома. И, конечно, негодовал: «Теперь явно видно, что Барклай нечестный человек и неверный или глупый вождь, что впустил столь далеко врага внутрь России, даёт укрепляться в Могилёве, Витебске, Бабиновичах, в Орше и далее, не действует и не сражается». Биографы Державина не любили вспоминать об этом, но Гаврила Романович и в дни побед не воспевал Барклая. Рука не поднималась.

Представим себе логику Державина и Багратиона… Русским ли бояться генеральных сражений? Князь Пётр Иванович хорошо помнил Итальянскую кампанию 1799-го, когда Суворов за три месяца выполнил боевую задачу, в трёх генеральных сражениях разгромив французские армии. Это его молодость, его слава. Разве русские тогда уклонялись от битв? И это в далёкой Италии. А на родине, где каждый холм нам в подмогу, из-за немца Барклая русские войска отступают, отдавая врагу губернии и города. Смоленск — ключ к Москве. Отступим — и подпустим врага к воротам Белокаменной. В этой ситуации Багратион не мог не увидеть предательства, преступного попустительства врагу. План «скифской войны» и на бумаге был ему противен, а уж в реальности, когда французы устраивали конюшни в русских храмах, — тем паче.

Подчас мы воспринимаем Багратиона как лихого рубаку.

Таким его видали на поле боя, в дыму и крови. При этом он не был деспотичен и в искусстве управления людьми проявил немало тонкой проницательности. Приведу оценку А. П. Ермолова — первого интеллектуала армии: «Ума тонкого и гибкого, он сделал при дворе сильные связи. Обязательный и приветливый в обращении, он удерживал равных в хороших отношениях, сохранил расположение прежних приятелей… Подчинённый награждался достойно, почитал за счастие служить с ним, всегда боготворил его. Никто из начальников не давал менее чувствовать власть свою; никогда подчинённый не повиновался с большею приятностию. Обхождение его очаровательное! Нетрудно воспользоваться его доверенностию, но только в делах, мало ему известных. Во всяком другом случае характер его самостоятельный… Неустрашим в сражении, равнодушен в опасности… Нравом кроток, несвоеобычлив, щедр до расточительности. Не скор на гнев, всегда готов на примирение. Не помнит зла, вечно помнит благодеяния». Как далека эта характеристика от образа неотёсанного вояки. Ермолов с давних пор во многом был единомышленником Державина, у них были схожие впечатления о Багратионе.

В чём превосходство Наполеона перед другими полководцами того времени? Не только в революционной дерзости, не только в том, что он без колебаний раздувал мировые пожары, — хотя, увы, инициативность агрессора гипнотически действует на консервативных политиков.

Не было для Державина более трагического дня, чем день, когда он узнал, что враг занял Смоленск. Французам показалось, что в воронку Смоленского сражения втянута едва ли не вся русская армия. Вот она, победа Наполеона, вот второй Аустерлиц!

Другой любимец Державина и ученик Суворова — атаман Платов — гневно бросил Барклаю: «Как видите, я в плаще. Мне стыдно носить русский мундир!» Вихрь-атаман совершал невозможное на стенах Измаила, был неустрашим в боях и к ретирадам не привык. Как и все «суворовцы», Матвей Платов Барклая ненавидел. С каким удовольствием он рассёк бы этого шотландца шашкой… Багратион после смоленских событий писал Аракчееву: «Ваш министр, может, хорош по министерству, но генерал не то что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу нашего Отечества…» Почему Наполеон не остался в Смоленске? Почему не создал вокруг Смоленска базу для кампании 1813-го, которую можно было посвятить походам на две столицы Российской империи? Если бы французам удалось сделать Смоленск центром притяжения новых сил и ресурсов — лошадей, фуража, оружия, русские козыри не сыграли бы… Петербург от

такой перспективы содрогнулся бы. И скорее всего, партия мира склонила бы императора Александра к компромиссному, проигрышному для России договору с Наполеоном. Конечно, и этот план авантюрен: императору пришлось бы провести как минимум полтора года за тысячи километров от Парижа. Это противоречило характеру стремительного полководца, да и опасность потерять Европу он не сбрасывал со счетов. Он понимал, что, отдаляясь от западной границы, рискует всё сильнее. В Великой армии уже наблюдался дефицит лошадей, Наполеон уже не мог перебросить к Москве всю свою артиллерию.

После Смоленска отступление русской армии нельзя было объяснить тактическими расчётами. Французам открыли путь к Москве — а значит, именно уклонение от генерального сражения было задачей Барклая на всю кампанию. По логике Барклая, Смоленск не стал катастрофой: урон французам нанесён, проблемы со снабжением Великой армии гарантированы. Русская армия тоже несла потери, но, по логике барклаевской оборонительной войны, она выполнила главную задачу: избежала крупномасштабной битвы и сохранила боеспособность. В эти дни Державин излил на бумагу самые мизантропические строки «Записок» — об александровском времени, о роковых ошибках, приведших Россию к катастрофе лета 1812-го.

Осенью, когда французы орудовали в Белокаменной, Державин всё-таки переехал в Петербург. Почти каждый день он беседовал с Платоном Зубовым — его, фельдмаршала, император привлёк к военным совещаниям. Фаворит-вдовец считался человеком недалёкого ума. Храповицкий на все времена окрестил его «дуралеюшкой», Суворов отмечал, что «князь Платон Александрович без царя в голове». Чины к нему пришли легко и незаслуженно, но сатирический бич Державина щадил молодого фаворита. Державин был полезным союзником Зубовых, а в отставке стал его душевным приятелем. До Павла несколько десятилетий Россия развивалась под властью императриц, это было «женское царство». Ни у Екатерины, ни у Елизаветы не было полководческих амбиций, их статус выше: олицетворение России, матушка-императрица, которой служат рыцари-генералы. Екатерина не боялась возвышать способных людей, давала им развернуться в полную мощь.

Унаследовав влияние и посты Потёмкина, Зубов не продемонстрировал административных способностей, но всё-таки приобрёл управленческий опыт. Он неплохо знал армию, покровительствовал искусствам — впрочем, с его влиянием сие было немудрено. При Павле у него конфисковали поместья, потом вернули… Вспыльчивый император относился к Зубову на

удивление добродушно, что не помешало князю Платону Александровичу войти в комнату государя в роковую ночь в пьяной своре заговорщиков. В 1812-м он пребывал в отставке, но его как фельдмаршала император привлекал к тайным совещаниям… Увы, в 45 лет он слыл героем позавчерашнего дня и, откровенно говоря, уже не претендовал на большее. Но «дуралеюшкой» он больше не был: опыт взлётов и падений превратил статного паркетного фельдмаршала в интересного собеседника.

Они были убеждены: реформы Павла и Александра губят Россию. Те люди, которым доверяли императоры, привели Россию к бедственному положению. То ли дело екатерининские орлы, которым грешки не мешали повелевать счастием империи.

Державин и Зубов сошлись на том, что женская система пользительна Отечеству. Только где найдёшь новую мудрую царицу? Была у Державина на примете одна талантливая женщина. Царского рода, между прочим! И имя — царственное, как у великой императрицы. Это сестра императора Екатерина Павловна. Покровительница русской партии в царской семье. Это она, когда её хотели выдать замуж за Наполеона, произнесла горделивое: «Я скорее выйду замуж за последнего русского истопника, чем за этого корсиканца».

Она увлекалась политикой — и даже царственный брат советовался с ней. Александр ни с кем не вёл такой доверительной переписки, как с сестрой Екатериной. Державин ловил её благосклонность, делал многозначительные намёки, а на бракосочетание с принцем Георгием Ольденбургским посвятил ей стихи, в которых геополитики было куда больше, чем пожеланий семейного счастья:

Сим одним Екатерина,
Именем своим одним
Ты повергла исполина
Росса ко стопам твоим.
Чем любовь твою заплатим?
Лишь любовию одной.

Ему мечталось: быть может, новая Екатерина на троне возродит величие империи? Пожалуй, Державин не верил в реальность переворота, но давал волю воображению, увлекался. И был не одинок.

Как мы знаем, она поклонялась Багратиону. Багратион в тогдашней армии возглавлял «русскую партию». Да, он не был великороссом. И по происхождению, и по наружности —

истинный грузин. Но — православный, но — подданный русского царя. Когда Суворов говорил «Мы русские, какой восторг! Орлы русские облетели орлов французских», — он имел в виду и Багратиона. В литературе русскую патриотическую партию представляли Державин и Шишков. Патриоты признавали Багратиона своим воинским вождём, видели в нём спасителя Отечества, который избавит Русь от корсиканского чудовища. Восторг поклонников подхлёстывал генерала, который пошёл на прямой конфликт с военным министром, хотя осознавал, что разлад между полководцами для армии пострашнее французских пушек.

Когда Кутузова назначили главнокомандующим — Державин несколько воодушевился. Платон Зубов тоже приветствовал назначение Кутузова и даже одобрял оставление Москвы как вынужденную, страшную, но спасительную жертву.

Михаил Илларионович — не Суворов, конечно, но всё же и не Барклай. Быстро пронёсся по столицам слух: когда Кутузов выехал на бородинские позиции — над его головой пролетел орёл. Это заметили солдаты, и старый полководец обнажил голову и картинно крикнул: «Ура!» Не успел этот сюжет попасть в газеты — а Державин уже написал оду «На парение орла». Начал он её чересчур аллегорически, то ли хотел блеснуть учёностью, то ли просто второпях не нашёл более удачного зачина и прикрылся библейски-античным антуражем:

Воанергес! Орёл, сын грома!
Не ты ль на высотах паришь
И снов святых патмосска холма
Виденья бытием решишь?

Кто такой Воанергес? Сынами грома — Воанергесами — за пылкость нарёк Всевышний Иакова и Иоанна Богослова. Об этом написано в Евангелии от Марка. Но вот Державин нашёл и более подходящие слова:

…Мужайся, бодрствуй, князь Кутузов!
Коль над тобой был зрим орел,
Ты, верно, победишь французов
И Россов защитя предел,
Спасешь от уз и всю вселенну,
Толь славой участь озаренну
Давно тебе судил сам рок;
Смерть сквозь главу твою промчалась,
Но жизнь твоя цела осталась,

На подвиг сей тебя блюл Бог!

Да, Державин ещё владел трубным гласом. Этот призыв — «Мужайся, бодрствуй, князь Кутузов!» — не был данью ритуалам батальной поэзии. Державин изнывал, получая сведения о бесконечных ретирадах русской армии. Он знал, что и Кутузов не отличается любовью к наступательной тактике. Но пришла пора ободрить его на сражение — чтобы закончился этот Барклаев позор. Поэт пытался пробудить в Кутузове суворовскую решительность.

Михаил Илларионович оказался церемонным господином, он знал толк в изящной словесности и немедленно ответил Державину — весьма велеречиво:

«Приношу вам, милостивый государь мой, за всё лестное в оном мне сказанное чувствительную благодарность и за того орла, который, слышу я, при Бородино, воскрыленный великим бардом нашим, парил над главою россиянина, придавая блеск скромным его заслугам».

Державин ответил столь же витиевато. Завязалась серьёзная переписка. Незадолго до смерти, в марте 1813 года, Кутузов напишет Державину: «Милостивый государь мой, Гавриил Романович! Письмо вашего высокопревосходительства имел я честь получить. Хотя не могу я принять всего помещённого в прекрасном творении вашем „На парение орла“ прямо на мой счёт, но произведение сие, как и прочие бессмертного вашего пера, имеет особую цену уважения и служит новым доказательством вашей ко мне любви. Сколько же лестен и приятен для меня гимн ваш, коего один токмо экземпляр собственно для меня получил я через Петра Петровича Коновницына, но не более, как пишете вы, о чём сожалел, весьма бы желал присылки оных. Повторяя чувства совершенной моей благодарности на ваше ко мне расположение, имею честь быть с истинным почтением и преданностью, Милостивый государь мой, вашего превосходительства всепокорный слуга князь К. Смоленский».

А всё-таки прав оказался один из главных героев битвы, старый знакомец Державина генерал Ермолов: «Под Бородино французская армия расшиблась о русскую». Прошло ещё два года сражений, Наполеон дважды потеряет Францию. И на острове Святой Елены, в изгнании, перелистывая в памяти свою жизнь, он скажет: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми».

Непобедимый русский солдат на Бородинском поле обескровил грозного захватчика. Как бы ни сложилась кампания после Бородинского дня — Наполеон уже не имел возможности покорить Россию.

Вскоре оказалось, что Бонапартий в России заплутал. Он терял армию. Не столько в боях, сколько от болезней, партизанских налётов, голода и дезертирства.

Державин ликовал, следил по карте за изгнанием Наполеона, но ликовал заметно сдержаннее, чем другие. Поход Наполеона и сожжение Москвы он считал бедствием для России и не сомневался, что этого бедствия можно было бы избежать. В конце года Державин разразился пространным «Гимном лиро-эпическим на прогнание французов из Отечества». «Державин, сказывают, написал какой-то славный гимн на наши победы. Я не думаю, однако, чтоб этот гимн мог сравниться с последними стихами Жуковского „Певец во стане русских воинов“», — писал А. Измайлов. Так и вышло: «Гимн» не прибавил Державину славы. Во многословном высокопарном сочинении шероховатостей было больше, чем открытий. Кажется, Державин решил продемонстрировать свой достославный яростный стиль, но вышло нечто громоздкое. В жанре торжественной батальной оды после ухода Суворова Державин буксовал… Когда нет прорывной идеи — в ход идут уважаемые штампы, взвихрённые буйной фантазией. Державин усердно пугал читателя, живописуя ужасы войны, но получалось натужно.

Впрочем, из истории литературы эти стихи не вычеркнешь:

По правде, вечности лучей
Достойны войны наших дней.
Смоленский князь, вождь дальновидный,
Не зря на толк обидный,
Великий ум в себе являл,
Без крови поражал
И в бранной хитрости противника, без лести,
Превысил Фабия он в чести.
Витгенштейн легче бить
Умел, чем отходить
Средь самых пылких, бранных споров,
Быв смел как лев, быстр как Суворов.
Вождь не предзримый, гром как с облаков,
Слетал на вражий стан, на тыл — Платов.
Но как исчислить всех героев,
Живых и падших с славою средь боев?
Почтим Багратионов прах —

Он жив у нас в сердцах!

Куда живее выходили непритязательные (так замышлялось) солдатские песни «в народном духе» (жанр этот из рук Державина вскоре подхватит Жуковский):

Встаньте вкруг меня, ребяты,
Удалые молодцы,
Русски храбрые солдаты,
В свете первые бойцы!

Так седой воин приветствовал молодых победителей. Так приветствовал поэт старых чудо-богатырей и молодых героев, победителей Измаила и Треббии, Шенграбена и Красного. Тех, кто освобождал Италию в 1799-м, кто дрался с лучшей армией мира в Европе и в России, кто шёл в штыки, не считаясь с численным превосходством противника. Кто устоял на Бородинском поле и при Малоярославце, кто гнал француза к границам России, а потом и до Парижа. Памяти павших на поле боя, памяти ушедших в мирное время посвятил Державин эти стихи. Не с рыданиями он вспоминал про них, а с бодрой благодарной улыбкой. А невредимых служилых он хотел обнять и… развеселить. Потому и подзадоривал прибаутками, подмигивал и подливал хмельного по случаю победы:

Спесь мы Франции посбили,
Ей кудерки пообрили,
Убаюкана она!
Уж не будет беспокоить,
Шутки разные нам строить.
Дайте чашу нам вина!
Веселися, царь блаженный,
Александр Благословенный!
Русская земля сильна:
О тебе она радела,
Груди, жизни не жалела:
Дайте чашу нам вина!

Император кротко отказался от имени *Благословенного,* но Державин утверждал это определение в стихах. И провозглашал победные тосты:

Дайте чашу пьяной браги:
Генералов в честь отваги
Выпьем мы её до дна;
За казачью хитрость, свойство,
За солдатское геройство —
Дайте чашу нам вина!

Крепкое слово — «сбойство»! Удальство, молодечество — поясняет Грот. Возьмём на вооружение? И, конечно, русские напитки предпочтительны для праздника победы над двунадесятые языками:

Дайте мёду нам братину,
Что явили мочь мы львину;
Где пылала зла война,
Сотней тысячи сражали;
Нет храбрей нас — доказали.
Дайте чашу нам вина!
Нет храбрей, — что мы с любовью
Своей жертвовали кровью;
Русским честь мила одна:
И корысти забывали,
Мы врагов своих спасали.
Дайте чашу нам вина!
Успокоили мы царства,
Бонапарта и коварства
Свергли в бездну адска дна, —
Пусть воюют там с чертями.
Царь-отец! ты здрав будь с нами.
Дайте чашу нам вина!

Державин закатил в стихах бодрый пир победы. Он давненько подступал к этому простецкому жанру. Народный язык он знал с детства, а уж Преображенские казармы по этой дисциплине дали академическое образование. Каждый день Державин встречал рафинированных молодых людей, которые по-французски щебетали свободнее, чем по-русски. У них и остроумие-то французское! Когда Суворову донесли, что один офицер писать умеет только по-французски, граф Рымникский улыбнулся: «Скверно. Но главное, чтобы он думал по-русски». Теперь стало ясно, что они и думать принимались по-иноземному. Ведь любовь к Родине начинается с речевых пристрастий, с песен, со сказок — и никак иначе. Державин хотел уязвить их истинно русской

речью, «забавным слогом». Окатить из ушата. И — весело отводил душу в «народных» песнях.

Само слово «солдат» в устах Державина звучало звонко и правдиво: он, дворянин, много лет служил солдатом. К тому времени в русской поэзии сформировался мощный корпус од полководцам и монархам, которых воспевали за воинские победы, хотя некоторые из них никогда не участвовали в сражениях. Державин первым стал прославлять солдат — тех, кто тянул 25-летнюю лямку службы, тех, кто был непобедим в XVIII веке и выстоял в схватке с лучшими французами, немцами, австрийцами, поляками, которых пригнал в Россию Бонапарт.

В застольной воинской песне «Заздравный орёл» первый тост Державин неспроста поднимает за солдатство!

По северу, по югу
С Москвы орёл парит.
Всему земному кругу
Полёт его звучит.
О! исполать ребяты,
Вам русские солдаты,
Что вы неустрашимы,
Никем непобедимы:
За здравье ваше пьём!

Конечно, эту песню пели не столько солдаты, сколько офицеры. Но как важно такое преклонение перед братьями по оружию и братьями во Христе, независимо от их социального положения и умения говорить по-французски.

На своём веку он повидал немало служивых — истинных чудо-богатырей. Любопытно, что державинские упражнения в жанре народной (хотя и литературной, конечно) песни перекликались с романтической героикой Жуковского, которого уже противопоставляли «архаичному» Державину. Между прочим, и знаменитый «Певец во стане русских воинов» Жуковского первоначально назывался «Заздравный кубок». Как тут не вспомнить «Заздравного орла» или — «Атаману и войску Донскому»? В этом жанре (не низком и не высоком) Державин сохранял непринуждённость и пробивался в завтрашний день поэзии.

А ведь Державин предвидел, что в грядущей войне веское слово скажут крестьяне:

Не зря на ветреных французов,
Что мнили ровны быть царям,

И, не подняв их вздорных грузов,
Спустилися в навоз к скотам,
И днесь, как звери, с рёвом, с воем
Пьют кровь немецкую разбоем,
Мечтав, и Русь что мишура;
Но вы не трусы ведь, ребята,
Штыками ваша грудь рогата;
В милицьи гаркните: ура!

Кто ещё мог так гаркнуть в стихах? Это не слащавая пастушеская идиллия, здесь «Русью пахнет», и хотя Державин простодушно называет своих крестьян «рабами», он (в отличие от многих бар) не вполне отчуждён от их общинного братства. Державин научился в простонародном стиле обращаться к «ребятам».

Так и пойдут с рогатиной на француза. Не подчинятся завоевателю русские крестьяне — в отличие от немецких, которых упоминает Державин. «Не доставайся злодею» — таков был народный лозунг того времени. Крестьяне уходили на восток от Бонапартия и сжигали за собой дома и амбары с хлебом.

Державин несколько раз величал Кутузова «спасителем Отечества». Трудно определить, кто первым так назвал старого полководца. В 1814 году Гаврила Романович поменял к лучшему и мнение об императоре. Ведь Александр проявил, говоря словами Ломоносова, «благородную упрямку», сломил Бонапарта, не спасовал, не поколебался, встретив ожесточённое сопротивление в 1813-м и 1814-м.

Освободительный поход в Германию русская армия начала под командованием Кутузова. Он заболел, простудившись по пути в Саксонию. Михаил Илларионович был осторожным стратегом, никогда не рисковал судьбами армии, подчас не успевал за противником. Но личной храбрости ему было не занимать, и даже в преклонном возрасте тучный князь Смоленский был лихим наездником. Верхом, в лёгком плаще скакал он вместе с армией прохладными ночами — и подхватил хворь, ставшую для него смертельной. Забальзамированное тело военного вождя везли из Бунцлау в Петербург.

Старик Кутузов был младше Державина. Ещё один герой, которого поэту довелось пережить! Родилось стихотворение, которое, увы, не вышло в свет:

Когда в виду ты всей вселенны
Наполеона посрамил,
Языки одолел сгущенны,

Защитником полсвета был;
Когда тебе судьбы предвечны
Ум дали — троны царств сберечь,
Трофеи заслужить сердечны,
Усилить Александров меч… «…»

Се мать твоя, Россия, — зри —
Ко гробу руки простирает,
Ожившая тобой, рыдает,
И плачут о тебе цари!

Вполне внятное, логичное стихотворение памяти полководца. А ведь это акростих! По первым буквам каждой строки можно прочесть: «Княз[ь] Кутузов Смоленской». Стихи получились вполне пристойные, несмотря на прокрустово ложе акростиха. К сожалению, современники Державина, оплакивавшие Кутузова, не читали этих стихов: они надолго остались в архиве поэта. Он предполагал опубликовать их вместе с продолжением трактата «О лирической поэзии» и представить на заседании «Беседы…». Не сложилось.

Новости из Парижа стали для Державина отдушиной старости. Он терял силы, но преодолевал уныние: Россия не погибла, Россия не только изгнала врага, но и подмяла под себя всю Европу.

Конечно, русские должны были войти в Париж ещё в 1799-м, если не раньше. Тогда и Москва бы уцелела, и Смоленск. Не из пустого честолюбия Суворов стремился уничтожить гиену в её колыбели! Но всё-таки русский царь сохранил империю и даже укрепил её влияние, показав Европе русское «сбойство»! Придворный и административный опыт уничтожает иллюзии: Державин не обольщался улыбками союзников: понимал, что сейчас начнётся борьба между победителями, война за Наполеоново наследство — хорошо, если только дипломатическая. Так оно и случилось — если бы Наполеон не бежал с Эльбы, если бы не потряс Европу стодневным пожаром.

Атаман Платов писал Державину из Европы: «Запертая хищная птица из Эльбы улетела в стадо, подобное себе, которое, встретив её с радостью, снова является послушным злобным велениям её. Теперь новое потребно единодушие, дабы стереть с лица земли это беспокойное творение». Сто дней Наполеона, быстрая смена декораций, ускоренное развитие событий. Русские войска не приняли участие в сражениях 1815 года, хотя выдвигались в сторону театра военных действий, несли, как

водится в походах, потери: от болезней и дезертирства. А ведь история могла повернуться другим боком! В начале 1815 года Англия, Франция и Австрия заключили тайный военный союз против России. Великое достижение Талейрана! Ему удалось расколоть недавнюю антифранцузскую коалицию и на равных принять участие в новом союзе великих держав… Ещё недавно он (разумеется, небескорыстно) снабжал деликатными сведениями русского царя. Великие державы Европы страшились российской гегемонии. Их можно понять. И всё-таки переговоры за спиной императора Александра были одной из вершин политического цинизма: все участники антирусского союза многим были обязаны Российской империи. Русские войска вернули независимость Австрии. Уничтожили злейшего противника Британии — Наполеона. А после капитуляции Парижа не допустили расчленения Франции.

Державин не ведал нюансов международной политики 1812 года. Он просто был уверен, что от корыстных союзников не следует ждать добра. Австрийцы в 1799-м предали Суворова. Англичане много лет усердно поддерживали антироссийские усилия Османской империи. Их флот угрожал Петербургу — только изобретательность и отвага Потёмкина на переговорах тогда предотвратили войну. Воинская сила и дипломатическая хитрость — вот истинные союзники России.

«Война — совсем не фейерверк», — напишет Михаил Кульчицкий в 1942 году, но эта строка годится и для 1812-го. Нам неизвестен автор солдатской песни, которая не могла не полюбиться Державину:

Ночь темна была и не месячна.
Рать скучна была и не радостна:
Все солдатушки призадумались,
Призадумавшись, — горько всплакали;
Велико чудо совершилося:
У солдат слёзы градом сыпались!
Не отцов родных оплакивали,
И не жён младых, и не детушек;
Как оплакивали мать родимую,
Мать родимую, мать кормилицу,
Златоглавую Москву-матушку,
Разорённую Бонапартием!

Святыня 1812 года — это, конечно, Москва. Священный город для православных, отданный на разграбление захватчику. Именно самопожертвование Москвы считалось в те дни главной причиной

гибели наполеоновской армии.

После великой войны Державин предпринял последнее в жизни долгое путешествие. Он давно собирался навестить Капнистов, а после победы над двунадесятью языками ещё и захотел поклониться древним русским святыням, помолиться в Киево-Печерской лавре. Путь лежал через Белокаменную.

Державин побывал в сожжённой Москве, поклонился святому пепелищу. Разве можно было без слёз взирать на осквернённые кремлёвские храмы? Успенский собор… Здесь на глазах Державина венчались на царство Екатерина, Павел и Александр. Собор-богатырь в шапках золота литого — архитектурное совершенство, творение Аристотеля Фиораванти. И у Наполеона рука поднялась на такой собор! Французам, конечно, не впервой осквернять храмы: в Париже они покуражились вволю. Но в германских краях воины Бонапарта вели себя пристойнее. Правда, и обыватели германские не морили захватчиков голодом, привечали их как дорогих гостей. В России иные традиции общения с агрессором.

Москвичи смотрели на оккупантов с ненавистью, какой не встретишь в Берлине или Вене. Вена была столицей государства, которое до Наполеона называлось «Священной Римской империей германской нации». Абстракция какая-то! А теперь вспомним упрямое слово «Россия». Страна, которая собралась вокруг Москвы, вокруг великого князя и царя. Деревня к деревне, зёрнышко к зёрнышку. Прибавьте ещё и самосознание единственного в мире православного царства! В который раз Державин убедился в превосходстве русского характера над европейскими сомнениями, над европейским ростовщическим духом. Быть может, это иллюзорное представление, но сколь важное для Державина! Да, он знал, что и вокруг нашей армии процветало воровство. Подчас и на родной земле солдатам приходилось голодать. Да и разговоры о всенародном патриотическом подъёме были патриотическим же преувеличением.

Но… истина познаётся в сравнении. Западная Европа, за исключением Британии, пала к ногам императора. За 10–15 лет он разгромил несколько армий и стал гегемоном. Британию спасли географическое положение и мощный флот. Но континентальная блокада, которую объявил Наполеон, грозила Туманному Альбиону медленным, но верным удушением. Только Россия встала на пути Наполеона к мировому господству. И разноречивые сведения о венских соглашениях давали Державину повод с гордостью мечтать о грядущем российском господстве над миром.

Во дни оккупации Наполеон писал императору Александру: «Прекрасный и великий город Москва более не существует. Ростопчин её сжёг. Четыреста поджигателей схвачены на месте; все они заявили, что поджигали по приказу этого губернатора и начальника полиции: они расстреляны. Огонь, в конце концов, был остановлен. Три четверти домов сожжены, четвертая часть осталась. Такое поведение ужасно и бессмысленно». Ох, как он боялся, что в поджоге обвинят французов! Трупы поджигателей (действительных или мнимых — тут уж один Бог судья) французы оставляли на площадях — в целях устрашения. Москву осквернили казни и грабежи. Державин увидел Первопрестольную, прошедшую по кругам ада. Снова и снова мучил его вопрос: прав ли был Кутузов, оставивший Москву на поругание? Возможно, второе Бородино под Москвой стало бы для нашей столицы спасительным? Державин искренне воспевал Кутузова, его восхищал поздний взлёт полководца, который спас Отечество и умер в прологе нового похода. Французы были изгнаны за пределы России через три месяца после московского пожара. Выходит, здесь вступает в силу известный закон: победителей не судят… Но трудно было не усомниться в правильности филёвского решения оставить Москву при мысли о тысячах русских раненых, погибших в захваченном городе. При мысли об осквернённых храмах и сожжённом городе. Верно, вспоминалась Державину первая поездка в Москву — он был мальчишкой, всё держался за отцовский рукав… И золотые купола кремлёвских соборов опрокинули на него ясный свет.

Не уберегла Россия Москву. Державин ворчал, анализируя политику Александра и его соратников. Но подвиги сограждан убедили его: не ослабла империя. И Константинополь будет-таки нашим!

Его московским провожатым и собеседником стал Василий Львович Пушкин — легкомысленный поэт из числа едких противников Шишкова. Поэзия Василия Пушкина, к сожалению, почти исчерпывается мелочными расчётами противостояния литературных партий. Пушкин-дядька не был плодовит, но в каждой остроте он более или менее элегантно отвешивал тумака «Беседе…». Иной раз упоминал и Державина — правда, не без пиетета: «Люблю Державина творенья, люблю я „Модную жену“…» Словом, «арзамасский партизан» (в обществе «Арзамас», которое откроется в 1815-м, его изберут старостой), литературный боец, но не пиит с большой буквы. К нему приросла эта маска: Василий Львович осознавал салонный масштаб своего таланта и прилежно следовал однажды избранному образу весёлого франтоватого повесы, противника

«славянороссов». В жизни он вовсе не был прямолинейным западником-ортодоксом, хотя, в отличие от Державина, демонстративно предпочитал французскую словесность и преклонялся перед французским остроумием. Вряд ли Василию Пушкину нравилось давнее державинское: «Французить нам престать пора, но Русь любить!..» Державин журил его за литературные шалости, но считал достойным собеседником. Между прочим, оба они были изобретательными мастерами пикантного юмора. У Державина эта склонность особенно ярко проявилась в анакреонтическом возрасте, когда он полюбил вгонять в краску салонных дам. Исполнял он этот трюк классически. У Державина собиралось общество — разумеется, не сугубо мужское. К тому же дамы всегда более склонны к стихам, а Державин затевал поэтические чтения. Для таких случаев он держал специального чтеца — молодого человека с артистическими способностями и чтецким опытом. Самым известным чтецом был юный Сергей Тимофеевич Аксаков. Если Державин просил продекламировать то или иное стихотворение — отказать невозможно. А он мог «заказать»… «Аристиппову баню» — и точка! Причём без цензурных купюр, по авторскому экземпляру Державина. А там:

От тел златых кристалл златится
И прелесть светится сквозь мрак.
Всё старцу из окна то видно;
Но нимф невинности не стыдно,
Что скрытый с них не сходит зрак…

И так — больше десяти десятистиший. Про баню Державин писал не в лаконическом духе. Аксаков тушевался, готов был провалиться сквозь паркет, но выполнял просьбу великого Державина. А как краснели дамы, вжимаясь в кресла!

Василий Львович «банные» двусмысленные шутки понимал с полуслова. В непринуждённом разговоре он, между прочим, рассказал о своём племяннике, который в 14 лет проявляет невероятные способности к поэзии. Не иначе — второй Державин явился. Про сыновей, внуков и племянников все привирают, но скоро Гаврила Романович убедится в правоте разговорчивого дядьки.

В украинских городках столоначальники, которые очень скоро впрыгнут в повести и комедии Гоголя, подобострастно обхаживали Державина: они были уверены, что столь высокопоставленная персона путешествует неспроста, а с секретным предписанием, с особой ревизорской миссией. Как-

никак, собеседник царей, птица высокого полёта!

Совсем недавно Державин получил от Капниста письмо, которое растрогало бы самое чёрствое сердце: «У меня мало столь истинно любимых друзей, как вы: есть ли у вас хоть один, так прямо вас любящий, как я? По совести скажу: сумневаюсь. В столице есть много, но столичных же друзей. Не лучше ли опять присвоить одного, не преставшего любить вас чистосердечно? Если я был в чём-нибудь виноват перед вами, то прошу прощения. Всяк человек есть ложь, я мог погрешить, только не против дружества: оно было, есть и будет истинною стихиею моего сердца; оно заставляет меня к примирению нашему сделать ещё новый — и не первый шаг. Обнимем мысленно друг друга и позабудем всё прошлое, кроме чувства, более тридцати лет соединявшего наши души. Да соединит оно их опять, прежде чем зароется в землю!»

И вот в Обуховке старые друзья обнялись после долгой разлуки. Забыты размолвки, колкости. Восторженные взгляды племянниц подбадривали Державина. Там же оказался и Трощинский, недавний соперник. Малороссийское застолье примирило всех.

ШИШКОВ

Адмирал А. С. Шишков считался литературным старовером. Бесконечные злые насмешки противников создали ему репутацию мракобеса, «угрюмого певца». Он написал «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (1803), крайне актуальное для того (да и для нашего) времени. Непоротое поколение упускало Россию. Шишков бил во все колокола:

> «Какое знание можем мы иметь в природном языке своём, когда дети знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей своих находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим…» И еще: «Французы учат нас всему: как одеваться, как ходить, как стоять, как петь, как говорить, как кланяться и даже как сморкать и кашлять… Благородные девицы стыдятся спеть русскую песню. Мы кликнули клич, кто из французов, какого бы роду, звания и состояния он ни был, хочет за дорогую плату, сопряжённую с великим уважением и доверенностию, принять на себя попечение о воспитании наших детей. Явились их престрашные толпы; стали нас брить, стричь, чесать. Научили нас удивляться всему тому, что они делают, презирать благочестивые нравы предков наших и насмехаться над всеми мнениями и делами…»

Державин не мог не сочувствовать этим мыслям. Он ведь задолго до Шишкова писал, будучи ещё безвестным поэтом:

> Французить нам престать пора…

Правда, Шишков недооценивал значение русского языка по сравнению со славянским — но к этим тонкостям Державин относился равнодушно. Славянизмы обогащали язык поэзии — это главное.

«Делайте и говорите, что вам угодно, господа любители чужой словесности; но сия есть непреложная истина, что доколе не возлюбили мы языка своего, обычаев своих, воспитания своего, до тех пор во многих наших науках и художествах будем мы

далеко позади других. Надобно жить своим умом, а не чужим» — это Шишков как будто нам пишет. Особенно — тем из нас, для кого знакомство с искусством исчерпывается телесериалом про доктора Хауса. Хорошо, если ещё в русском переводе…

Шишков предлагал называть фортепиано «тихогромом». Над этим принято смеяться. Но для поэтов такой опыт словообразования — настоящий прорыв.

Шишков — противник «прогрессивных» реформ — вовсе не собирал оброк со своих крестьян, это резко сказывалось на благосостоянии адмирала, который существовал на одно жалованье. Скромная обстановка в его доме на Фурштатской удивляла посетителей, привыкших к «роскоши, прохладам и негам».

В 1812 году именно он спасал честь российской пропаганды, честь государственной идеологии. «Молодые друзья императора» не умели общаться с «широкими слоями общества» и даже с «узкими слоями», вроде мелкопоместного дворянства. А Шишков был одарённым проповедником, он, как никто другой, умел вселять веру в Отечество. Он понимал Россию, Церковь объединяла его с каждым православным человеком. Послания, написанные Шишковым, доходили до ума и до сердца. И Александр, который в те дни сам впервые заглянул в Священное Писание, не ошибся в Шишкове. Литературный старовер в годину испытаний стал секретарём государя.

Когда началось нашествие — в народе поговаривали: раздразнил наш царь-государь мужика сердитого… А потом поняли, что сердитый — не значит непобедимый. И стали давать врагу отпор. Народную удаль писатели и политики воспевали, быть может, с перехлёстом. Всё-таки главным образом это была война армий, а не народов. Но даже малейшие проявления добровольного крестьянского сопротивления против захватчика считались залогом победы. Если народ не из-под палки готов рисковать головой в сражении с лучшей в мире армией — значит, непобедима Россия-матушка. Так оно и вышло.

В 1941-м народ сплачивали сводки Совинформбюро, голос Левитана из радиоточки. В 1812-м только батюшки рассказывали людям, что на нашей земле враг, что Россия сражается. Это понимал Шишков, главные формулировки пропаганды нашёл именно он. А транслировали — по епархиям. Вот вам пример, когда симфония церкви и государства оказалась спасительной для России без противоречий с сутью христианства.

Вот уж действительно — «рука Всевышнего Отечество спасла».

Державин о войне с Францией размышлял с суворовских

времён. Как и Суворов, он считал поход на Париж освободительным. «Гиена — злейший африканский зверь, под коей здесь разумеется революционный дух Франции, против которой граф Суворов был послан», — напишет Державин в объяснениях к «Снигирю». Потому и стали они с Шишковым единомышленниками.

ПОЛИГИМНИЯ И МЕЛЬПОМЕНА

Двадцать лет — ни много ни мало — Державин был приближен к престолу. Двадцать лет — от опубликования «Фелицы» до отставки. За это время изменились его портреты. Строгий, не согнувшийся титулованный старик с сарказмом и скорбью глядит с полотна, одушевлённого Боровиковским в 1811-м. К бездействию он не привык — и свободное время посвящал словесности, просвещению. Литература к тому времени стала полем боя: новаторы и консерваторы, патриоты и космополиты скрестили мечи. Разделение на «шишковистов» и «карамзинистов» — это удобная иллюзия. И уж тем более неверно приписывать сторонникам «нового слога» западнические убеждения. Всё было куда сложнее.

Друг и единомышленник Шишкова, Гаврила Романович вовсе не считал Карамзина литературным или политическим противником. Да, не всё ему было близко в «Письмах русского путешественника», но о стихах Карамзина Державин отзывался благосклонно, а повести давным-давно встретил отеческим благословением:

Пой, Карамзин! И в прозе
Глас слышен соловьин…

«Я желаю Николаю Михайловичу такого же успеха в истории, как в изданных им творениях» — это ещё одно благословение Державина младшему собрату. Разве это — не двойная игра? Правда, Державин никогда не клялся на верность Шишкову и имел основания считать себя внепартийным патриархом словесности. С адмиралом его объединяло почвенничество.

Державин не понимал, как можно предпочитать России какую-либо другую державу. Россия — это сила, это победы, только России принадлежит будущее. А русский язык? Конечно, каждое вино по-своему прекрасно, как и каждый язык. И всё-таки эти утончённые сентименталисты перебарщивают с заимствованиями чужеродных слов и нравов… Державин не был ортодоксальным приверженцем какой-либо литературной веры, какой-либо эстетики. Вот в вопросах государственной идеологии он решительно не терпел разногласий, а в поэзии… В поэзии Державин не считал себя хранителем непререкаемой истины. Он и от Львова, и от Капниста, и от Хемницера принимал любое мнение о собственных стихах. Согласен или не согласен —

выслушивал терпеливо. И всю жизнь испытывал тягу к литературной дискуссии.

Шишков славился иными замашками: это был боевитый литератор, боец. Он замечательно писал стихи для детишек, есть в его наследии и классическая эпитафия Суворову. Державин во многом разделял положения шишковского «Рассуждения о старом и новом слоге». Хотя вряд ли примеривал на себя положение о строгом соответствии определённому стилю. Шишков предложил Державину собирать литературные вечера хотя бы раз в неделю. Гаврила Романович обрадовался несказанно: как будто почувствовал возвращение молодых лет, когда они были неразлучны со Львовым и Капнистом.

Первая из регулярных литературных суббот, на которых авторитет Державина соединился с проповедническим даром Шишкова, состоялась в 1807 году в день, когда пришло известие о победе русских войск над французами при Прейсиш-Эйлау. Победная реляция вскоре окажется гиперболической, а тем февральским днём почтенные литераторы спорили — нужно ли продолжать войну? В собравшемся кружке выделялись Иван Андреевич Крылов и набожный молодой поэт князь Сергей Александрович Ширинский-Шихматов, сочинявший патриотические поэмы из русской истории. Литераторы собирались каждую субботу — то у Державина, то у Шишкова, то у Захарова. К шишковской школе относили и Семёна Боброва — поэта, которого Державин считал своим наследником, а карамзинисты высмеивали за тёмный слог и длинноты.

В 1810 году Шишков и Державин решили создать официальное общество, в котором соблюдался бы особый устав, возник бы печатный орган. Задумывался могущественный литературный клуб: его устав утверждал сам император. Так появилась «Беседа любителей русского слова» (или «Беседа любителей российской словесности») — с парадного открытия 14 марта 1811-го. Державин широким жестом принял на себя все расходы «Беседы». Он не скупился: одних только книг пожертвовал на 3600 рублей.

«Беседа», в отличие от камерных суббот, предполагала публичные чтения: кроме участников литературного собрания в дом Державина, по пригласительным билетам, съезжались и благородные гости.

Это была торжественная, даже помпезная институция. Бортнянский написал для заседаний «Беседы» специальную музыку. Участники и гости являлись в дом Державина в бальных платьях и при орденах. Структура — как в Государственном совете. Председатели разрядов — Шишков, Державин,

А. С. Хвостов, Захаров. Действительные члены, члены-сотрудники, почётные члены… В почётные члены, по предложению Гаврилы Романовича, приняли даже Карамзина. Над каждым председателем разряда был поставлен ещё и попечитель — непременно действующий министр: Завадовский, Мордвинов, Разумовский, Дмитриев. Старые друзья и старые враги Державина — все оказались в сборе. Обилие благородных седин ослепляло. Регулярно издавались «Чтения в Беседе любителей русского слова».

В «Беседе» Шишков читал своё «Рассуждение о любви к Отечеству», которое воспринималось в 1811 году как проявление дерзновенного, несанкционированного свыше патриотизма. «Воспитание должно быть отечественное, а не чужеземное», — утверждал Шишков, и Гаврила Романович готов был подписаться под этими словами.

Державин чувствовал себя монументом на главном литературном перекрёстке. Пожалуй, он заблуждался, живая литература рождалась не на пышных заседаниях, но его почитали как патриарха — и это подслащивало дни отставки. Он да ещё Крылов — вот два столпа «Беседы», которых лихие супостаты — арзамасцы — старались не задевать. О значении Державина для этой академии расскажет один факт: после смерти Гаврилы Романовича заседания «Беседы» не возобновились, несмотря на рост административных возможностей Шишкова.

Не обходилось без конфликтов. Державин призывал вступить в «Беседу» Николая Гнедича — тот сказался больным. Гаврила Романович настойчиво повторял приглашение — по этим письмам ясно, что именно ценил Державин в «Беседе»: «…вы познакомитесь с первыми людьми в империи и нигде лучше талантов своих открыть не можете».

Гнедич, наконец, разобиделся, прочитав в приглашении, что его назвали «сотрудником», а не действительным членом. Он ответил Державину резким письмом. Но через некоторое время примирился с «Беседой»…

Тут в русской литературе возникает новый заметный автор, почётный член «Беседы», посещавший ещё литературные субботы, — Владислав Озеров. Свою первую знаменитую трагедию — «Эдип в Афинах» — Озеров посвящает Державину. «Посвящая Вам сию трагедию, не приношу моего дара тем достоинствам, по коим возведены Вы были на высокие степени государственные. Министры и правители подлежат суждению историка, который в тишине и молчании кабинета отважною рукою срывает завесу, опущенную на происшествия, и, не утомляясь, размеряет исполинские шаги превосходных умов и

успешное ползание хитрых и пронырливых. — Наука нравственная! Подобная той математической науке, о которой спорили Лейбниц и Невтон и по которой исчисляются величина и течение отдалённейших небесных светил и частицы самого мелкого насекомого; исчисление беспредельно великих и беспредельно малых количеств…» — гласило пышное посвящение, которое, однако, Озеров редактировал по мере разочарования в Державине.

Гавриле Романовичу многое не нравилось в Озерове. Трудно было простить его молодость, его успех у публики и — что страшнее — у государя. В «Эдипе» видели многозначительный намёк на отцеубийство, но Александр подарил драматургу и некоторым актёрам по перстню. Нашлись и идейные различия.

Дворянская гордость, феодальная независимость от государства, личная честь, которая важнее служебной, — вот идеалы Озерова. Не новая линия! В эту сторону клонил Сумароков. А бояре, перемётывавшиеся от русского царя к польскому королю, от Шуйского к Тушинскому вору, — разве не были они сторонниками феодальной независимости? У Державина были иные идеалы. Дворянство должно служить! И только усердная служба даёт право влиять на государство и на государя. Державин видел, к чему шляхетская демократия привела Речь Посполитую. А французские бедствия разве не с дворянских расхлябанных мечтаний начались? «Как жаль, что во Франции не нашлось дворянства» — так прокомментировал Суворов казнь короля Людовика.

А ведь там не нашлось именно служилого дворянства… Салонного и вольнолюбивого, досужего и рафинированного было сколько угодно. А вот самодержавной дисциплины не было. А великие империи рождаются и крепнут, когда государственная дисциплина стоит выше личного самолюбия.

Державин когда-то написал записку «О возмущениях и бунтах»: «Многочисленное дворянство приводит в скудость государство, многочисленное духовенство изнуряет державу. Сии два сословия пожирают существеннейшую часть всего государства, то есть народ, бдящий и трудящийся, между тем как другая часть дремлет, переваривает пищу и занимается разве тогда, когда настоит необходимое дело заняться утехами своими». Неожиданно резкий вывод ершистого правдолюба! Державин чувствовал, что наследники Петра разбазарили его наследие по части воспитания дворянства как истинной гвардии народа. Служба стала необязательной, высокие чины представителям родовитых семейств доставались без напряжения. Начался длительный процесс превращения дворянства в

очаровательную ненужность, в архитектурное излишество (сейчас этот путь, увы, повторяет интеллигенция). И всё-таки Державин верил, что дворянство ещё можно возродить. Оно действительно было опорой трона, а значит — залогом стабильности и «возлюбленной тишины» в стране. Внутренние противоречия, конечно, подчас взрывали эту тишину — но не так часто, как это хотелось советским историкам, которые преувеличивали остроту классовой борьбы. Они преувеличивали, а мы то и дело преуменьшаем.

Державин постоянно сталкивался с одичанием помещиков — представителей благородного сословия, с которым империя связывала лучшие надежды. Многие уверились: если родился барином — значит, с рабами можешь обращаться как угодно. Иные помещики, не сдерживая ярость, впадали в преступное опьянение властью. Крестьянам непросто было найти управу на озверевшего барина. На злонравных дворян ещё Антиох Кантемир поднимал бич сатиры. Не мог смолчать и Державин — не только в «Вельможе».

Трактат «О достоинстве государственного человека» отставной министр писал для «Беседы». Надеялся, что можно ещё исправить нравы, вернуть дворянам боевой дух и ощущение воинского долга. А тут — успех Озерова с его преклонением перед благородным одиночкой.

Озеровский «Димитрий Донской» рассердил Державина пуще прежнего: он не мог смириться с «подловатыми» характерами русских князей, которых драматург превратил в «модных влюблённых». Шишков с ещё большим жаром взялся за Озерова, написал построчный разбор трагедии, в котором камня на камне не оставил от «Димитрия Донского». Небывало шумный сценический успех Озерова Державин связывал с падением нравов — это они, питомцы Потоцкого, потерявшие дух воинственности, устраивают овации фальшивым речам Димитрия…

Между тем Державин изменяет Полигимнии — музе высокой поэзии — с Мельпоменой. Он вознамерился поставить на место всех новейших модных драматургов — и выдал собственную трагедию «Ирод и Мариамна». Но вышел почти провал. У актёров был некоторый успех — и представление дали несколько раз, но общее суждение о Державине-драматурге не окрыляло. Причём все последующие попытки утвердиться на сцене заканчивались ещё плачевнее: соратник по «Беседе» Шаховской, руководивший театрами Петербурга, не решился на постановку «Тёмного» и «Евпраксии», и оперные либретто Державина так и остались на бумаге. Гаврила Романович готов был из собственного кармана

оплатить все издержки постановок — но театральные заправилы избегали его. Их можно понять: не зря Мерзляков назвал драматургию «развалинами Державина». В его пьесах можно (при недюжинном энтузиазме) найти немало литературных достоинств, но природы театра Державин не чувствовал… Шаховской было согласился на постановку «Евпраксии» на деньги Державина, но мудрый актёр и соратник по «Беседе» Иван Дмитревский, боявшийся катастрофы, дипломатично убедил Гаврилу Романовича поставить трагедию в домашнем театре. А ведь в «Евпраксии» было немало воинственных призывов, в которых сквозило неприятие Тильзита. Отважно и вызывающе звучало предисловие Державина — о том, что кочевники и иноверцы терзали Русь вплоть до Ивана Грозного, до покорения Казани. «Но если бы предки наши отступились от веры, охладели в любви к отечеству и верности к государям, тогда уже Россия давно бы не была Россиею. Заключим изречением Соломона: Нет ничего нового под солнцем». Намёк прозрачный. Ностальгически поведал Державин в предисловии и о величии победной эпохи Великой Екатерины. Возможно, у трагедии нашлись бы поклонники из числа рьяных патриотов, но не судьба. «Евпраксию» театры не приняли.

После таких конфузий трудно удержаться от интриг против удачливого соперника, которому государь подарил уже и перстень, и табакерку — как некогда дарили самому Державину за государствообразующие оды. Державин и не удержался. Он, конечно, оказался не единственным недругом Озерова, но действовал против него со сноровкой опытного политика.

Финал судьбы Озерова выдался без оваций и аншлагов. Его вынудили уйти со службы без пенсиона. Последняя трагедия — «Поликсена» — провалилась. Он удалился в своё имение — Красный Яр, что в Казанской губернии, там заболел психически, даже потерял способность говорить. И умер сорока семи лет, через два месяца после смерти Державина.

А Державин уже увлекался новым искусством — оперой, в которой узрел «живое царство поэзии; образчик (идеал) или тень того удовольствия, которое ни оку не видится, ни уху не слышится, ни на сердце не восходит, по крайней мере простолюдину… Волшебный очаровательный мир, в котором взор объемлется блеском, слух гармониею, ум непонятностию и всю сию чудесность видишь искусством сотворенну, а притом в уменьшительном виде, и человек познаёт тут всё своё величие и владычество над вселенной». Он написал шесть опер — «Добрыня», «Дурочка умнее умных», «Рудокопы», «Грозный, или Покорение Казани», «Эсфирь». Ещё две — «Батмендий» и

«Счастливый горбун» — не успел завершить, а ещё две — «Тит» и «Фемистокл» — перевёл с итальянского. С поразительным упорством Державин пытается создать жанр русской героической оперы, не забывая и об операх комических. Вот, скажем, «Дурочка умнее умных» — действо из истории пугачёвского бунта. Державину было что вспомнить о тех событиях. Юная Лукерья обманывает и побеждает атамана Железняка, а представители бюрократии оказываются врагами хуже Пугачёва. Одни фамилии чего стоят — Хапкин да Проныркин. В этой опере немало прозаических диалогов, и они весьма колоритны. Жаль, что такое свидетельство участника боевых действий кануло в архивах…

Державин не сомневался, что его оперы откроют публике мир русской истории, из которой следует извлекать уроки. Но, увы, ни одно державинское либретто не нашло своего композитора. Державин так и остался автором опер без музыки.

Драматургию — оперы и трагедии — Державин считал своей вершиной. Предполагал, что потомки, возможно, забудут его оды, но в трагедиях найдут зёрна мудрости и поэзии. Вот уж действительно: «Но пораженья от победы ты сам не должен различать». Когда молодой поэт Константин Батюшков называл Державина «певцом Фелицы и Василия Тёмного», не требовалось пояснений, что это ирония: настолько яркой казалась екатерининская ода, насколько блёклой — трагедия о Московской Руси. Хотя… Возможно, будущие поколения когда-нибудь с пользой для себя переосмыслят и этот тёмный угол державинской кладовки.

ЛИЦЕЙСКИЙ ЭКЗАМЕН

Царскосельский лицей (если угодно — Сарскосельский ликей) слыл символом александровской просвещённой России, выставкой просвещенческих достижений. Важнее, чем университет, важнее, чем академия. Просто — город Солнца, Телемское аббатство в дворцовом пригороде.

Не станем недооценивать Казанскую гимназию, но во времена юности Державина подобного учебного заведения быть не могло. Здесь во всём чувствовался царский уровень: воспитывали будущих соратников государя, управленцев «светлого будущего». В полной мере эти надежды оправдает лишь один Александр Горчаков.

Наверное, Державин относился к своему присутствию на лицейском экзамене как к ординарной повинности — возможно, приятной, но не более. Он увядал, старел и, не имея детей, грезил о наследниках и на государственном, и на поэтическом поприще.

Так случилось, что многие сегодня знают о Державине по двум строкам из «Евгения Онегина»:

> Старик Державин нас заметил
> И, в гроб сходя, благословил.

Правда, нынче массовый читатель и этих строк не знает. Скоро и «солнце русской поэзии» превратится в достояние немногих любителей словесности.

В 1835 году, 20 лет спустя, Пушкин записал свои воспоминания о том дне:

> «Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году, на публичном экзамене в Лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дождаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую „Водопад“. Державин приехал. Он вошёл в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: где, братец, здесь нужник? Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил своё намерение и возвратился в залу. Дельвиг это рассказывал мне с удивительным простодушием и весёлостию. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он

сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы: портрет его (где представлен он в колпаке и халате) очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочёл мои „Воспоминания в Царском Селе“, стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом…

Не помню, как я кончил своё чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять… Меня искали, но не нашли…»

Да, Пушкин, когда пришёл черёд мемуарам, писал о себе не в третьем лице…

Вот оно как: не успел Державин объявиться в Лицее — и сразу вопрос про нужник. Думаю, 35-летнему Пушкину, в отличие от юного Дельвига, это нравилось. Державин не держал себя парнасцем, не был воздушным существом. Это и в лучших стихах Державина проявлялось. Пушкину нравился натурализм Державина, смачное описание собственных слабостей и грешков. Без этих мотивов непредставим стиль «Евгения Онегина». И в поздних стихах у Пушкина частенько мелькает державинское:

Да шей горшок, да сам большой.

В Лицее Пушкин ещё не вчитался в Державина, воспринимал его суть поверхностно. Он пребывал в том возрасте и настроении, когда хлебом не корми — дай поколебать основы. Иной раз под огонь молодой иронии попадал и Державин, сам того не зная. Но неполитесные замашки старого поэта Пушкину, верно, приглянулись. Да и впечатлительный Дельвиг всё-таки не до конца разочаровался в Державине. Узнав о смерти старого поэта, он сочинит длинный траурный гимн в античном стиле:

Державин умер! Чуть факел погасший дымится, о Пушкин!
О Пушкин! Нет уж великого! Музы над прахом рыдают!

Строка с упоминанием Пушкина в этом не по-державински возвышенном гимне будет повторяться до бесконечности.

…Этот эпизод вспоминали многие. К столетию Лицея Илья Репин написал одну из самых известных «литературных» картин: «Пушкин на лицейском экзамене». Фигура Державина у Репина излучает ту самую «живость необыкновенную». Сколько бы Державин ни говорил, что литература — это пустяки и баловство, а главное — насаждение законов, исправление нравов, управленческие успехи, но глаза его загорались, когда речь заходила о литературе.

Старик не принял в расчёт, что Пушкин упомянул и его вечного соперника — Петрова. Державина давно уже никто не ставил на одну доску с автором «Карусели». Но разве можно вести мелочные расчёты, когда звучит столь складная, осмысленная юношеская поэзия?

Писательская активность Державина в последние годы жизни поразительна. Погружаясь в собственные черновики, он, конечно, интересовался литературными новинками, хотя приноровиться к новому стилю в драмах не мог. В последние годы, на склоне лет, Державин выстроил такие громады, как «Евгению. Жизнь Званская» и «Христос». А это — избранное из избранного в наследии Державина. В XX веке эти произведения назвали бы поэмами. Да, в них есть срывы: в некоторых строфах Державин сплоховал. Пушкин судил об этом беспощадно: «наш поэт слишком часто кричал петухом». Вскоре после триумфального выступления на экзамене Пушкин напишет озорную поэму «Тень Фонвизина» — разумеется, не для печати. В этой шутливой поэме появляется Державин — исписавшийся, недалёкий «татарин бритый». С юношеской жестокостью (не так ли Державин в своё время ранил Сумарокова?) Пушкин заключает:

И спотыкнулся мой Державин
Апокалипсис преложить.
Денис! он вечно будет славен,
Но, ах, почто так долго жить?

Старик, которому жить оставалось недолго, отнёсся к лицеисту куда добродушнее.

Державин не ждал от шестнадцатилетнего юноши столь зрелых, мастеровитых стихов — и поразился их стройности. Уж дядю Василия Львовича тот превзошёл точно.

«Моё время прошло. Теперь ваше время. Теперь многие пишут славные стихи, такие гладкие, что относительно версификации уже ничего не остаётся желать. Скоро явится свету второй

Державин: это Пушкин, который уже в лицее перещеголял всех писателей», — говаривал Гаврила Романович Сергею Тимофеевичу Аксакову, если верить воспоминаниям последнего.

В сверкающем зале Царскосельского лицея Державин прожил свой последний звёздный час: он благословил наше литературное будущее.

ТЕОРЕТИК

Державину претило механическое разделение оды на жанры — и он принялся излагать своё видение поэзии для заседаний и публикаций «Беседы». В «Рассуждении об оде» он предлагал классифицировать поэзию, приглядываясь к индивидуальному, личному стилю стихотворца. Есть ода Пиндарическая, есть — Анакреонтическая, есть — Сафическая и Оссиянская. Есть и Державинская — та, в которой истину царям говорят с улыбкой и в забавном русском слоге.

Митрополит Евгений воспротивился: «Советую вам не вооружаться против сего разделения поэзии. Оно не школярное, а коренное Греческое… Сие разделение по материям весьма естественно. А ваше разделение по песнопевцам вовсе не годится…» Державин нехотя согласился не дразнить в трактате классических гусей, но остался при своём мнении: «…педантские разделы лирических стихотворений я не очень уважаю, но чтоб не поднять всю ораву школ на себя, переменяю, несколько только касаясь».

Он и в литературе бывал то пылким правдолюбом, то утончённым политиком…

В конце концов, литературоведческие трактаты Державина не вышли за пределы «Беседы». Зато сегодня ни одно серьёзное исследование о русской поэзии XVIII — начала XIX века не обходится без цитат из «Рассуждения об оде».

Об оде (по существу — о всей поэзии) Державин писал вдохновенно. А что такое вдохновение? Державин даёт одно из самых поэтичных определений:

> «Смелый приступ, или громкое вступление, бывает от накопления мыслей, которые, подобно воде, стеснившейся при плотине, или скале, вдруг прорываясь сквозь оные, с шумом начинает своё стремление. Едва ли можно воспарять выше такового начала! Имеющий вкус тотчас остановится тут, где приметит себя упадающим. Но находятся однако оды, которые начинаются тихо и отчасу выше восходят своим парением. Бывают и такие, которые имеют ровное и прямое направление; а другие местами порывны и извивисты».

Добавьте «Рассуждение об оде» к «Объяснениям» — и получится уникальная книга о психологии поэтического творчества. В «Объяснении» Державин выглядит рационалистом,

а в «Рассуждении» демонстрирует темперамент и образное мышление. Державинский метод сочинения оды одновременно и прост, и сложен: найти тему, увлечься ею, а затем, оседлав Пегаса, отдать все силы, всю энергию в порыве вдохновения. Интонация придёт сама, если сила вдохновения велика.

Увы, «Рассуждение» Державина осталось непрочитанным. Жанр вышел из употребления — и исследование не понадобилось. У Пушкина есть стихи, которые можно было бы принять за оду: «В надежде славы и добра…», «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю…»), «Бородинская годовщина», «Клеветникам России». Многие наработки батальной оды Ломоносова, Петрова, Державина аукнулись в «Кавказском пленнике» и «Полтаве». В этих поэмах есть «одические» эпизоды. Но поэма, поэма романтическая — жанр, к которому Державин не обращался. Жуковский в молодые годы время от времени сочинял оды в честь монархов, но и тогда этот жанр был для него второстепенным. Утвердившись при дворе, он станет сочинять гимны империи и династии — положение обязывало, а мировоззрение не возражало. Но од больше не будет. Жуковский разрабатывал державинский жанр народной солдатской песни в честь государя, в честь героев.

Простота и напевность стали обязательным требованием к официальной придворной поэзии. Стихи Жуковского про Николая Первого тоже декламировали школьники и гимназисты:

Царь наш любит Русь родную,
Душу ей отдать он рад.

Прямо русская природа;
Русский видом и душой,
Посреди толпы народа
Выше всех он головой.
На коня мгновенно прянет,
Богатырь и великан,
В ратный строй командой грянет —
Огласит весь ратный стан.

Дважды Жуковский слагал стихи для гимна Российской империи. В первый раз — на английскую музыку, а затем — на музыку Львова. Первая строчка была неизменной: «Боже, царя храни!» А ведь автором предыдущего государственного гимна был Державин. Правда, «Гром победы» считается неофициальным гимном. Действительно, он посвящён не величию российского самодержавия в целом, а одному свершению — победе над

Османской империей, прорыву империи на Дунай, на Кубань и в Крым. А поводом для сочинения этого гимна был потрясший Европу победный штурм Измаила. Державин написал стихи, композитор Осип Козловский — мелодию бодрого полонеза. Козловский, белорусский дворянин, был учеником знаменитого Михаила Огинского. Офицер, прошедший дорогами Русско-турецкой войны, он пользовался покровительством Г. А. Потёмкина и Л. А. Нарышкина — известного мецената, в доме которого Державин и подружился с ним. В стихотворении 1799 года «На смерть Нарышкина» Державин напишет:

Где зодчества, убранства вкус
Ввели всех зрителей в восторг
И где под сладким пеньем муз
Козловского пленяли звуки!

Любители музыки только что на руках Козловского не носили — и Державин считал его одарённым композитором, ценил его реквием, написанный к погребению бывшего польского короля Станислава Августа. В кругу Нарышкина Козловского величали «создателем нового рода российских песен». Творческое содружество поэта и композитора не ограничилось «Громом победы». Салонным «шлягером» того времени стала «Пчёлка» — песня в русском духе, которую Козловский написал на стихи Державина. Некоторые строки той песни и поныне сохранились в народной памяти:

Пчёлка златая!
Что ты жужжишь?
Всё вкруг летая,
Прочь не летишь?
Или ты любишь
Лизу мою?

Тут же появилась пародия на «Пчёлку» — знак истинной популярности:

Каша златая,
Что ты стоишь?
Пар испущая,
Вкус мой манишь?
Или ты любишь
Пузу мою?

И так далее — не без шаловливого изящества.

Державин аккуратно переписал пародийные стихи рядом с напечатанной «Пчёлкой» прямо на странице «Анакреонтических песен». «Пчёлка» звучала повсюду даже через десять лет после смерти Державина. Любил эту песню М. И. Глинка. Он обучил «Пчёлке златой» свою младшую сестру. Людмила Глинка-Шестакова вспоминала: «Его очень забавляло, когда я это пела».

«Гром победы» — это, конечно, не ода. Народный гимн, песня — жанр менее ответственный. Не торжественный ямб, а танцевальный хорей. Вряд ли Державин предполагал, что это стихотворение, написанное как будто между прочим и спустя рукава, будет жить веками, а первая строка её навсегда станет крылатой.

Воспевание победы над турками и прославление Екатерины с годами стали восприниматься как историческое ретро. На мотив «Грома победы» слагались (ещё при жизни Державина) другие стихи — по мотивам злободневных событий: «Гром оружий, раздавайся! Раздавайся трубный глас, / Сонм героев, подвизайся, Александр предводит вас!» — так пели в 1812-м. В 1830–1831 годах — через 15 лет после смерти Державина — русские войска под командованием генерала Паскевича будут сражаться во взбунтовавшейся Польше. Жуковский напишет на мотив воинственного полонеза:

Раздавайся, гром победы!
Пойте песню старины!
Бились храбро наши деды,
Бьются храбро их сыны.

В те времена среди литераторов патриотического единства в трактовке польских событий не будет. Пушкин и Жуковский выступят по-державински как певцы империи. Но их товарищ, доброволец 1812 года Пётр Андреевич Вяземский, напишет в дневнике: «Как ни говори, а стихи Жуковского — вопрос жизни и смерти между нами. Для меня они такая пакость, что я предпочёл бы им смерть». Русский князь с пылом присоединился к европейскому общественному мнению. Во времена Державина такие рефлексии были редкостью. А тут Вяземский бушевал, понимая, что за ним будущее: «Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича». Не осмелился бы! Испугался бы «либеральной жандармерии». Вяземский, как мы видим, трезво

трактовал смысл гласности. Это — цензор, который посильнее царской цензуры. Не моги сказать, не моги даже подумать против стереотипов «хорошего тона». Вяземский до поры до времени одобрял этот диктат, но не строил иллюзий по поводу разноголосицы мнений. Когда либерализм стал повсеместной модой и показал себя во всей красе — тот же самый Вяземский (а жил он долго) превратился в самого едкого и прозорливого консерватора. Накануне Великих реформ он писал:

Послушать: век наш — век свободы,
А в сущность глубже загляни —
Свободных мыслей коноводы
Восточным деспотам сродни…

«Курам на смех быть вне себя от изумления, видя, что льву удалось, наконец, наложить лапу на мышь…» — это снова молодой Вяземский, который в благородном гневе не хотел задуматься: а почему Россия стала львом, а Польша — мышью? Не потому ли, что польские шляхтичи давно разучились подчинять личный гонор общей идее — идее сильного (да, авторитарного!) государства.

Целый век у России была объединительная идея — побеждать. Державин уловил её точнее и простодушнее других:

Воды быстрые Дуная
Уж в руках теперь у нас;
Храбрость Россов почитая,
Тавр под нами и Кавказ.

Всё — наше! Просвещение и Победа — вот пароль и отзыв русского XVIII века. А потом пришли сомнения. Явились утончённые господа, которых белым хлебом не корми — только дай поругать Россию, её свинцовые мерзости, её неповоротливость и жестокость. «Как сладостно отчизну ненавидеть», — напишет радикальный космополит Печерин. А Герцен в «Колоколе» даже Виктора Гюго привлечёт для антиимперской пропаганды во дни очередного Польского восстания.

Общество подвергнет обструкции Михаила Николаевича Муравьёва — 66-летнего старика, который действовал в Польше расторопно и несгибаемо. Внук Суворова, петербургский губернатор, отказался преподнести «людоеду» Муравьёву приветственный адрес. Тютчев (один из немногих поэтов, не

попавших под гипноз либерализма) обратился к внуку генералиссимуса с укоризненным посланием:

Гуманный внук воинственного деда,
Простите нам, наш симпатичный князь,
Что русского честим мы людоеда,
Мы, русские, Европы не спросись!.. «…»
Но нам сдаётся, князь, ваш дед великий
Его скрепил бы подписью своей…

Ну а потом в Английском клубе Николай Алексеевич Некрасов зачитал Муравьёву оду в духе победного XVIII века, но с новыми полемическими поворотами, неизбежными для 1860-х:

Мятеж прошёл, крамола ляжет,
В Литве и Жмуди мир взойдёт;
Тогда и самый враг твой скажет:
Велик твой подвиг… и вздохнёт.

Вздохнёт, что, ставши сумасбродом,
Забыв присягу, свой позор,
Затеял с доблестным народом
Поднять давно решённый спор.

Нет, не помогут им усилья
Подземных их крамольных сил.
Зри! Над тобой, простёрши крылья,
Парит архангел Михаил!

Тут уж шум поднялся невиданный. Некрасова проклинали, топтали, сделали «нерукопожатным» (словечко из другого времени, но смысл всё тот же).

Державин не знал подобных споров. Уж он бы воспел Муравьёва без сомнений! В его времена казалось, что вся страна охвачена порывом экспансии, трудами на укрепление империи. Обстановка восторга и жертвенности, сверхусилий и маршей. Мешали только трусы и штатские чистоплюи. Мешали масоны (некоторые, особо ретивые) и шпионы — но как же без них. Но были и у нас свои шпионы.

О русофобии Державин знал — в начале XIX века это слово писали с двумя «с»: руссофобия, а в остальном всё было так же, как в XX или нашем XXI веке. Но то была русофобия международная. Неудивительно, что в Париже и Лондоне

побаивались Россию — и со страху создавали образ огромной варварской державы, которая нависла над утончённой цивилизацией. Орды Аттилы, пришедшие с Востока, — отличная историческая аналогия.

В 1812-м Державин с тревогой расслышал топот «пятой колонны» — шаги звучали издалека. Но в 1860-е годы русские прогрессисты перещеголяли западных русофобов. На сцену вышло так называемое непоротое поколение — те, кто был воспитан через много лет после указа Петра Третьего «О вольности дворянства». Они сперва учились писать по-французски, а по-русски — как придётся. Некоторые уже и думали по-французски. Почти все они оказались пленниками моды — а Россия из моды вышла. Державин с ужасом узнавал, что многие русские дворяне — самые рафинированные, самые прогрессивные — восхищаются Бонапартом. Над интересами империи, которым Державин посвятил жизнь, они высокомерно посмеиваются. Космополитизм всегда нарциссичен, в его основе — снобизм по отношению к банальным идеалам большинства, к общепринятым нравам. Мы редко говорим о «феодальном космополитизме», с которым бескомпромиссно боролся первый русский император. Сейчас таких людей называют «креативным классом», во времена Державина в ходу были другие иноязычные словечки.

А в Европе продолжалась война всех против всех, в которой Россия играла ключевую роль.

ЮСТИЦИЯ, БЛЕСК, ШУМ…

На склоне лет Державин посвятил Ивану Дмитриеву надпись к портрету — по существу, эпиграмму:

Поэзия, честь, ум
Его были душою;
Юстиция, блеск, шум
Двора — судьбы игрою.

Нисколько не удивительно, что придирчивый к качествам администраторов Державин не верил в управленческие таланты мягкотелого Дмитриева. Нужно учитывать и глубинный пласт этой поэтической формулы: Державин примеривал судьбу Дмитриева к собственному поприщу, размышлял о взаимном влиянии политики и творчества. Сам же Дмитриев за десять лет до державинской «надписи к портрету» написал:

Державин в сих чертах блистает;
Потребно ли здесь больше слов
Для тех, которых восхищает
Честь, правда и язык богов?

Он равнялся на Державина, на державинскую принципиальность, на «честь и правдолюбие» ревнителя законов. Проштудировав Гоббса и Монтескьё, Ломоносова и Вольтера, Дмитриев уверился: для утверждения просвещённой монархии необходима стройная и исправно работающая правовая система. Эта вера и была идеологией Дмитриева.

Злонравных чиновников и отпетых взяточников на рубеже XVIII–XIX веков насчитывалось, конечно, меньше, чем в наше время. Управленческая система самодержавной Российской империи, как ни странно, была менее громоздкой, чем в наш век передовых технологий, которые, несомненно, должны бы упростить работу администратора. И всё-таки уже тогда (да и в гораздо более ранние времена!) нечистоплотность управленцев воспринималась как бич и позор Отечества. Не случайно именно к тем временам относится комедия Василия Капниста «Ябеда», в которой пьяные судьи распевают бессмертные куплеты («Бери, большой тут нет науки…»), — увы, они во все времена воспринимаются как смело актуальные. Иван Иванович Дмитриев

мог сполна оценить подтексты такой сатиры.

Родился будущий министр юстиции в селе Богородском Сызранского уезда Симбирской губернии, в родовом имении. Дыхание истории он прочувствовал в детстве, когда семья Дмитриевых вынуждена была переехать в Москву, спасаясь от пугачёвщины. Так судьбы Державина и Дмитриева пересеклись впервые — правда, без непосредственного знакомства. Гаврила Романович в те дни гонялся за Емелькой, болел, надеялся отличиться.

К тому времени Иван успел приобщиться к наукам и искусствам в благородных пансионах Казани и Симбирска. Учился он прилежно, любил поэзию и, если верить его мемуарам, одним из первых узнал и полюбил поэзию Державина — не ведая фамилии автора. Это случилось до повсеместной державинской славы, до «Фелицы». У Читалагайских од немного поклонников — тем ценнее признание Дмитриева. «К удивлению, должно заметить, что ни в обществах, ни даже в журналах того времени не говорено было ничего об этих прекрасных стихотворениях. Малое только число словесников — друзей Державина — чувствовали всю их цену. Известность его началась не прежде, как после первой оды „К Фелице“. Наконец, я узнал об имени прельстившего меня поэта; узнал и самого его лично, но только глядывал на него издали во дворце с чувством удовольствия и глубокого уважения. Вскоре потом посчастливилось мне вступить с ним в знакомство», — вспоминал Иван Иванович.

Не успели Дмитриевы обосноваться в Москве, как Пугачёв попал в ловушку. Его тоже доставили в Первопрестольную. Полвека спустя Иван Иванович воспоминал: «Жребий Пугачёва решился. Он осуждён на четвертование. Место казни было на так называемом Болоте. В целом городе, на улицах, в домах только и было речей об ожидаемом позорище. Я и брат нетерпеливо желали быть в числе зрителей, но мать моя долго на то не соглашалась. По убеждению одного из наших родственников, она вверила нас ему под строгим наказом, чтобы мы ни на шаг от него не отходили. Это происшествие так врезалось в память мою, что я надеюсь и теперь с возможною верностию описать его, по крайней мере, как оно мне тогда представлялось». Державин в те дни, верно, пребывал в Шафгаузене, свидетелем казни он не стал.

Вскоре после этих драматических событий Дмитриев поступает в лейб-гвардии Семёновский полк, квартировавший в Петербурге. Ему ещё не было четырнадцати, а блестящая служебная карьера уже началась. Как и Державин, поэзией Дмитриев увлёкся в гвардии. В столице он быстро сблизился с литературными кругами, тогда-то и познакомился с Державиным

и Карамзиным. С первым установились почтительные дружеские отношения, со вторым — лёгкие приятельские. В 1791 году в «Московском журнале», который издавал Карамзин, состоялись первые публикации Дмитриева, принёсшие поэту успех и у публики, и у критики. Озорная сказка «Модная жена» и песня «Стонет сизый голубочек…» навсегда остались самыми известными его произведениями. Стихи, положенные на музыку разными композиторами (наиболее известен вариант Ф. Дубянского), и сегодня воспринимаются как чистейший образец сентиментального искусства:

Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день и ночь:
Миленький его дружочек
Отлетел надолго прочь.
Он уж больше не воркует
И пшенички не клюёт:
Всё тоскует, всё тоскует
И тихонько слёзы льёт.

Трудно предположить, что автор этих нежнейших строк станет искушённым в политике специалистом по тайным поручениям.

В 1796 году Дмитриев вышел в отставку в чине полковника. То было время правления императора Павла, очень непростые годы для гвардейской элиты, к которой принадлежал Дмитриев. В том же году по навету он был арестован по обвинению в покушении на жизнь государя. Державин сочувствовал другу, пытался его выручить… Благодаря стараниям генерал-губернатора Н. П. Архарова вскоре выяснилось, что донос был ложным. Император лично объявил освобождённому Дмитриеву о его полной невиновности. Убедившись в верности отставного полковника, Павел назначает его обер-прокурором Сената. Так началась гражданская служба Дмитриева, сплошь связанная с юстицией. Позже тайный советник Дмитриев на пять лет удалился от службы, чтобы посвятить себя литературе и своим поместьям. Но с 1806 года он включается в политическую жизнь страны как один из видных деятелей эпохи Александра Первого, сенатор и прокурор.

В 1808 году Дмитриева направили в Рязань для следствия по делу злоупотреблений по винному откупу. Трудно не перепутать личный карман с государственным, когда речь идёт о «пьяных рублях». Поэт-сентименталист сумел быстро войти в курс дела, привлёк ушлых консультантов и выполнил щекотливое

поручение.

Вторым прокурорским подвигом Дмитриева стала костромская миссия, где посланец Сената «исследовал поступки» губернатора Николая Фёдоровича Пасынкова. Ох эти ревизии прошлых времён, сколько в них злободневного и для нашего XXI века!.. Бывалый моряк и лихой барин, Пасынков жил широко, любил праздники и приятные дорогостоящие причуды. И подчас занимал деньги у костромских купцов. Эту форму взятки в «Ревизоре» выведет Гоголь, она в ходу и в наше время. Не будем представлять губернатора Пасынкова исключительно в мрачных тонах. Здесь всё не так просто. Капитан 1-го ранга, он много сил уделял снабжению армии — и, надо думать, армейских денег (в отличие от иных губернаторов!) не присваивал. В 1812 году, во время Отечественной войны, Пасынков проявит себя энергичным организатором костромского ополчения.

Это объясняет, почему Дмитриев отнёсся к нему с симпатией, смягчив удар правосудия. Но в фактах разобрался и обо всём доложил. Только в 1815 году, после повторной ревизии, Пасынкова сняли с губернаторской должности и предали суду — на этот раз судьям пригодилось и досье, составленное Дмитриевым. Что ж, первый раз прощается, второй — запрещается.

Наконец под новый, 1810 год прокурорские заслуги Дмитриева были оценены высоким назначением. Отныне он — член Государственного совета, генерал-прокурор и министр юстиции. Пошёл по стопам Державина… При первом знакомстве с министерством Дмитриев заметил, что «многого не достаёт к успешному ходу этой машины» и требуются значительные изменения.

Нагромождение инстанций, волокита, дефицит квалифицированных чиновников — всё это, по мнению Дмитриева, чрезвычайно мешало работе ведомства. «Обращая особенное внимание к сенату, долженствующему быть образцом для прочих судилищ, я горел желанием охранить его достоинство, возвратить ему прежнюю важность», — признавался министр.

Подобно Державину, Дмитриев стремился сделать министерство доступнее для граждан, но вести структурную перестройку было трудно. В Европе начиналась большая война. Резонно, что управленческая система России приспосабливалась к армейским нуждам, и реформам Дмитриева не было суждено осуществиться.

Напряжение 1812 года, разумеется, сказалось на работе министерства. Дмитриев активно содействовал армии, давал

подробную юридическую оценку преступлениям оккупантов, пресекал и отечественных мародёров. Тем временем отношения с коллегами по правительству становились всё прохладнее. В своих оценках сдержанный Дмитриев никогда не учитывал придворную конъюнктуру, предпочитая руководствоваться логикой и деловой целесообразностью.

Вскоре он понял, что продолжать работу в Комитете министров не имеет смысла, и летом 1814 года император принял отставку министра юстиции. Дмитриев прощался с министерством не без грусти: ему не удалось преобразить работу российской юстиции, как мечталось. Но и после ухода из правительства он рассчитывал продолжить правоохранительную работу и вскоре получил такую возможность. К тому времени Иван Иванович Дмитриев по праву считался одним из самых дельных ревизоров. Принципиальность в битвах за правосудие он сочетал со спокойной рассудительностью, никогда не рубил с плеча, действовал системно и осмотрительно. Этим он отличался от Гаврилы Романовича — но и крепкой державинской хватки в делах у него не было. Ревнивец Державин не упускал случая указать приятелям на ошибки Дмитриева, который на посту министра работал с проволочками. Гаврила Романович вообще относился к нему покровительственно, называл в шутку «косым зайцем», окликал младшего товарища на «ты». А Дмитриев даже вспоминал о Державине с почтением.

Иван Иванович, подобно Державину, не входил в число любимцев Александра I, так называемых *молодых друзей царя.* Молва распространяла анекдоты о недоразумениях, происходивших между государем и его ключевым министром (не будем забывать, что при самодержавии монарх являлся непосредственным главой исполнительной власти). Рассказывали, что когда в очередной раз Ивана Ивановича обошла государева награда, он напрямую попросил у императора ленту Святого Александра Невского: «Негоже министру и генерал-прокурору ходить без знака монаршей милости. А с кавалерией и Сенат будет относиться к моим предложениям с большим пиететом». Министра наградили, но вскоре Александр иронически спросил его: «Ниже ли теперь придворные кланяются министру-кавалеру?» Дмитриев ответил вполне серьёзно: «Гораздо ниже, ваше императорское величество».

На самом деле Дмитриева наградили александровской лентой через полгода после назначения генерал-прокурором и министром, а это если и проволочка, то отнюдь не оскорбительная. Объективный анализ государственной карьеры Дмитриева показывает, что он никогда не был душевно близок

Александру, но царь уважал его как честного и просвещённого управленца и не терял из виду. Даже после отставки с министерского поста Иван Иванович не утратил императорского доверия. В 1816 году Дмитриева назначают главой Комиссии по оказанию помощи москвичам, пострадавшим в Отечественной войне.

Война оставила не только разруху, не только вдов и сирот, но и целый ряд запутанных правовых вопросов. Тысячи крупных и мелких собственников пострадали от войны и пожара. В первые годы после войны взлетают цены на строительные материалы и текстиль. Хрестоматийный пример: именно тогда в считаные годы сколотил капитал текстильный король, основатель династии Морозовых Савва Васильевич. Для семейства Морозовых это факт отрадный, но не для общества и государства… Москве не хватало не только мануфактурных товаров: откуда взяться рабочим рукам? Из дальних имений привлекали новых крепостных, и здесь, конечно, не обходилось без гоголевских махинаций. Без таких слуг Фемиды, как Дмитриев, рядовому московскому обывателю не продышаться бы от тисков новых «хозяев жизни», а по существу — от мародёров, которые наживались на послевоенных невзгодах. Среди миссий Дмитриева были и тайные: шпионаж в Европе набрал силу аккурат в период Наполеоновских войн.

Дмитриев по мере сил боролся с перегибами, пытался облегчить участь москвичей, зависимых от рыночной конъюнктуры, — дворян, мещан, работников… То и дело самого Дмитриева искушали «выгодными предложениями»: положение иногда обязывало поддаться, но принципы он ставил выше. Он понимал, что государству необходимо расширить штаты профессиональных, компетентных слуг Фемиды. Дмитриев составляет проект училищ законоведения для дворянских, купеческих и мещанских детей, предполагает открыть такие училища во многих городах России. Но… планы были признаны несвоевременными.

Державин наслаждался литературными беседами с Дмитриевым, позволял ему редактировать свои стихи, всегда похваливал сочинения Ивана Ивановича. Но после отставки Державину казалось, что приятель, обосновавшийся при власти, перестал относиться к старику с должным почтением.

Отставник Державин ласково попенял Дмитриеву в стихах, которые были опубликованы в «Вестнике Европы» в 1805 году — анонимно, но с красноречивым примечанием: «Автор не подписал своего имени — это и не нужно. Читатели узнают российского барда по напеву».

Видишь ли, Дмитрев! всего изобилье,
Самое благо быть может нам злом;
Счастье и нега разума крылья
Сплошь давят ярмом.

В доме жив летом, в раю ты небесном,
В сладком поместье сызранском с отцом,
Мышлю, ленишься петь в хоре прелестном,
Цвесть муз под венцом.

Дмитриев поспешил ответить — из-под его пера вышло изящное послание к Державину:

Бард безымянный! тебя ль не узнаю?
Орлий издавна знаком мне полет.
Я не в отчизне, в Москве обитаю,
В жилище сует.

Тщетно поэту искать вдохновений
Тамо, где враны глушат соловьев;
Тщетно в дубравах здесь бродит мой гений
Близ светлых ручьев.

Тамо встречает на каждом он шаге
Рдяных сатиров и вакховых жриц,
Скачущих с воплем и плеском в отваге
Вкруг древних гробниц. <…>

О песнопевец! один ты способен
Петь и под шумом сердитых валов,
Как и при ниве, — себе лишь подобен —
Языком богов!

Но Державин без сантиментов оставил последнее слово за собой. На этот раз он посвятил Дмитриеву «Цыганскую пляску» — почти без политических намёков:

Жги души, огнь бросай в сердца
И в нежного певца.

Правительственная среда переполнена интригами. Это приходится принять как данность — и не драматизировать!

Может сложиться впечатление, что Державин был вечной жертвой, а все остальные знай себе на него ополчались. Но если рассматривать под лупой судьбу каждого крупного государственного деятеля — получится та же картина. Кочубей, Ростопчин, Дмитриев, Вязмитинов — как они не похожи друг на дружку. Каждый то и дело оказывался в окружении врагов, для каждого из них родное ведомство в один прекрасный день превращалось в змеевник.

О ЖИЗНИ ЗВАНСКОЙ

Как бы ни восхищался Державин философическим спокойствием северной природы — жизнь отставника его угнетала. Раньше были времена, теперь настали моменты — песенка не из державинской эпохи, но здесь она к месту.

Почитывая Жуковского, Державин не только восхищался изяществом стиха, но и хватал себя за голову: да это же башня из слоновой кости! Мечты и уединение — это прекрасно, но поэзию нужно разглядеть и в будничном житейском шуме. Все зачитывались элегией «Вечер». Державин отдавал должное мастерству Жуковского — он с очаровательной лёгкостью выдыхает стихи:

Сижу задумавшись; в душе моей мечты;
К протекшим временам лечу воспоминаньем…
О дней моих весна, как быстро скрылась ты,
С твоим блаженством и страданьем!

Стихи певучие — ничего не скажешь. Державину никогда не удавалось выдерживать такой непринуждённый строй в двенадцати строках подряд. Другое дело, что не всякий образ можно выразить плавным и округлым стихом, иногда и косноязычие необходимо. Стихи должны не только ласкать, но и корябать — Державин это осознал ещё во времена их студийной работы со Львовым и Капнистом. Жуковский напоминал ему Львова.

Но не слишком ли изнеженный, ранимый, нервный получается у него автор, герой и адресат? Безвыходная грусть — причём грусть тихая, лишённая ярости. Если бы только одно стихотворение — «Вечер» — было написано в таком духе. Но Жуковский уже сочинил долгие вёрсты элегий, на них воспитывались поэты и читатели. Державину захотелось поспорить! А что, если воспользоваться размером «Вечера» (он гибок и податлив, под любую мысль подгоняется!) и написать балладу, которую можно будет сравнить с насущным хлебом, а не с пирожным. С брагой, а не с прихотливым заморским вином:

Дыша невинностью, пью воздух, влагу рос,
Зрю на багрянец зарь, на солнце восходяще,
Ищу красивых мест между лилей и роз,
Средь сада храм жезлом чертяще.

Иль, накормя моих пшеницей голубей,
Смотрю над чашей вод, как вьют под небом круги;
На разноперых птиц, поющих средь сетей,
На кроющих, как снегом, луги.

В конце июня Державина посетил преосвященный Евгений — самый желанный гость, неизменно вдохновлявший старика на литературные подвиги. Гаврила Романович встретил его с бурным радушием и даже набросал на обороте рисунка с изображением Званки изящный экспромт:

На память твоего, Евгений, посещенья
Усадьбы маленькой изображен здесь вид.
Гораций как бывал Меценом в восхищеньи,
Так был обрадован мурза-пиит.

Евгений улыбнулся и быстро ответил, вспомнив заранее приготовленные рифмы:

Средь сих болот и ржавин
С бессмертным эхом вечных скал
Бессмертны песни повторял
Бессмертный наш певец Державин.

Чем утешался отставник в северных краях? Ответ — в объяснениях к званской элегии — хотя это, между нами говоря, не элегия, не поэма и не ода: «Рыбная ловля, называемая колотом, в которой несколько десятков лодочек, в каждой с двумя человеками, спустя в воду сетки, тихохонько или лениво ездят и стучат палками в лодки, производя страшный звук, от чего рыба мечется как бешеная в реке и попадает в сетки». И в самих стихах:

Тут кофе два глотка; схрапну минут пяток;
Там в шахматы, в шары иль из лука стрелами,
Пернатый к потолку лаптой мечу леток
И тешусь разными играми.

Иль из кристальных вод, купален, между древ,
От солнца, от людей под скромным осененьем,
Там внемлю юношей, а здесь плесканье дев,
С душевным неким восхищеньем.

На реке — тихая пристань, где стояли лодка «Гавриил», по имени хозяина усадьбы, и ботик «Тайка», названный в честь собаки Державина. Он толкует о политике, вспоминает про Суворова, патриархально опекает крестьян — таков круг жизни Державина в последние годы. В «Жизни Званской» всё вышло как на хорошей фотографии. Обыкновенная жизнь, в которой без натуги проявляется трагический мотив, потому что герой стареет и уходит… Ведь это завещание:

> Ты слышал их, и ты, будя твоим пером
> Потомков ото сна, близ севера столицы,
> Шепнёшь в слух страннику, в дали как тихий гром:
> «Здесь Бога жил певец, — Фелицы».

«Шепнёшь» — и «гром!» — снова эти извечные державинские контрасты, которые высекают поэзию.

Уже во времена Грота, когда после смерти поэта не прошло и полувека, от державинской усадьбы остались одни легенды. «Плывя по Волхову, вы тщетно стали бы искать на возвышенном его берегу жилище поэта, двухэтажный дом с мезонином… Теперь ничего этого уже нет; видны только остатки крыльца, на месте же самого дома лежат разбросанные кирпичи и сложена груда камней». Всё исчезло. Сбылось — не впервые! — предсказание поэта:

> Разрушится сей дом, заглохнет бор и сад…

Sic transit gloria mundi — этот афоризм Фомы Кемпийского можно поставить эпиграфом ко многим лучшим стихотворениям Державина. Всё приходит в упадок, нет на земле ничего прочного. От великого до безвестного — один вздох. Где нынче князь Мещерский? В лучших мирах. А память о нём если и жива на земле, то лишь благодаря Державину. Где нынче князь Потёмкин, великий из великих? А Суворов? Ну, о Рымникском напоминает памятник на Марсовом поле. А человека нет — тепло его рук растаяло в воздухе. Воспевая героев, Державин всегда учитывал Смерть: она непреодолима, непобедима, и на земле только стихи, монументы и пересуды отчасти — лишь отчасти! — побеждают её.

«О Мовтерпий, дражайший Мовтерпий, как мала есть наша жизнь! Цвет сей, сегодня блистающий, едва только успел расцвесть, завтра увядает. Всё проходит, всё проходит строгою необходимостию неизбежимыя судьбины, и всё уносится. Твои

добродетели, твои великие таланты не могут дня одного получить отсрочки от времени», — писал Державин при горе Читалагае. Неумолимое пророчество. Теперь-то и пора раскрыть — кто такой этот Мовтерпий, адресат философских посланий Фридриха Великого. Державин, как всегда, не разобрался в правописании французской фамилии. Мовтерпий — это Мопертюи, любимец просвещённого прусского короля, великий французский математик, который в 1763 году возглавил геофизическую экспедицию в Лапландию.

ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Для отставника, которому перевалило за семьдесят, Петербург перестал быть суетным, хотя город после войны забурлил пуще прежнего. Город-то знай себе блистал да шумел, только Державин в своём дворце жил, как на отшибе. Долго он держался молодцом, а всё же от старости не отвертеться! В закатные годы он стал набожнее, жил по церковному календарю. Последний в своей жизни Великий пост соблюдал строго — пожалуй, как никогда. На мир взирал с благодушием, гостей окутывал лаской. Правда, Дарья не могла укротить страсти, ей вечно не нравился кто-нибудь из собеседников Державина, она не уставала строить маленькие домашние козни дальним родственникам поэта, приятелям, молодым литераторам, набивавшимся в ученики, маститым писателям, чиновникам, соседям… Власть Державина в доме ослабла.

Прибыл в Петербург выпускник Казанской гимназии Владимир Иванович Панаев — не только земляк, но и родственник Державина. Правда, седьмая вода на киселе: мать Панаева, Надежда Васильевна, урождённая Страхова, приходилась Гавриле Романовичу двоюродной племянницей. Но для бездетного старика такое родство оказалось поводом для опеки и дружбы. Тем более Панаев оказался деятельной личностью, к тому же сочинял стихи и поражал начитанностью. Державин советовал ему не бросать поэзию, следовать за римскими образцами. А Милена поглядывала на племянничка сурово. Но если бы не Панаев, кто рассказал бы о последних петербургских днях Державина с такой писательской зоркостью:

«Наступила страстная неделя. Гавриил Романович предложил мне говеть с ним, для чего я должен был каждый день приезжать обедать и оставаться до вечера, чтобы слушать всенощную. Но я воспользовался этим предложением один только раз, в понедельник; холодность хозяйки поставляла меня в неприятное, затруднительное положение: я отговорился большим расстоянием моей квартиры от их дома и тогдашней распутицей.

В Светлое воскресенье я, однако ж, приехал обедать и потом не был целую неделю. Прихожу во вторник на Фоминой. Гавриил Романович был один в своём кабинете; некоторые из шкафов стояли отворёнными; на стульях, на диване, на столе лежали кипы бумаг. Спрашиваю о причине: „Во вторник на следующей неделе уезжаю на Званку; не знаю, приведёт ли Бог возвратиться, так хочу привести в порядок мои бумаги. Ты очень кстати пожаловал, пособи мне“. С искреннею радостью принялся я за

работу. Беру с дивана большую пачку, вижу надпись: „Мои проекты“. „Проекты! Вы так много написали проектов и по каким разнообразным предметам“, — сказал я с некоторым удивлением, заглянув в оглавление. „А ты разве думал, что я писал одни стихи? Нет, я довольно потрудился и по этой части, да чуть ли не напрасно: многие из полезных представлений моих остались без исполнения. Но вот что более всего меня утешает (он указал на другую пачку): я окончил миром с лишком двадцать важных запутанных тяжб; моё посредство прекратило не одну многолетнюю вражду между родственниками“. Я взглянул на лежащий сверху реестр примирённых: это по большей части были лица знатнейших в государстве фамилий. Подхожу к столу, на котором лежали две кучки бумаг, одна побольше, другая поменьше. „Трагедии?! Оперы?! — спрашиваю я, тоже с некоторым, по неожиданности, удивлением. — Я и не знал, что вы так много упражнялись в драматической поэзии; я думал, что вы написали одну только трагедию ‘Ирод и Мариамна’“. — „Целых пять, да три оперы“, — отвечал он. „Играли ли их на театре?“ — „Куда тебе; теперь играют только сочинения князя Шаховского, потому что он всем там распоряжает. Не хочешь ли прочитать которую-нибудь?“ — „Очень хорошо“. — „Так возьми хоть ‘Василия Тёмного’, что лежит сверху; тут выведен предок мой Багрим. Да, кстати, возьми уж и одну из опер; но с тем, чтобы по прочтении пришёл к нам обедать в субботу и сказал бы мне откровенно своё мнение“».

Панаеву «Василий Тёмный» не пришёлся по душе. Тяжеловесная трагедия не достойна державинского пера — таков был его вердикт. Вот «Фелица» — и писана вроде бы на давно устаревшую злобу дня, и надежды на Екатерину давно перегорели, и анекдоты, которыми ловко жонглировал Державин, теперь нуждаются в объяснениях — а всё равно это истинная поэзия: «Богоподобная царевна киргиз-кайсацкия орды…» Но брякнуть Державину неприглядную правду про «Василия Тёмного»? Жестокая глупость, не более. Суббота приближалась! Панаев предпочёл увильнуть от разговора — хотя решение это было мучительным.

«Мог ли я нагло солгать пред человеком, столь глубоко мною чтимым: похвалить его произведение, когда убеждён был в противном. С другой стороны, как достало бы у меня духа сказать ему правду?! Я не знал, что мне делать, как выйти из трудного моего положения? Думал, думал и решился не ехать обедать. В этой решимости подкрепляла меня мысль, что может быть, по старости лет, по сборам в дорогу, Гавриил Романович как-нибудь забудет, что дал мне эти пьесы, что звал меня обедать. Вышло,

однако ж, напротив. В субботу, в седьмом часу вечера, докладывают мне, что пришёл швейцар Державина, известный Кондратий. Я тотчас надел халат, подвязал щёку платком, лёг на кровать и велел позвать посланного. „Гаврила Романович, — сказал Кондратий, — приказали вам сказать, что они сегодня дожидались вас кушать и очень сожалели, что вы не пожаловали; да приказали взять у вас какие-то ихние книги“. — „Ты видишь, — отвечал я, — что я нездоров, у меня сильно разболелись зубы; я таки перемогался, но кончилось тем, что не в силах был приехать, а дать знать о том было уже поздно; бумаги же хотел отослать завтра утром. Теперь возьми их с собою; да, пожалуйста, извини меня пред Гавриилом Романовичем“. Мне и теперь кажется, что я поступил хорошо, уклонившись, хотя, правда, и неделикатно и с примесью лжи от обязанности высказать Гавриилу Романовичу откровенное мнение моё о его трагедии и опере».

Между тем Державин попробовал себя и в комедии. Поэта потешало, что вокруг него крутились тёзки Кондратии. Это имя и в те годы было не слишком распространённым. «Сия домашняя комедия сочинена для детей по случаю, что у автора случилось вдруг в служителях три Кондратья, из которых один камердинер, другой садовник, а третий музыкант; и как они при одном случае, находясь в услуге, перемешались, то автор и написал сию комедию. В Петербурге она сделала некоторый шум, ибо думали, что она сатира на министров, которых называли Кондратьями и кои не знали своих должностей и кто из них был первый. Сия комедия была представлена племянницами автора Львовыми, которыя приехали в самом деле погостить к автору для его именин». Комедия, как водится, ничего не добавила к литературной славе Державина, но потешила, развлекла самого автора. Отныне, завидя своего Кондратия, он не мог спрятать добродушной улыбки.

Державин всё тщился уверить себя: драматургия — восклицательный знак в финале его литературного поприща. Он в преклонном возрасте не пожалел времени и усилий на театральные распри — что ж, теперь признавать, что овчинка выделки не стоит? Опытный политик, Державин знал: нельзя признавать поражений. Затопчут. С кашей съедят. Репутацию победителя мы создаём себе сами. Политику необходимо ощущение победы, поэту — уверенность в том, что его вчерашние сочинения лучше позавчерашних. Об этой блажи Державина хорошо знал Сергей Аксаков, который скрасил последние месяцы жизни поэта своим художественным чтением. Ещё один частый гость и собеседник поэта в его последние годы.

«С глубоко растроганным сердцем вышел я из кабинета Державина, благодаря Бога, что он послал мне такое неожиданное счастье — приблизиться к великому поэту, узнать его так коротко и получить право любить его, как знакомого человека! Каким-то волшебным сном казалось мне всё это быстро промелькнувшее время! Державин знает, любит меня; он восхищался моим чтением, он так много говорил со мной, так много занимался мною; он считает, что я имею дарование, он говорил это всем, он сохранит воспоминание обо мне… Радостно билось моё сердце, и самолюбие плавало в упоении невыразимого восторга.

В исходе июля, собираясь уехать на десять лет из Москвы в Оренбургскую губернию, я узнал о смерти Державина. Ещё живее почувствовал я цену моего с ним очень кратковременного, но полного, искреннего, свободного, кабинетного знакомства. Итак, скромный путь моей жизни озарился последними лучами заходящего светила, последними днями великого поэта! Тридцать пять лет прошло с тех пор, но воспоминание об этих светлых минутах моей молодости постоянно, даже и теперь, разливает какое-то отрадное, успокоительное, необъяснимое словами чувство на всё духовное существо моё».

В глубокой старости Державин приобрёл нескольких молодых приятелей — не друзей, но именно приятелей, способных на литературный разговор, годных и к литературной потехе. Но весна клонилась к лету — и следовало переезжать на Званку, подальше от петербургских литературных разговоров.

19 марта 1816 года Россия отмечала День победы, увы, совершенно забытый в наше время: двухлетие вступления русской армии в Париж. В Петербурге состоялся парад. К этой дате Державин написал стихи, и — его коляска направилась к новгородским краям.

А ЕСЛИ ЧТО И ОСТАЁТСЯ…

В кабинете Державина висела знаменитая в те времена карта-таблица «Река времён, или Эмблематическое изображение всемирной истории от древнейших времён по конец осьмого надесять столетия». Составил эту карту немецкий учёный Фредерик Страсс. Он схематически изобразил историю цивилизаций в виде речных потоков. Державин вглядывался в эту новинку — и предавался раздумьям…

Он не любил беспокоить близких своими старческими недомоганиями. Не кокетничал, а действительно избегал жалоб и ненавидел медицинскую канитель. Даже перед прислугой не любил выглядеть пациентом.

В последнюю зиму Петербург его тяготил, и дело не в политике. Он смирился с правлением императора Александра, система Священного союза казалась крепкой и почётной для России. Наполеон, терзавший Европу 20 лет, повержен. Стоит в Петербурге памятник Суворову — первый в России скульптурный монумент не монарху, а воину. Стоит и памятник победам Румянцева. А значит, не умерла память о подвигах Екатерининского века. Державина огорчали литературные распри, он хотел бы примирить «шишковистов» и «карамзинистов», но молодые да и солидные писатели заиграли в войну… А Державин не разучился наслаждаться поэзией. Не всё ему нравилось у новых авторов — куда-то пропала торжественная звучность, да и в жанре «смешанной оды» у Державина так и не нашлось достойного преемника.

Считается, что поэтический расцвет Державина пришёлся на 1790-е годы, а в XIX веке началось угасание. Конечно, на седьмом и восьмом десятке непросто рождать шедевр за шедевром.

Но Державин и в преклонном возрасте оставался поразительным поэтом. История русской поэзии богата — три с половиной века бьёт родник. Но кто из шестидесятилетних и семидесятилетних поэтов сравнится с Державиным? А уж последнее его стихотворение — незавершённое, быть может, черновое — невозможно вычеркнуть из любой русской антологии.

«Река времён»… Загадочное восьмистишие — возможно, начало задуманной Державиным пространной оды «На тленность». Хотя не всегда первые написанные строки становятся началом стихотворения. В поэзии Державина рассыпано немало оптимистических оценок собственной посмертной судьбы: «А я пиит — и не умру». Не без основания надеялся он остаться в памяти и службой на благо правосудия. А тут вдруг впал в грусть,

едва не доходящую до чёрного уныния. Легче всего предположить, что в следующих строфах поэт сформулировал бы антитезу унынию, обратился бы ко Всевышнему и утешился в молитве. Но ода называется «На тленность» — и одному Богу известно, куда завела бы Державина эта тема. Под старость он снова обратился к духовной лирике — и даже во дни войны с иноземными захватчиками работал над пространной одой «Христос». Русские полки воевали во Франции, загнанный Наполеон сражался из последних сил, бросая в бой мальчишек. Потом победители — монархи и дипломаты — решали будущее человечества в австрийской столице. Казалось бы, Державин должен был углубиться в плетения политических расчётов, а он писал:

Кто Ты? И как изобразить
Твое величье и ничтожность,
Нетленье с тленьем согласить,
Слить с невозможностью возможность?
Ты Бог — но Ты страдал от мук!
Ты человек — но чужд был мести!
Ты смертен — но истнил скиптр смерти!
Ты вечен — но Твой издше дух!

Получилась огромная богословская ода о Христе, взволнованное размышление о Богочеловеке, написанное на пределе уходящих сил. И вот — «река времён в своём стремленьи…».

Река времён пожирает всё — и дурное, и доброе. И Наполеона, и Суворова. Батыев и Маратов — и великомучеников. Вечная мельница — вроде тех, что можно встретить и в Званке, и в аракчеевском Грузине. Всё проходит, «всё вечности жерлом пожрётся», но разве наши старания напрасны? Оптимисты и жизнелюбы под старость лет нередко впадают в мизантропию. Неужто и Державин?

Недописанные стихи. Державин скептически оценивал свои возможности в малой стихотворной форме. Эпиграммы, надписи — как силён был в этих лаконических жанрах Сумароков! Пожалуй, Державин недооценивал себя. «На птичку», надписи к портрету Ломоносова и на характер императора Павла — разве это не победы поэта?

И восемь строк ненаписанной оды «На тленность» составили загадочное, но законченное стихотворение. По большому счёту, продолжение не потребовалось. А утешительная антитеза пускай подразумевается, остаётся в подтексте.

Восемь строк — и ни одного случайного или сомнительного слова. «Звуки лиры и трубы» — неужто можно чётче и яснее определить поэзию Державина, вообще поэзию XVIII века? Труба — это гомеровская линия, героика. Лира — анакреонтика Державина и его философские размышления в стихах. Само понятие «Река времён» связано, как это часто бывало у Державина, со зримым предметом. В 1816 году эти восемь строк вышли в журнале «Сын Отечества». Первая публикация! Там появилось и краткое примечание: «За три дня до кончины своей, глядя на висевшую в кабинете его известную историческую карту „Река времён“, начал он стихотворение „На тленность“ и успел написать первый куплет».

Последнее стихотворение Державина — самое загадочное. По какому маршруту старый стихотворец намеревался повести корабль философской оды? Эта тайна за семью печатями никогда не раскроется. Можно предположить, что вслед за пессимистическим утверждением первого восьмистишия должна была явиться антитеза. Оптимистическая, молитвенная — мол, всё на земле проходит, но мир Божий незыблем и на небе всё обретает вечный смысл.

Но поэт умер. На грифельной доске осталось восемь строк — не больше и не меньше. И никакого утешения. «Всё вечности жерлом пожрётся». И это — жизнелюбивый, полнокровный Державин. Даже не тёплый, а горячий в любом стихотворении, в любой реплике. Наверное, это к лучшему — стихотворение стало горше, крепче, в нём нет ни одного лишнего, случайного слова. Мы знаем эти восемь строк наизусть. А жизнеутверждающих строк у мурзы и без того немало…

Может сложиться обманчивое впечатление: а что, если Державин на закате дней разочаровался, впал в уныние, столь несвойственное ему в зрелые годы? Так бывает с сильными людьми: теряя здоровье, они предаются панике, скисают. Но это не про Державина! В старости, несмотря на недуги, он написал едва ли не лучшие стихи — да хотя бы эти последние восемь строк… Он всегда жил новыми стихами, счастливыми минутами, когда ощущаешь власть над словом, когда дух захватывает от полёта — и вдохновение (назовём это так) не оставило его до конца.

После взятия Парижа Державин задумал написать похвальное слово императору Александру. Летом 1814-го он попросил племянницу — Прасковью Николаевну Львову вслух читать ему панегирики разным историческим деятелям. От некоторых его клонило в сон, а вот похвальное слово Марку Аврелию Антуана Тома понравилось старику. Но в конце концов Державин прервал

чтение: «Я на своём веку написал много, теперь состарился. Моё литературное поприще закончено, теперь пускай молодые поют!»

И всё-таки он писал даже в последнее лето — и как писал! А жизнь званская тянулась медлительно. Только бездетные старики так влюбляются в собачек, как Державин в свою Тайку. Всегда он носил её за пазухой, поглаживал… О тех днях мы знаем по запискам Прасковьи Львовой.

Однажды сырым вечером, за пасьянсом, ему стало дурно, он скрючился, принялся тереть себе грудь. Позвали доктора. Державин постанывал, даже кричал от боли. Но всё же уснул в кабинете, на диване. Проснувшись, повеселел. Его уговаривали ехать в Петербург, к докторам — старик только посмеивался. Снова начались шутки, карты, чтения Вольтера… Через несколько дней, 8 июля, за завтраком он объявил: «Слава Богу, мне стало легче». По комнате летали ручные птицы, забавлявшие его. От обеда пришлось отказаться: врачи рекомендовали воздержание в пище. Но на ужин он заказал уху — и съел три тарелки. Тут-то ему и сделалось дурно. Доктор прописал шалфею, Львова советовала напиться чаю с ромом. «Ох, тяжело! Ох, тошно. Господи, помоги мне, грешному… Не знал, что будет так тяжело. Так надо. Так надо. Господи, помоги…»

Поздним вечером боль притупилась. Он попросил у всех прощения за беспокойство: «Без меня бы спали давно». И дал слово Дарье на следующее утро отправиться в Петербург. И вдруг он немного приподнялся, глубоко вздохнул — и всё стихло. Доктор сконфуженно поглядел на Львову. Комната наполнилась женскими рыданиями.

На аспидной доске остались написанные мелом восемь строк — тех самых.

Тело его покрыли простой кисеёй — от мух. Сосед — Тырков — всё тараторил: «Нужно сказать государю. Государь так его любил, он непременно захочет проститься». Император и впрямь находился поблизости — в Грузине у Аракчеева, это соседнее поместье. Но нет… У гроба стояли сыновья Капниста и Львова, а внук Фелицы отсутствовал, да и не узнал он вовремя о смерти Державина.

Прислуга в те дни перепилась — надо думать, от скорбных мыслей.

11 июля настало время последней службы. Вокруг гроба собрались священники. «Какое в нём было нетерпение делать добро!» — произнесла Прасковья Львова. Под погребальное пение гроб перенесли на лодку, и траурная процессия направилась к Хутынскому монастырю.

Увы, наша «любовь к отеческим гробам» переменчива. И

многие наши гении после смерти путешествовали в гробах по разным погостам. Вот и Державина сперва похоронили, как он и завещал, в Хутынском монастыре. Монастырские стены ветшали — а после 1917-го уже трудно было рассчитывать на ремонт. В древности Новгородскую землю обходили военные испытания. Войска Батыя не дошли до этих мест: то ли распутица помогла новгородцам, то ли выдохлись монголы в победных походах по Руси. Правда, много крови было пролито в междоусобицах. Здесь и Иван Великий дважды появлялся с войском, и его внук Иван Грозный покуражился, как нигде и никогда. А в XX веке древние стены и храмы Новгорода выдержали новое, невиданное, испытание. После освобождения Новгорода красноармейцы увидели развалины древнего детинца, увидели исполинские осколки памятника «Тысячелетие России». Великие наши монархи, полководцы, писатели, святители встречали освободителей на снегу. Низвергнутые, но непокорённые. В этой грандиозной скульптурной композиции нашлось место и для Державина, а вот для Ивана Грозного и адмирала Ушакова — увы…

Впрочем, Державин отсутствовал в первоначальном списке героев, который после консультаций с писателями и историками составил автор памятника Михаил Микешин. Александр Второй, прежде чем утвердить проект, предложил пополнить это благородное собрание изображениями двух недругов — графа Кочубея и Державина. Но общественное мнение сопротивлялось — и Микешин (поборник свободы!) поначалу добавил к своему списку не Державина, а Тараса Шевченко. После публикации «Записок» репутация Державина оказалась подпорченной: в нём видели устаревшего крепостника, льстивого вельможу, который понятия не имел об истинном общественном благе. Тогда шум подняли консерваторы, охранители монархии, — и из нового списка исключили Шевченко, актёра Дмитриевского и святого Митрофания Воронежского, а добавили Державина и императора Николая Первого. Сидит бронзовый Державин рядышком с Фонвизиным и зачарованно внимает актёру Фёдору Волкову, который витийствует, декламирует…

Появилась узнаваемая фигура Державина и в композиции другого известного микешинского памятника — Екатерине Великой в Петербурге.

После войны разрушенный новгородский памятник восстановили на удивление быстро: по-видимому, Сталин увидел в этом символический смысл: великая Россия не должна лежать в развалинах. А вот до Хутынского монастыря руки строителей долго не доходили. Оно и понятно: в руинах лежали дворцовые

предместья Петербурга. А Киев? А Минск? А Одесса, Севастополь, Смоленск? Обескровленная страна взялась воссоздавать святыни, архитектурные памятники, исторические проспекты и площади. Подчас реставраторы совершали чудеса. Но на многие памятники, особенно церковные, государство махнуло рукой. Напомню, никаких экспортных сверхдоходов у Советского Союза не было вплоть до 1970-х годов… И могила Державина — признанного классика русской литературы, которого издавали и изучали в школах, — долго пребывала в запустении.

Господин Великий Новгород принял гроб Державина. Его перенесли в Новгородский кремль из лучших побуждений. Здесь Державину могли поклониться туристы, братья-писатели. Могила Державина не стала самым посещаемым объектом — и всё же здесь она была доступнее, чем в полуразрушенном монастыре, отдалённом от туристических маршрутов. Вот загадка: Суворов родился в Москве, всю жизнь провёл в учениях и походах, где только не служил — а упокоился в Александро-Невской лавре, в славном пантеоне Российской империи. А ведь у него даже не было дома в Петербурге! Державин родился в Казани, но большую часть жизни — вплоть до последней своей весны — провёл в Петербурге. Там он беседовал с монархами, там возглавлял правительственные ведомства, там выстроил великолепный дом. Трудно представить Петербург без Державина. А похоронен поэт вдали от других екатерининских орлов, на тихом берегу Волхова.

Могила Державина несколько лет назад вернулась в возрождённый Хутынский монастырь.

А буквы на грифельной доске давно стёрлись.

ДОСТОЯНЬЕ ДОЦЕНТА

«К бессмертным памятникам Екатеринина века, без сомнения, принадлежат песнопения *Державина.* — Громкие победы на море и на сухом пути, покорение двух царств, унижение гордости Оттоманской Порты, столь страшной прежде для Европейских Государей, преобразование Империи, законы, гражданская свобода, великолепные торжества, просвещение, тонкий вкус, — всё это было сокровищем для гения Державина. Он был Гораций своей Государыни. В его творениях описывается самая домашняя жизнь и времяпрепровождение Императрицы, места, где она гуляла в часы отдохновения, где заседала с Мудрецами, дабы решить судьбу народов, где забавлялась играми своих приближённых. Всё это и теперь кажется для нас волшебным! Песни Державина будут драгоценны для русского вместе с славою Екатерины, с славою Румянцева, Орлова, Суворова и других знаменитых людей её времени» — это слова Мерзлякова. Вроде бы они совпадают с программой самого Державина:

Но если дел и не имею,
За что б кумир мне посвятить,
В достоинство вменить я смею,
Что знал достоинствы я чтить;
Что мог изобразить Фелицу,
Небесну благость во плоти,
Что пел я россов ту царицу,
Какой другой нам не найти
Ни днесь, ни впредь в пространстве мира, —
Хвались моя, хвались тем, лира!

Мой истукан, 1794

Эти строки восхищали Гоголя как пример искреннего царелюбия в поэзии. Но мало кто Гоголю вторил…

Золотой век русской литературы принёс новые ценности. «Модное остроумие» державинских времён превратилось в старомодное.

«По любви к отечественному слову, желал я показать его изобилие, гибкость, лёгкость и вообще способность к выражению самых нежнейших чувствований, каковые в других языках едва ли находятся», — здесь Державин вторит Ломоносову. Очень скоро его язык назовут варварским, даже вульгарным. Пушкин в письме

Дельвигу позволит себе неприятное высокомерие:

> «По твоём отъезде перечёл я Державина всего, и вот моё окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка — (вот почему он и ниже Ломоносова). Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии — ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы (исключая чего знаешь). Что ж в нём: мысли, картины и движения истинно поэтические; читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей богу, его гений думал по-татарски — а русской грамоты не знал за недосугом. Державин, со временем переведённый, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем об нём (не говоря уж о его министерстве). У Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь. Гений его можно сравнить с гением Суворова — жаль, что наш поэт слишком часто кричал петухом».

Что это — приговор? Или опрометчивая оценка, данная в 25 лет?.. Пушкин, не будучи восторженным последователем Ломоносова, не принимал и державинской ломки литературного языка. Поэтические исхищрения Державина поэтам золотого века представлялись наивными, да и этика отношений к государству, к карьере изменилась разительно. Но Пушкин столько черпал из Державина, что постепенно понял: за смелость и глубину образов, ассоциаций, эмоций можно простить многое.

По письму А. А. Бестужеву (1825) можно судить, каким усердным читателем Державина был Пушкин:

> «У нас есть критика, а нет литературы. Где же ты это нашёл? именно критики у нас и недостаёт. Отселе репутации Ломоносова и Хераскова, и если последний упал в общем мнении, то верно уж не от критики Мерзлякова. Кумир Державина ¼ золотой, ¾ свинцовый доныне ещё не оценён. Ода к Фелице стоит на ряду с „Вельможей“, ода „Бог“ с одой „На смерть Мещерского“, ода к Зубову недавно открыта… Отчего у нас нет гениев и мало талантов? Во-первых, у нас Державин и Крылов, во-вторых, где же бывает много талантов… Ободрения у нас нет — и слава богу! отчего же нет? Державин, Дмитриев были в ободрение сделаны министрами».

Державин для Пушкина выше талантов, он — гений.

Восторгались ли Державиным в XIX веке? Разумеется! В 1830-е годы читателей поэзии в России стало больше, а Державин оставался стихотворцем чтимым и читаемым. Потребовались и явились новые книги, заслуживающие внимания: прежде всего это четыре тома, изданные А. Ф. Смирдиным в 1831-м. По тогдашним законам наследники владели авторскими правами только 25 лет после смерти писателя — и в 1841-м перед издателями открылись заманчивые возможности. Вскоре в издательстве И. И. Глазунова выходят новые четырёхтомные «Сочинения», а в 1845-м в издательстве Д. П. Штукина — весьма содержательное собрание сочинений в одном томе — с «Рассуждением об оде», с читалагайскими одами и с предисловием Николая Полевого, который утверждал: «До появления Державина у нас не было истинного поэта». Правда, Читала-гай Полевой называл Читалагаром.

Во всех учебных заведениях, где изучали русскую словесность, звучали оды Державина, а педагоги — вслед за Мерзляковым — произносили похвальные речи о поэте. Они считали Державина самой величественной вершиной русской поэзии. Здесь первым следует назвать Степана Петровича Шевырёва. Он не только подражал Державину в стихотворчестве, он — историк литературы, критик — многое постиг в нём.

«Это сама Россия екатеринина века — с чувством исполинского своего могущества, с своими торжествами и замыслами на востоке, с нововведениями европейскими и с остатками старых предрассудков и поверий — это Россия пышная, роскошная, великолепная, убранная в азиатские жемчуга и камни, и ещё полудикая, полуварварская, полуграмотная — такова поэзия Державина, во всех её красотах и недостатках», — пишет Шевырёв.

Суд Белинского, разумеется, был строже.

Властитель дум, неистовый Виссарион примечал, что в поэзии Державина нет шиллеровских «возвышенных мечтаний» или «бешеных воплей души… как у Байрона». Что же, по Белинскому, составляло поэзию Державина, которую исследователь ставил достаточно высоко? Выходило, что в державинском стиле превалировали героизация эпохи и яркие портреты её героев: «Поищите лучше у него поэтической вести о том, как велика была несравненная, *богоподобная царевна киргиз-кайсацкия орды,* как этот *ангел во плоти* разливал и сеял повсюду жизнь и счастие и, подобно Богу, творил всё из ничего; как были мудры её слуги верные, её советники усердные; как герой полуночи, чудо-богатырь, бросал за облака башни, как бежала

тьма от его чела и пыль от его молодецкого посвисту, как под его ногами трещали горы и кипели бездны, как пред ним падали города и рушились царства, как он, при громах и молниях, при ужасной борьбе разъярённых стихий, сокрушал твердыни Измаила или перешёл чрез пропасти Сен-Готара; как *жили* и *были* вельможи русские с своим неистощимым хлебом-солью, с своим *русским сибаритством* и русским умом…» Писал он о Державине много, ярко и противоречиво — его упрекали, что он «судит о Державине… как о разбитой посуде», называли Геростратом. Николай Полевой говорил о «пигмейском суде» над Державиным. Но красоты поэзии XVIII века со всеми её смелыми открытиями после пушкинского благозвучия воспринимались, словно какофония.

К концу 1840-х — когда любители словесности «канонизировали» Пушкина — ещё явственнее стало казаться, что Державин устарел.

Ну а потом «порвалась цепь великая», начался предреволюционный раскол. Яков Карлович Грот (1812–1893) десятилетия работал над девятитомным собранием сочинений Державина — это был первый образец академического издания в русской науке. Какие там комментарии, как точен набросок историко-литературного контекста каждой оды! Грот создаёт дотошное биографическое исследование — «Жизнь Державина». Ни один русский писатель к тому времени подобной чести не удостоился, да и в XX веке у классиков русской литературы не нашлось такого же преданного и трудолюбивого исследователя. Между тем прогрессивная критика бранила Державина всё резче, а читатели подзабывали «певца Фелицы».

Кампания нападок началась после 1860-го, когда вышли в свет «Записки» Державина. О мемуарах поэта ходило немало слухов. А тут Пётр Иванович Бартенев — историк, прирождённый архивист — взял да и издал с некоторыми купюрами «Записки», снабдив их собственными примечаниями. И оказалось, что реальный Гаврила Романович не соответствует представлениям 1860-х годов о чести, благородстве, общественном благе, поборником которого в прежние времена называл Державина Рылеев. «В Державине стали отрицать всякое достоинство: его бранили в журналах и учебниках, бранили с профессорских кафедр», — вспоминал Грот.

> «Трудно найти образованного человека, который бы о поэтическом даровании Державина не имел наклонности думать, что это <…> кропотливая бездарность, сперва вызванная каким-нибудь

неразумным случаем, а потом находившая поощрение на новые подвиги в неразборчивости и некоторых других условиях тогдашнего времени», — писал анонимный рецензент в «Библиотеке для чтения». Но одного клейма ему оказалось маловато, он вошёл во вкус: «Не простой бездарности, но — и замечательной нравственной пустоты и даже значительной ограниченности умственных способностей». «Державин делал дела точно так же, как писал оды, — неуклюже, шероховато, бессвязно, напряжённо до тупости, растянуто до бессмыслия».

Кому надо — все знали, что рецензию эту написал главный редактор журнала Алексей Писемский.

Не менее суров был приговор журнала братьев Достоевских «Время». «…Пошлым образом осмеял человека, в лице которого восходила заря будущего России — пробуждалась русская мысль и, встряхнув с себя веками навеянный гнёт рутинных понятий и привычек, взглянула на события, проходившие перед ней, взглядом глубоким, свободным и отрадным», — бушевал журналист Дмитрий Маслов. Речь идёт, разумеется, о державинской оценке Радищева.

Оценка Чернышевского отличалась аналитической сдержанностью, но рецензию на «Записки» он назвал ёмко: «Прадедовские нравы». Нашлись у Державина и защитники: Аполлон Григорьев, Алексей Хомяков. Последний восхищался «Записками», всецело сочувствовал Державину в его борьбе с либеральными друзьями императора Александра. Но голоса защитников трудно было различить в хоре сокрушителей.

Устарел Державин?

Но он никогда не устаревал для того же Достоевского, который на собрании петрашевцев с гневным пафосом декламировал «Властителям и судиям». Не просто декламировал, а защищал Державина! Дело было в кружке поэта С. Ф. Дурова. Речь зашла о Державине — и «кто-то заявил, что видит в нём скорее напыщенного ритора и низкопоклонного панегириста, чем великого поэта. При этом Ф. М. Достоевский вскочил как ужаленный и закричал: „Как? Да разве у Державина не было поэтических, вдохновенных порывов? Вот это разве не высокая поэзия?“ И — зазвучало: „Восстал Всевышний Бог да судит…“».

Не устаревал для академика Я. К. Грота, который выпустил первое в России подлинно академическое собрание сочинений — и это было собрание сочинений Державина.

Для Марины Цветаевой, которая возродила в XX веке

яростную, никакой грамматике неподвластную эмоциональность Державина. Знак цветаевского преклонения перед поэтом XVIII века — в следующих строках одного очень личного письма: «Хотите — меняться? Мне до зарезу нужен полный Державин, — хотите взамен моё нефритовое кольцо (жука), оно — счастливое и в нём вся мудрость Китая. Или — на что бы Вы, вообще, обменялись? Назовите породу вещи, а я соображу. Я бы Вам не предлагала, если бы Вы очень его любили, а я его — очень люблю. Есть у меня и чудное ожерелье богемского хрусталя, — вдвое или втрое крупнее Вашего. Раз Вы эти вещи — любите» (О. А. Мочаловой, декабрь 1940 года).

Для многих «архаистов-новаторов» в поэзии XX века, первым из которых был, пожалуй, Владислав Ходасевич, написавший классическую книгу о Державине, а в стихах говоривший о своём «косноязычье» — несомненно, державинского происхождения.

Для Владимира Солоухина, которого изумляли богоискательские прозрения старорежимного поэта.

Для Иосифа Бродского, который не только ставил Державина выше Пушкина, но и попытался повторить (почему-то не вполне точно) форму «Снигиря» в оде «На смерть Жукова». Тут, конечно, важен не только прихотливый рисунок строфы, но и тема. Правда, Державин был другом Суворова, а Бродский мог судить о Жукове по слухам и пересудам. Бродский не был посвящён в тайны кремлёвского двора, но эффектно имитировал образ всезнающего придворного поэта. Нобелевского лауреата вряд ли устраивали политические воззрения действительного тайного советника, восхищал его державинский стих — непричёсанный, порывистый и вместе с тем имперский, монументальный.

Словом, поэты Державина не забывали никогда: к нему в XX веке в стихах обращались Мандельштам, Северянин, Вс. Рождественский, Шенгели, Антокольский, Самойлов, Чухонцев, Вознесенский, Минералов, Новиков, Евтушенко, Кибиров, Кушнер…

Ревизия так называемых «авторитарных ценностей», проходящая в нашем обществе в последние полтора десятилетия, коснулась и истории литературы — едва ли не в первую очередь. Нынче литература перестала интересовать исследователей в перспективе служения государству, народу, прогрессу. При этом подчас игнорируется или априорно признаётся недостойной серьёзного исследования социальная составляющая творчества — а ведь это один из самых цветущих садов русской литературы! Обделяет себя тот, кто не замечает глубинной связи с государственной идеологией русской литературы XVIII века, когда в поэзии господствовала не идея *свободы*, а идея светского

просвещения, то есть посильного служения поэзии на благо государства и общества.

Этот принцип был ключевым для мировоззрения многих литераторов того времени, и если сейчас кому-то эта эстетика кажется ущербной, всё равно она заслуживает столь же внимательного изучения, как и поэтическое творчество её апологетов. Необходимым наполнением поэзии был образ героя, служащий читателям примером различных добродетелей, иерархия которых диктовалась и авторским стилем того или иного поэта, и исторической целесообразностью. Необходимо добавить, что сложившаяся в то время национальная, а по-русски говоря — всенародная идея, вобравшая в себя, кроме литературных, целый ряд иных образов церковного и светского происхождения, способствовала утверждению в России XVIII века великой культуры, науки, армии; развитию промышленности и сельского хозяйства. Образы героев в поэзии, по выражению Д. Д. Благого, воплощали «национально-исторический подвиг». Национальный герой, отражение государственной идеологии в поэзии, *историзм* русской поэзии — вот позиции, интересующие нас с течением времени всё сильнее. И потому без Державина (как и без Суворова, Потёмкина, Кутузова) нам никуда.

Не до Державина было в двадцатые годы XX века. Почему-то идеологи первых лет советской власти к событиям прошлых веков относились с мерками XX века. А Державин был бесконечно далёк от революционного класса. Да и не было у нас в XVIII веке массового пролетариата! И всё-таки в 1933 году именно с Державина началась одна из лучших советских книжных серий — «Библиотека поэта», созданная по инициативе А. М. Горького. Предисловие (несколько настороженное) Ивана Виноградова, подготовка текстов Григория Гуковского — лучшие филологические умы открыли Державина читателю тридцатых годов.

Державина изучали в школе — в особенности «Властителям и судиям». Подчёркивалось всё вольнодумное, дерзновенное, что было у него. «Державин — бич вельмож» был актуален в тридцатые годы. А в предвоенное время по-новому зазвучали батальные гимны славных дедовских времён. Всенародным героем снова стал Суворов. В 1937 году широко отмечалось 125-летие Отечественной войны 1812 года, не говоря уже о столетии дуэли А. С. Пушкина…

К литературной классике стали относиться почтительно, как никогда. Только грустно, что казанский памятник великому поэту не уцелел — его восстановят уже в наше время.

В 1943 году, как водится, на государственном уровне

отмечали юбилей Державина — 200 лет. Патриотическая, батальная героика Державина в те дни зазвучала и в Москве, и в блокадном Ленинграде, в десятках университетов и педагогических институтах по всей стране — начиная с зала Чайковского, в котором торжественный вечер открыл Александр Фадеев.

Красная армия сражалась с врагом под Курском — и по-новому звучали старинные стихи:

О, исполать, ребяты,
Вам, русские солдаты,
Что вы неустрашимы,
Никем непобедимы.

Державиным научились восхищаться!

Событием стала юбилейная статья Павла Антокольского, опубликованная в газете «Литература и искусство». Советский поэт заключал: «Оказывается, он ещё очень молод, этот старик, и вылезает живым из своего ямба!»

Постепенно Советский Союз превратился в литературоцентричную державу. И для Державина нашлось место на литературном Олимпе. По сравнению с Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым, Толстым, Достоевским он пребывал на заднем плане. Но и Державин стал, если говорить языком того времени, «достоянием миллионов». «Коммунизм — это Тютчев, приходящий к зырянам, / Это грамотный чукча перед телеэкраном», — писал в те годы Лев Озеров, и это анекдотично только на беглый взгляд. Лучшие издания Державина — это несколько томов, в разные годы выходивших в «Библиотеке поэта», и «Анакреонтические песни», вышедшие в 1987 году в «Литературных памятниках» под редакцией Г. П. Макогоненко, Г. Н. Ионина, Е. Н. Петровой. Из других редакторов и комментаторов Державина упомянем Д. Д. Благого, И. А. Виноградова, А. В. Западова, А. Я. Кучерова, Л. И. Тимофеева, В. А. Приходько, П. Г. Паламарчука. Каждый из них преподносил Державина массовому читателю с толком и с душой — нам в пример.

А как читал Державина Николай Анненков — актёр Малого театра, который и после столетнего юбилея выходил на сцену. В его исполнении «Властителям и судиям» и «Бог» звучали как подлинные пророчества.

В серии «Жизнь замечательных людей» в 1958 году вышла монография Александра Васильевича Западова о Державине — труд филолога, замечательного публикатора державинской

поэзии. В те времена биографии русских монархистов в «ЖЗЛ» практически не появлялись, Державин стал исключением. Слишком велика была сила литературоцентризма в советские годы! За благословение Пушкина Державину простили борьбу против Пугачёва. Державина изучали в школе: мимоходом, но всё же изучали.

Олег Николаевич Михайлов в нашей словесности служит открывателем новых земель, в том числе и «хорошо забытых старых». Он стал первым исследователем Бунина — и писал о нём так, как будто речь шла не об антисоветчике-эмигранте. И о Державине он написал без оглядки на конъюнктуру. Просто объяснился в любви XVIII веку, временам, когда Россия крепко стояла на ногах и била врагов. В середине семидесятых михайловская повесть о Державине «Громовой пролети струёй» также вышла в серии «ЖЗЛ».

Для многих читателей первооткрывателем Державина стал Владимир Солоухин: его эссе «Посещение Званки» незабываемо:

> «Ничего от усадьбы Званки или даже от её планировки не осталось здесь, на высоком волховском берегу. Всё тут безнадёжно уничтожено, стёрто с лица земли. И всё-таки давайте преодолеем некоторую инерцию, опомнимся от первого впечатления и будем рассуждать так.
>
> 1. Державин — великий русский поэт, во всяком случае самый большой наш поэт восемнадцатого столетия.
>
> 2. Бывали ли случаи, когда погибшие мемориалы строили совершенно заново? Да, бывали. Даже дом Пушкина в Михайловском. Недавно от первого до последнего кирпича построили на Садовом кольце сломанный незадолго перед этим дом Грибоедова. Спохватились и построили. Уже надоевшим примером стал так называемый Старый город в Варшаве — Старо място, заново построенное после войны. Теперь рядом со Старым мястом от первого до последнего кирпича возводится поляками Королевский (или Варшавский) замок. Так что примеры есть».

Так рассуждал Солоухин, призывал восстановить не только усадьбу, но и Хутынский монастырь…

Рассказал он и о могиле поэта:

> «Сразу после войны, когда державинская могила оказалась среди руин, пошли по скорейшему и

легчайшему пути. Не стали восстанавливать из руин монастырский комплекс, а перенесли прах поэта в Новгород, где он сейчас и покоится в Новгородском Детинце (кремле) под скромным обелиском и под доской с надписью „Гавриил Романович Державин, действительный тайный советник и многих орденов кавалер“. Доска старая, перенесена с прежней могилы. Надпись меня позабавила, когда я её увидел впервые. В самом деле: Суворов обратился к Державину за красивой и торжественной (надо полагать) эпитафией на будущую могильную плиту. „Здесь лежит Суворов“, — ответил поэт незамедлительно. „Помилуй Бог, как хорошо!“ — согласился великий полководец.

Однако разницу в этих эпитафиях понять можно. У Суворова было много званий и орденов, но мы все и знаем, что их было много. Точно так же, как мы знаем, что Державин был великий поэт. А то, что он „действительный, тайный советник и многих орденов кавалер“, известно не каждому. Мы возвращались в Новгород уже к вечеру. И, кажется, не было недовольных, что вместо бесцельной и бездумной прогулки по Ильмень-озеру мы посетили Званку, которая ещё несколько часов назад была для большинства из нас если не пустым звуком, то чем-то смутно припоминаемым из далёкого школьного времени».

Благоговейное отношение к литературной классике в те годы не было редкостью. Солоухин подробно, темпераментно разобрал оду «Бог» — и ему удалось многим разъяснить, что Державин — не просто предтеча Пушкина или Тютчева, а суверенная сила, великий поэт.

Верой и правдой служил Державину Пётр Георгиевич Паламарчук: его литературным дебютом стала повесть «Един Державин», а уж потом Паламарчук публиковал и комментировал «Записки» Державина, его, казалось бы, канувшие в реку забвения прозаические отрывки. Прозу Державина — допушкинскую, труднопостижимую прозу — в 1983–1985 годах Паламарчуку удалось издать почти полумиллионным тиражом! И ведь не мариновались эти книги на прилавках, их действительно читали. Вот она, эпоха литературоцентризма и книжного бума. А главное — эпоха победившего Просвещения. Достаточно сказать, что в восьмидесятые годы переиздания «архаичного» Державина вышли общим тиражом более трёх миллионов!

Мы многое потеряли с восьмидесятых годов. Запретных тем

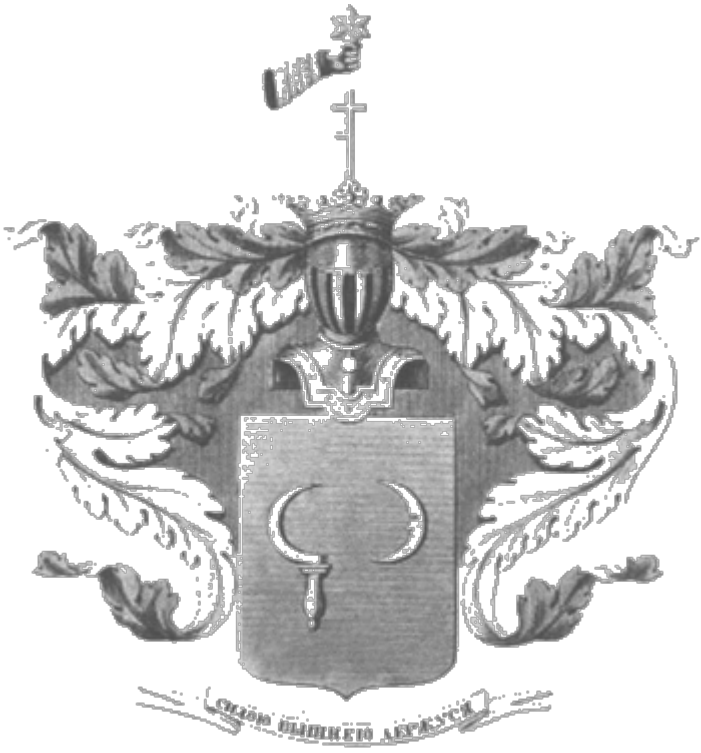
нынче не стало, но и наклонность к литературе, к просвещению в людях не воспитывается, а уничтожается. Судьба Державина нам в утешение. Из нищеты, из безвестности он — не считаясь с политесом! — возвысился и достиг не только «высоких степеней», не только монаршего доверия, но и бессмертия. Ведь он живой. Ведь мы учимся у него, разговариваем с ним. Падаем, как Державин, и пытаемся вставать, возрождаться — по примеру Гаврилы Романовича. И когда-нибудь споём полным голосом: «Гром победы, раздавайся!» И это будет не антикварный напев из старины далёкой, а гимн самой настоящей России, который отзывается в нашем сегодняшнем и завтрашнем дне. У Державина найдётся немало строк, которые напрашиваются в автоэпитафию. На его могильном камне можно было бы высечь стихи Капниста или Рылеева. Но у меня не выходят из головы строки, которые мы перечитали в эпиграфе:

Словом: жёг любви коль пламень,
Падал я, вставал в мой век.
Брось, мудрец, на гроб мой камень.
Если ты не человек.

Москва, 2012

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Державин. Художник И. Смирновский. 1780-е гг.



Герб Державиных

Покровская церковь в селе Сокуры. Современный вид

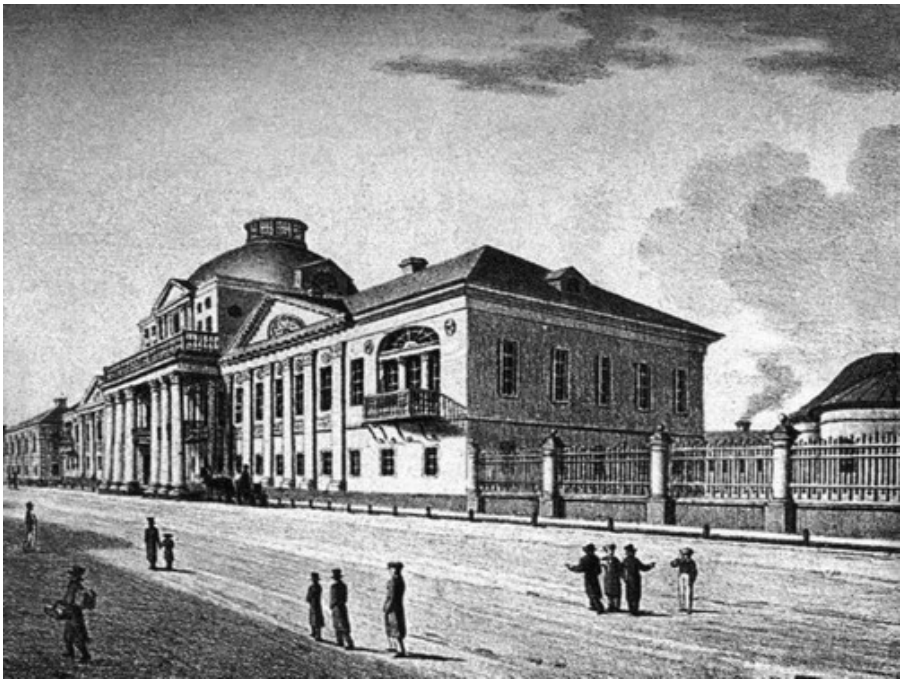
Михаил Васильевич Ломоносов

Александр Петрович Сумароков

Церковь Богоявления в селе Егорьеве Лашевского района. Рядом с храмом похоронены родители Державина

Императрица Елизавета Петровна

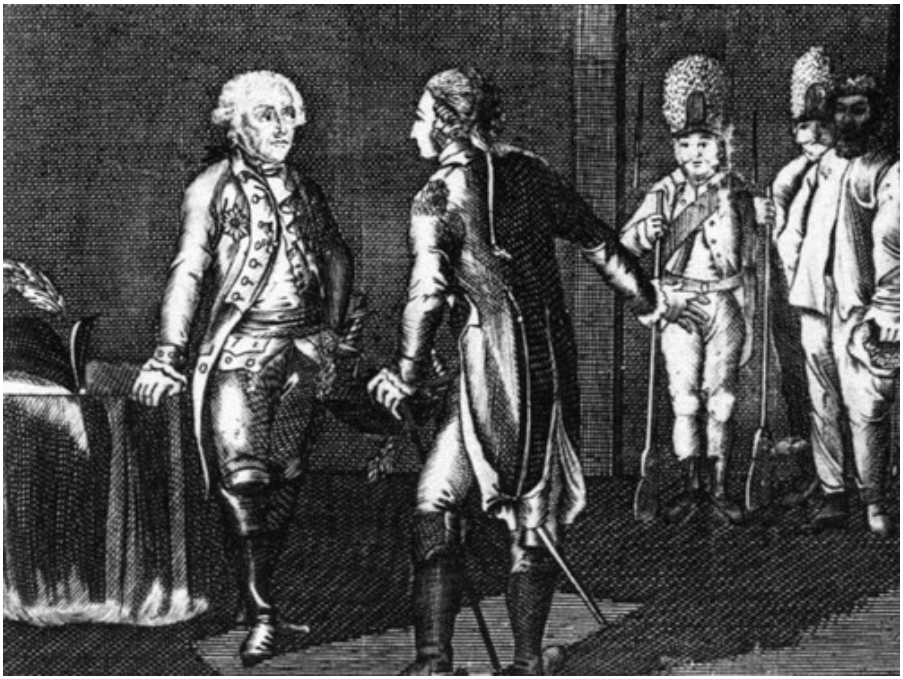
Император Пётр III



Казанская гимназия, в которой учился Державин. Со старинной гравюры

Генерал-аншеф Александр Ильич Бибиков

Емельян Пугачёв. Портрет, написанный поверх портрета императрицы Екатерины II



П. И. Панин принимает пленного Пугачёва у доставившей его воинской команды. Гравюра XVIII в.

Алексей Григорьевич Орлов

Княгиня Екатерина Романовна Дашкова

Къ царевнѣ Фелицѣ

Богоподобная Царевна,
Киргизкайсацкія орды!
Которой мудрость несравненна
Открыла вѣрные слѣды,
Царевичу младому Хлору [6]

Ода «К царевне Фелице». Страница из рукописного тома «Сочинений» Державина

Императрица Екатерина Великая

Генерал-прокурор Александр Алексеевич Вяземский

Осип Петрович Козодавлев

Здание Сената в Москве

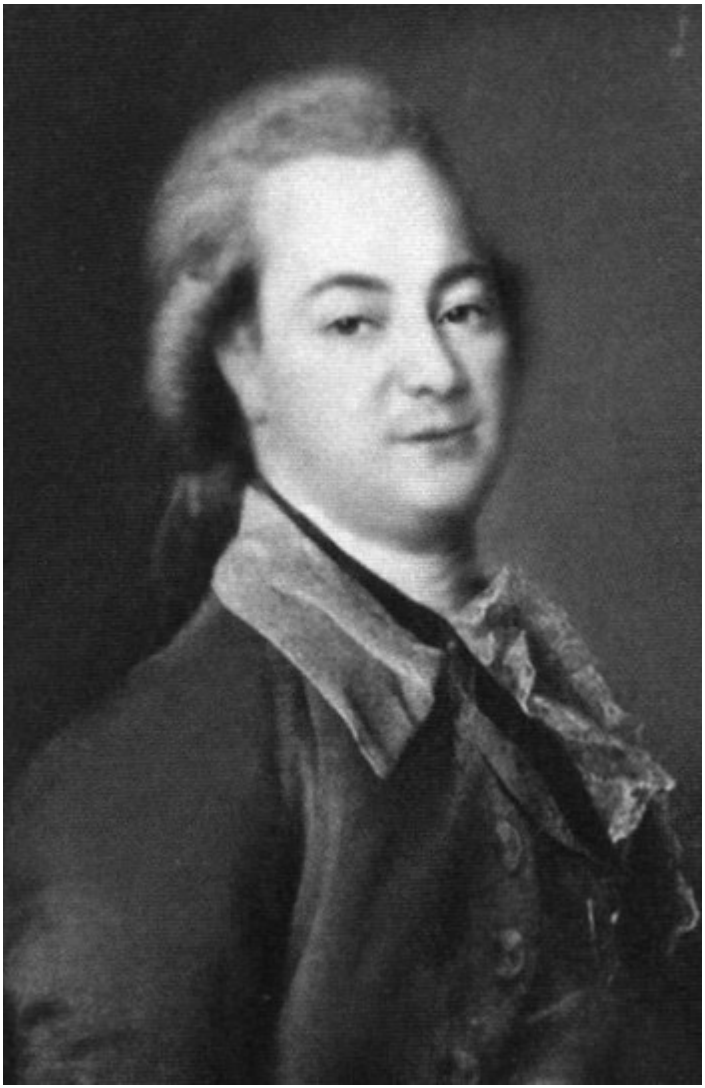
Князь Григорий Александрович Потёмкин

ВОДОПАДЪ.

Алмазна сыплется гора
Съ высоты четыреста скалами
Жемчугу бездна и сребри
Кипятъ внизу, бьетъ во верхъ буграми
Отъ брызговъ сихъ холмъ стонетъ
Дальнiй ревъ въ лесу гремятъ.

Ода «Водопад». Страница из рукописного тома «Сочинений» Державина

Генерал-аншеф Иван Васильевич Гудович



Александр Васильевич Храповицкий

Памятник Державину в Тамбове

Князь Платон Александрович Зубов

Граф Валериан Александрович Зубов

Памятник Державину в Казани

Ода Вельможа. Страница из рукописного тома «Сочинений» Державина

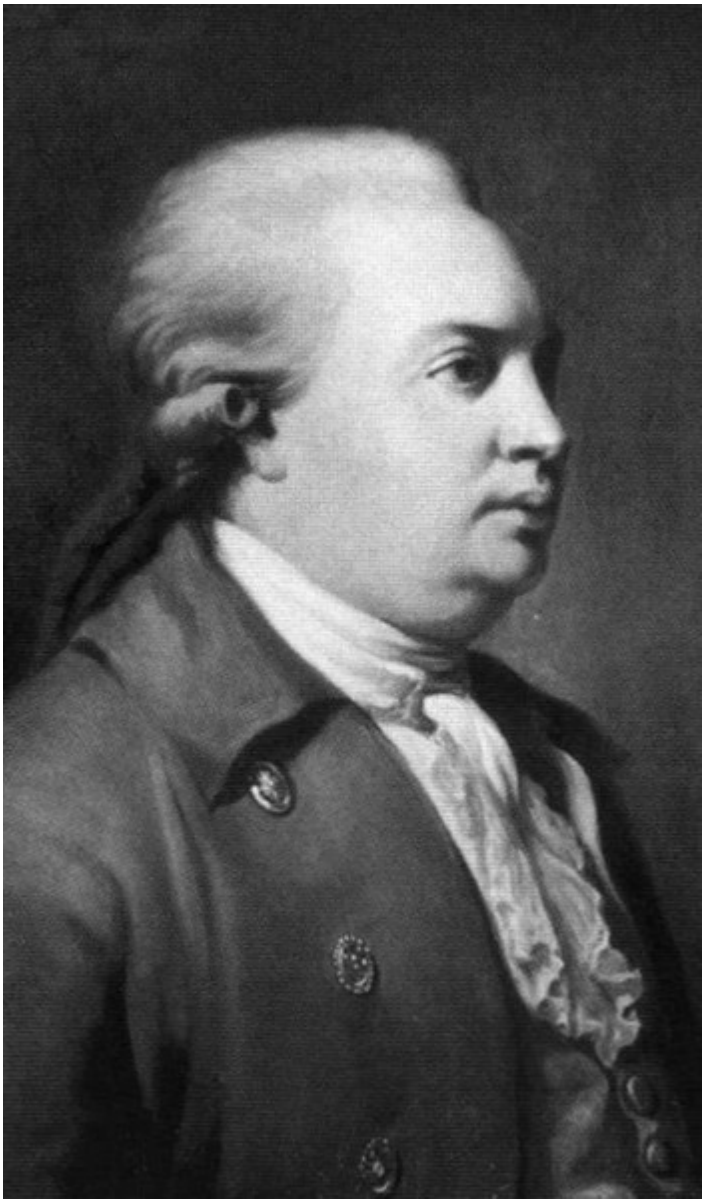
Граф Пётр Александрович Румянцев

Александр Васильевич Суворов

Атаман Войска Донского Матвей Иванович Платов

Михаил Матвеевич Херасков

Ермил Иванович Костров

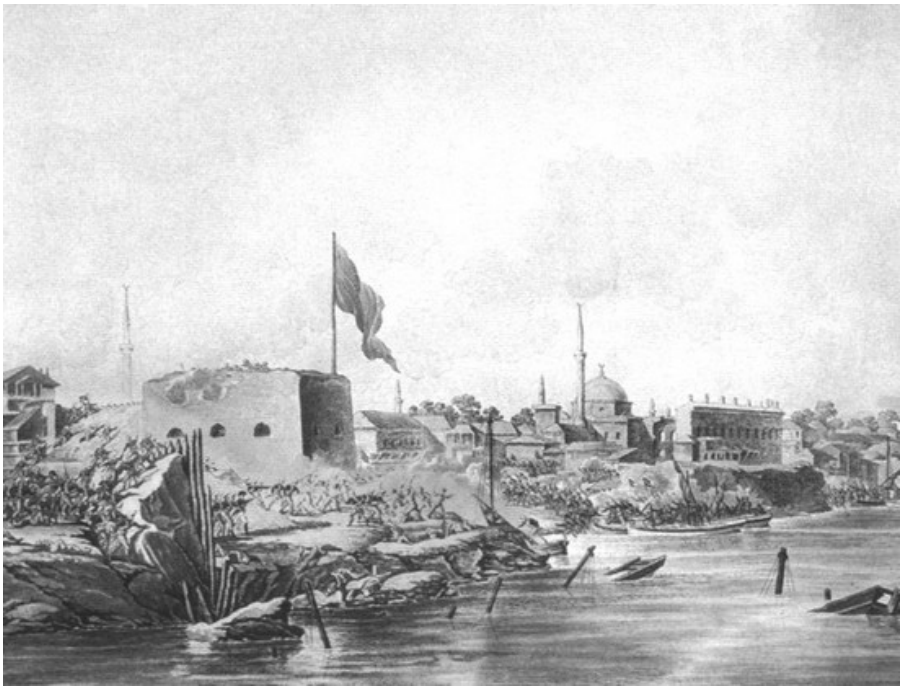


Денис Иванович Фонвизин

Василий Петрович Петров

Иван Семёнович Барков

Дмитрий Иванович Хвостов



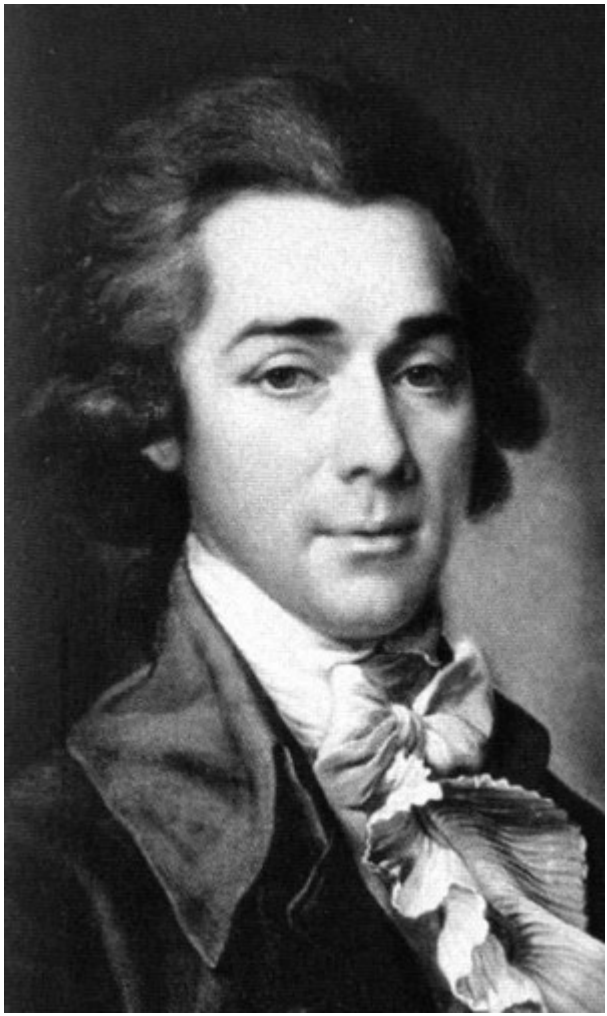
Штурм Измаила с речной стороны. Рисунок М. М. Иванова. Фрагмент

На темноголубомъ Ефирѣ,
Златая плавала луна,
Въ серебреной своей порфирѣ,
Блистающи съ высоты она,
Сквозь окны домъ мой освѣщала,
И палевымъ своимъ лучемъ,
Златыя стекла рисовала,
На лаковомъ полу моемъ.
Сонъ томною своей рукою
Мечты размягны разсыпалъ,
Кропя забвенія росою
Моихъ домашнихъ усыплялъ.

Ода «Видение мурзы». Страница из рукописного тома «Сочинений» Державина

Катерина Яковлевна Державина, урождённая Бастидон

Дом Державиных на Фонтанке. Современный вид



Николай Александрович Львов

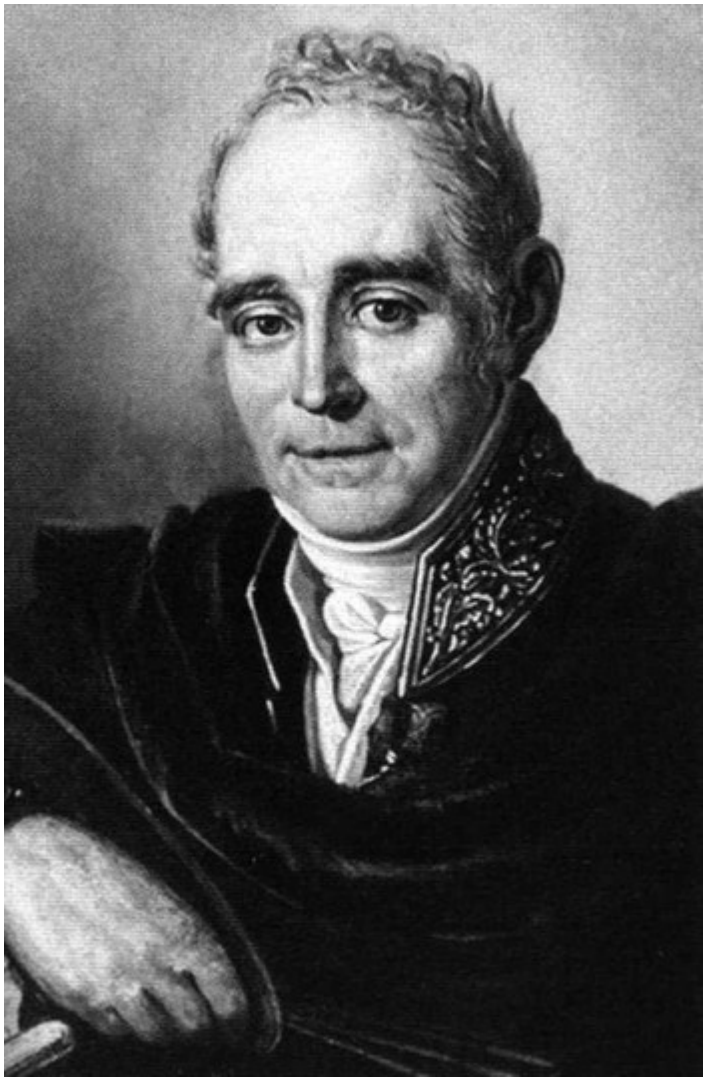
Музей-усадьба Державина. Интерьер одной из комнат

Василий Васильевич Капнист

Державин. Художник В. Л. Боровиковский. 1795 г.

Сальватор (Николай Николаевич) Тончи. Автопортрет

Алексей Николаевич Оленин



Владимир Лукич Боровиковский. Автопортрет

Иван Иванович Хемницер

Император Павел I

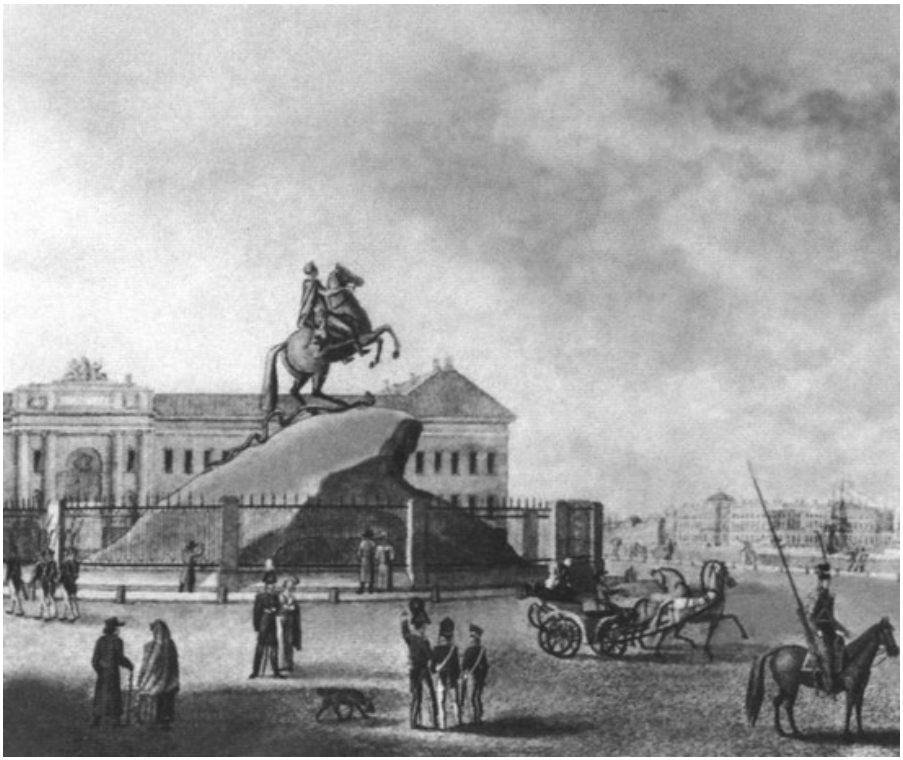
Император Александр I

На рождение въ съверѣ Порфирород-наго Отрока. 1779

Съ сильми Борей власами,
И съ седою бородой,
Потрясая небесами,
Облака сжималь рукой;
Сыпаль инѣи пушисты
И мятели возбиналъ;
Нелегающи льдисты,
Быстри воды оковалъ.
Вся природа содрогнула
Отъ лихова стариха;
Земля въ камень претворилась
Хладная его руна.
Увязали звѣри въ норы;
Рыбы крылись въ глубинахъ;
Пѣть не смѣли птичьи хоры;

Ода Державина «На рождение в севере порфирородного отрока» (будущего императора Александра). Страница из рукописного тома «Сочинений»

Князь Адам Чарторыйский

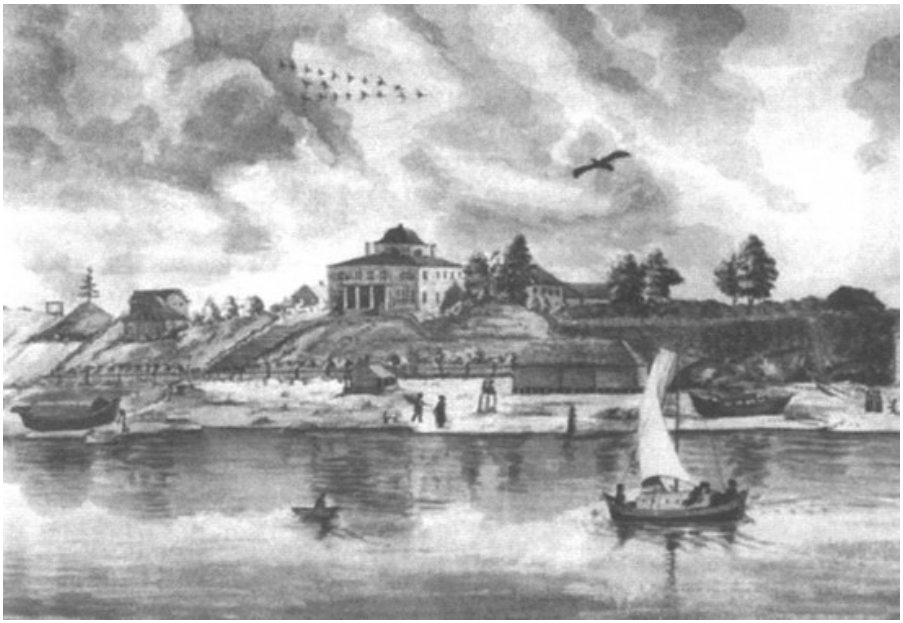


Сенатская площадь. Фрагмент гравюры. 1820-е

Северин Потоцкий

«Анакреонтические песни». Издание 1804 года

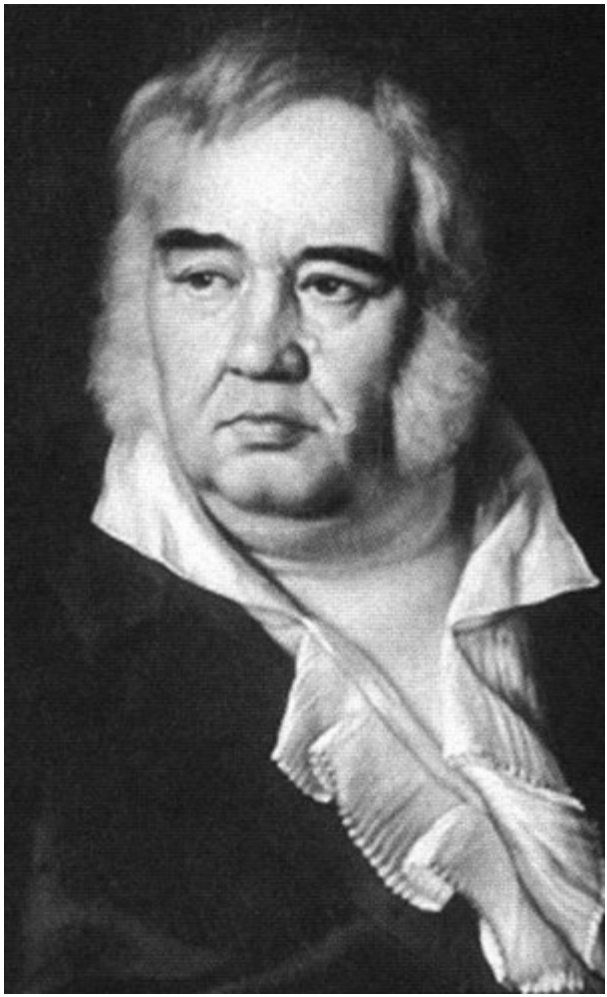
Дарья Алексеевна Державина (урождённая Дьякова)



Званка. Гравюра первой половины XIX в.

Адмирал Александр Семёнович Шишков

Вид Дворцовой набережной у Зимней канавки. К. П. Беггров. Вторая половина 1820-х — 1830-е гг.

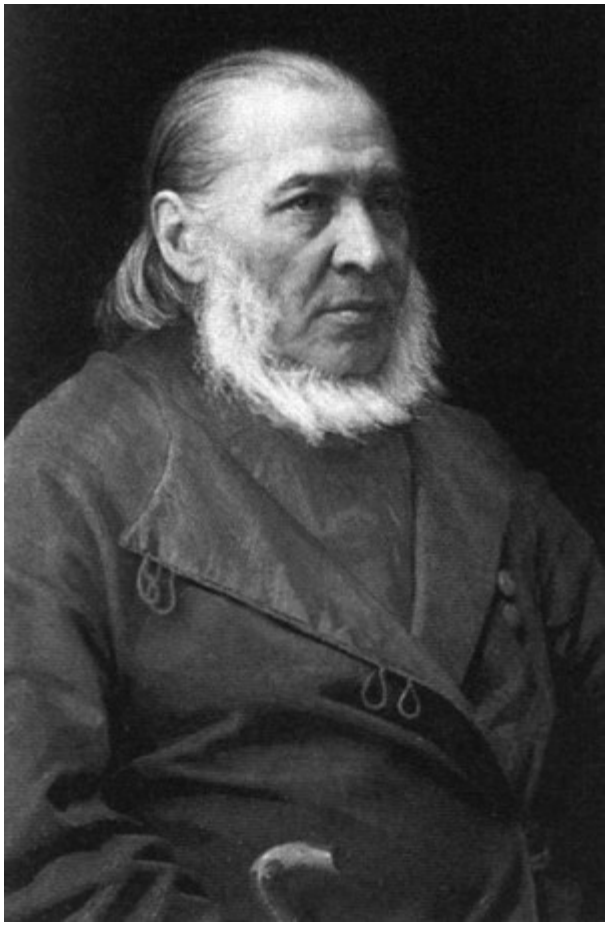


Иван Андреевич Крылов

Державин. Художник А. А. Васильевский. 1815 г.

Державин. Художник С. Тончи. 1805 г.

Митрополит Евгений (Болховитинов)



Сергей Тимофеевич Аксаков

Яков Карлович Грот

Николай Михайлович Карамзин

Василий Андреевич Жуковский

Пушкин на лицейском экзамене. И. Е. Репин. 1915 г.

Могила Державина в Хутынском монастыре

Гаврила Державин в группе русских писателей и художников. Фрагмент памятника «Тысячелетие России». М. О. Микешин. 1862 г.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Г. Р. ДЕРЖАВИНА

***1743**, 3 июля* — в семье офицера Романа Николаевича Державина и Фёклы Андреевны Державиной родился сын Гаврила.

1750 — в Оренбурге явился на смотр к губернатору Неплюеву и отпущен для получения образования.

***1754**, январь* — путешествие в Москву вместе с отцом.

Ноябрь — умер Роман Николаевич Державин.

***1759**, 21 января* — поступил в Казанскую гимназию в числе первых питомцев этого учебного заведения.

1760 — Державин — помощник командира Казанской гимназии Верёвкина по составлению плана города Чебоксары.

1761 — гимназист Державин участвовал в экспедиции в город Болгары, где составил план города, описание к нему, сделал зарисовки и собрал археологические находки.

***1762**, март* — зачислен солдатом мушкетёрской роты лейб-гвардии Преображенского полка.

28 июня — участвует в дворцовом перевороте, в результате которого на престол вступает Екатерина II.

***1763**, май* — произведён в капралы.

***1767**, январь* — произведён в сержанты.

***1772**, 1 января* — произведён в прапорщики (подпоручики) Преображенского полка.

1773 — первые публикации поэта. В журнале «Старина и новизна» напечатан перевод с немецкого «Ироида, или письма Вивлиды к Кавну». Отдельным изданием вышла ода «На бракосочетание великого князя Павла Петровича».

Ноябрь — Державин отправился в Казань как офицер секретной комиссии. Он служит под командованием генерала Бибикова, действуя против пугачёвцев.

1774 — знакомство с Суворовым.

***1775**, июль* — возвращение с мест, охваченных бунтом.

1776 — вышла в свет первая книга поэта — «Оды, переведённые и сочинённые при горе Читалагае 1774 года».

***1777**, февраль* — Державин получает награду за службу в секретной комиссии, его переводят в штатскую службу с чином коллежского советника.

Август — начало сотрудничества с генерал-прокурором А. А. Вяземским. Державин назначен экзекутором первого департамента Сената.

***1778**, апрель* — женился на Екатерине Яковлевне Бастидоновой (Бастидон) (1760–1794).

1779 — в «Санкт-Петербургском вестнике» появляются оды «На смерть князя Мещерского», «Ключ». Н. А. Львов, И. И. Хемницер, В. В. Капнист вместе с Державиным составили дружеский литературный кружок.

1780 — получает чин статского советника.

1783 — в первом номере нового журнала «Собеседник любителей российского слова» опубликована ода «Фелица», получившая признание императрицы и читающей публики.

Державина избирают членом Российской академии. В «Собеседнике…» публикуются оды «Решемыслу», «Благодарность Фелице» и др.

***1784**, февраль* — Державин получает чин действительного статского советника и уходит в отставку из сенатского департамента.

Державин создаёт оду «Бог». В том же году ода напечатана в «Собеседнике».

Май — Державин назначен губернатором Олонецкой губернии. Направляется в Петрозаводск.

1785 — путешествие Державина по Олонецкой губернии.

Декабрь — назначен губернатором Тамбовской губернии.

1786 — Державин энергично взялся задела в Тамбове. В городе затевается большое строительство. Губернатор открывает народные училища в Тамбове и уездных городах.

1788 — после конфликтов с генерал-губернатором Гудовичем отрешён от должности и отдан под суд.

1789 — Державин оправдан Сенатом.

Сентябрь — ода «Изображение Фелицы» упрочила положение поэта при дворе. Сближение с П. А. Зубовым.

1791 — Державин завершает оду «На взятие Измаила», она выходит тремя отдельными изданиями.

Апрель — Державин пишет стихи (в том числе — гимн «Гром победы») к торжественному приёму по случаю взятия Измаила. Праздник состоялся 28 апреля в Таврическом дворце. По заказу Потёмкина после праздника Державин составляет «Описание торжества в доме князя Потёмкина по случаю взятия Измаила».

Назначен кабинет-секретарём императрицы. Расследует щекотливые дела банкира Сутерланда, губернатора Якоби и др.

1793 — назначен сенатором с получением чина тайного советника и ордена Святого Владимира 2-й степени.

1794 — назначен президентом Коммерц-коллегии.

15 июля — умерла Екатерина Яковлевна Державина.

Державин завершает оды «Вельможа», «Водопад», пишет оду

«На взятие Варшавы».

1795 — вдовец Державин женится на Дарье Алексеевне Дьяковой. Державин пишет несколько анакреонтических стихотворений («Анакреон у печки», «Спящий Эрот» и др.). Слагает оду «Памятник» (первоначальное название — «К музе. Подражание Горацию»).

1796 — новый император Павел назначает Державина правителем канцелярии Верховного совета, но вскоре переводит его в Сенат.

1797 — Державин пишет оду «На новый, 1797 год».

1798 — вышел в свет первый том сочинений Державина. Державин пишет «Похвалу сельской жизни».

1799 — командировка в Могилёвскую губернию.

Державин приветствует победы Суворова в Италии и Швейцарии тремя одами.

1800 — на смерть Суворова Державин откликается несколькими стихотворениями, одно из которых — «Снигирь» — получает широкую известность.

Вторая командировка Державина в Белоруссию. Державин принимает энергичные меры для ликвидации голода и составляет записку «Об отвращении в Белоруссии голода и устройстве быта евреев». Державин удостоен командорского креста Святого Иоанна Иерусалимского и чина действительного тайного советника.

Август — Державин снова назначен президентом Коммерц-коллегии.

21 ноября — назначен вторым министром при государственном казначействе.

22 ноября — назначен государственным казначеем; переведён из межевого департамента в первый департамент Сената.

1801 — освобождён от поста государственного казначея и оставлен в Сенате.

1802*, сентябрь* — в России учреждаются министерства. Державин назначен министром юстиции и генерал-прокурором.

1803*, октябрь* — Державин «уволен от всех дел».

1804 — выходят в свет «Анакреонтические песни» Державина.

1807 — завершение и постановка трагедии «Ирод и Мариамна». Державин сочиняет стихотворения «Евгению. Жизнь Званская» и «Признание».

Февраль — начало регулярных литературных суббот с участием Державина.

1807–1808 — выходят в свет четыре части «Сочинений» Державина.

1809–1810 — поэт диктует «Объяснения на сочинения Державина относительно тёмных мест, в них находящихся».

1810 — Державин составляет «Мечты о хозяйственном устройстве военных сил Российской империи».

1811 — учреждение «Беседы любителей русского слова». Первое заседание — 14 марта, в доме Державина, который стал председателем второго разряда «Беседы».

Державин пишет «Рассуждение о лирической поэзии или об оде».

1812 — Державин пишет автобиографические «Записки», сочиняет «Гимн лиро-эпический на прогнание французов из отечества», составляет «Записку о мерах к обороне России во время нашествия французов».

1813 — последнее путешествие Державина по Российской империи.

1815*, 8 января* — Державин побывал на знаменитом «пушкинском» экзамене в Царскосельском лицее.

1816 — Державин начинает сочинять оду «На тленность» — «Река времён в своём стремленьи…».

8 июля — смерть Державина в Званской усадьбе.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Сочинения Державина. В 4 ч. СПб., 1833–1834.

Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. I–IX. СПб.: Изд. Академии наук, 1864–1883:

Т. I (1864): Стихотворения 1770–1796. Праздник в Таврическом дворце.

Т. II (1865): Стихотворения 1797–1808.

Т. III (1866): Стихотворения 1809–1816. Юношеские и неизданные произведения и пр.

Объяснения на сочинения Державина, им самим диктованные…

Т. IV (1867): Драматические произведения.

Т. V (1869): Переписка 1773–1793.

Т. VI (1871): Переписка 1794–1816. Записки Державина.

Т. VII (1872): Проза. Дополнения к переписке.

Т. VIII (1880): Биография Державина.

Т. IX (1883): Примечания и приложения, иконография, ноты, именной указатель.

Державин Г. Р. Стихотворения / Ред. и прим. Г. А. Гуковского; вступ. ст. И. А. Виноградова. Д., 1933 (Библиотека поэта. Большая серия).

Державин Г. Р. Стихотворения. Д., 1935.

Державин Г. Р. Стихотворения. 2-е изд. Д., 1947 (Библиотека поэта. Малая серия).

Державин Г. Р. Стихотворения / Вступ. ст. и об. ред. Д. Д. Благого; прим. А. В. Западова. Д.: Советский писатель, 1957 (Библиотека поэта. Большая серия).

Державин Г. Р. Стихотворения / Вступ. ст. и подг. текста В. П. Друзина; прим. А. В. Западова. Д., 1963 (Библиотека поэта. Малая серия).

Державин Г. Р. Стихотворения / Сост., вступ. ст. и коммент. А. Я. Кучерова; подг. текста А. Я. Кучерова, Е. В. Климановой. М.: Гослитиздат, 1958.

Державин Г. Р. Стихотворения / Послесл. Л. И. Тимофеева. М.: Советская Россия, 1972.

Державин Г. Р. Стихотворения / Вступ. ст., сост. и прим. В. А. Приходько. Петрозаводск: Карелия, 1984.

Державин Г. Р. Сочинения / Вступ. ст. И. И. Подольской. М.: Правда, 1985.

Державин Г. Р. Избранная проза / Сост., вступ. ст. и прим. П. Г. Паламарчука. М.: Советская Россия, 1984.

Державин Г. Р. Анакреонтические песни / Изд. подг.

Г. П. Макогоненко, Г. Н. Ионин, Е. Н. Петрова; отв. ред. Г. П. Макогоненко. М.: Наука, 1987 (Литературные памятники).

Державин Г. Р. Записки. М.: Мысль, 2000.

Державин Г. Р. Сочинения / Вступ. ст., сост. и прим. Г. Н. Ионина. СПб., 2002 (Новая Библиотека поэта).

Рукописный отдел Института русской литературы РАН. Ф. 96, 265.

Авдошенко Е. Поэт Г. Р. Державин в Тамбове. Тамбов, 1962.

Аксаков С. Т. Знакомство с Державиным // Собрание сочинений. М., 1955. Т. 2.

Белинский В. Г. Собрание сочинений. В 9 т. М., 1979.

Благой Д. Д. Державин. М., 1944.

Бриллиант С. М. Г. Р. Державин. Его жизнь, литературная деятельность и служба. СПб., 1893 (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова).

Вишневская И. Л. Аплодисменты в прошлое. А. П. Сумароков и его традиции. М., 1996.

Вяземский П. А. Сочинения. В 2 т. М., 1982.

Г. Р. Державин и русская литература. М., 2007.

Гаврила Державин: Норвичский симпозиум 1994 года. Нордфильд, 1995.

Глинка Н. И. Державин в Петербурге. Д., 1985.

Гоголь Н. В. Собрание сочинений. В 8 т. М., 1984.

Гордин М. А. Владислав Озеров. Д., 1991.

Грот Я. К. Жизнь Державина. В 2 т. СПб., 1880 (переиздание: М., 1997).

Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. М., 1866.

Дубровин Н. Ф. Пугачёв и его сообщники. В 3 т. М., 2011.

Жихарев С. П. Записки современника. М.; Д., 1955.

Замостьянов А. А. Русская героика. М., 2010.

Западов А. В. Проблема Державина в журналистике 1860-х гг. //Из истории русской журналистики второй половины XIX в. М., 1964.

Западов А. В. Державин. М.; Д., 1965 (серия «Жизнь замечательных людей»).

Зорин А. Л. Глагол времён. Издания Державина и русские читатели // Свой подвиг совершив… М., 1987.

Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма (Эстетические и художественные искания). СПб., 1994.

Львова Е. Н. Рассказы, заметки и анекдоты из записок // Русская старина. 1860. № 6, 9.

Мерзляков А. Ф. Краткое начертание теории изящной

словесности. В 2 ч. М., 1822.

Мертваго Д. Б. Записки 1760–1824. М., 1867.

Мещеряков Ю. Гавриил Романович Державин. Тамбовский период деятельности. Тамбов, 2006.

Минералов Ю. И. Теория художественной словесности. М., 1999.

Михайлов О. Н. Державин. М., 1977 (серия «Жизнь замечательных людей»).

Памятные записки А. В. Храповицкого, статс-секретаря императрицы Екатерины Второй. М., 1990.

Панаев В. И. Воспоминания // Вестник Европы. 1867. Т. 3. № 9.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В Ют. М., 1962.

Садовской Б. А. Державин // *он же.* Русская Камена. М., 1910.

Салиас Е. А. Г. Р. Державин. Правитель Тамбовского наместничества. Тамбов, 1871.

Серман И. З. Державин. Д., 1967.

Суворов А. В. Документы / Под ред. Г. П. Мещерякова. Т. 1–4. М., 1949–1953.

Суворов А. В. Письма / Изд. подг. В. С. Лопатин. М., 1986.

Сумароков А. П. Избранные произведения. Д., 1957.

Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.

Ходасевич В. Ф. Державин. М., 1988.

Хрущов И. П. Милена, вторая жена Державина // Русский вестник. 1903. № 2.

Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений. Т. 7. М., 1950.

Эпштейн Е. М. Державин в Карелии. Петрозаводск, 1987.

notes

Примечания

1

Он, кажется, не очень мной остался доволен *(фр.)*.

2

Противоположным образом, наоборот *(лат.)*.

З

Эткинд Е. Державин не был антисемитом // Гаврила Державин. Симпозиум, посвящённый 250-летию со дня рождения. Нортфилд, Вермонт, 1995.